ЖЕСТОКОСТЬ



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК



ПОСЛЕДНЯЯ КРАЖА



Павел Нилин

Жестокость. Испытательный срок. Последняя кража

Павел Филиппович Нилин

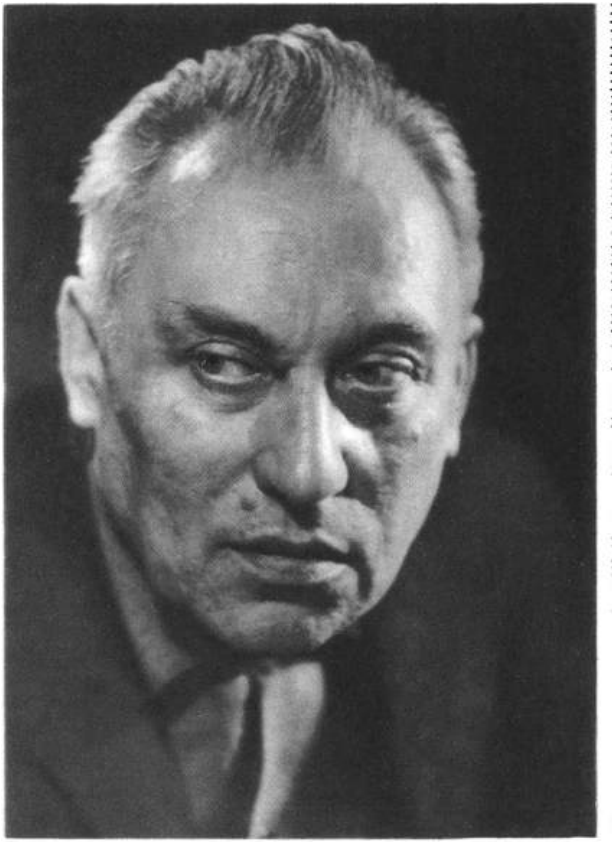
Аннотация
Павел Нилин. ЖЕСТОКОСТЬ. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК. ПОСЛЕДНЯЯ КРАЖА. Повести и рассказ
ЖЕСТОКОСТЬ. Повесть
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК. Повесть
ПОСЛЕДНЯЯ КРАЖА. Рассказ

Аннотация

В сборник известного советского писателя П. Нилина вошли произведения о милиции — повести «Жестокость», «Испытательный срок» и рассказ «Последняя кража».

БИБЛИОТЕКА ИЗБРАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ О СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ

Павел Нилин
ЖЕСТОКОСТЬ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК
ПОСЛЕДНЯЯ КРАЖА
Повести и рассказ



Павел Нилин

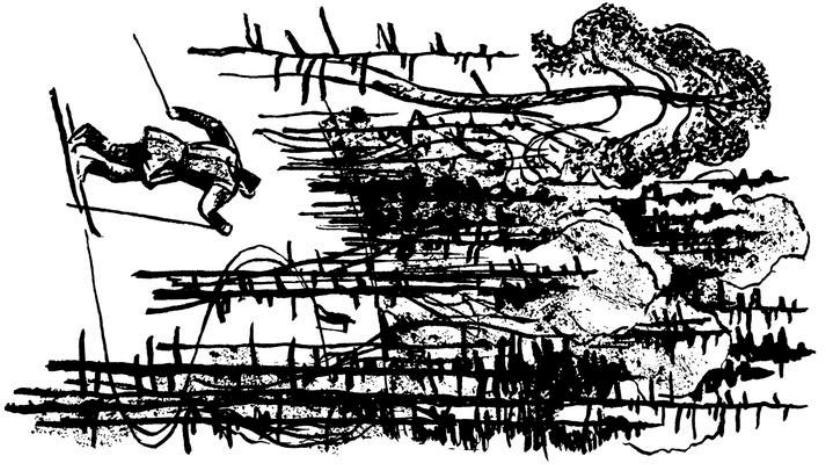
ЖЕСТОКОСТЬ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК

ПОСЛЕДНЯЯ КРАЖА

Московский рабочий · 1987

ЖЕСТОКОСТЬ



ЖЕСТОКОСТЬ
Повесть

1

Мне запомнился Узелков именно таким, каким увидели мы его впервые у нас в дежурке.

Маленький, щуплый, в серой заячьей папахе, в пестрой собачьей дохе, с брезентовым портфелем под мышкой, он неожиданно пришел к нам в уголовный розыск в середине дня, предъявил удостоверение собственного корреспондента губернской газеты и не попросил, а, похоже, потребовал интересных сведений. Он так и сказал: интересных.

Происшествия, предложенные его вниманию, не понравились ему.

— Ну что это — кражи! Вы мне дайте, пожалуйста, что-нибудь такое...

И он щелкнул, языком, чтобы нам сразу стало ясно, какие происшествия ему требуются.

Я подумал тогда, что ему интересно будет узнать про аферистов, про разных фармазонщиков, шулеров и трилистников, и сейчас же достал из шкафа альбом со снимками. Но он на снимки

даже не взглянул, сказал небрежно:

— Я не Цезарь Ломброзо. Меня физиономии абсолютно не интересуют.

И как-то смешно пошевелил ушами.

А надо сказать, что у него были большие, оттопыренные, так называемые музыкальные, уши. И потом мы заметили, что всякий раз, когда он нервничал или обижался, они шевелились сами собой, будто случайно приспособленные к его узкой птичьей голове, оснащенной мясистым носом.

Нос такой мог бы украсить лицо мыслителя или полководца. Но Узелкова он только унижал. И, может быть, Узелков это чувствовал. Он чувствовал, может быть, что нос его, и уши, и вся тщедушная фигурка смешат людей или настраивают на этакий насмешливый лад. И поэтому сам старался показать людям свое насмешливое к ним отношение.

Я давно заметил, что излишне важничают, задаются и без видимой причины ведут себя вызывающе и дерзко чаще всего люди, огорченные собственной неполноценностью.

Не берусь, однако, утверждать, что Узелков принадлежал именно к этой категории людей.

Не хочу также сгущать краски, изображая его,

чтобы никто не подумал, будто я стремлюсь теперь, по прошествии многих лет, свести с ним давние личные счеты. Нет, я хотел бы в меру своих способностей все изобразить точно так, как было на самом деле. И если я начал эту историю с Узелкова, со дня его появления в нашей дежурке, то единственно потому, что главное, о чем я хочу рассказать, произошло именно после его приезда.

Хотя, конечно, в первый день никто ничего не мог предугадать.

Узелков, нервически подергивая плечами, ходил по нашей дежурке, трубно сморкался в широко раскрытый на ладонях носовой платок и говорил:

— Вы мне дайте, пожалуйста, что-нибудь такое фундаментальное. А уж дальше я сам разовью. Мне хотелось бы успеть сделать еще сегодня что-нибудь незаурядное для воскресного номера. Что-нибудь такое экстравагантное…

— Хотите, я вам про знахарок подберу материал? — предложил Коля Соловьев. — Знахарки тут шибко уродуют народ. Надо бы их осветить и как следует продернуть в газетке…

— О знахарках я уже писал из Куломинского уезда, — сказал Узелков. — И это, собственно

говоря, не мой жанр. Я, к вашему сведению, не рабкор и не селькор и никого не продергиваю. Я осмысливаю исключительно крупные события и факты. В этом и состоит цель моего приезда…

— Ага, — догадался Венька Малышев. — Я знаю, чего вам надо. Я сейчас принесу…

Всем нам хотелось угодить представителю губернской газеты, впервые заехавшему в эти места, в этот уездный город Дудари, расположенный, как было сказано в старом путеводителе, среди живописной природы, но малодоступный для туризма из-за сложности передвижения по сибирским дорогам.

Из губернского центра в Дудари надо было или плыть на пароходе, или ехать поездом да еще пробираться по тракту на лошадях — в общей сложности не меньше пяти суток.

Не всякий без крайней нужды мог решиться на этакую дальнюю поездку, зная к тому же наверное, что в пути на него в любой час могут напасть бандиты.

Бандитов в начале двадцатых годов было еще очень много в этих местах.

Даже генералы действовали среди бандитов — белые генералы, потерпевшие полное крушение в гражданской войне.

Впрочем, в бандах Дударинского уезда генералов и полковников уже не осталось. Их сильно потрепал особый отряд ОГПУ, продвинувшийся теперь дальше — в сторону побережья Великого, или Тихого, океана.

А вокруг Дударей действовали, как считалось, уже ослабленные после крупных операций банды. Но ослаблены они были не настолько, чтобы можно было писать в сводках: «Ночь прошла спокойно». Нет, спокойных ночей еще не было в Дударинском уезде. И спокойные дни выпадали редко.

Бандами еще кишмя кишела вся тайга вокруг Дударей. Они убивали сельских активистов, нападали на кооперативы, грабили на дорогах и старались использовать любой случай, чтобы возбудить в населении недовольство новой властью, посеять смуту среди крестьян и завербовать таким способом в свои полчища побольше соучастников. Продвигаться по дорогам было крайне опасно.

Поэтому всякий рискнувший приехать сюда был немножко и героем. Встречали мы приезжих с неизменным радушием. А собственный корреспондент мог рассчитывать на особенно радушный прием.

Правда, он приехал к нам в пору некоторого временного, что ли, затишья.

Была зима. Даже один из самых отчаянных бандитских атаманов, знаменитый Костя Воронцов, кулацкий сын и бывший колчаковский поручик, объявивший себя «императором всея тайги», зимой уводил свои банды в глубину лесов, зарывался в снега, прекращая на время, до весны, все убийства, грабежи и поджоги.

Зимой ему опаснее было действовать, чем весной и летом, когда в густой траве среди бурелома не так уж заметны не только человечьи, но и конские следы.

Зимой уходили подальше от городов и сел и такие атаманы, как Злотников, Клочков, Векшегонов.

В городах в это зимнее время озоровали чаще мелкие шайки и одиночки, так называемые щипачи, а также разные домушники, скокари, очкарики, фармазоны, прихватчики и тому подобная шпана.

Зимой нам работать было нелегко, но все-таки немного легче, чем весной и летом.

Зимой мы готовились к весне, устанавливали новые агентурные связи и между делом составляли подробную опись наиболее выдающихся

происшествий, представляющих, как любил цветисто выражаться наш начальник, известный интерес для криминалистской науки.

Вениамин Малышев, как помощник начальника по секретно-оперативной части, правильно сообразил, что корреспонденту будет интересно заглянуть в эту опись. Малышев принес и разложил перед ним два рукописных журнала, полных снимков и схем. Но тот даже перелистывать их не стал, хмыкнул носом и усмехнулся:

— Вы учтите, пожалуйста, что я не историк. Вы мне постарайтесь дать что-нибудь посвежее, что-нибудь такое…

И опять он щелкнул языком.

Это щелкание нам сразу не понравилось. Но в первый раз мы промолчали. А во второй Венька Малышев сказал:

— Слушайте. Вы что, думаете, тут каждый день людей убивают? Мы-то, как вы считаете, для чего здесь находимся?

— Я не знаю, зачем вы здесь находитесь, — опять усмехнулся, хмыкнув носом, собственный корреспондент. — Но я лично приехал сюда, чтобы в художественной форме осмысливать наиболее свежие и по возможности увлекательные факты. Я должен, к сожалению, заботиться

в первую очередь о читателе. Читатель ждет главным образом свежих фактов…

Эти слова нам тоже не понравились.

Лет корреспонденту на взгляд было не больше, чем нам, — примерно семнадцать, от силы девятнадцать. И это показалось нам особенно обидным. Чего он из себя выламывает?

А он держался в своей собачьей дохе и в заячьей папахе так независимо и с таким важным видом расстегивал и застегивал брезентовый портфель, что в первый день мы даже не решились поставить его на настоящее его место.

На следующий день он опять пришел. Опять придирчиво рылся в сводках, недовольно морщился, записывая что-то в блокнот, грыз карандаш и тихонько вздыхал. И во вздохах его угадывалась какая-то давняя печаль. Она отражалась и в его круглых галочьих глазах, изредка слезившихся то ли от мороза, то ли от резкого света, то ли еще от чего.

Некоторые происшествия ему все же понравились. Довольный, он извлек из портфеля десяток папирос, обернутых в газетную бумагу, и угостил нас всех.

И даже вору, сидевшему тут же в дежурке в ожидании своей участи, тоже дал папироску.

Затем, поговорив с нами полчаса, он объяснил, между прочим, что, хотя его фамилия Узелков и зовут его просто Яков, в газете он подписывается Якуз, опросил зачем-то, партийные ли мы, и стал ходить к нам, в уголовный розыск, почти каждый день.

В уголовном розыске у нас были строгие правила, по которым полагалось, например, встречать отменно вежливо всякого посетителя, будь он вор или свидетель, все равно. Но, несмотря на то, что эти правила никогда не нарушались, посетители все-таки часто робели в нашем учреждении. И нам это казалось естественным. Я больше скажу. Мы сами побаивались своего учреждения, потому что здесь никто ни на какую поблажку рассчитывать не мог. Ошибся, превысил власть, нарушил дисциплину — и, пожалуйста, садись за решетку.

Начальник наш, бывший цирковой артист, потерявший на гражданской войне два ребра, три пальца левой руки и волей случая заброшенный в Сибирь, безумно любил тишину и постоянно повторял по любому поводу:

— Власть чего от нас требует? Власть требует от нас внимания. Мы где работаем? Мы работаем в органах. В каких органах? В органах советской

власти. Значит, что? Значит, должно быть все как следует...

И еще он говорил нам:

— Глупость, имейте в виду, — самая дорогая вещь на свете. Это каждый пусть сам про себя подумает, почему я так говорю. Я всего вам в голову вложить не в силах. Каждый должен про себя думать. А поэтому надо, чтобы было тихо. — И, осмотрев нас сурово и внимательно поверх очков в роговой оправе, спрашивал: — Кажется, всем ясно?

Большинство работников нашего учреждения составляли молодые люди. И начальник, проживший длинную и пеструю жизнь, считал своим непременным долгом по-учительски настойчиво воспитывать нас.

Полагая глупость тягчайшим пороком и предостерегая нас от страшных ее последствий, он не жалел и себя, утверждая, что ребра и пальцы потерял на войне по причине этой самой глупости.

— Заспешил я. Хотел быть умнее всех. А это тоже не требуется. Во всяком деле должен быть свой порядок.

Главным же признаком порядка — еще раз сказать — он считал тишину. И поэтому особенно тихо было в полутемном узком коридоре, кото-

рый уходил в глубину здания и заканчивался в кабинете начальника, в просторной комнате, поделенной на две части — на приемную и кабинет.

По коридору этому, по толстым дорожкам, поглощавшим шум шагов, мы сам ходили с опаской, проникнутые уважением к выдающейся личности нашего начальника и к собственным немаловажным занятиям.

А этот Якуз, или Яков Узелков, не проявлял никакой робости. Он приходил в уголовный розыск, как к себе домой, раздевался в служебном гардеробе, вешал на крюк собачью доху, долго и удивительно громко сморкался и, оставив при себе только портфель и заячью папаху, первым делом шел в дежурку, где топилась железная печка.

В коридоре, на зеленой садовой скамейке с выгнутыми чугунными лапами, сидели по утрам, пригорюнившись, как на приеме у зубного врача, свидетели и воры в ожидании вызова на допрос.

Погревшись у печки, Узелков выходил в коридор и подолгу беседовал с ворами и свидетелями, что правилами нашими строжайше запрещалось. Но что для Узелкова наши правила? Он рассказывал, что в губернском розыске, который

покрупнее нашего и где он часто бывал, правила куда попроще.

Он вообще любил подчеркнуть, что ему все доступно, и запросто упоминал фамилии таких работников губрозыска, как, например, Жур и Воробейчик, которых мы никогда не видели, но о которых слышали много достойного удивления. Он даже намекал на свою дружбу с ними, во что мы никак не могли поверить. Вернее, не хотели поверить.

Впрочем, Узелков и не старался убедить нас. Он всегда разговаривал с нами чуть небрежно, чуть иронически. И, разговаривая, смотрел куда-то в сторону.

Увидев в дежурке толстого мешочника, задержанного по подозрению в краже, он вдруг говорил задумчиво:

— Этот румяный мужчина мне поразительно напоминает Гаргантюа.

Я спрашивал:

— Это кто, Гаргантюа?

— Не знаешь? — удивлялся он и притворно вздыхал. — Хотя откуда тебе знать… У Франсуа Рабле есть такая книга…

Мы, конечно, не знали тогда, кто такой Франсуа Рабле. Спрашивать же у Якова Узелкова считали

неудобным. А он все чаще и чаще унижал нас своим образованием.

Иногда он приходил очень рано, когда сводка не была еще отпечатана на пишущей машинке, и Венька сам выискивал для него происшествия.

Венька брал у дежурного по уезду тяжелую, как библия, книгу и говорил Узелкову:

— Ну, пиши. Банда вооруженных налетчиков в количестве восьми человек, уходя от преследования, совершила налет на общество потребителей в деревне Веселая Подорвиха около девяти часов вечера…

Узелков нервически вздергивал плечами:

— Ты не диктуй мне. Я не в школе. Ты говори мне самую суть. Я без тебя запишу.

Венька говорил ему самую суть. Узелков записывал очень быстро. И нам казалось, что самую суть-то он как раз и не успеет записать.

Впоследствии наши опасения неоднократно подтверждались. В газете обыкновенный факт из дежурной книги часто искажался до такой степени, что узнать его не было никакой возможности.

Узелков писал в газете примерно так: «Среди ночи сторож потребиловки услышал подозрительный шорох. Ночь была мглистая, небо

заволакивали черные тучи, и силуэты всадников причудливо рисовались на фоне бархатисто-темного неба...»

Я скрывать не стану: мне нравилось в те времена, как писал Якуз. Слова его нравились. Но мне неприятно было, что он пишет неправду. Всадников не было, туч тоже не было. Были пешие бандиты и сторож, но он спал.

Венька Малышев, Коля Соловьев и другие ребята тоже сердились на Узелкова. Но он держался невозмутимо. Он по-прежнему требовал свежих происшествий. И вскоре ему сильно повезло.

2

В полдень в страшную метель, или, лучше сказать, в пургу, начавшуюся еще с вечера, к нам приехал весь облепленный снегом старший милиционер Семен Воробьев и сообщил новость:

— Из тайги на тракт вышла банда Клочкова.

Вот уж чего никто не ожидал в зимнее время!

У Маревой заимки, между Буером и Ревякой, где раздваивается Утуликский тракт, банда вечером устроила засаду, убила трех кооператоров, обобрала несколько крестьянских подвод и, несмотря на метель, продвинулась дальше — в Золотую падь.

— Тут уж я сразу к вам поехал, — докладывал старший милиционер Воробьев, спокойно расчесывая крупным гребнем мокрые волосы. — Прямо немедленно поехал.

— А где же ты раньше-то был? — исподлобья взглянул на Воробьева наш начальник, словно стараясь боднуть его лобастой головой, поросшей серым жестким волосом, подстриженным «под бобрик».

— Где я раньше был? — переспросил Воробьев, глядясь в настенное зеркало в кабинете начальника. — Ну, как где? Обыкновенно, по своему участку ездил. Участок-то какой! Лектор говорит, две этих самых… две Швейцарии могут разместиться. И на каждом шагу или бандиты, или самогонщики. А я один на весь участок. И я, между прочим, не стоголовый…

— Все ясно, — определил начальник, заправляя за уши оглобельки очков. И, уже не слушая Воробьева, снял со стены оперативную карту. — Клочков, значит, надеется на метель. Она, мол, заметет все следы. Но это же глупость… Малышев, слушай… Я через сорок минут буду здесь, — показал он пальцем на карте. — Ты с группой должен подъехать сюда. — Он стал как бы ввинчивать палец в карту. — И без моих указаний никого

не трогай. Отсюда, — он передвинул палец, — я попрошу курсантов с повторкурсов поддержать нас. Главное сейчас — не выпустить Клочкова из Золотой пади. Реально?

— По-моему…

— Я тебя не спрашиваю, как по-твоему, — оборвал Веньку начальник. — Как по делу будет, реально?

— Реально, — кивнул Венька.

— Ну, действуй! — приказал начальник. — И держи в уме одно: никаких самоуправств! Если банда будет отходить, проследишь путь ее отхода. Вот так будет правильно…

Эта операция закончилась в тот же день к вечеру.

Я вступил в ночное дежурство по уезду, когда из Золотой пади привезли семь арестованных и восемь убитых бандитов.

В числе убитых были атаман банды, бывший колчаковский штабс-капитан Евлампий Клочков, и его пятнадцатилетний адъютант Зубок, которого Клочков, говорят, еще совсем маленьким подобрал где-то на дорогах гражданской войны.

Убитых свалили до выяснения личности прямо в снег во дворе уголовного розыска, и они лежали

в темноте, как бревна, у каменного сарая с решетчатыми окнами.

Я вышел во двор с фонарем «летучая мышь».

Венька Малышев долго рассматривал убитых. В большом, накинутом на плечи тулупе, в монгольской шапке на лисьем меху, он походил в этот момент на ночного сторожа и, как ночной сторож, медленно передвигался по двору, будто у него зазябли ноги.

Я спросил, как прошла операция.

— Глупо, — сказал Венька и кивнул на убитых. — Ты смотри, что наделал этот наш припадочный — Иосиф Голубчик…

Я знал, что Венька не любит Голубчика. Но сейчас мне было все-таки непонятно, почему он сердится. Я еще спросил удивленно, приподняв фонарь над убитыми:

— Это что, разве Голубчик их наколотил?

— Да нет, — сказал Венька. — Клочкова, вот этого, Коля Соловьев срезал. Этого вот, — он тронул труп ногой, — кажется, я. А этих — курсанты с повторкурсов…

— А Голубчик?

Венька ничего мне не ответил. Он склонился над трупом Зубка.

Зубок лежал на снегу в красивой черной беке-

ше, отороченной серым каракулем, в расшитых унтах, без шапки, беловолосый, аккуратно причесанный на пробор.

Видно, шапка, теперь потерянная, приминала прическу до последней минуты жизни, и поэтому прическа осталась нерастрепанной на застывшей навсегда голове.

— Ты смотри, куда он ему попал, — расстегнул на мертвом бекешу Венька. — Прямо в самое сердце. Вот свинья худая! Ну кто его просил убивать мальчишку?

Я понял, что это Голубчик убил Зубка. Но я не мог разделить возмущения Веньки.

— Тут же не разберешь, в такой горячке, кого убить, кого оставить, — сказал я. — Если ты не убьешь, тебя убьют…

— Ерунда, — взял у меня фонарь Венька. — Зубка мы свободно могли живьем захватить. Ты помнишь, как осенью на лесозаводе было? Я же его тогда почти поймал на крыше. Даже карабин у него из рук выбил. Деваться ему просто было некуда. Никто бы не поверил, что он спрыгнет с крыши, прямо со второго этажа. А он даже не задумался — спрыгнул. Очень храбрый мальчишка. Если б не опилки внизу, он бы насмерть разбился. А он ничего, побежал. Я его тогда хорошо видел

с крыши, как он бежал по двору. Только прихрамывать стал…

— Все-таки он был уже конченый, если связался с бандитами, — сказал я, чтобы Венька не горевал об убитом. — Клочков же, понятно, имел на него большое влияние…

— Клочков — это дерьмо, — покосился Венька на труп Клочкова. — Клочков мог из него только бандита сделать, а мы бы сделали хорошего парня. Просто мирового парня сделали бы…

— Не думаю, — сказал я.

— Ты что, глупый, что ли? — вдруг как бы удивился Венька, поглядев на меня. И еще что-то хотел сказать, но из здания на крыльцо вышел Иосиф Голубчик.

Длинный, худой, чуть сутулый, в кожаной, не по росту короткой тужурке с короткими рукавами, он шел по снегу в нашу сторону и похлопывал плеткой по сапогам.

За ним продвигался, распахнув, как крылья, собачью доху, маленький Яков Узелков с блокнотом и карандашом, почему-то зажатым в зубах.

— Любуетесь? — спросил нас Голубчик, и даже в темноте было заметно, что он ухмыльнулся.

Мы промолчали.

Узелков вынул изо рта карандаш.

— Покажите мне, который Клочков.

Иосиф Голубчик взял у Веньки фонарь и осветил необыкновенно грузный труп Клочкова.

— Говорят, не все лошади его выдерживали, — засмеялся Голубчик. — У него особая лошадь была. Здоровенная! Как битюг. Жалко, ее убили. Она там и осталась, в Золотой пади…

— А который его адъютант? — спросил Узелков.

— Вот он, — осветил Зубка Голубчик.

— Это, значит, твоя работа? — оглянулся на него Узелков и снова взял карандаш в зубы.

— Моя. — Голубчик опять засмеялся.

А Венька Малышев стоял в стороне, как замерший.

Я подумал: вот сейчас что-нибудь случится. Вот сейчас Венька скажет что-нибудь Голубчику, и между ними вспыхнет ссора. Но подле нас неожиданно появился из темноты наш фельдшер Поляков.

— А я тебя ищу, — потянул он Веньку за тулуп. — Пойдем, я тебе переменю перевязку…

Только тут я узнал, что Венька ранен. Вот, оказывается, почему он надел тулуп внакидку.

— И сильно тебя стукнули? В какое место?

— Да ерунда! — поморщился Венька. — Плечо

мне слегка ободрало. Около шеи. Правда, крови много вытекло, пока сделали перевязку.

Венька пошел за Поляковым в нашу крошечную — рядом с баней — амбулаторию, которую мы называли предбанником.

— Вениамин! — закричал Узелков. — Я потом должен с тобой поговорить. Мне очень важно выяснить некоторые подробности.

— Ты и сам хорошо их придумаешь, — слабо улыбнулся Венька. — Тебя учить не надо…

В коридоре, на зеленой садовой скамейке, под охраной милиционеров сидели семь арестованных — семь косматых, давно не бритых и не стриженных мужиков в нагольных полушубках и огромных, еще обледеневших бродняx, какие носили в старое время водовозы.

Я стал вызывать их в дежурку по очереди, чтобы произвести предварительный допрос.

На специальных бланках я записывал их фамилии, имена и отчества, возраст, национальность, место рождения и все, что положено записывать в таких случаях.

Они охотно отвечали на вопросы, просили закурить и, закурив, благодатно почесывались, распространяя по всей дежурке и коридору удушливый запах плохо дубленной и мокрой от снега

овчины.

Еще несколько часов назад представлявшие отупело грозную и беспощадную силу, они походили сейчас, пожалуй, на усталых ямщиков, готовящихся к ночлегу где-нибудь на близком к тракту постоялом дворе. Поэтому я не испытывал к ним никакой враждебности.

Только один раз я вышел из себя, когда в дежурку ввели пожилого, но с виду все еще могучего мужика, буйно заросшего рыжей щетиной, из которой высовывался вздернутый нос с нервно трепещущими ноздрями и светились яростью небольшие прищуренные медвежьи глаза.

— Фамилия?

— Чего?

— Фамилия как твоя?

— Это для чего?

— Ты мне не задавай тут вопросов! — строго сказал я. — Теперь уж мы тебе будем задавать вопросы. Садись.

— Сяду.

Он уселся так, что венский стул заскрипел под ним.

— Так как твоя фамилия?

— Моя-то?

— Твоя. Ты дурака тут не разыгрывай, — пре-

дупредил я. — Мы быстро из тебя всю дурь вытрясем.

— Гляди-кось, какой герой, — хрипло, простуженно засмеялся и закашлялся рыжий. Потом сплюнул на пол и прикрыл плевок броднем. — Материно молоко у тебя на губах не обсохло, губошлеп, а ты туда же… грозишься. А вдруг я, — он кивнул на чугунную пепельницу, стоявшую на столе, — вдруг я возьму энту вот вещь да шаркну тебя по башке? Что тогда?

Я отодвинул пепельницу к себе под локоть.

— Опасаешься? — опять хрипло засмеялся рыжий. — Ну это хорошо. Береженого сам бог бережет.

Я встал из-за стола.

— Ты будешь говорить фамилию?

— А ты вроде испугать меня хочешь? — насмешливо спросил рыжий и тоже встал. — Ну-ка, испугай! Я погляжу, как ты умеешь…

Из соседней комнаты вышел Коля Соловьев. У него после операции в Золотой пади разболелись зубы и чуть вспухла щека. Но он не уходил домой, потому что начальник хотел провести разбор операции и всем велел остаться.

— Ты чего, рыжий, шиперишься? — заговорил Коля тихим, домашним голосом. — Тебя, как пут-

ного, развязали, а ты шиперишься.

— Он завидует своему атаману, — кивнул я на окна. — Торопится на тот свет.

— Щенки, — обвел нас ненавидящим взором рыжий. — Платит вам казна жалованье, а вы щенки!

И, опять усевшись на стул, закрыл глаза: не желаю, мол, я не только разговаривать с вами, но и глядеть на вас не желаю.

Венька Малышев заглянул в дежурку, спросил меня:

— Начальник не звонил?

— Нет еще.

— Ты этих где размещаешь?

— В восьмой.

— Она пустая?

— Пустая.

Венька вошел в дежурку и сел недалеко от рыжего на лавку.



— Ну, что, кум, о чем задумался?

Рыжий поднял на него глаза, посмотрел с любопытством, будто стараясь узнать знакомого, и снова опустил голову.

В дежурку вошел начальник. Обутый в толстые мохнатые унты выше колен, он неслышно прошагал по комнате, снял с гвоздя в застекленном ящике ключ от своего кабинета и сказал Малышеву и Соловьеву:

— Вы давайте заканчивайте это и пожалуйте ко мне. Будет разговор. Надо вызвать еще Голубчика и Бегунка…

На арестованного он даже не взглянул, и было непонятно, что значит «заканчивайте это». У дверей начальник задержался.

— Малышев, как у тебя с плечом?

— Все хорошо, — чуть привстал со стула Венька.

Но я, поглядев на него, понял, что все не так уж хорошо. Лицо у Веньки как-то вытянулось, посинело, и особенно сгустилась синева под глазами.

— А ты что за скулу держишься? — повернулся начальник к Соловьеву.

— Зубы маленько заныли, — попробовал улыбнуться Коля.

— Просто лазарет какой-то. — Начальник сде-

лал недовольное лицо и только теперь взглянул на арестованного. — А этот зачем тут?

— Да вот не хочет отвечать на вопросы, — доложил я. — Даже фамилию не говорит…

— Забыл, выходит, с испугу? — начальник шагнул к арестованному и вдруг рявкнул: — Встать!

Арестованный не пошевелился.

— Кому говорят? Встать! — повторил начальник. — Ну!

Арестованный поднял голову, и глаза его снова засверкали бешенством.

— Гляди-кось, какой боров! Ты меня сперва запряги, а потом понукай.

— В угловую его, отдельно, — приказал мне начальник. — И не кормить, пока не вспомнит фамилию и все прочее…

Начальник ушел и хлопнул дверью так, что она заныла на пружине.

— Ты бы, правда, встал, — как бы посоветовал арестованному Венька. — Это же начальник.

— Это он вам, легавым, начальник, — пошевелил бородой рыжий. — А мне на него…

— Ты потише, потише, тут все-таки учреждение, — напомнил Венька. — А насчет фамилии не беспокойся. Можешь не говорить. Я сейчас приду и скажу, как твоя фамилия…

И Венька надел свою монгольскую шапку. И вот, когда он надел эту шапку на лисьем меху, арестованный забеспокоился.

— Погоди, — попросил он Веньку. — Ты в Золотой пади был?

— Был.

— Нынешний день?

— Нынешний. А что?

— Ты гляди, какая нечисть, а? — будто огорчился рыжий. — Я ж в упор в тебя стрелял. Точно в точности в башку целил, в эту шапку. Неужели ж я промазал? Или же у вас у кого еще есть такая шайка?..

Получалось странно: не мы допрашивали арестованного, а он нас.

Шапки такой, как у Веньки, ни у кого в нашем учреждении не было. Значит, этот бандит ранил Веньку. И сам признался. А фамилию свою все-таки не хочет говорить.

— Ух, паразит, — сказал Коля Соловьев, оторвав руку от горячей щеки. — Это верно, что тебя надо к атаману отправить. Вон он валяется на снегу…

— Все там — будем валяться, — почти спокойно откликнулся арестованный. — И вам этого дела не избежать. За Клочкова Евлампия Григорьича Воронцов из вас еще добрых лент нарежет. Вот

попомните мои слова. Воронцов вам это дело не простит. И за мою душу ответите. И начальник ваш ответит, седой боров. Не отвертится. Вы еще поплачете, сучьи дети. Вся контора ваша поплачет горючими слезами…



Такого никогда не было в нашей дежурке, чтобы вот так развязно сидел арестованный бандит и еще грозился. Попадались всякие — бушевали, матерились, бросались на дежурного, даже зашибли одного нашего сотрудника в коридоре чугунной подставкой, но грозить всему нашему учреждению еще никто не отваживался. Значит, он считает, этот бандит, что Воронцов со своей бандой сильнее нас. Или он это только храбрится?

В дверь просунулся Яков Узелков.

— Можно?

— Нельзя, — сказал Венька и, выглянув в коридор, строго отчитал постовых: зачем они пропускают разных граждан с улицы?

— Я не с улицы, — закричал Узелков. — Я представитель прессы…

— Представители пусть приходят утром, — сказал Венька.

Он вышел во двор, побывал в арестном помещении и, вернувшись в дежурку, сообщил рыжему его фамилию.

— Мне самому теперь интересна твоя фамилия, — слабо улыбнулся Венька. — Ты, получается, мой крестный. В голову ты мне, спасибо, не попал, а плечо попортил. Я теперь должен навсе-

гда запомнить твою фамилию — Баукин Лазарь.

— Запомни, — сказал рыжий. Но от показаний все-таки отказался.

Я направил его, как приказал начальник, в угловую одиночную камеру.

3

Венька ушел домой после совещания у начальника. Было это во втором часу ночи.

А рано утром, когда я сдавал дежурство, он уже явился в розыск. И в этот же час в дежурку пришел Яков Узелков.

Венька со многими подробностями рассказал ему о вчерашней операции, посоветовал поговорить еще с Колей Соловьевым и в заключение попросил:

— Когда напишешь, покажи, пожалуйста, кому-нибудь из нас. Чтобы не было ошибки. Это дело серьезное…

Яков Узелков сказал, что напишет, как ему диктует его художественная совесть. И, поговорив недолго еще с двумя сотрудниками, пошел домой — писать.

Через несколько дней в губернской газете «Знамя труда» был напечатан его очерк, в котором отважно действовали и наш начальник, и Коля

Соловьев, и Иосиф Голубчик, и Вениамин Малышев.

О Малышеве в очерке было сказано: «Этот юноша-комсомолец с пылающим взором совершал буквально чудеса храбрости».

И дальше описывались в самом деле несусветные чудеса.

Венька Малышев будто бы первым выступил против банды, а затем уже подоспели Николай Соловьев, застреливший атамана Клочкова, и Иосиф Голубчик, смертельно ранивший в сердце отчаянного адъютанта атамана.

О том, что адъютанту всего пятнадцать лет, в очерке сказано не было.

— Поймаю Якуза и обязательно задавлю, — пообещал Венька. — Все же думают теперь, что это я сам ему такое набрехал. И меня он каким-то идиотом выставляет. С пылающим взором…

Якуз, однако, как нарочно, несколько дней не показывался в нашей дежурке. Он поехал в Березовку на восстановление, как он потом писал, самого крупного в Сибири лесозавода. Он любил описывать все самое крупное, небывалое, выдающееся. Вернее, у него так получалось в корреспонденциях, что все, о чем он пишет, необыкновенно, впервые появилось, мир об этом

еще не слыхивал.

Мы не сильно тосковали о том, что он не приходит. В эти дни у нас было много работы. Почти непрерывно шли допросы арестованных из банды Клочкова. Нам хотелось с их помощью подобрать верные ключи и к банде самого Кости Воронцова, зарывшейся сейчас в снегах где-то в глубине Воеводского угла.

Банда Воронцова была основным объектом нашей деятельности, как любил выражаться наш начальник.

Венька Малышев отобрал себе четырех бандитов и день и ночь возился с ними. Он только что не водил их к себе домой, а так со стороны можно было подумать, что это лучшие его приятели. Он называл их по именам: Степан, Кирюха, Лазарь; кормил их своими пайковыми консервами. А Лазаря Баукина угостил даже два раза самогонкой, что уж никакими инструкциями не было предусмотрено.

Бочонок с самогонкой, отобранной у смолокуров на Белом камне, стоял у нас в коридоре, в особой нише, под замком, рядом с большим несгораемым шкафом, и был предназначен для химического анализа. Но анализ все почему-то задерживался. И этим воспользовались уже

несколько наших сотрудников.

И Венька воспользовался, чтобы угостить бандита, хотя раньше осуждал того, кто прикоснулся к бочонку первым.

— Мне же это для дела надо, для служебных надобностей, — как бы оправдывался он передо мной. — Лазарь сильно охрип, и его все время бьет кашель. А порошки, которые давал Поляков, нисколько не помогают. И Лазарь вообще не верит докторам. Он их не признает…

В том, что Лазарь Баукин не признает докторов, не было, пожалуй, ничего удивительного. Но то, что Венька так заботливо относится к нему, показалось мне странным. Не лазарет же у нас для простудившихся бандитов и не трактир с подачей горячительных напитков!

Я даже возмутился про себя.

А затем не только я, но и многие у нас удивились, что такой навеки обозленный, угрюмый и всех и вся презирающий бандит, как Лазарь Баукин, вдруг дня три спустя после ареста стал давать показания, хотя приказ начальника «не кормить» не был выполнен.

Правда, он давал уклончивые показания. Я прочел первый протокол его допроса и сказал Веньке, что этот зверюга чего-то такое темнит.

— А что же ты хотел? Чтобы он пришел к тебе и сразу покаялся? — спросил Венька. — Нет, это ерунда. Так не получится. Не такой это мужик…

И мне показалось, что Венька как бы восхищается этим мужиком.

Мне захотелось посмотреть, как Лазарь Баукин ведет себя на допросах, и я однажды во время допроса зашел в секретно-оперативную часть.

Венька посмотрел на меня удивленно:

— Тебе что-нибудь надо?

— Нет, я хотел посидеть…

— Посиди тогда где-нибудь в другом месте. У нас тут серьезный разговор. Без свидетелей.

Я ушел в свою комнату.

Через час Венька зашел ко мне и, должно быть, желая смягчить свою грубость, предложил:

— Хочешь, почитай сегодняшний протокол допроса Баукина. Занятный мужик.

Я сказал:

— А зачем? Я не такой уж любопытный. Ты ведешь допрос, меня это не касается.

— Ну, это ты ерунду говоришь, — заметил Венька. — Нас все касается. И мы за все отвечаем, кто бы что ни делал. А Лазарь в самом деле занятный мужик…

— А что в нем занятного?

— Все. Он сам смолокур и промысловый охотник. И отец у него и дед тоже смолокурничали и выслеживали зверя. Он тайгу знает — будь здоров.

— Но сейчас-то он бандит…

— Ну, это уж известно. Но вообще-то он мужик занятный. Голова у него забита всякой ерундой, а сам неглупый. Сегодня мне говорит: ежли сибирские мужики эту власть не полюбят, она тут ни за что не удержится. Хоть пять лет простоит, хоть десять, но все равно не удержится. Колчака Александра Васильича с иностранцами мужики не полюбили, и они не удержались. Силком ничего не сделаешь, как ни вертись…

— Что же тут хорошего? — сказал я. — Значит, он настоящий контрик, если сравнивает советскую власть с Колчаком…

— Вообще-то конечно, — согласился Венька. — Но надо разобраться. Человек — смолокур и охотник, можно сказать, потомственный. И вдруг связался с бандитами…

— Да мало ли смолокуров и охотников в разных бандах! — возмутился я. — Что он, маленький? Связался. Ему, слава богу, не пятнадцать лет. Он сам мог бы сообразить…

— Ну, знаешь? — сказал Венька. — Другой раз и

старику так задурят голову, что он не сразу может разобраться.

Венька жил искренним убеждением, что все умные мастеровые люди, где бы они ни находились, должны стоять за советскую власть. И если они почему-либо против советской власти, значит, в их мозгу есть какая-то ошибка. Он считал, что и Лазаря Баукина запутали, задурили ему голову разные белые офицеры.

Даже дома поздно вечером, когда мы пили чай, Венька вдруг вспоминал о нем:

— А Лазарь, наверно, сидит сейчас впотьмах в угловой камере и думает, думает…

— Да он, наверно, спит давно. Чего ему еще думать?

— Нет, он все время думает. Я это каждый день замечаю. Ох, и здорово он не любит нас…

— Нам его тоже не за что любить, — говорил я. — Бандит как бандит…

— Ну, это верно, — соглашался Венька. — Но все-таки он мужик занятный. Вчера он мне говорит: «Начальник у вас слабый». Я спрашиваю: «Почему?» — «Я, — говорит, — вижу. Нервный он шибко. Кричит. Прошлый раз вон как рявкнул на меня, ажно у самого уши покраснели. Против бандитских атаманов он никуда не годится. Сла-

бый шибко, жирный». Я говорю: «А начальнику нашему и не надо быть атаманом. Тут учреждение, а не банда». А Лазарь говорит: «Рассказывай! На всяком деле должен быть крепкий человек, чтобы его слушались без крику».

Я удивился:

— Неужели ты с ним так разговариваешь на допросах? И он еще ругает начальника…

— Он не ругает, он просто приглядывается ко всему. Он очень приметливый. А что я ему, рот должен заткнуть? Он говорит, я его слушаю. Это хорошо, что он разговорился…

— Все-таки я не стал бы говорить с ним про начальника, — сказал я. — Кто он такой, чтобы еще рассуждать?

— Вот я это и хочу понять, кто он такой. Мне это интересно. Мне вообще интересно, какие бывают люди. Не все же одинаковые.

Хлопотливая должность помощника начальника по секретно-оперативной части обязывала Веньку Малышева заниматься многими делами. И он занимался: выезжал на мелкие, и крупные происшествия, собирал агентурные сведения, вел допросы, составлял сводки. Но самым интересным делом для него теперь было продолжение допросов Лазаря Баукина. Даже едва ли это мож-

но назвать допросами.

Почти каждый день Венька что-нибудь рассказывал мне о нем, точно совершал открытия.

Оказывается, Баукин хорошо знаком с Костей Воронцовым, хотя никогда не был в его банде. Еще при царе Лазарь работал у отца Воронцова на смолокуренном заводе.

Венька подробно расспрашивал Баукина о его жене, о ребятишках, вслух жалел ребятишек, у которых родитель занялся бандитским делом.

Вот так и проходили допросы. На допросе же Лазарь Баукин вдруг спросил Малышева, хорошо ли заживает у него рана на плече.

— Плохо, — ответил Венька. — Попортил ты мне, Лазарь, плечо.

— Это еще ничего, — сказал Лазарь. — Это благодаря господа я только в плечо тебе угодил. Я ведь тебя насмерть мог ухлопать. У меня глаз, ты знаешь, какой?..

— Хвастается он, — заметил я, когда Венька рассказывал мне об этом.

— Немножко, — улыбнулся Венька. — Но ему же больше обороняться нечем. Вчера мне опять говорит: «Ты не верь докторам. От раны, ежли не шибко загнила, есть одно хорошее средство — брусничный лист. Только не сушеный, а живой,

который сейчас в тайге под снегом. — И вздохнул: — Не попасть уж, видно, мне обратно в тайгу. Ни за что, однако…»

— Да, уж в тайгу ему, пожалуй, больше не попасть, — подтвердил я. — Если на суде станет известно, что он тебе прострелил плечо как представителю власти, ему наверняка вышку[1] дадут…

— Могут, — огорчился Венька. — Но я нигде это в протоколах не пишу, что он в меня стрелял. И у нас об этом знают только ты и Коля Соловьев. А Коля не трепач…

— А я трепач?

— И ты не трепач, — успокоил меня Венька. — А Лазарь еще про многое не говорит. Если его по-настоящему расколоть, можно большое дело сделать…

Допрашивая Лазаря Баукина, Венька все время составлял историю его жизни. Он составлял ее, конечно, не столько из крайне скудных показаний самого Баукина, сколько из допросов других арестованных, сличал разные показания, сверял их с нашими агентурными сведениями и устраивал очные ставки.

---

[1] Примечания: 1

Вышка — высшая мера наказания — расстрел.

Выяснилось, что Баукин — бывший солдат царской армии. За геройство на фронтах империалистической войны был представлен к четырем Георгиевским крестам. Три получил, а четвертый где-то завяз в бумагах воинских канцелярий. Пока хлопотал о четвертом кресте, лежа в госпитале по случаю тяжелого ранения, началась Октябрьская революция, и все награды его потеряли значение.

Потеряла значение, как казалось ему, вся его боевая жизнь. Выходило, что и ранили его трижды зазря, без всякого смысла, если он не может гордиться даже теми тремя крестами, что выданы ему. Ни к чему оказались эти кресты.

На родной заимке Шумилове, в глухой тайге, куда вернулся он из госпиталя, хозяйство его за время войны пришло в полное расстройство. Ни коровы, ни коня. Жена с тремя малыми детьми живет из последнего, батрачит у богатых мужиков.

Мужики богатые и бедные одинаково проклинают бестолковую войну с немцем. Их не удивишь тут ни крестами, ни медалями. И геройством не удивишь.

Лазарь оказался в родных местах почти единственным, кого не только не утомила, но даже

разгорячила изнурительная война, несмотря на ранения. Он все еще жил войной, не зная, за что приняться в крестьянском деле, от которого отвык за годы войны.

На его счастье или, скорее, несчастье глубокой осенью восемнадцатого года прибыл на побывку в родные места его старший брат, Митрофан, выслужившийся в войну до унтер-офицерского чина.

Братья выпили на радостях, душевно разговорились. И Лазарь впервые за все это смутное, тяжелое время узрел единомышленника.

Пьяный Митрофан, сильно хвастаясь своими успехами, рассказал, что есть верные люди, которые опять собирают армию, такую же, как была, только более крепкую. И если сейчас вступить в нее, можно многого добиться без особого труда.

В этой армии будут высоко ценить три «Георгия», полученных Лазарем, и будет выдан четвертый, еще не полученный, поскольку все справки у Лазаря в полном порядке.

Лазарь уехал с заимки в начале зимы и вступил добровольцем в белую армию.

Дело было, конечно, не в том, чтобы выхлопотать четвертый Георгиевский крест. Дело было в великом соблазне поправить пошатнувшееся

хозяйство за счет тех льгот и наград, которые были обещаны добровольцам белой армии после победы в гражданской войне.

Победа, однако, закономерно пришла не к белым, а к красным. После разгрома белой армии Лазарю пришлось скрываться, опасаясь особо сурового наказания за то, что он был не просто белым солдатом, а помощником командира взвода и, главное, добровольцем.

В скитаниях он и набрел на бывшего колчаковского штабс-капитана Клочкова, находившегося одно время в подчинении у «императора всея тайги», а затем отделившегося от него с небольшой бандой.

Вступив в эту банду, Лазарь Баукин долгое время не ладил с Клочковым. Лазарь считал, что надо грабить только кооперативы и базы, но не тревожить крестьян, с чем не соглашался Евлампий Клочков, вышедший из городского купечества и стремившийся наказывать, все население за свою собственную неудачливую судьбу, стремившийся сеять ужас.

Лазарь хотел устранить Клочкова, чтобы самому стать главарем банды. Но Клочков был не так прост и старался обезопасить себя от Баукина, не доверяя ему во многом, остерегаясь его…

Все это выяснил Венька Малышев путем перекрестных допросов. Он сразу заметил, что Лазарь Баукин резко отличается от других арестованных бандитов. И даже здесь, в угрозыске, в арестном помещении, бандиты говорят о Лазаре как о своем главаре, как о человеке, который мог бы стать главарем, если б не превратности судьбы.

Веньку больше всего интересовали связи Баукина в других бандитских соединениях. Ведь не так уж отдельно действовала банда Клочкова. У нее были связи, наверно, и с Воронцовым и с другими.

И еще интересовало Веньку, если можно так выразиться, истинное самочувствие Баукина.

— Интересно, — говорил мне Венька, — что бы Лазарь сейчас стал делать, если б ему, допустим, удалось уйти от нас?

— Опять пошел бы в банду.

— Нет, не думаю. У него башка все-таки работает. Я ему все время встряхиваю башку разными вопросами.

— Да для чего это? — спросил я.

— Для дела, — улыбнулся Венька.

У Веньки появилась идея — побывать еще зимой в Воеводском углу, на родине Лазаря Баукина, навестить его жену, его ближайших родствен-

ников и добыть как можно больше сведений о его связях.

Из трофейных фондов гражданской войны нам достались аэросани, кажется, японские. Изломанные, они все лето и осень валялись у нас на пустыре. И только теперь, зимой, нашелся механик, согласившийся отремонтировать их и пустить в дело.

В свободные часы мы с Венькой и с Колей Соловьевым часто ходили на пустырь и помогали механику отвинчивать и отмывать в керосине ржавые болты и гайки, хотя надежды на восстановление саней у нас почти не было.

Механик, видимо, сам не мог разобраться как следует в механизме и все говорил:

— Кабы мне ихнюю схему достать. Я бы их разобрал в два счета…

Мы с Колей Соловьевым постоянно смеялись над механиком, говорили, что он, наверно, большой специалист: может любую машину разобрать на все части и собрать… в мешок.

А Венька называл нас чистоплюями и уверял, что сани будут восстановлены. Он еще года два назад работал слесарем в железнодорожных мастерских, и этот механик разговаривал с ним подле саней, как со своим человеком, как

с человеком, причастным к благородному делу обработки металлов.

— Вот погодите, — говорил нам Венька, — вот погодите, мы на этих санях прокатимся в Воеводский угол…

Эта идея понравилась и нашему начальнику. Он теперь все чаще выходил из кабинета, чтобы посмотреть, как продвигается работа на пустыре.

Механику был выдан из трофейного фонда полный комплект кожаного обмундирования: пальто, штаны, сапоги и шлем. Он, кроме того, требовал кожаные перчатки с длинными отворотами, какие носят авиаторы. Но начальник сказал, что о перчатках похлопочет, когда будут восстановлены сани.

У саней, все еще лежавших на снегу в перевернутом виде, собирались многие наши сотрудники, давали советы, спорили, смеялись.

Однажды сюда пришел и Яков Узелков.

Вытащив из брезентового портфеля блокнот с напечатанным вверху заглавием газеты, он интересовался, что появилось новенького за время его отсутствия.

— Я, к сожалению, не мог к вам раньше прийти, — как бы извинялся он, нервно покусывая

карандаш. — Я несколько дней разъезжал по уезду…

Мы Узелкова не видели с той поры, как прочитали в газете «Знамя труда» выспренний очерк о разгроме клочковской банды в Золотой пади. Мы уже стали забывать о существовании Узелкова. Но сейчас, увидев его, снова ожесточились.

— Можешь к нам больше не ходить, — сказал ему Венька. — Нам брехуны не нужны… С пылающим взором…

— Да тебе и не надо к нам ходить, — добавил я. — Для чего тебе сведения, если ты можешь все высосать из своего пальца?

И Коля Соловьев засмеялся.

— Чудаки! — ничуть не смутился Узелков. — Я же вас вывел героями, и вы же еще недовольны. Дикари, питекантропы…

— Уходи, — опять сказал Венька. — Уходи, и чтобы тебя тут вовсе не было. Больше тебе никакой сводки давать не будем.

По пустырю как раз в это время проходил наш начальник. Узелков пошел за ним. И, на наше удивление, начальник отнесся к нему весьма любезно. Он даже обнял его за плечи и повел к себе в кабинет. Мы слышали, как Узелков сказал:

— Популяризация — моя главная задача.

И, наверно, это слово «популяризация» покорило нашего начальника, тоже любившего необыкновенные слова.

Вскоре он вызвал Веньку и меня и, сидя в кресле, сделал нам нагоняй, говоря:

— Как же это так? — И показал на Узелкова. — Товарищ собственный корреспондент пишет про нас, освещает нашу работу. А мы, значит, будем ему палки в колеса кидать? Нет, это будет неправильно. Я запрещаю это решительно.

Узелков ушел, получив все нужные ему сведения. Начальник сам закрыл за ним дверь и, опять усевшись в кресло, спросил:

— Вы для чего, ребята, допускаете в своей работе глупость, личные счеты и так далее? А?

Венька доложил, что тут не личные счеты, а просто вранье и глупость со стороны корреспондента.

— Вранье? — удивился начальник и покачал своей седеющей колючей головой. — Вранья допускать нельзя. Вы за этим должны смотреть, докладывать в случае чего мне. А так препятствий чинить не надо. Это же, имейте в виду, пресса. С ней ссориться никак нельзя…

Может быть, в этот момент далекие воспоминания колыхнули суровое сердце нашего

начальника. Он вдруг подвинул к нам коробку с папиросами, чего раньше никогда не делал, и сказал, продолжая грустно улыбаться:

— Поздно вы родились, ребята. Ничего хорошего вы еще не видели. И не знаете. И вам даже не понятно, что такое пресса. Ведь вот, допустим, у нас в цирке как было? Не только приходилось ожидать, когда напишут про тебя в прессе, а самим даже приходилось соображать. Даю честное слово. Придет, бывало, репортер в цирк, а ты норовишь ему в руку сунуть рублевку или даже трешницу этак деликатно. Чтобы написал после. Ну, и ждешь потом. Ангажемент! Вы ведь этого ничего не понимаете. Про вас пишут, а вы обижаетесь. Бесплатно пишут и в положительном тоне. Надо бы только приветствовать такого корреспондента. Приветствовать…

Понятно, что после этого у Якова Узелкова в нашем учреждении появилась такая поддержка, о какой он и мечтать не мог.

Он в любое время теперь заходил к начальнику и называл его запросто — Ефрем Ефремович.

Два раза, однако, мы пробовали разоблачить корреспондента в глазах начальника, но делали это, видимо, неумело, неубедительно. Говорили, например, что Якуз много сочиняет. Против этого

обвинения начальник выдвинул веский довод. Он сказал:

— Вот, допустим, французская борьба. Многие зрители обижаются, что борцы борют друг друга не по-честному, а как велит арбитр: сегодня ты меня положишь, завтра — я тебя. Зрители говорят: это афера. И я говорю: правильно. Ну, а как вы думаете, без аферы лучше будет? Нет, хуже. Борцы тогда, озлившись, даже покусать друг друга могут, трико порвут, измочалятся до крови. Ну, и что же тут красивого? Ничего. Нет, вы молодые ребята. Вы это не понимаете, что такое искусство…

И начальник закрыл глаза, показывая, что разговор окончен.

Якуз продолжал писать, как хотел. Одержав над нами первую крупную победу, он сразу как-то вырос в наших глазах. У него даже плечи стали как будто пошире. К тому же он сшил себе входившую тогда в моду толстовку из чертовой кожи, приобрел новые ботинки, и мы смеялись, что вот, мол, на происшествиях оделся человек. Голос у него стал еще тверже, еще уверенней.

Читая в сводке об изнасиловании, он вдруг говорил удивленно:

— Ах! Опять это либидо сексуалис.

Дежурный по угрозыску спрашивал:

— Чего?

— Это мои мысли вслух, — небрежно отвечал Узелков.

В другой раз в разговоре с нами он также вдруг ни с того ни с сего сказал:

— Извините, но у меня на этот счет своя концепция. Я не считаю, что мы живем в век пессимизма.

— Но уж это совсем ерунда какая-то! — возмутился Венька. И спросил: — Что такое пессимизм?

— Учиться надо, — сказал Узелков. — Учиться, а не заниматься пикировкой.

Но что такое пикировка, он тоже не объяснил.

В конце концов мы стали верить, что он не может говорить по-другому, что эти затейливые слова так же привычны для него, как для нас наши. Мы постепенно стали привыкать к этим его словам и уже не искали в них каверзного смысла. Да и сам Узелков нас все меньше интересовал.

У нас и без него было много всяких дел. Главным же все еще оставалось дело арестованных из банды Клочкова.

Прокурор уже несколько раз требовал, чтобы их поскорее перевели в городской домзак. Пора,

мол, готовить процесс.

Но Венька, пользуясь своим положением помощника начальника по секретно-оперативной части, упорно задерживал бандитов в нашем арестном помещении, ссылаясь на оперативные надобности.

Он все еще продолжал допрашивать Лазаря Баукина и его соучастников.

4

В кабинете нашего начальника стоял громоздкий застекленный шкаф, полный толстых книг в кожаных переплетах с золотым тиснением.

Я не знаю, читал ли начальник эти книги. Но каждый раз, когда разбиралось какое-нибудь запутанное преступление, он кивал бодливо на шкаф, говоря очень строго:

— Криминалистская наука на что нам указывает? Криминалистская наука нам указывает на то, что надо в первую очередь изучать психологию преступника. А это значит что? Это значит, надо докапываться до корней. Бывает, что преступник запирается на допросе, не хочет говорить, юлит, финтит, изворачивается. Тогда, значит, что? Тогда, значит, надо повлиять на его психологию…

И начальник считал, что Венька Малышев

правильно ведет допросы Лазаря Баукина.

— Вот именно Малышев бьет на психологию в этом вопросе, — тыкал пальцем в протоколы начальник. — Поэтому я не вмешиваюсь. Хотя этот Баукин, видно по всему, — очень сложный экземпляр. Я лично применил бы к нему самые жесткие меры…

Этого больше всего и боялся Венька, уверенный, что начальник не простит Баукину того случая в дежурке, когда он приказывал встать, а Баукин продолжал сидеть и еще обозвал начальника боровом.

Венька все время деликатно внушал начальнику, что этот бандит Баукин при осторожном к нему отношении может дать очень ценные показания. И уже кое-что дает.

Вскоре Баукина по настоянию Веньки перевели из одиночки в общую камеру.

— Там ему будет все-таки веселее, — сказал Венька.

И мне даже противно стало, что Венька так заботится о Баукине. Ему еще веселье требуется, этому зверюге!

Мы уже заканчивали допросы всей клочковской группы, когда четверо бандитов попросились в баню, в том числе и Лазарь Баукин.

— Может, перед смертью и помыться больше не придется, — вздохнул он. — А мы, однако, православные, как ни есть христиане.

Уже замечено давно, что чем звероватее бандит, тем жалостливее он ведет себя, когда чувствует безвыходность своего положения.

Вот почему я считал, что Венька напрасно цацкается с Лазарем. Просто Лазарь сумел разжалобить его. И у Веньки еще будут от этого большие неприятности.

— Что же ты раньше-то не вспоминал, что ты христианин? — спросил я Баукина. — Когда убивали и калечили людей, так не вспоминали, какого вы вероисповедания…

Лазарь ничего мне не ответил.

А Венька, подошедший в этот момент к дверям камеры, сказал Пете Бодягину, прозванному за особую и часто неуместную резвость Бегунком:

— Петя, проводи арестованных в баню.

И прошел дальше по коридору, будто не заметив меня.

Было это поздно вечером в субботу.

Баню жарко натопили, потому что днем в субботу всегда мылись в ней наши сотрудники и перед сном ходил париться сам начальник.

И вот как раз после начальника в баню пошла,

но распоряжению Веньки, эта четверка заядлых бандитов под охраной Пети Бегунка и одного милиционера из городского управления.

Бандитам в бане показалось холодно, и они попросили подбросить немножко дров.

— Кто ж вам будет подбрасывать? — спросил Петя. — Истопник ушел.

— Да мы сами подбросим, ежели разрешишь, — сказал Лазарь Баукин. — Мы все-таки лесные жители. Живем в лесу, молимся колесу, а, однако, тоже люди. Одушевленные…

И, правда, они тут впотьмах стали перетаскивать дрова. Но потом оказалось, что перетаскивал-то один Никифор Зотов, а остальные трое, зайдя за поленницу березовых дров, перемахнули через каменный забор и скрылись.

В тот же час была организована погоня. Поиски опасных преступников продолжались всю ночь, но не дали никаких результатов.

И утром уже весь город разговаривал об этом побеге.

У ворот уголовного розыска остановились щегольские санки. Из санок вылез уездный прокурор, посещавший нас только в торжественных случаях, а чаще вызывавший к себе. Он протер носовым платком толстые стекла пенсне и, вы-

слушав объяснение начальника, заявил, что потребует немедленно отдать под суд Бодягина (Бегунка) и милиционера Корноухова, находившегося на посту у бани.

Тогда Венька Малышев сказал, что если вопрос ставится так на ребро, то пусть лучше уж его, Малышева, отдадут под суд: ведь это он распорядился проводить бандитов в баню.

У прокурора задрожало пенсне на носу.

— Закон одинаково распространяется на всех, — сказал он. — Если преступники не будут пойманы, вы, естественно, также должны будете понести серьезную ответственность за вашу халатность. Или, может быть, — он многозначительно поднял палец, — за другие противозаконные действия. Я сейчас не хочу ничего предрешать…

Затем прокурор два раза измерил шагами по снегу расстояние между забором и баней, осмотрел колючую проволоку на заборе, оставшуюся почти не тронутой, произнес в заключение только одно слово: «Специалисты!» — и пошел со двора.

Начальник провожал его до саней, что-то горячо доказывал ему, размахивая руками, но что именно доказывал, нам не было слышно.

Венька стоял во дворе в одной гимнастерке, без шапки и рассеянно смотрел на ржавый моток колючей проволоки, валявшейся у забора в снегу. Эта проволока осталась от той, что обматывали забор. Надо было бы обматывать его еще выше.

Я сказал об этом Веньке. Но он махнул рукой и поморщился:

— Все это ерунда. Не в проволоке дело.

— А в чем? В психологии, что ли? — не мог не съязвить я. — У собак, наверно, тоже есть своя психология.

Венька внимательно посмотрел на меня и ничего не ответил, только обиженно надул губы. И я мгновенно представил себе, каким он был в детстве.

Он был, наверно, беленьким, веснушчатым, толстогубым мальчиком с застенчивыми глазами. Он стал взрослым, высоким, сильным. На лице его теперь чуть заметны веснушки, и волосы чуть потемнели. А в глазах в этот час огорчительной растерянности все еще светится детство.

— Вот, Малышев, плоды твоего либерализма, — указал пальцем начальник, возвращаясь от ворот. — Где ты его будешь сейчас искать, этого прекрасного Лазаря Баукина с компанией? А ведь я тебя, кажется, предупреждал. Предупреждал я

тебя или нет? Ответь…

Но Венька ничего не ответил начальнику.

Начальник вынул из брючного кармана портсигар, подавил большим пальцем на голову змеи, изображенной на портсигаре, взял папиросу, нервно помял ее в искалеченных пальцах и, прикурив, сказал:

— Упрямый ты человек, я смотрю на тебя, Малышев. А это значит что? Это значит, что я по-настоящему должен отстранить тебя от должности…

Венька сузил глаза и дерзко взглянул на начальника:

— Отстраните. Я плакать не буду. Это ваше дело, кого отстранять, кого назначать.

— Нехорошо разговариваешь. Не помнишь, с кем разговариваешь, — прихмурился и дохнул на него дымом начальник. — И правильно, надо бы тебя отстранить. — Начальник сердито зашагал к крыльцу. Но у крыльца остановился. — Однако я тебя не отстраню. Я тебя заставлю, имей в виду, найти Баукина. Ты слышал, что прокурор заявил? Надо найти преступников. Во что бы то ни стало. Найдешь?

— Не знаю, — сказал Венька. — Я к ворожее еще не ходил. Откуда я могу знать, найду или нет?

— Нехорошо разговариваешь, — опять заметил начальник и ушел в здание.

А Венька остался во дворе.

Из амбулатории, что рядом с баней, вышел фельдшер Поляков.

— Хочешь, плюс ко всему, застудить плечо? — спросил он Веньку. — Я на тебя все время в окно смотрю. Пойдем, я тебе переменю повязку. А то я скоро уйду. Меня в уздрав вызывают…

Венька покорно пошел за Поляковым.

Я заглянул в секретно-оперативную часть, когда Венька вернулся из амбулатории.

Он сидел за столом, подперев голову обеими руками, и читал какие-то протоколы.

Я посмотрел ему через плечо и узнал протоколы допросов Баукина.

«Их читать теперь бесполезно», — подумал я, но ничего не сказал.

Веньке, наверно, и так здорово обидно. Лучше не затрагивать больное место.

Я спросил, не пойдет ли Венька обедать.

— Нет, — поглядел он в окно. — Рано еще. Я есть не хочу. Нету аппетита…

Из окна был виден белый, заснеженный пустырь, на котором копошился подле аэросаней механик.

Удивительным мне показалось, что корпус саней уже поставлен на лыжи и укреплен пропеллер.

— Пойду покопаюсь с ним, — кивнул в окно Венька. — Все равно сегодня ничего не лезет в башку. Башка просто как чугунная.

Венька надел свою монгольскую шапку, стеганую телогрейку, взял варежки и пошел на пустырь.

Когда я возвращался из столовой после обеда, он все еще сидел на корточках подле саней и, поворачивая метчик, нарезал зажатую в тисках гайку.

Лицо и руки у него были измазаны черным маслом, и, разговаривая о чем-то с механиком, он смеялся.

«Вот, наверно, настоящее его дело», — подумал я, приближаясь к ним.

И Венька сам со смехом сказал, увидев меня:

— Готовлюсь в механики, в старшие помощники по механической части, если отстранят...

Я присел около него. Все-таки странно, что он так быстро успокоился и даже заметно повеселел.

— Гляди, — показал он, — сани-то скоро начнут действовать. А ты сомневался, не верил. — И,

легонько надавив на рычаг, развернул тиски. — Не верить, я считаю, нельзя. Правда, нельзя не верить? — спросил он механика, как мальчик. И, не дождавшись ответа, опять засмеялся: — Я, например, во все чудеса верю. В любые чудеса…

Это он, может быть, от нервной встряски стал таким веселым, подумалось мне тогда. Или он из упрямства, из самолюбия не хочет теперь показать всем, что его ошеломил побег Баукина.

Однако обедать в этот день он так и не пошел.

И ночью долго не мог уснуть, все ворочался. Наверно, у него разболелось плечо.

О Лазаре Баукине он как будто забыл на следующий же день.

Но когда курсантов с повторкурсов снова вывели на лыжах прочесать ближайший к Дударям лес, Венька сказал мне:

— Ерунда это все. Лазарь не глупее нас. Если он ушел, так ушел. И знал, куда уйти. Не такой он мужик, чтобы не сообразить…

И опять я не заметил, что Венька сердит на Баукина.

Кто-нибудь со стороны, послушав Веньку, мог бы серьезно заподозрить его в том, что он сам помог убежать Баукину, но у меня даже мысли такой не было. Нет, Венька не знал, что Лазарь

убежит, если его поведут в баню.

Я вспомнил, Как Венька побледнел, когда услышал о побеге, как он всю ночь вместе с курсантами повторкурсов прочесывал лес под Дударями и перед утром сказал мне:

— Все-таки я никогда не думал, что так получится. За такое дело я сам бы стукнул его. Это же не шутка. Взять бандитов с бою, а потом за здорово живешь отпустить!..

Нельзя сказать, что мы ничего не делали, чтобы хоть нащупать след беглецов. Мы облазили, пожалуй, весь город и несколько ближайших к городу деревень, но никого не нашли.

— Надо ехать в Воеводский угол, — решил Венька.

И начальник согласился с ним, но считал, что необходимо подождать, когда будут готовы аэросани.

Венька теперь почти все свободное время проводил на пустыре подле аэросаней.

О Баукине он по-прежнему, даже в разговорах со мной, не вспоминал. Да и аэросани готовились не только для поимки Баукина. Начальник считал, что нам давно пора объехать в зимнее время Воеводский угол, так сказать, прощупать его, разузнать, чем он дышит и как само население

относится к банде Кости Воронцова, притаившейся до времени в снегах глухой тайги Воеводского угла.

О Баукине напоминал прокурор. Он каждую неделю звонил нашему начальнику и спрашивал, нет ли отрадных новостей.

— Нет, но будут, — успокаивал его начальник. — Предпринимаем серьезную экспедицию…

А пока жизнь в нашем учреждении шла своим порядком.

Не надо, однако, думать, что нас волновали только события, связанные с нашей работой. Были, конечно, и другие события.

5

В продовольственном магазине недалеко от нашего учреждения появилась хорошенькая кассирша.

Венька первый заметил ее и показал мне.

Она сидела в стеклянной будке на высоком стуле перед серебристой кассой, строгая, чуть надменная, в голубом мохнатом свитере, и выбивала талоны с таким снисходительным видом, будто ее пригласили сюда временно заменить кого-то и она любезно согласилась, хотя за пределами магазина у нее есть, наверно, другое дело,

более важное и более интересное.

Выбрать работу по вкусу, по душевным склонностям было в те годы почти невозможно. Безработица томила людей, заставляла цепляться за любой способ заработать. Лишь бы как-нибудь прокормиться, прокормить семью. И девушка эта, нам думалось, тоже случайно стала кассиршей. Не похожа она была на кассиршу. Нисколько не похожа.

Занятие в магазине, видимо, огорчало ее, покупатели раздражали, но она сдерживала себя, временно покорившись судьбе. И это выражение надменной покорности на лице кассирши вначале удивило нас, а затем вовлекло в непредвиденные расходы.

Вскоре все ящики наших служебных столов были заполнены спичками.

И хотя ни я, ни Венька не хотели признаться даже друг другу, что нас интересует кассирша, со стороны это все-таки было нетрудно заметить.

В магазин мы стали ходить и вместе и порознь почти каждый день, и в день по нескольку раз. Покупать нам было, в сущности, нечего, и спички были пока единственным показателем нашей необыкновенной взволнованности.

Сначала мы покупали их по целой пачке, потом

по два коробка и, наконец, по коробку, но заговорить с кассиршей не решались.

И странное дело! Чем чаще мы заходили в магазин, тем меньше смелости было у нас.

Мы стали стесняться даже заглядывать в магазин. Нам казалось, что и кассирша заметила нашу заинтересованность и посторонние люди начинают смеяться.

Однако мы все-таки каждый день, занятые все прибывавшей работой, думали, что именно сегодня как-нибудь случайно увидим кассиршу. Может быть, встретим на улице.

Думали мы, разумеется, каждый про себя. Но я уверен, что Венька думал точно так, как я.

Однажды утром он достал из-под кровати летние сапоги, начистил их до блеска и стал носить вместо валенок каждый день, хотя еще стояли морозы.

В сапогах в обтяжку он выглядел много интереснее. И ясно было, что он носил их теперь специально для кассирши.

Я все-таки спросил:

— Для чего это зимой в сапогах?

Он сказал:

— Мне так легче.

И вдруг вспыхнул, сконфузился. Поэтому я не

стал его расспрашивать.

Я сапог не надевал. Я но-прежнему ходил в валенках. Но зато я постоянно придумывал подходящие фразы на случай внезапного разговора с кассиршей. Я верил, что такой случай произойдет. Где-нибудь мы с нею обязательно встретимся.

Взволнованность наша все росла.

Я не знаю, заметил ли это Узелков, но однажды, сидя у нас в дежурке, он взглянул в окно и сказал торопливо:

— Смотрите, смотрите, ребята, какая амазонка идет!

Мы подошли к окну. Она шла по тротуару, высокая, стройная, в теплых вышитых унтах, с крошечным чемоданчиком, как артистка.

Я скрыл свое волнение, помолчал секунду и, сколько мог равнодушно, спросил Узелкова:

— Ну, как?.. Нравится она тебе?

Узелков еще раз взглянул на нее и, как старичок, в бурной жизни которого было много красивых женщин, давно надоевших ему, презрительно пожевав губами, ответил:

— Не лишена.

У Веньки Малышева лицо налилось горячей кровью. Хмурый, он отошел от окна, будто озабо-

ченный неотложным делом, и вышел в коридор.

Узелков, продолжая смотреть в окно, сказал, ни к кому не обращаясь:

— Я сегодня непременно с ней познакомлюсь. Это, должно быть, экзальтированная девушка. В моем вкусе. Даже в походке чувствуется этакая… экзальтация.

И стал обеими руками надевать чуть полысевшую заячью папаху.

Обещание свое он выполнил в тот же вечер.

Вечером в магазине никого не было. Магазин закрывался. Узелков зашел купить пачку папирос, и кассирша выбила ему последний чек. Он взял папиросы и, закуривая тут же, заговорил с кассиршей, считавшей выручку.

Он, наверно, я так думаю, распахнул свою собачью доху, под которой у него была новая толстовка из чертовой кожи, вязаный шелковый галстук с малиновой полоской посередине и разные жестяные и эмалированные значки.

Не знаю, этим ли, или необыкновенными словами, или еще чем-нибудь он поразил воображение кассирши.

Известно только, что, закончив подсчет выручки, она разрешила ему проводить ее до дому, не обратив, должно быть, особенно внимания на

его, как говорится, внешние данные.

Проводив ее, он в тот же час, хотя было уже очень поздно, прибежал к нам в дежурку и рассказал подробности.

— Она, как мадам Бовари, — говорил он, удовлетворенно сморкаясь в пестрый носовой платок, — совершенно одинокая. И, как я, приезжая. Только из Томска. У нее никого тут нет. Живет на Кузнечной, шесть. Довольно культурная. Разбирается в вопросах. Отец — преподаватель то ли физики, то ли химии. Сама, как и я, еще недавно была на производстве, кажется, в Усолье. Там и вступила в комсомол. Зовут — Юля. Фамилия — Мальцева. Приехала сюда случайно. Ей сказали, что тут можно устроиться в клуб, что тут нужны работники. Но ее обманули…

Из всех подробностей нас больше всего удивило, что она комсомолка.

В те времена комсомолки одевались еще на редкость просто, как на плакатах: в косынках, в рабочих башмаках, стриженые. А у нее были длинные вьющиеся волосы, затейливо причесанные, и в волосах точеная блестящая гребенка.

Нам приятно было узнать, что она комсомолка. Это сближало нас. Но в то же время нам было обидно. Уж кому-кому следовало бы, кажется,

первыми собрать все сведения о ней, так это нам, а не Узелкову.

Некоторые товарищи, может быть, даже скажут сейчас: какие же вы были работники уголовного розыска, если не могли самостоятельно узнать даже такие простые подробности?

Но работники уголовного розыска, я уверен, так не скажут. Ведь это было не оперативное задание. Это была не служба. Это было — я знаю теперь — наше первое сильное увлечение, лишившее нас необходимой для успеха рассудительности и быстроты действий.

Всякий раз теперь, приходя к нам в дежурку, Узелков обязательно рассказывал что-нибудь о Юле Мальцевой, о ее характере, привычках, вкусах.

— Она задыхается в этой глуши, и ей, мне кажется, приятно, что я иногда провожаю ее, — говорил он однажды вечером, сидя у нас в дежурке и поглядывая на стенные часы. — На прошлой неделе я не зашел за ней, так она даже обиделась. А вчера я просидел у нее почти до двенадцати часов…

— Где это ты просидел у нее? — спросил я.

— Разумеется, дома, на Кузнечной, шесть. Она просила меня почитать ей Есенина.

— Она что же, сама не может прочитать?

— Да разве в этом дело? Она просит, чтобы именно я читал. Она находит, что я отлично читаю стихи. А она вполне культурная девушка. Я ей задавал самые сложные вопросы даже из области физики и химии. И она прекрасно реагирует. Мы с ней вместе по моей инициативе перечитали «Мадам Бовари»...

Может быть, нам не так было бы обидно, если бы кто-то другой подружился с этой самой Юлей Мальцевой. Но Узелков...

Я потом часто думал, что люди в большинстве случаев одинаково несправедливо и любят и не любят друг друга. Возможно, что и Узелкова мы не любили несправедливо и поэтому упорно старались не замечать его достоинств, которые, быть может, заметила Юля Мальцева. Ведь какие-то достоинства у него были.

Во всяком случае, успех Узелкова нас раздражал, хотя мы, наверно, сами изрядно преувеличивали его успех и никак не могли понять, чем же он берет.

Я помню, он особенно расстроил нас в тот вечер, когда рассказывал, что просидел у Юли до двенадцати часов. Мы, правда, не поверили ему, но все-таки расстроились.

Выйдя из дежурки на улицу, мы с Венькой по-

шли прямо к Долгушину.

Обычно мы ходили к нему в субботу, после бани. А это было, кажется, в четверг. Но мы все-таки пошли.

У Долгушина играла музыка. Две худощавые девицы, стоя на возвышении, пели тягучий цыганский романс. Их было видно в стеклянную дверь, отделявшую ресторан от вешалки.

У вешалки, как всегда, стоял огромный начученный медведь с белесыми стеклянными глазами, в которых отражался желтый свет керосиновой лампы-«молнии». И ресторан так и назывался — «У медведя».

В этом ресторане до революции кутили богатые купцы, торговцы пушниной, золотопромышленники. И ресторан был поставлен, как говорится, на широкую ногу, с расчетом на солидного посетителя.

Прежний его хозяин, Махоткин, после разгрома Колчака уехал, говорят, за границу. Уехали и многие его клиенты. Но кое-кто остался, приспособившись к делам и при новой власти.

Приспособился и Долгушин — бывший старший приказчик купца Махоткина.

В прошлом году он снова открыл этот ресторан, сохранив прежнюю вывеску и прежние порядки.

Публика, однако, стала более пестрой. Но и из этой публики хозяин выделял некоторых посетителей, оказывая им особый почет.

Нас Долгушин обычно встречал у дверей.

Причастный к не очень чистым коммерческим делам, он слегка побаивался нас и, точно желая загладить давнюю вину, заботился и суетился больше, чем надо. Оттеснив швейцара, он сам помогал нам снимать полушубки и говорил возбужденно:

— Пожалуйте, прошу вас, господа.

— Господа в Байкале, — напоминал Венька.

— Ну, извините старичка. Я уж так привык, дорогие товарищи.

— Вам жигаловские волки товарищи, — говорил я.

Долгушин добродушно смеялся, будто услышал что-то невероятно смешное, и поспешно семенил впереди нас, крича на ходу:

— Захар, столик прибрать! Начальники пришли! Чистую скатерть!

Нам отводили столик в давно облюбованном углу, из которого удобно было наблюдать всю публику, не привлекая к себе всеобщего внимания.

Долгушин, расточая улыбки, суетился около нас, мешая официанту накрывать стол. Но мы

как бы не замечали его. Будто не он был хозяином в этом приятном, хорошо натопленном, сверкающем белизной заведении, украшенном свежими пихтами, кружевными занавесками и бронзовой люстрой с хрустальными подвесками.

Мы презирали Долгушина.

И до сих пор мне не понятно, как мог он, не возмущаясь, терпеть наше такое откровенное к нему отношение.

Впрочем, за этим презрительным отношением скрывалось собственное наше смущение. Нам, комсомольцам, не следовало бы ходить в нэпманский ресторанчик. Но мы все-таки ходили.

Нам нравились здесь и отбивные котлеты и чистые скатерти. И, скажу откровенно, цыганские романсы нам тоже нравились. Они звучали в табачном дыму, как в тумане, далеко-далеко.

Долгушин спрашивал:

— По рюмочке не позволите?

— Нет, — говорил Венька.

— Да у меня ведь, поимейте в виду, не самогонка, у меня водочка. Имею специальное разрешение…

— Все равно не надо.

— Неужто не пьете?

— Нет.

— А работа у вас тяжелая, — вздыхал Долгушин. — По такой работе, как я понимаю, если не пить… Хотя не наше собачье дело. Угодно, пивка велю подать?

— Угодно, — говорил Венька.

Долгушин в знак особо почтительного к нам отношения сам приносил на наш столик пиво, потом отбивные котлеты с картошкой и огурцом, нарезанным сердечком, и в заключение крепкий чай.

Всегда одно и то же, по нашему желанию.

И всякий раз Долгушин удивлялся:

— Какие молодые люди пошли сознательные! Ни водку они не пьют, ни вино. И правильно. Что в ней хорошего-то, в водке? Одна отрава, и только. Совсем бы ее не было.

Мы молчали. Водку пить у Долгушина мы все-таки не решались.

Да водка в те времена и не так уж сильно интересовала нас. Сам ресторанный веселый шум действовал и возбуждающе и успокаивающе.

Мы отдыхали здесь. И лучшего места для размышлений мы не могли бы придумать.

Город тогда еще не восстанавливался после гражданской войны. У города не было средств. Наполовину сожженный и разрушенный колча-

ковцами во время отступления, он все еще полон был развалин и землянок.

Единственный клуб имени Парижской Коммуны помещался в здании бывшего женского монастыря. Но там устраивали только собрания и крутили одни и те же старинные кинокартины с участием Веры Холодной, Мозжухина и Лисенко.

В этот вечер мы долго сидели в ресторане. И ни я, ни Венька ни разу не вспомнили вслух ни об Узелкове, ни о кассирше Юле Мальцевой, как будто нас это вовсе не интересовало.

Мы уже готовы были расплатиться по счету и уйти, когда в застекленных дверях показался Узелков.

Он небрежно скинул на руки старика швейцара свою облезлую собачью доху и заячью папаху. Оправил толстовку. Пригладил сухонькими, как у старичка, руками волосы. И, близоруко оглядывая публику слезящимися с мороза глазами, вошел в просторный зал.

— О, — разглядел он нас, — вы, оказывается, тоже посещаете злачные места!.. Привет частному капиталу! — полуобернулся он к Долгушину.

— Ну, какой у нас капитал! — вздохнул Долгушин. — Весь капитал в нынешнее время ушел за границу…

— Ладно, ладно. Нечего прибедняться. Я не фининспектор, — присел Узелков к нам за столик. — Кофе мне, пожалуйста. — И поднял палец. — Черный. И желательно покрепче…

— Понимаю, — поклонился Долгушин. — А еще что позволите?

— Ну, что у вас там еще есть?

— Например, печенье, пирожные…

— Пирожные? Ну, что ж, можно пирожное. Только, пожалуйста, песочное. Я с кремом не люблю…

— Я знаю, — опять поклонился Долгушин.

Был какой-то еле уловимый оттенок в отношении Долгушина к нам и к Узелкову. С Узелковым он разговаривал так, будто им одним — Долгушину и Узелкову — точно известны особые тонкости ресторанной культуры, угасающей в эти тяжкие времена.

И хотя Узелков ничего, кроме кофе с пирожным, не заказал, Долгушин все-таки выразил на вяленом своем лице искреннее удовольствие тем, что его посетил такой важный и культурный человек, как Узелков.

А ничего важного, на взгляд, в Узелкове не было. Мне подумалось, что у него и денег нет. Поэтому он и не заказал настоящую еду. Но он пил

кофе с таким видом, словно только что хорошо отужинал и лишь из баловства — исключительно из баловства — заказал сверх всего кофе.

Он прихлебывал из маленькой чашки и одновременно курил, аккуратно стряхивая пепел на лапки фарфорового зайца, поддерживавшего блюдце-пепельницу.

Недалеко от нашего столика под стеклом буфетной стойки тускло мерцали бутылки со сладкой водой и разной величины тарелочки с сыром, кетовой икрой и копченым омулем.

Кивнув на них, Узелков сказал:

— Что единственно прекрасно в Дударях, так это продовольственный вопрос. Даже по сравнению с Москвой здесь прекрасно…

Оказывается, Узелков еще год назад ездил в Москву. Он упомянул об этом вскользь, между прочим. Но мы сразу же заинтересовались его словами.

Венька, облокотившись на стол и подавшись всем корпусом к Узелкову, спросил:

— И на Красной площади был?

— Разумеется…

— А Ленина видел?

Узелков потянул к себе блюдце с чашкой и опять сказал:

— Разумеется…

У Веньки заблестели глаза:

— Что разумеется? Ты скажи прямо: видел Ленина?

— Ты что меня допрашиваешь? — вдруг обиделся Узелков и чуть отодвинулся вместе со стулом.

— Не допрашиваю, — смутился Венька. — Но понимаешь, это же очень интересно, если ты, правда, видел Ленина. Где ты его видел?

— Это длинный разговор…

— Ничего. Мы послушаем…

Венька подозвал официанта и заказал ему еще пива, чтобы не сидеть даром. Потом предложил Узелкову:

— Ты себе тоже что-нибудь закажи, какую-нибудь еду. Пирожным этим ты не наешься. Может, у тебя денег с собой нет? Мы заплатим…

— Вы что, хотите сыграть роль… меценатов?

— Да ничего мы не хотим сыграть. Просто нам интересно тебя послушать. Закажи, что хочешь. Посидим, поговорим…

— Странное у вас отношение, — насмешливо посмотрел на нас Узелков.

И действительно, ему могло показаться странным, что Венька, часто сердившийся на него, вдруг проявил к нему такой горячий интерес и

даже хотел угостить ужином.

Узелков от ужина за наш счет отказался. И разговор о Москве у нас тоже не получился. Узелков так и не смог или не захотел — нет, скорее не смог — рассказать нам ничего нового о Ленине, хотя Венька задавал ему множество вопросов. Он крутил его этими вопросами, как ребенок куклу с заводным механизмом, желая угадать, где же у нее душа.

Наконец Венька спросил:

— А почему в Москве ты не остался?

Узелков допил кофе, доел пирожное и, оставив на тарелке крошечный кусочек — для приличия, — сказал:

— Мое место там, где я всего нужнее. Сибирь еще долго будет испытывать недостаток в культурных людях.

— Ну, это правильно, — согласился Венька. И еще спросил: — А отсюда когда уезжаешь?

Узелков поиграл ложечкой в пустой чашке и сам спросил:

— А тебе это зачем… знать?

— Просто так, — сказал Венька. — Пива выпьешь?

— Налей.

— Ты ведь приехал вроде как в командировку.

Мы так поняли, что ты на время приехал…

— На время, — подтвердил Узелков, подняв стакан. — Но время — понятие растяжимое. Вот я и решил растянуть его.

— Ты, значит, можешь жить по своей воле где хочешь и сколько хочешь?

— Могу. Но, конечно, до известной степени. Наступит какой-то момент, и я отсюда уеду. Юля Мальцева вчера сказала, что она с ужасом думает о том, как все будет, когда мне придется уехать…

При этих словах Узелкова Венька густо покраснел и опять подозвал официанта, чтобы расплатиться.

— И за него получите, что он тут пил, — показал он на Узелкова.

— Нет, ты уж за меня, пожалуйста, не беспокойся, — запротестовал Узелков. — Я за себя заплачу сам. Странная манера для комсомольца разыгрывать роль мецената…

Но Венька в самом деле не собирался разыгрывать никакой роли. Нам обоим хотелось в этот вечер как-то приветить Узелкова, потому что за всеми его пышными словами нам почудилось вдруг что-то невыразимо печальное. Может, он и слова эти произносит, чтобы прикрыть какие-то неудачи в своей жизни, что то такое, о чем он

прямо не говорит, но что просвечивается в его круглых галочьих глазах.

Венька даже спросил его:

— Ты какой-то вроде тоскливый. Дела, что ли, неважные на твоей службе?

— Мыслящий человек всегда печален, — сказал Узелков. — Вам это, разумеется, не понять. Вы, так сказать, выполняете простые функции. Других интересов, как я догадываюсь, у вас нет. Духовная жизнь вам, иначе говоря, недоступна. Вы ведь даже книг не читаете…

— Это верно, — согласился Венька, не обидевшись.

Хотя можно было бы обидеться. И кто-нибудь другой обиделся бы на Узелкова, на его слова, произнесенные грустным и в то же время почти презрительным тоном. А Венька только сказал:

— Понимаешь, некогда. И читать некогда, и скучать некогда. Прочитаешь что-нибудь, что по делу надо, и все. А этого, конечно, мало… Да ты пей пиво, — опять налил он Узелкову полный стакан. — Это же не для пьянства — пиво. Оно для здоровья. Ты смотри, какой ты худенький. А от пива ты сразу порозовеешь…

— Любопытная теория, — усмехнулся Узелков, но пиво выпил.

И Венька снова наполнил его стакан.

— А как ты пишешь? — спросил Венька. — Ты сначала берешь какой-то случай, а потом придумываешь, что ли?

— Придумываю, — насмешливо сощурился Узелков. — Как ты это все вульгарно представляешь себе. Я создаю определенный интерес к материалу. У нас же есть подписчики. Ты думаешь, это вот так просто — распространять газету? Многие не хотят подписываться. Ведь публика малокультурная. Все время надо давать интересный материал, с изюминкой…

И Узелков щелкнул языком, как тогда, в первый раз, в дежурке, когда мы с ним познакомились.

— И ты, значит, не можешь… не придумывать? — опять как бы потянулся к нему через стол Венька. — Тебя что, заставляют, что ли, придумывать? Это порядок, что ли, такой?

— Порядок, — засмеялся Узелков. — Я пишу для читателя. Меня должен знать читатель. У меня должно быть свое имя. Я Якуз для читателя. Я не просто беру факты, я их осмысливаю и подаю в определенном политическом освещении. В этом смысле моя роль весьма значительна, что, конечно, вам трудно понять…

— Нет, почему! — сказал Венька. — Это мы

понимаем, что ты работаешь для политики. Это нужно. Нужно объяснять, какая должна быть жизнь, как все должно быть устроено. Но перехватывать или вроде как привирать, я считаю, не надо…

— Что надо или не надо — это, к сожалению, не нам с тобой решать, — многозначительно произнес Узелков и внимательно посмотрел в пустой стакан.

— А что мы с тобой не люди, что ли? — выплеснул Венька в его стакан остатки пива из бутылки. — Мы все-таки комсомольцы и тоже что-то думаем, обязаны думать…

Узелков достал папиросы, закурил и, поломав в тонких пальцах спичку, сказал:

— Это в ресторане хорошо рассуждать. А жизнь значительно сложнее, чем ты это себе представляешь. Истинно мыслящему человеку недостаточно вот, как вам, поесть котлет и запить пивом. Уже древним это было понятно. Особенно, я хочу сказать, истинно мыслящий человек…

И он опять заговорил о Юле Мальцевой. Видимо, не только себя, но и ее он относил к мыслящим людям. Он стал рассказывать, как она прекрасно поет. У нее чистое сопрано. Кроме того, она отлично танцует.

— Но кому нужны в этом городе таланты? — вздохнул Узелков. И стал рассказывать во всех подробностях, как на днях она просчиталась, передала покупателю лишние деньги, и возник такой скандал, что если бы не отзывчивость некоторых товарищей, она могла бы попасть под суд.

Надо было так понять, что отзывчивость эту проявил сам Узелков. Вот почему он, наверное, и не ужинал, а попил для фасона кофе и накурился, чтобы не томил голод.

Я заметил, как он рассчитывался с официантом и держал в коленях портмоне, чтобы мы не увидели, сколько у него денег. Мы это сразу заметили, что он не при деньгах. Но дать ему взаймы было неудобно. Он слишком гордый, гордый и в то же время какой-то жалкий.

Непонятно мне все-таки, что нашла в нем Юля Мальцева, если правда, что он ходит к ней почти каждый вечер.

Он рассказывал, как она после работы сама готовит себе обед. Потом, веселая, берет гитару и поет. Больше всего, по словам Узелкова, ей удается: «Все говорят, что я ветрена бываю, все говорят, что я многих люблю!»

— И между тем она не лишена серьезных духовных интересов. Мечтает поступить в университет.

Упорно занимается и физикой и химией. И увлекается художественной литературой. Прочитала всего Флобера. Особенно ее увлек образ мадам Бовари. Кстати, это и мой любимый образ…

Рассказывая о Юле, Узелков, однако, не воспламенялся. Он сидел все такой же с виду печальный и скучный. А у меня от его рассказа немножко спирало дыхание. И Венька все больше хмурился, но делал вид, что не слушает Узелкова, а разглядывает публику.

Вдруг Узелков заметил в глубине зала какого-то знакомого и, оборвав рассказ о Юле, даже не попрощавшись с нами, пошел к нему. Мы, видимо, нужны ему были только до той поры, пока он не разглядел знакомого. И тем, что он так поступил, он как бы лишил нас тех добрых чувств, какие мы только что испытывали к нему.

Когда мы вышли из ресторана на пустынную и темную улицу, объятую крепким и звонким ночным морозом, Венька, подымая воротник полушубка, то ли насмешливо, то ли серьезно проговорил:

— Силен Узелков! Ничего не скажешь, силен…

— Нос у него мировой, — засмеялся я. — И уши музыкальные…

— Не вижу ничего смешного, — посмотрел на

меня Венька. — Если только на нос и на уши обращать внимание, можно больше ничего не заметить. Если к тому же завидуешь человеку…

— По-твоему, я завидую Узелкову?

— Почему ты? Может, мы вместе ему завидуем…

— В чем?

— Мало ли в чем. Но заметно, что завидуем. Поэтому и сердимся…

— Да в чем мы должны ему завидовать? — возмутился я. — Он настоящий трепач. По-моему, он и в Москву не ездил. И Ленина он не видел. Если б он видел Ленина, он, знаешь, как бы об этом рассказывал? А он ничего не мог нам рассказать. Только что в газетах пишут, он это все сейчас повторил. И в Дудари его послали, может, потому, что он там, в редакции, никому не нужен, а сюда толковые корреспонденты не хотели ехать: боялись…

— А он не побоялся. Значит, он не такой трус. А ты на него сейчас обиделся и вспомнил про его нос…

— Из-за чего я на него обиделся?

— Из-за всего. Из-за того, что он вдруг встал и ушел, как будто мы пешки какие, и ему совсем неинтересно с нами…

— Ну, это верно, — признался я. — Мне стало противно, что он так задается. И еще чего-то говорил про нашу духовную жизнь. Я не люблю, когда задаются…

— А я не люблю, когда собирают ерунду, — вдруг почему-то обозлился Венька. — Я не люблю, когда вот так обидятся, как ты, и начинают собирать ерунду. Мы весь вечер с ним разговаривали, хотели что-то понять. И ничего не поняли. А теперь будем смеяться, как торговки на базаре, что у него такой нос и уши. А он все равно со своим носом делает дела и не спрашивает у нас совета…

Венька не сказал, какие дела он имеет в виду. То, что писал Узелков в газете, ни мне, ни Веньке, в общем, не нравилось. А еще какие дела у Узелкова?

Я спросил об этом у Веньки, но он махнул рукой и больше ничего не сказал.

Мы пришли домой оба на что-то сердитые. Хотя я-то знал, на что я сердит. Мне неприятно было, что Венька как будто взял под защиту Узелков а. Почему это вдруг?

Мы молча разделись и легли спать. Но в эту ночь нам долго не спалось.

Венька ворочался, кровать его скрипела, и мне казалось, что я не сплю, потому что скрипит его

кровать. Потом наступила тишина. И в тишине Венька сказал:

— Интересно бы выяснить, чем он все-таки берет?

— Наверно, образованием, — предположил я, зная, что речь идет об Узелкове.

— Образованием? — будто удивился Венька.

Опять койка сердито скрипнула под ним и затихла. Он, видимо, завернулся в одеяло.

Я тоже поправил подушку и попробовал уснуть. Но Венька вдруг сбросил с себя одеяло:

— Не могу привыкнуть спать на левом боку. Сейчас же какая-нибудь ерунда приснится. А на правом — больно плечу. Здорово он мне все-таки его ободрал…

— А ты на спину ложись, как я. Или на брюхо.

— Все равно не могу, — вздохнул Венька. — И как он ловко все к месту вставляет: и химию и физику. И эту… Как он говорил?

— Мадам Бовари, — подсказал я.

Мысли наши шли в эту ночь по одному руслу. Я угадывал все, о чем думал Венька.

— Буза, — наконец задумчиво и устало проговорил он. — Мадам Бовари. Подумаешь, невидаль!

Через минуту Венька уже спал, зарыв голову в подушку.

Я встал, напился воды и тоже уснул.

Утром он чистил зубы над тазом и сквозь зубы говорил мне:

— В пиво Долгушин чего-то такое подбавляет. У меня голова болит.

Я сказал:

— Мне тоже показалось.

— Чего показалось?

— Ну, что он что-то подбавляет…

— Надо это проверить, — строго сказал Венька. — Пусть инспекция проверит, и в случае чего надо его взять за жабры.

Потом мы напились чаю, и голова у Веньки перестала болеть.

Ставя на табуретку то одну, то другую ногу он чистил сапоги и как-то особенно бережно протирал их бархоткой.

Впрочем, он делал это каждый день. Каждый день он или чистил щеткой, или даже гладил горячим утюгом всю свою одежду и тщательно осматривал ее на свету перед окном, проверяя, все ли в порядке.

— Аккуратный, как птичка, — говорила про него наша хозяйка Лукерья Сидоровна, женщина болезненная, слезливая, несильно любившая нас, поселившихся у нее помимо ее воли — по ордеру

из коммунхоза.

В это утро, начищая сапоги, Венька говорил о том, что мы, в сущности, плохо работаем, занимаемся ерундой и вроде топчемся на месте. По-настоящему надо бы уже сейчас, хотя бы на подводах, ехать в Воеводский угол. Нельзя всю зиму ждать, когда будут готовы аэросани. Так, чего доброго, и зима пройдет…

6

За ночь мороз ослабел. Выпал новый снег. Улица была пушистой, веселой.

Мы шли по улице, и я, взглянув на двухэтажный деревянный домик с резными карнизами, предложил:

— Зайдем в библиотеку?

— Зайди, — сказал Венька.

Я засмеялся.

— Зайди, серьезно, — уже попросил он. — Мне сейчас некогда. Я бы сам зашел…

Я, смеясь, поднялся на крыльцо этого чистенького домика библиотеки, осторожно открыл дверь.

Катя Петухова, увидев меня, растерялась. Подумала, наверно, что я кого-нибудь ищу. И я тоже, заметив ее растерянность, немножко смутился.

Она спросила строго, на «вы»:

— Вам что угодно?

Худенькая, белобрысая, в сером служебном халатике, она стояла передо мной и смотрела на меня, точно собираясь обидеться.

Я проговорил смущенно:

— Да вот, понимаешь, Малышев Вениамин — ты же его, наверно, знаешь — попросил меня зайти. Книги тут взять…

— Какие книги? — по-прежнему строго спросила Катя.

Она никак не могла ожидать моего прихода, да еще в такой ранний час: ведь прежде я никогда не заходил в библиотеку. Она, должно быть, ждала неприятностей. Вдруг я спрошу, не укрывается ли у вас тут кто-нибудь? Но я вынул из кармана записную книжку, в которую имел обыкновение записывать, между прочим, замысловатые слова Узелкова, и прочитал ей: — Франсуа Рабле. «Мадам Бовари».

— «Мадам Бовари» Густава Флобера, — деловито сказала Катя, уже успокоившись. — Это есть, пожалуйста. В отрывках. А Франсуа Рабле сейчас нет. Да вам зачем вдруг потребовалось с самого раннего утра?

— Надо нам, Катя, — произнес я секретным

голосом. — И еще дай, пожалуйста, химию, если есть…

— Химию… — повторила Катя и подставила к полке складную лесенку-стремянку. — Тебе какую химию?

— Как какую?

— Ну, органическую или неорганическую?

— Обе, — махнул я рукой.

Катя выложила на длинный узкий стол, покрытый линолеумом, несколько учебников химии.

— Выбирай, какую тебе надо. Вот Флобер.

Я выбрал три толстые книги.

— Три нельзя, — отложила она в сторону одну книгу. — И подожди. Я тебя должна записать в карточку.

Я подождал. Катя записывала и говорила:

— Срок — две недели. Прочтешь и приходи снова. Я только не понимаю, почему у вас такой выбор — химия и Флобер. Если решили заниматься самообразованием, надо постепенно. Я могу вам список составить.

— Составь, — попросил я. — Нам только, понимаешь, надо очень срочно.

— Очень срочно, — повторила Катя и улыбнулась снисходительно.

Но я ушел довольный.

«Мадам Бовари» в отрывках мы прочитали в два вечера.

Потом я принес еще несколько книг, рекомендованных Катей Петуховой.

Я не могу сказать, что чтение сильно увлекало нас. «Мадам Бовари», например, просто не понравилась. А химия оказалась настолько непонятной, что мы решили отложить ее до лучших времен.

Надо сказать спасибо Кате Петуховой. Она научила нас составлять конспект прочитанного.

А книг в этой библиотеке было много. Еще политические ссыльные завезли их сюда. Короче говоря, нам было что читать. Не хватало только времени, потому что мы не могли распоряжаться им по своему усмотрению. И все-таки мы прочитали за короткий срок немало книг.

И чем больше мы читали, тем сильнее чувствовали, как нам не хватает образования.

А раньше мы этого не замечали.

Нет, неправда, замечали, чувствовали. Но не так, как теперь, когда постепенно пристрастились к чтению.

Было бы неправильно, однако, считать, что чтением мы занялись только под влиянием Узелкова и только для того, чтобы привлечь к себе внима-

ние и возвыситься в глазах Юли Мальцевой.

Мы занялись бы чтением все равно. Но Узелков, конечно, был первым, кто стал колоть нам глаза нашим невежеством. А потом мы сами удивлялись, как это мы раньше могли жить не читая, когда все — ну, буквально все — вокруг нас читают или чему-нибудь учатся.

Это может кому-нибудь показаться странным, но я помню: после каждого комсомольского собрания, где лекторы говорили о социализме, о том, какая жизнь будет при социализме, нас с Венькой стала охватывать тревога.

Нам казалось, что при социализме мы, чего доброго, окажемся самыми отсталыми. Ну, что мы действительно будем делать? Мы даже обыкновенную школу не закончили. А при социализме все будут культурными, все должны быть культурными.

Однажды вечером Венька читал брошюру Ленина «Задачи союзов молодежи».

И в это время к нам заглянул наш дружок Васька Царицын — очень хороший паренек, работавший монтером на восстановлении электростанции.

Он шел на репетицию в драмкружок. И вот по дороге зашел к нам. Поболтали о том о сем. Васька рассказал нам анекдот, но мы как-то не сразу

засмеялись, и он спросил, почему мы сегодня такие невеселые.

— Да так, — сказал Венька. — А с чего особенно веселиться-то?

— Ну все-таки… Вы уж что-то очень невеселые, — заметил Царицын. И посмотрел на брошюру. — А это чего вы читаете? Готовитесь, что ли, к чему?

— Ни к чему не готовимся. Просто так читаем, — сказал Венька. И спросил: — А ты это читал?

— Нет, — засмеялся Васька. — Я в руководящие товарищи не лезу. Мне и так не худо…

— Да при чем тут руководящие! — возмутился Венька. — Это каждый комсомолец должен прочитать. Я это в прошлом году читал, но как-то не все уяснил. А вот сейчас слушай… — И он стал читать подчеркнутое карандашом: — «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество». Или вот опять: «Коммунист будет только простым хвастуном, если не будут переработаны в его сознании все полученные знания».

— Ну и что? — спросил Васька. — Я это знаю. У нас еще когда такой доклад был, на электростанции…

— Нет, вот я хочу тебя спросить, — сказал Венька. — Ты вот мне ответь. Ты, например, можешь стать коммунистом?

— Могу, — твердо ответил Царицын. — У меня есть две рекомендации, и меня еще рекомендует комсомольская организация.

— Это само собой, — сказал Венька. — Рекомендации и у меня есть. Но вот могут ли из нас получиться сейчас коммунисты?

— А почему? — опять засмеялся Васька. — Ты думаешь, нам будут экзамен устраивать, проверять, переработали ли мы все знания? Да я знаю таких коммунистов, которые даже того не знают, что мы с тобой знаем. У нас на станции работает старичок Михей Егорыч, тоже старый коммунист. Он еще в тысяча девятьсот пятом участвовал. Но он может работать только слесарем. Он и сам в инженеры не стремится. А, между прочим, коммунист…

— Нет, с тобой не сговоришься, — сказал Венька. — Ты просто не понимаешь, чего тебе говорят. Ты боишься только экзамена и радуешься, что тебя не будут экзаменовать. А совесть?

— Что совесть?

— Совесть коммунистическую надо иметь или не надо?

— Совесть у меня имеется, — с достоинством заявил Царицын и посмотрел на свое отражение в темном оконном стекле. — Но ты ведь, Венька, все берешь в идеальном виде. А если в идеальном виде брать, так нас всех до старости нельзя будет принять в коммунисты. Вот, скажем, так. В драмкружке мне дали сейчас играть генерала Галифе. Юрий Тихонович, наш режиссер, говорит, что я на него нисколько не похожий. И вообще эта роль не для меня. Но больше сыграть некому. Значит, буду играть я. И публика ни за что не догадается, похожий я на него или не похожий. Тут же у нас, в Дударях, никто генерала Галифе не видел. Штаны галифе видели, а генерала такого никто не видал.

— Ну да, — мотнул головой Венька. — Во всяком деле можно словчить и всех обмануть, но коммунист ловчить не должен. Не имеет права ловчить.

Васька чуть обиделся и сказал, что он никогда не ловчил и ловчить не собирается. Конечно, он не участвовал в пятом году и даже на гражданской войне не был, но если начнется война с капиталистами, как пишут в газетах, он не хуже других пойдет на фронт и покажет, что он настоящий, идейный коммунист. А что касается

переработки знаний всего человечества, то он собирается поступить на рабфак. И если потребуется, он все эти знания переработает. А в чем дело?

— Вот это здорово! — позавидовал Венька. — А я, к сожалению, поступить не могу.

— Почему?

— Потому что… Ну, словом, потому что я еще в детстве слабо учился. Хотя возможность была. Мой отец работал на железной дороге, хорошо зарабатывал. Хотел, чтобы я выучился. Но у меня большая задумчивость в детстве была. Учитель на уроке, бывало, объясняет, и я сначала слушаю. Потом чего-то такое задумаюсь, и все, что рассказывал учитель, из головы уйдет. Дальше я уж стараюсь его слушать, но мало что понимаю, поскольку часть пропустил. А раз я не понимаю, мне уже скучно слушать. Поэтому многие учителя меня считали бестолковым…

Васька засмеялся.

— Ничего смешного тут нет, — сказал Венька. — Может, я не один такой бестолковый. Может, много таких. Но тогда надо бы нас учить как-то по-особому. Но ведь учат, как стригут, всех под одну гребенку. Вот при коммунизме, наверно, все будет по-другому…

Васька Царицын перебил его:

— При коммунизме много чего будет. Но надо сначала всех бандитов и жуликов переловить. И сделать так, чтобы больше не жульничали и не спекулировали. А то вот мы про коммунизм разговариваем, а у нас сегодня ночью на электростанции весь свежий тес увезли, украли. Наверно, частникам продали…

— Вы заявили? — спросил я.

— Заявили.

— Ну, значит, найдем.

— Найти — это мало, — сказал Васька. — Надо это все вообще прекратить, всякое воровство и жульничество, чтобы этого никогда не было. Хотя, — Васька опять засмеялся, — хотя, если это все прекратится, вы-то с Венькой куда денетесь? Вы же тогда безработными будете.

— Почему это? — возмутился я. — Венька может работать слесарем. Он уже работал немножко. И я тоже куда-нибудь поступлю. Или пойду обратно в Чикиревские мастерские…

— Ну куда вы теперь поступите? Вон какая безработица! — кивнул на темное окно Васька. — На бирже труда прямо сотни людей топчутся. Нету никакой работы…

— А что, она вечно, что ли, будет, безработица?

— Не вечно, но все-таки. Моего отца опять сократили по штату…

Вспомнив об отце, Васька вдруг заговорил о женитьбе. Ему, оказывается, прямо в срочном порядке надо жениться.

Очень тяжелое положение в семье. Мать недавно умерла, отец-печник с горя запил, продает на барахолке последние вещи. Маленькие сестренки и братишка остались без присмотра. Что делать? Надо жениться, чтобы в доме была хозяйка. И у Васьки уже есть на примете одна. Хорошенькая, аккуратненькая. Приезжая. Но за ней увивается корреспондент. Как охотничья собака, повсюду за нею ходит. Не дает поговорить. А она кассирша…

Венька наклонил голову над столом, потом встал из-за стола и открыл шкаф, будто ему что-то потребовалось там.

А я спросил Ваську:

— Это какая же кассирша?

— Да вы, наверно, ее знаете, — сказал Царицын. — Из продуктового магазина кассирша. Бывший Махоткина магазин, как раз против вашего учреждения. Мальцева Юля ее зовут…

Мне стало очень обидно: «Даже Васька Царицын уже с ней познакомился. И собирается даже жениться. А мы…»

Венька, наверно, тоже так подумал. Он закрыл шкаф и сердито сказал Ваське:

— Ну что же, желаю тебе счастья с этой кассиршей…

— Да нет, — вздохнул Васька. — У меня, наверно, с ней ничего не выйдет. Этот корреспондент Узелков и на репетиции ее провожает и с репетиций. Я же говорю, как охотничья собака…

— А какие репетиции?

— Да я же рассказываю, у нас в драмкружке. Мы сейчас вот здесь в школе репетируем, сегодня в костюмах. Пьеса из жизни Парижской Коммуны. Эта Юля Мальцева, кассирша, будет играть Мадлен Дюдеван. Юрий Тихонович, наш режиссер, ей прямо в глаза говорит: «Вы прелестный цветок». Она будет умирать на баррикадах…

Васька взглянул на наши ходики и обомлел:

— Ой, да я опаздываю!

Он замотал шею красным шарфом, как у настоящего артиста, натянул телогрейку и побежал к дверям.

У дверей он еще раз оглянулся:

— Если хотите, ребята, можете зайти на репетицию. Это тут рядом. Мы сегодня первый раз репетируем в костюмах…

Я предложил Веньке, смеясь:

— А в самом деле, давай сходим посмотрим. Интересно.

— Давай, — согласился Венька.

7

В школе во всем здании было темно.

Только на втором этаже горела маленькая керосиновая лампа.

Мы поднялись по деревянной лестнице, прошли по коридору, где сильно пахло пудрой и паленными волосами, приоткрыли дверь в большой зал.

И сразу же навстречу нам вышел лысый человек в бархатной блузе с белым бантом.

— Вы участники? — спросил он. — Из массовки?

Мы привыкли отвечать, что мы из уголовного розыска. Но на этот раз мы промолчали, потому что все это к уголовному розыску не имело никакого отношения. А что такое массовка, нам было неизвестно.

Мы смотрели не на лысого человека, а на Юлю Мальцеву, которую хорошо было видно в приоткрытую дверь.

Она, не замечая нас, сидела перед зеркалом и держала над головой закопченные черные

щипцы для завивки. Значит, это ее палеными волосами пахло в коридоре и ее пудрой.

Других девушек в этом зале, где готовились к репетиции, как будто не было.

— Ну, в таком случае извините, — вдруг расшаркался перед нами, как на сцене, лысый человек. — У нас репетиция. Посторонним нельзя.

Нам бы надо было вызвать в коридор Ваську Царицына. Он же нас пригласил. Но мы не решились. И ушли, подавленные, кажется, больше всего этим словом — «посторонние». Посторонним нельзя.

Нам везде можно. Когда дело связано с опасностью, когда могут убить, поранить, искалечить, — нам всегда можно. А вот здесь нельзя.

И огорчаться как будто не из-за чего. Но мы почему-то сильно огорчились.

Переходя через улицу, мы увидели под фонарем заячью папаху Узелкова. Он шел в школу на репетицию драмкружка, чтобы потом проводить домой Юлю Мальцеву. Ну да, ему, конечно, можно… Он везде пройдет. И все другие раньше нас пройдут повсюду. И на репетиции в разных драмкружках и на рабфаки. Да и женятся, наверно, удачливее нас.

А мы повсюду опоздаем. Нас обгонят все, хотя,

быть может, мы и не самые бестолковые, не самые некрасивые.

Мне до той поры никто никогда так не нравился, как Юля Мальцева.

Я и сейчас, закрыв глаза, могу испытать волнение, представив себе ее во всем блеске, во всей прелести ее неполных восемнадцати лет.

До сих пор в моей памяти живут ее большие, навсегда удивленные, насмешливо-озорные и добрые глаза, ее волнистые, легкие волосы.

Вся она, веселая и грустная, медлительная и быстрая, с гибким и сильным телом, живет в моей памяти.

Но когда я, как возможный соперник Веньки, сравнивал себя с ним, мне понятно было, что не меня, а именно Веньку Малышева должна бы полюбить такая девушка.

Мы, кажется, в одно время с ним вступили в комсомол, в одно время, хотя и в разных городах, были зачислены на эту работу. Мы прочитали с ним одни и те же книги. И опыт жизни наш и возраст были почти одинаковы. Но все-таки я считал его старше себя, умнее, опытнее и, главное, принципиальнее.

Уж, конечно, если не меня, так Веньку должна была бы полюбить Юля Мальцева, но никак не

Узелкова.

Позднее я наблюдал, что красавицы не всегда достаются красавцам. Даже чаще красавицы в конце концов выходят за таких, как Якуз. И, кажется, не очень жалеют об этом.

А тогда, в тот далекий, на редкость тоскливый вечер, когда мы не попали на репетицию и острый запах паленых волос и удивительно пахучей пудры преследовал нас и на улице, я озлоблен был на несправедливость судьбы.

Весь остаток вечера я не мог найти себе подходящего занятия. Я не мог ни читать, ни играть в шашки. Да и играть было не с кем.

Венька, когда мы пришли домой, сразу сел писать письмо матери. И писал его долго. Потом заклеил конверт и, накинув стеганку, пошел на улицу, чтобы бросить письмо в почтовый ящик. Глаза у него были задумчивые.

Я сказал внезапно, должно быть нарушив его настроение:

— А все-таки ты знаешь, Венька, работа у нас, вот я думаю сейчас, очень неважная. Хуже, наверно, ни у кого нету…

Венька остановился, посмотрел на меня недоуменно.

— Работа тебе не нравится? Ну что же, можешь

бросить…

— Да не в том дело, — смутился я. — Но ведь, правда, у нас такая работа, что мы все время точно неприкаянные. А вот такой человек, как Узелков, везде пройдет…

— Брось ты этого Узелкова. Надоело, — поморщился Венька. И пошел на улицу, понес письмо.

Вернувшись, он сейчас же разделся и лег спать. Я тоже лег и погасил лампу. И уже впотьмах спросил:

— А как ты считаешь: если мы, допустим, не запишемся в рабфак, но будем читать только те книги, которые проходят в рабфаке, можем мы получить такое же образование, как все?

— Утром поговорим, — сказал Венька.

Утром на пустыре наш начальник оглядывал уже восстановленные полностью аэросани. Пахнущие свежей краской, они стояли на пушистом снегу, как гигантский кузнечик. И начальник, похлопывая по их темно-зеленому корпусу, говорил:

— Теперь мы сможем пройти куда хочешь. В любую погоду. Сможем прощупать медведя в самой его берлоге, когда он нас и не ждет вовсе…

— За проходимость этих саней я ручаюсь, — заверял начальника, вытирая паклей руки,

механик. — Везде, повсеместно пройдут…

— Как Узелков, — подмигнул мне Венька. И я понял, что он ночью тоже думал об Узелкове, но только, может быть, из самолюбия не хотел лишний раз говорить об этом.

А сейчас сказал и улыбнулся. И я улыбнулся. И в ту же минуту мы забыли про Узелкова.

Нам опять было некогда. Начальник собирал, как он говорил, экспедицию в Воеводский угол.

Мы с Венькой побежали домой, чтобы одеться потеплее.

У ворот уголовного розыска Веньку задержал наш сухопарый фельдшер Поляков:

— Я хочу, товарищ Малышев, сегодня еще раз посмотреть твое плечо. И еще я намереваюсь показать тебя приезжему доктору Гинзбургу…

— Некогда мне, Роман Федорович, — сказал Венька. — Я уезжаю сейчас, сию минуту…

— Ну, тогда смотри! — погрозил Поляков. — Я в таком случае снимаю с себя всякую ответственность…

— Снимайте, — весело сказал Венька.

Уже самая возможность дальней поездки на аэросанях воспламенила нас.

Венька боялся, что Поляков, осмотрев его плечо, помешает ему поехать в Воеводский угол.

Мы забыли обо всем, когда, наконец, тепло одетые, уселись в эти необыкновенные сани.

Механик, уже облаченный в кожаное пальто, застегнул на подбородке две пуговицы от кожаного шлема, натянул только что выданные рукавицы с длинными отворотами, нажал ногой на рубчатую педаль, передвинут рычаг с костяным набалдашником. И сани, осторожно выкатившись из города, вдруг с хрустом, с треском и завыванием помчались по необозримой снежной поляне, оставляя позади себя на пушистом снегу тройной след от широких лыж.

Нет, казалось в детстве, в ранней юности и кажется мне до сих пор, уже изрядно побродившему по разным краям, — нет на свете красоты, способной затмить в нашей памяти красоту, и величие, и волшебство могучей сибирской природы.

Даже зимой, когда леса и реки, равнины и горы укрыты снегами и охвачены крепчайшими морозами, сам простор неоглядный вселяет в душу невыразимую радость, внушает бодрость и настраивает на торжественный лад.

8

Где-то в глубине тайги, в глухих чащобах, под укрытием смолистых коряжин или каменных

плит, расщепленных дождями, и ветрами, и морозами, притаились до поры в своих душных берлогах матерые медведи.

И так же до поры до времени притаился где-то здесь в снегах со своей неуловимой многочисленной бандой знаменитый Костя Воронцов, неустрашимый кулацкий сын, «император всея тайги», как он сам называл себя то ли в шутку, то ли всерьез.

Только пар от медвежьего дыхания, оседающий подле берлоги и мгновенно застывающий в морозные дни в виде блесток пушистого белого инея, показывает, где величественно почивают медведи. И все население тайги — и косуля, и заяц, и лиса — почтительно и робко обходят жилища хозяев леса.

И так же робко обходят и объезжают бандитские логова жители заимок и деревень.

Впрочем, не все, далеко не все робеют здесь перед Костей Воронцовым. Некоторые даже с надеждой взирают на его банду. Может, Костя еще утвердится по-настоящему. Может, ему как-нибудь помогут из-за границы. Может, он в самом деле станет «императором всея тайги».

Ведь не первый год его колошматят разные ударные группы и ОГПУ и уголовного розыска.

Летом прошлого года особый отряд ОГПУ сильно потрепал его банду и здесь, в Воеводском углу, и в Куломинском уезде, куда уходила она от преследования. Казалось, что от банды его остались только жалкие охвостья, которые легко доколотит уголовный розыск. Поэтому особый отряд продвинулся дальше на восток, чтобы там громить еще большие банды.

К тому же в конце лета пронесся слух, что Воронцов утонул во время переправы. Рыбаки где-то выловили его труп.

Об этом была напечатана заметка в губернской газете «Знамя труда». И в заметке было высказано такое суждение, что с бандитизмом вообще будет скоро покончено.

Воронцов, однако, обманул всех. Глубокой осенью он опять объявился в Воеводском углу.

Здесь, в знакомых местах, он и зазимовал, стягивая к себе остатки разбитых отрядов и отрядиков, в которых верховодили колчаковские офицеры.

Может, он знает какой-то секрет неуловимости? Может, он еще войдет в полную свою силу, а там, глядишь, наступят перемены и где-нибудь в Москве? Может, все еще повернется обратно к старому?

Очень бы хотелось богатым сибирским мужи-

кам, чтобы все обратно повернулось к старому.

Однако надежд своих они открыто не высказывали и даже делали вид, что политика их вовсе не интересует. Мы народ, мол, темный, таежный. Пусть, мол, там уж где-то в городах решают, какая политика будет получше. А наше дело — хлебопашествовать, смолокурничать, выжигать древесный уголь, промышлять пушного зверя и сплавлять по быстрым рекам строевой лес.

Этот лес шел даже в Англию. А пушнину охотно брали и во Францию, и в Германию, и в Америку.

Не худо жили в Воеводском углу. Хотя, конечно, не все здесь жили хорошо.

Здесь, как повсюду, были богатые и бедные. И бедных, как водится, было больше, чем богатых.

Бедным могла бы понравиться советская власть. Но она здесь еще не дала того, что сразу почувствовали бедные крестьяне Центральной России. Она не распределяла помещичьих земель, которых не было здесь.

Она пока что не столько давала, сколько брала. И не могла не брать. Она брала в первую очередь хлеб, чтобы поддержать голодающее население центральных губерний.

Она обещала дать взамен по дешевой цене и в скором времени сарпинку и ситец, керосин и

соль. Но пока что обещания свои она выполнить не могла.

Она недавно отвоевалась, совсем недавно приступила к хозяйственным делам, эта новая власть, разгромившая тут, в Сибири, Колчака. Ее нехватки, просчеты, неопытность были пока еще виднее ее преимуществ. И этим пользовались противники новой власти, запугивая темное, суеверное население грядущими бедствиями…

— …Грядет сатана во образе человеческом! — провозглашал с амвона сельский священник и указывал приметы сатаны, удивительно совпадающие с приметами всего нового, что входило в эти годы в жизнь вместе с советской властью.

И новые школы, и избы-читальни, и медицинские пункты, организованные в самых глухих таежных углах в первые советские годы, противники власти объявляли делом сатаны, дьявольским наваждением.

Нелегко было тем, кто насаждал новые порядки. Да и тем, кто симпатизировал им, было не легче, когда на каждом базаре, в каждой потребиловке только и шли разговоры о том, как наказывает Костя Воронцов активистов советской власти, как нещадно он губит сельсоветчиков и кооператоров, избачей и заезжих лекторов, всех

пропагандирующих советскую власть.

А его покарать советская власть все еще не может. Нет, никак не может. Он угрелся в самых надежных чащобах тайги, куда не проедет, не пройдет сейчас по глубокому снегу ни конный, ни пеший.

Снегу намело в эту зиму видимо-невидимо. Однако снег на равнинах и на таежных полянах уже тяжелый — предвесенний.

Только что отгуляли с дракой, с лаем и мяуканьем свои бурные свадьбы лисы, рыси и росомахи.

Скоро и медведи начнут грузно поворачиваться в берлогах, начнут чесаться, скоблить когтями подошвы лап.

Скоро снег просядет, побуреет и сойдет.

Медведи выберутся на простор, пойдут искать пользительный медвежий корень — этакие луковицы, что растут потаенно на увалах под камнями.

Подоспеют к этому времени и синие цветочки пострела и почки на молодом осиннике — все, чем любит питаться медведь в первые дни весны.

Все уготовано для него заранее, в положенные сроки.

И так же заранее бандитские связчики, богатые мужики, что живут нетревожимо на заимках и в деревнях, заготовят все необходимое для Кости Воронцова: и боеприпасы, и продовольствие, и подходящих лошадей. И составят списки тех, кого накажет «император всея тайги» лютой смертью за надежды на лучшую жизнь.

Вот в какое время едем мы в Воеводский угол. Мы, конечно, и не рассчитываем захватить банду Кости Воронцова в ее логовах. Для этого у нас сейчас не хватит сил. Мы хотим только еще раз познакомиться с условиями, в которых будем действовать весной, и летом, и глубокой осенью.

А пока на равнинах, и горах, и на вершинах глухо шумящих лесов все еще искрится чуть отливающий голубизной снег. И когда наши аэросани с протяжным завыванием и треском поднимаются в гору, видно издали, как чернеют среди снегов заимки и деревни, расположенные близ пока недвижимых, замерзших рек. Видно, как синеют дымки над трубами. И хочется думать, что здесь течет мирная жизнь. Но мы-то знаем, что это не так.

В деревне Сказываевой, что вон еле виднеется у самого края леса, недавно заживо распяли на кресте молоденькую приезжую учительницу.

Говорят, она хотела организовать здесь комсомольскую ячейку. И больше ничего о ней не говорят.

Старший милиционер Семен Воробьев, прибывший на место происшествия на своей мохнатой кобыленке, увидел учительницу уже мертвой, раздетой донага. Виновных обнаружить ему не удалось. И следов, ведущих из глубины тайги, из тех мест, где скрываются, по слухам, банды, он тоже не нашел.

Не нашел он виновных и в таких деревнях, как Мачаево, Холмогоры и Варнаки, где недавно неизвестные преступники убили заезжего доктора, разоблачавшего знахарей, сожгли в избе-читальне избача, повесили селькора и утопили в проруби двух активных делегаток.

Не успевает старший милиционер Семен Воробьев вовремя объехать весь обширный свой участок, на котором, как утверждают лекторы, могут разместиться без труда, не толкаясь локтями, две Швейцарии.

Воробьев приезжает к месту происшествия каждый раз, когда преступление уже совершено. Да и что он может сделать, если он только считается старшим милиционером, а младших тут вовсе нет?

Не хватает еще у советской власти средств на содержание больших штатов. И Воробьев надеется в своей опасной деятельности только на поддержку активистов из населения. Их немного, но они все-таки есть. Есть серьезные, стойкие люди, добровольно помогающие Воробьеву.

Война оставила в деревнях и на заимках немало оружия. Его припрятали и те, кто связан с бандитами, и те, кто обороняется от бандитов.

Воробьев все время изучает население, вглядывается в него, выясняет, кто чем дышит. Но все-таки неважно идут дела у Воробьева.

Наш начальник, остановив аэросани у деревни Дымок, вызывает к себе старшего милиционера, долго, надев очки, просматривает протоколы дознаний, составленные старшим милиционером, хмурит густые заиндевевшие брови, сердито, натужно сопит. Потом спрашивает:

— Для чего ты это пишешь, Воробьев?

— Ну как для чего? Для представления…

— Вот именно для представления, — говорит начальник. — Только для представления ты это и пишешь, а не для дела. А это значит что? Это значит, что ты сам себя не оправдываешь. Не оправдываешь возложенную на тебя миссию…

— Не оправдываю, — скорбно соглашается Во-

робьев. — Это я сам чувствую, что не оправдываю. Иначе и вам бы не пришлось приезжать сюда на такой, тем более шумной, машине. Я бы сам лично поймал и Кинстинктина Воронцова, ежли бы это было в моей силе и возможности…

— Значит, ты это признаешь?

— Признаю.

— Ну, тогда садись к нам в сани, — говорит начальник. — Будем действовать вместе.

У Воробьева застывают в испуге выкаченные глаза.

Вообще-то бесстрашный человек, не однажды простреленный и заживлявший свои раны целебными травами, он сидит сейчас, уцепившись обеими руками за сиденье, и его, похоже, бьет лихорадка.

Он приходит в себя, только когда аэросани, обогнув неоглядную снежную равнину, останавливаются.

Начальник приказывает нам стать на лыжи, чтобы без шума пройти по заимкам, где живут, как известно Воробьеву, заядлые бандитские связчики.

На заимке Распопиной и у Пузырева озера проживают две любовницы Кости Воронцова — Кланька Звягина и Анфиса Большакова. Говорят,

что с Анфисой он больше не живет. Он еще прошлым летом ее бросил. А на Кланьке Воронцов собирается жениться в официальном порядке, как утверждает опять же Воробьев. Уж больно хороша она, по мнению Воробьева. Не девка, а просто ягода, огонь.

Нет, мы не собираемся их арестовывать, этих любовниц. Мы даже не берем с собой Воробьева, чтобы никого не пугать его новенькой, недавно выданной милицейской формой.

Он вместе с начальником и механиком остается у аэросаней.

А мы, шесть сотрудников, по двое разбредаемся на лыжах по ближайшим и дальним заимкам, или, иначе сказать, по хуторам.

За последнее время у нас скопилось немало агентурных сведений из Воеводского угла. Не все они проверены. Вот случай, когда хоть некоторые можно проверить.

Можно проверить кое-что и из показаний арестованных бандитов. Все-таки мы не напрасно так долго возились с остатками банды Клочкова. Кое что мы из них выудили. И даже Лазарь Баукин, наверно, не все сочинил на допросах перед своим побегом. Не может быть, что он все сочинил.

Я во всем доверяюсь Веньке. Я и должен ему доверяться, как помощнику начальника по секретно-оперативной части. Его память хранит десятки фамилий, адресов, фактов. И он уверенно идет на своих коротких и широких лыжах впереди меня вдоль кромки тайги по искристой снежной целине, то спускаясь в низину, то взбираясь на пологий увал.

Исключительно для порядка он советуется со мной:

— Давай махнем прямо на Распопино? А по дороге в Шумилово зайдем…

— Давай, — соглашаюсь я, хотя не очень ясно представляю себе, где это Распопино и где Шумилово.

В Воеводском углу я был всего один раз, прошлым летом, во время крайне неудачной операции, когда тут убили двух наших сотрудников. Но это произошло, мне помнится, где-то недалеко от тракта, близ деревни Гудносовой. А сейчас мы забрались, должно быть, в самую сердцевину Воеводского угла.

Венькины лыжи хрустят и повизгивают, прокладывая след в непромятом снегу, а мои почти неслышно скользят по готовой лыжне.

Венька отталкивается только одной палкой.

Вторую он зажал под мышкой. Наверно, у него все еще болит плечо.

Я говорю, догоняя его:

— Может, мы немножко отдохнем?

— Ты что, устал?

— Нет, но у тебя плечо…

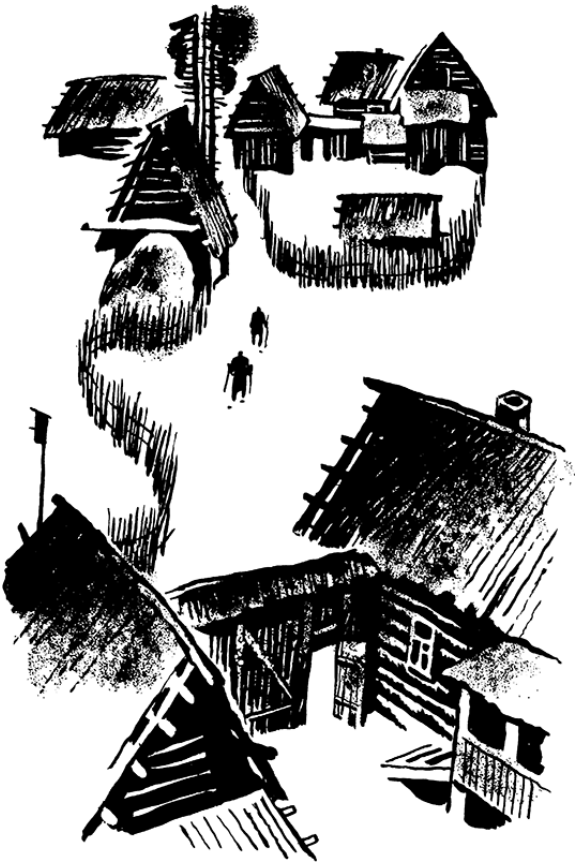
— А, ерунда! — говорит Венька, опять спускаясь в низину. И кричит обрадованно: — Гляди, гляди, дымки! Это Шумилово. Значит, до Распопина отсюда восемь верст. Ну, не восемь. Это только так считается. А верст двенадцать будет.

Мы спускаемся в низину, потом подымаемся на крутой вал, и нас обдает среди снежного холодного сияния горячим и острым запахом спиртового пламени. И к этому запаху тотчас же примешивается густой и тошнотворный запах барды.

— Вот сукины дети! — останавливается Венька.

В Дударях и в ближних к Дударям деревнях мы вывели за последние месяцы почти всех самогонщиков. Во всяком случае, если там еще и гонят, то в строжайшей тайне — так, чтобы и запах дыма не проникал на улицу.

А здесь самогонщикам раздолье. Никто не тревожит их.



И мы не потревожим. Мы сворачиваем в Шумилово, чтобы, как говорит Венька, навести справки.

Я остаюсь на улице, а Венька ходит по избам. Благо их здесь всего девять. И он заходит не во все.

О чем он разговаривает в избах, я не знаю. Я могу только догадываться.

В одной избе он сидит минут двадцать и выходит из нее растерянный.

— Не знаю, правда или нет, — говорит он мне, — но жена Баукина божится, что мужа не было…

— Какого мужа?

— Ну, Лазаря Баукина. Забыл, что ли? Это ж его изба…

Я с удивлением смотрю на заваленную снегом избу с покосившейся колодой окна, с разрушенным крыльцом.

— А жене недавно коня дали, — продолжает Венька. — Ну, не дали, а вроде продали, но по дешевке, как беднячке. Наверно, действительно не знают, что у нее муж — бандит…

Венька заходит в крайнюю избу. А я стою на улице и смотрю на крышу баукинской избы и на окружающие ее постройки, на изломанное полотно ворот, укрепленное на двух могучих

столбах из лиственничных бревен, врытых, может быть, полстолетия назад. Да, хозяина здесь, видать, давно не было…

Из крайней избы Веньку провожает на крыльцо рослый мужик в домотканой рубахе без опояски, с черной, наискось опаленной бородой. Они о чем-то продолжают негромко разговаривать. Потом, уже спустившись с крыльца, Венька спрашивает:

— Бороду-то где ты опалил? У аппарата?

— Ну да, у него, комуха его задави, — смеется мужик. И теперь я замечаю, что он пьяный.

Ему и в голову, наверно, не приходит, что мы из уголовного розыска. Иначе зачем бы ему признаваться, что бороду он опалил у самогонного аппарата.

— А милиционер-то, этот Воробьев, вас не беспокоит? — еще спрашивает Венька, становясь на лыжи.

— Да как не беспокоит! Надоедает. На той неделе здесь был. Штраф требовал. Говорит, посажу. Да ну его к козе под хвост…

Конечно, этот мужик не догадывается, кто мы и откуда. По виду нас можно принять за кого угодно, но только не за работников уголовного розыска.

И в Жалейках и в Карачае, где мы останавливаемся ненадолго, никто не обращает на нас особого внимания.

9

Только в Распопине после краткого разговора Веньки со стариками нас сами жители начинают почтительно называть модным для той поры словом «представители». И девчушка в огромных валенках на босу ногу, сбежав с крыльца, кричит.

— Эй, тетка Матрена, заходите к нам! У нас в избе представители сидят. Будут сейчас беседу проводить…

И вот мы с Венькой, пробежав на лыжах по снежной целине верст десять или пятнадцать, сидим в просторной теплой избе, пахнущей сушеными грибами и травами, свежевыдубленной овчиной и печеным хлебом.

Нас окружают разные люди — старики и молодые, женщины и мужчины, хозяйственно спокойные, с благообразными лицами.

Не верится, что среди них есть бандиты или сочувствующие бандитам, способные заранее приготовить крест и потом, не дрогнув, заживо распять на этом кресте молодую учительницу. Не

все же тут бандиты. Но бандиты здесь все-таки есть.

И поэтому мы с Венькой, беседуя, как говорится, не развешиваем уши. Мы даже сидим не рядом, а на некотором расстоянии друг от друга — он в углу, под образами старинного письма, под огромной, в бронзовой оправе лампадой, а я у самых дверей на широкой, чисто выскобленной лавке — с таким расчетом, чтобы в случае опасности не оказаться зажатым в этом сборище с виду добродушных и в то же время настороженных людей.

Беседу ведет почти все время Венька, а я молчу, и мне больше всего хочется поскорее, пока светло, уйти отсюда и двинуться дальше. Может, нам еще сегодня удастся увидеть Кланьку Звягину. Правда ли, что она так хороша, как рассказывает Воробьев?

Но красивых и хорошеньких сейчас вокруг нас немало. Даже обидно, когда смотришь на некоторых, что они так далеко живут, что их тут не многие видят.

Иную неплохо бы вывезти куда-нибудь в Иркутск, в Красноярск, в Ново-Николаевск или даже в Москву, чтобы все посмотрели, какие у нас в Сибири, в глухих таежных местах, красавицы обитают, выросшие на просторе, на чистом воздухе,

выкормленные густым молоком, очень жирным, как сливки, пахнущим цветами и травами.

В избу набивается все больше народу. Люди стоят уже плотно друг к другу, прислонившись к стенам и наваливаясь на стол, за которым сидят Венька и хозяева избы: степенный дедушка с блестящей голой, словно намазанной маслом, головой и с жидкой седенькой бородкой, его молоденькая дочка с быстрыми, жадными глазами, в красной с белыми горошинами кофточке и старуха жена, костистая, суровая, дышащая открытым ртом, в котором желтеет на нижней десне единственный зуб.

В избе становится душно.

Я разглядываю каждого человека, чтобы угадать, кто он, как настроен, не замышляет ли в этот момент какой-нибудь выходки против нас, нет ли с ним оружия.

Угадать это, однако, нелегко.

На собраниях говорят и в газетах пишут, что бандитов поддерживают кулаки. И это, конечно, правильно говорят и пишут. Но среди бандитов и бандитских связчиков, мы точно знаем, много бедняков, много бывших солдат. И даже есть такие, кто в гражданскую войну дрался на фронтах за советскую власть, а сейчас вдруг свихнулся,

вернувшись на родные таежные заимки, сбитый с толку кулацкой агитацией и угрозами.

О советской власти на таежных заимках все еще из уст в уста передают чудовищные легенды, потому что до сих пор не всем, далеко не всем здесь понятны ее истинные цели.

И Венька поэтому правильно делает, что рассказывает людям, стеснившимся в избе — кто бы они ни были, кулаки или подкулачники, — о последних решениях советской власти. Но я все-таки нервничаю. Мне кажется, что он уж слишком подробно рассказывает, а время у нас на счету. Не успеем мы, пожалуй, еще сегодня дотемна пройти на самые дальние заимки. А ночью идти опасно.

Хозяин, погладив свою голую блестящую голову шершавой ладонью, спрашивает Веньку:

— А как же, милочек, с бабами будет? Бухтят такое — правда или нет, — что их потом в коммунию будут сгонять для комиссарского вроде как развлечения…

Венька разъясняет, что все это ерунда. Советская власть, напротив, жалеет баб и считает, что их нужно называть женщинами. Это раньше, при царе, баб обижали, а теперь советская власть такое не позволит.

Женщинам приятны эти слова. Они довольно пересмеиваются между собой. И заметно, что им нравится Венька — с виду веселый, светлоглазый, светловолосый паренек с широкой выпуклой грудью, с сильными и свободными движениями.

Он и сам, наверно, чувствует, что люди с удовольствием смотрят на него. Он как будто разгорается от этих взглядов и говорит все с большим увлечением. А я уже сержусь на него.

Я сержусь и одновременно удивляюсь уверенности, с какой он говорит обо всем и ссылается в подтверждение своих слов на речи Ленина, опубликованные в газетах.

— А Ленин-то, он что же, сам из немцев будет? — перебивает Веньку хозяин избы.

— Кто это сказал такую ерунду?

— Ну как же! Прошлый раз тут гостил один студент, тоже, как вы, представитель. Так он вроде так объяснял, что Ленин из немцев…

Мы начинаем осторожно выяснять, кто этот студент, когда и откуда он приезжал, о чем еще рассказывал. И убеждаемся, что это был бандитский представитель. Значит, банды не только грабят и убивают, но и посылают на заимки своих агитаторов даже в зимнее время. А мы сидим в Дударях и ждем весны. Плоховато мы все-таки

работаем, плоховато.

Венька говорит:

— Этот студент, про которого вы рассказываете, набрехал вам. Он, как я считаю, злейший враг советской власти.

— А мы-то откуда можем знать, кто тут враг и кто друг, — как бы извиняется хозяин избы. — Мы бумаг ни у кого не спрашиваем. А сельсовет от нас далеко. Да и толку от него никакого нету, от сельсовета. Только название, что власть…

— Нам любая власть хороша. Лишь бы она нас не забижала, — добавляет сухонький, опрятный старичок, сидящий недалеко от меня на лавке. — Мы ведь от леса кормимся, от тайги…

Венька сразу ухватился за эти слова. Заговорил о том, что советская власть со временем и тайгу изменит. Ученые сейчас пишут, что в тайге, прямо тут, у нас под ногами, в недрах зарыты огромные богатства: и железная руда, и каменный уголь, и золото. Все это советская власть заберет в свои руки и построит тут заводы и города.

— Вон что! — удивился Венькиным словам сухонький старичок. И спросил: — А нас-то, милый человек, куда же вы в таком случае определите?

— Тебя, дедушка, на мыло, — сказал кто-то в толпе. — Всех стариков переведут на мыло…

В толпе засмеялись.

— На мыло? — переспросил старичок, видимо, тугой на ухо.

— На мыло, на мыло, — подтвердил опять кто-то. И от подоконника отделился курчавый пожилой мужик с сердитыми глазами и рыжей, кругло подстриженной бородой.

Мне показался он похожим на Лазаря Баукина. Но в первое мгновение я не поверил собственным глазам. Неужели он так спокойно может тут стоять и даже выкрикивать насмешливые слова? Ведь он-то уж знает, кто мы и откуда…

Я заметил, что и Венька чуть смутился, увидев его. Однако Венька не прервался, продолжал рассказывать о том, что мы сами с ним узнали недавно на лекции, прочитанной заезжим лектором в клубе имени Парижской Коммуны. Он говорил, какие заводы вырастут в самой глухой тайге.

— А птицы и звери куда же подеваются? — опять спросил все тот же сухонький тугоухий старичок.

И опять почему-то все засмеялись.

— Птицы и звери? — переспросил Венька.

И я понял, что он сам не знает, куда денутся птицы и звери, когда тут, в тайге, появятся заводы. О

птицах и зверях не было никакого упоминания в той лекции, которую мы слушали в клубе. Да и для чего это надо было тут заводить разговор о зверях и птицах?

Время идет. Короткий зимний день уже на исходе. И неизвестно еще, где мы будем ночевать.

Предполагалось, что мы пройдем через Девичий двор и Петуховский яр на Большие выселки, где, наверно, заночуем, и утром выйдем на Проказово, чтобы встретиться с начальником. Но пока, по-моему, все идет не очень складно.

— Птиц и зверей никто уничтожать не собирается, — говорит авторитетно Венька. — Птицы и звери, конечно, останутся в лесах и при полном социализме…

— А жиганы?[2]

Это спрашивает молодая румяная женщина в пестрой косынке, натянутой на самые брови, под которыми смеются дерзкие глаза.

— А что, у вас тут много жиганов? — как бы удивленно спрашивает, в свою очередь, Венька.

— Да есть, — уклончиво отвечает женщина. — А где их нету-то?

— Их, пожалуй, не скоро переведешь, — взды-

---

[2] Примечания: 2

Жиганы — в данном случае бандиты.

хает старичок. — Птиц и полезных животных, пожалуй, скорее лишишься. А жиганы, они небось цепкие. Их и сама советская власть боится…

Венька улыбается или, лучше сказать, заставляет себя улыбнуться.

— Неужели боится?

— Боится, — подтверждает сухонький старичок. — Это как бог свят, боится. Кажись, в декабре месяце тут трое приезжали из Дударей. Насчет продразверстки. Так разве только пушки при них не было. А так они все в ремнях, при гранатах и пистолетах. И все быстренько, быстренько делают. Без особого разговора. Лишь бы поскореичка отъехать на лыжах. Мы им тут и вопросы разные задавали, а они лишь помалкивают. Нам, говорят, до сельсовета поскореичка надо добраться…

— Ну, это какие-то барахольщики были, — говорит Венька. — Они, наверно, сами себя боятся…

— Барахольщики не барахольщики, а помирать, как я замечаю, никому неохота, — опять вступает в разговор хозяин избы. — У нас вот нынешний год пятого председателя в сельсовет поставили. Двоих убили. Двое сами отказались от должности. А теперешний, видать, трясется. Даже нос не высовывает дальше своей избы…

— Серьезное дело, — говорит Венька.

— Уж сурьезнее дальше некуда, — разводит руками хозяин и внимательно оглядывает Веньку и меня. — А вы что же, без всякого орудия? Представители, а ничего, я гляжу, при вас нету…

— Ничего нету, — смеется Венька.

— Выходит, очень смелые?

— Еще, видать, не битые, оттого и смелые, — произносит кто-то в углу.

И все смеются.

— Смеяться-то будто бы не отчего, — хмурится хозяин избы. — Одна баба даве сказывала, Мелентьева сноха, будто в Петуховом яру в потребиловке в субботу своими ушами слышала приказ, коий вышел от Кости Воронцова. Будто он даже на специальной машинке был напечатанный и наклеен на дверях в потребиловке. В том приказе сказано: коммунистам всем и каждому будет вырезаться на грудях и на спине острой бритвой красная звезда…

— Вот как. Значит, Костя сам где-то в потаенном месте, а приказы от него идут. И даже на специальной машинке?

— Истинные слова, на машинке. Он прошлой осенью разбил на золотых приисках контору, забрал много чего и машинку увез. Теперь все

печатает на машинке. Для большей, стало быть, ясности…

— Безнаказанность, — подводит итог этому разговору благообразный лысоватый человек с длинными волосами, заправленными за уши, похожий на дьячка. Но не сокрушается по поводу безнаказанности, а, пожалуй, злорадствует. — Клочкова, напечатано в газете, будто бы убили в Золотой пади, а четырнадцать жиганов из его компании ушли. («Не четырнадцать, а три ушли», — хотел бы я поправить его, но я молчу. И Венька молчит). И ведь куда ушли? Прямо к Воронцову. Вот уж на самом деле, ничего не скажешь, император всея тайги…

Я делаю вид, что разглядываю собственные валенки. Потом поднимаю глаза и опять вижу против себя того курчавого мужика с ярко-рыжей, кругло остриженной бородой, который говорил, что всех стариков будут переводить на мыло. Конечно же, это Венькин «крестный» Баукин, Лазарь Баукин, убежавший из нашей бани. Он-то уж точно знает, сколько жиганов ушло. Он бы мог дать точную справку. Но он только усмехается и молчит. Выглядит он лучше, чем в дни нашего первого знакомства, — поздоровевший. И одежда на нем другая: новый стеганый ватник,

а под распахнутым ватником чистая холщовая рубаха с крупными белыми пуговицами. Значит, живется ему неплохо. И он, как видно, ничего не опасается.

Он стоит недалеко от меня. Но между нами еще два или три человека. И я разглядываю его как бы из укрытия.

Наконец, может быть, почувствовав на себе мой внимательный взгляд, он надевает шапку и выходит. Шапка у него большая, медвежья.

10

За окном сгущаются сизые сумерки.

Нам бы еще засветло надо было выйти отсюда на Большие выселки. А мы вон досидели до какой поры и ничего особенно толкового здесь не высидели. И продолжаем сидеть.

Венька отвечает теперь на вопросы о налогах. Это уж черт знает что! При чем здесь налоги?

И опять его спрашивают про заводы, которые, может быть, когда-нибудь тут выстроят.

А может, их и никогда тут не выстроят, а нас сейчас, когда мы выйдем, подкараулит на дороге этот рыжий бандюга Лазарь Баукин. Да подкараулит не один, а с компанией, и не доживем мы ни до каких заводов. И до социализма не доживем.

Я уже сильно сержусь на Веньку.

Молодая хозяйка в красной с белыми горошинами кофточке спрашивает, не выпьем ли мы чайку или в крайности молочка.

— Молочка выпьем, — говорит Венька.

И вот мы пьем молоко, а сумерки за окном все сгущаются. Может, Венька тут собирается ночевать?

Нет, попив молока, он ладонью вытирает губы, благодарит хозяев, прощается, я тоже прощаюсь, и мы выходим во тьму.

Некоторое время молча идем, закинув лыжи на плечи, и с удовольствием вдыхаем после душной избы легкий морозный воздух.

— Позор! — наконец говорит Венька, когда мы проходим мимо тускло мерцающих окон крайней избы. — Просто позор! Какой-то беглый студент пришел, чего то такое набрехал мужикам, и все как будто так и надо. Как будто и советской власти нет. Ерунда какая! Даже не верится, что тут так живут. Как на острове. Никто с людьми не разговаривает, ничего не объясняют. Мы вот только с тобой немножко с ними потолковали…

— Ну и немножко! — усмехаюсь я, все еще сердясь на Веньку за то, что мы так долго просидели здесь и теперь впотьмах должны идти еще неве-

домо куда. — И вообще я считаю, что это не наше дело тут разговоры разводить…

— А чье же? — Венька тоже заметно сердится. — Ты что, считаешь, что ты не обязан разговаривать с людьми как комсомолец…

— Обязан, но мы все-таки не для этого приехали…

— А для чего?

— Ну откуда я знаю? Я думал, у начальника или у тебя есть какой-то план…

— А у тебя какой план? — Венька даже остановился, точно загораживая мне путь. И я увидел, как у него блестят глаза во тьме. — У тебя-то, я спрашиваю, есть какой-нибудь план?

— Чего ты придираешься? При чем тут я? Если б меня спросили, я вообще все не так бы повел…

— А как?

— Я привез бы сюда всех этих курсантов с повторкурсов, окружил бы каждую заимку и хотя бы ближние леса и начал выколачивать…

— Кого выколачивать? Население?

— Зачем население? Бандитов…

— А откуда ты знаешь, кто тут бандиты? — спросил Венька, положив свои лыжи на снег.

— Ну, можно все-таки понять, — я тоже снял с плеча лыжи. — Вон твой рыжий крестный, этот

самый Лазарь Баукин, открыто ходит по заимке. И еще насмехается. И мы с тобой ничего сейчас не можем ему сделать, а он…

Я хотел сказать, что Баукин еще сегодня подкараулит нас где-нибудь, но не сказал, не решился. Венька это сам знает, а если я скажу, он подумает, что я струсил и его пугаю.

Я сделал вид, что у меня не застегивается пряжка от ремня на креплении, и выругался, чтобы не продолжать разговора.

А Венька вдруг засмеялся. Может быть, он понял мою хитрость, понял, что я побаиваюсь и еще больше боюсь признаться в этом.

Мы сворачиваем к лесу. Он чернеет невдалеке, и кажется во тьме, что это не лес, а забор — высоченный каменный забор, а за ним еще видно здание с башнями и крестами на башнях.

Венька спрашивает:

— Ты как думаешь, кто это, у кого вот мы сейчас в избе были?

— По избе, по обстановке, я думаю, это кулак…

— Кулак — это еще пустяки. Это Усцов Елизар Дементьевич — очень крупный бандитский связчик. И еще старичок там был, который жиганов ругал, — это тоже связчик. Енютин. У него сын в клочковской банде действовал. Мы его убили в

Золотой пади.

— Правильно, — вспомнил я. — Один убитый действительно был — мы точно установили — Енютин.

— И этот Усцов тоже зятя потерял. Дочка его в красной кофточке — бандитская вдова. Мужа ее в прошлом году убили. А слышал, как они разговаривают? Птиц и зверей жалеют…

— А ты с ними разговорился, стал им что-то такое объяснять.

— Да я им, что ли, объяснял! Тут же всякий народ. И это обидно, что людям никто ничего не объясняет. И мы тоже хороши! Второй год тут крутимся вокруг да около, а толку мало.

— А эти старики так и не поняли, кто мы и откуда…

— Ну как не поняли! — засмеялся Венька. — Они тоже не дураки. Они и про оружие нас спрашивали неспроста. И похвалили за смелость, чтобы испугать. Это двойной народишко, с двойным ходом. Им палец в рот не клади. Откусят.

Венька отчего-то повеселел. Вынул из кармана ржаной сухарь, разломил его и дал половину мне.

Сухарь был присыпан крупной солью, прикипевшей, но не растворившейся в хлебе. Поку-

сывать и сосать его сейчас было величайшим наслаждением.

— И еще имею брынзу, — сказал Венька и протянул мне кусок.

— Да ты погоди, — хотел я удержать его от расточительности. Мы только что попили молока. А нам еще, наверно, идти и идти. Все сразу съедим, потом заплачем…

— Не заплачем, — опять засмеялся Венька. — Нам теперь недалеко до Больших выселок. Мы быстро добежим. Часа за два. Я тут летом был. Правда, я тогда на телеге ехал.

— А как у тебя плечо?

— Ничего. Ты знаешь, как будто даже лучше. Поначалу, когда палку берешь, больно, а потом ничего.

Мы идем не по дороге, хорошо наезженной, чуть поблескивающей во тьме, а почти рядом с дорогой.

— А эту женщину, такую мордастую, в пестром платке, ты заметил? — спрашивает Венька.

— Это какую?

— Ну, которая сидела против меня, такая румяная, черные нахальные глаза. Она еще спросила про жиганов, когда говорили про птиц и зверей…

— Ах, эта, — вспоминаю я, — которая натянула платочек на глаза?

— Так это же и есть Анфиса Большакова, которая жила с «императором». Но он ее, говорят, бросил…

— Неужели это она? — удивляюсь я, и мне очень жаль, что я ее не рассмотрел как следует.

Правда, мне больше всего хотелось посмотреть Кланьку Звягину, которую сильно хвалил за красоту старший милиционер Воробьев. Она живет, он сказал, где-то у Пузырева озера. И я спрашиваю Веньку:

— А Пузырево озеро отсюда далеко? Мы сегодня туда не попадем?

— Ну что ты! Конечно, не попадем: это очень далеко. Нам бы только до Больших выселок добраться…

И Венька, продвигаясь впереди меня, заметно прибавляет ходу.

Наверно, у него уже в самом деле не болит плечо. Или он только бодрится. Но я едва поспеваю за ним по скользкому, чуть подтаявшему снегу.

Уж скорее бы, в самом деле, дойти до Больших выселок. Лыжи как будто разъезжаются в разные стороны. И к тому же начинается ветер.

— Похоже, будет пурга, — говорю я.

— Похоже, — соглашается Венька. — Но мы быстро добежим. Уже совсем недалеко. Только надо держаться дороги. Дорога тут прямая.

Дорога все время идет вдоль тайги, которая шумит на разные голоса. Будто там внутри, в самой глубине, в чащобе, громко переговариваются люди, завывают волки и грозно мяукают огромные коты. Но это только кажется. Никого там нет.

Во всяком случае, можно поручиться, что близ заимки, близ дороги никого нет. И не может быть в такое время. А у страха глаза велики. Не надо, однако, настраивать себя на всякие ужасы. Это первое правило: не надо себя настраивать. Просто в тайге, как всегда на сильном ветру, завывают ели, свистят голые прутья берез и трещат, ломаясь, неуклюжие ветви сосен. Все это вместе и создает разноголосый, пугающий шум.

Венька оглядывается:

— Ну, как ты?

— Ничего.

— Ну, давай нажимай! Тут уж совсем близко. До пурги добежим до Больших выселок. А там спать. Или, может, еще потолкуем с кем-нибудь. Тут, на Выселках, есть наши люди, если… если их, конечно, не стукнули…

На дороге что-то большое чернеет. Чернеет и

как будто шевелится. Ну да, шевелится. Может, это кони. Если кони, лучше всего попроситься доехать до Больших выселок.

Венька просто бодрится. Не может быть, чтобы у него так быстро зажило плечо. Просто он бодрится. А нам еще и завтра бегать на лыжах. И послезавтра.

Мы приближаемся к тому, что чернеет на дороге, и теперь ясно видим, что это не кони, а люди. И хриплый голос с дороги спрашивает:

— Веньямин, это ты?

— Я, — говорит Венька и, останавливаясь, снимает лыжи.

По голосу я сразу узнаю Лазаря Баукина. Теперь я хорошо вижу и его большую медвежью шапку. Она у него как котел на голове.

Я тоже снимаю лыжи и иду вслед за Венькой к дороге.

— При этом разговора не будет, — показывает на меня Баукин.

Во рту у него торчит окурок. А когда он затягивается и окурок вспыхивает, видно, как посверкивают его злые глаза.

Недалеко от него стоят еще два мужика. Их смутно видно. Непонятно даже, молодые они или старые и что у них в руках — палки или обрезы.

— Ты меня тут подожди, — говорит мне Венька и переходит с Лазарем на другую сторону дороги, где стеной стоит ревущий черный зубчатый лес.

Немного погодя за ними в лес уходят и два мужика. Кажется, у них в руках обрезы или, может быть, охотничьи ружья.

А я стою на обочине. Пурга меня теперь не тревожит. Я тревожусь теперь за судьбу Веньки. И, конечно, за свою судьбу.

На животе у меня, под телогрейкой, в кожаной петельке кольт. Он так хорошо приспособлен, что его незаметно, если смотреть со стороны. И там, в Распопине, в избе, не заметили, что мы с оружием. Даже лицемерно пожалели нас. Но нас жалеть не надо. Я вынимаю кольт из петельки и кладу за пазуху. Мало ли что может случиться!

При всех обстоятельствах Венька ведет себя рискованно. Если Лазарь хочет завести какой-то секретный разговор, при котором даже я не могу присутствовать, зачем же пошли за ними в лес эти два мужика? А вдруг они стукнут Веньку? Но тогда зачем они меня оставили? А может, они тут не одни? Может, у них тут расставлены посты? Может, они и меня после хотят стукнуть?

Мысли разные лезут в голову, но я по опыту знаю, что нельзя давать волю даже мыслям,

чтобы потом не было стыдно. Это хуже всего — заранее перетрусить. Надо уж как-нибудь перетерпеть. И я стараюсь вспомнить что-нибудь веселое, что-нибудь самое смешное из своей жизни, чтобы развеселиться и успокоиться. Но ничего подходящего вспомнить не могу, хотя долго стою на обочине.

Наконец Венька выходит на дорогу и зовет меня.

А Лазарь Баукин и его товарищи так и не вышли из лесу. Может, они углубились в лес. Может, они там и живут в лесу.

В лесу, в тайге, сейчас тише, чем на открытом месте. Шумят только вершины деревьев, а внизу — тихо. На дороге уже вовсю разыгрывается пурга. Мелкая, колючая крупа бьет в лицо.

Даже Венька говорит:

— Смотри, какая ерунда начинается! Просто идти никак невозможно.

Теперь я пытаюсь успокоить его:

— Ничего. Ты же сам говорил, тут до Больших выселок недалеко. Добежим как-нибудь. Не больные…

— До Выселок недалеко, — останавливается Венька. — Но мы на Выселки не пойдем. Нету смысла. Мы сейчас махнем на Пузырево озеро.

Можно было бы напомнить Веньке, что он сам только что сказал: «На Пузырево озеро мы сегодня не попадем: это очень далеко».

Но я ни о чем ему не напоминаю. И он не спрашивает моего совета. Тут уже вступают в действие не наши давние приятельские, а сурово служебные отношения. Я молчу. На Пузырево так на Пузырево. Мне в конце концов все равно. Не я, а Венька — старший помощник начальника по секретно-оперативной части. Я даже не спрашиваю, о чем он разговаривал с Лазарем Баукиным.

Я только смотрю, как он, расстегнув телогрейку, потуже затягивает ремень на гимнастерке. Я делаю то же самое. Потом он говорит:

— Ну, пошли! Нам сейчас дорога каждая минута. Придется идти часов пять, не меньше, если, конечно, по хорошей погоде. А в такую муть даже не знаю, когда дойдем. Но надо… Короче говоря, Лазарь дает нам в руки серьезную нитку. Дураки будем, если не ухватимся. Ну-ка, попробуем с этой стороны пойдем…

Перепрыгнув через канаву, он опять встает на лыжи и молча бежит впереди меня.

Он по-прежнему пользуется только одной палкой. Вторую держит под мышкой. Видно, у него все-таки болит плечо, но он не хочет говорить об

этом. Да и трудно сейчас говорить.

Даже дышать трудно. Мы долго молча бежим навстречу пурге. Вернее, не бежим, а еле-еле движемся.

Наконец нам удается обогнуть большой участок леса.

Венька сворачивает направо, и мы входим, как в аллею, в широкую просеку. Ледяная крупа бьет теперь нам в спины, дышать легче.

— Хорошо еще, что мы молока попили, — говорит Венька. — А то не жравши по такой дороге далеко не уйдешь.

— А еще далеко?

— Далеко…

Я отворачиваю обледенелый обшлаг рукава, зажигаю фонарик, смотрю на часы. Девятый час. Двадцать минут девятого. Значит, мы в пути больше трех часов. А сколько нам еще идти?..

Из просеки мы выходим на поляну, и опять пурга с ревом накидывается на нас. Венька останавливается, приседает. У него оборвался ремень на креплении. Он садится на снег. Я сажусь рядом с ним на корточки и хочу посветить ему фонариком.

— Не надо, — говорит он. — Тут открытое место. Свет далеко видно. А я и так все разгляжу. У меня

глаза кошачьи.

Он достает из-за пазухи запасной сыромятный ремень, обрезает его ножом, привязывает.

— Хорошо отдохнули, — смеется он, снова становясь на лыжи. — Ну, пошли дальше! Лазарь говорит: «Это на ваше счастье такая погода. Кланька Звягина вас будет ждать...»

«Почему это она нас будет ждать? Откуда она нас знает?» — хотел бы я спросить. И самое главное, что мне хотелось бы понять: почему это Венька так доверился снова Лазарю Баукину, который уже однажды обманул его? И, может быть, опять обманет. Но сейчас уж Венька прямо рискует своей головой.

«И не только своей, но и моей», — мог бы додумать я. Но почему-то не додумываю. Может быть, потому, что очень боюсь отстать от Веньки и забочусь только о том, чтобы не потерять его в пурге, в этой белой, холодной, кромешной тьме, облепляющей меня.

Я не вспоминаю даже о том, что мне самому хотелось недавно еще увидеть Кланьку Звягину. И вот сегодня я должен увидеть ее. Но это сейчас уж не так интересно мне.

Мы с большими усилиями пересекаем поляну. Ветер все свирепеет, бьет в лицо, словно толче-

ным стеклом, старается сбить с ног. Нет, такой пурги еще не было в моей жизни.

Я останавливаюсь, почти падаю, кричу:

— Подожди, Венька! Подожди, тебе говорят!

— Что случилось?

— Хочу поправить шапку. Может, не так будет бить в лицо. Очень сильно бьет. Ничего не вижу.

— Не обращай внимания! — кричит Венька. — Пойдем дальше. Сейчас опять будет просека.

— А еще далеко?

— Далеко.

Просека поднимается в гору. Гора совершенно голая. Ни одного кустика. Но с горы видно, как в низине сквозь пургу мерцают огоньки. Значит, близко деревня. Я напрягаю все силы. Мне даже становится весело. Вот сейчас войдем в деревню. И что бы там ни было, мы согреемся. Может, попьем даже чаю.

Огни становятся все ярче. Где-то недалеко брешут собаки. Они, наверно, сами не знают, собаки, как нам приятно сейчас слышать их брехню. Пусть брешут еще сильнее, еще громче, еще яростнее.

Вот уж мы прямо набредаем на собак. Они где-то вон там, за высоким забором. Хозяева, должно быть, еще не спят. Конечно, не спят. Интересно, у

каких ворот мы остановимся.

Мы идем вдоль высокого забора, за которым живет наверняка богатый мужик. У него, судя по разноголосому лаю, две собаки, а может, три. Значит, есть что охранять. Собаки гремят цепями.

Тут бы нам и остановиться, у этих ворот. Хозяин уймет собак, и мы войдем в дом. Но Венька идет дальше.

Мы проходим мимо нескольких домов и опять выбираемся в открытое поле, где нас крутит и вертит пурга.

Я оглядываюсь. Позади нас остались чуть видимые теперь огоньки. Позади все еще брешут надолго потревоженные собаки. А впереди — непроглядная, злая белая тьма и ветер с ледяной крупой.

Венька оглядывается на меня и кричит:

— Не шибко устал?

— Не шибко, — отвечаю я.

Но это уж я обманываю Веньку. Я не только устал, я просто еле живой. Мне теперь все равно Я иду, как во сне. Я могу упасть в снег и уснуть. Но я все-таки иду за Венькой.

11

Мы снова поднимаемся в гору. Гора отлогая, но высокая. Мы долго поднимаемся на нее. Или мне это только кажется. Я иду, как старая кляча, согнувшись, опустив голову. И опять слышу собачий лай и звяканье цепей на проволоке. Но это уже не радует меня.

Вдруг я, точно слепой, наталкиваюсь на Веньку. Оказывается, он остановился и поджидает меня. Лицо и шапка его и часть груди обросли пушистым белым инеем-куржаком.

Я, наверно, тоже весь в куржаке. Но я не вижу себя. А Венька пушистый и белый, как Дед Мороз.

— Ну, теперь держись! — говорит он, срывает свою шапку и отряхивает ее об валенки, потом надевает опять. — Начинаем работать. Снимай лыжи. Не шибко устал?

— Не шибко.

Мы проходим мимо невысокого забора, за которым лают собаки, и останавливаемся подле большой избы с закрытыми ставнями.

Недалеко еще две избы, такие же большие. Они стоят не в ряд, а как бы треугольником. За ними можно разглядеть еще какие-то строения

— амбары или стайки для коров и конюшни. Фасадами избы выходят на улицу, и прямо к фасадам примыкают заборы, или заплоты, как говорят в Сибири.

Венька поднимается на крыльцо самой большой избы и стучит лыжной палкой с короткими паузами три раза, потом еще три раза. За дверью в сенях женский голос.

— Кто там?

— Свои.

— Свои все дома.

— Не сочла Савелия, а он кланяться приказал.

За дверью с легким грохотом отодвигается щеколда.

— Милости просим, — пропускает нас в сени молодая женщина. Ее плохо видно в темных сенях, но от нее исходит приятный, чуть дурманящий душу запах молодого женского тела, только что оставившего теплую постель. — А я уж вас третий час жду. Погода-то самая подходящая — пурга. Потом думаю: а может, не придут? Прилегла.

— У тебя кто в доме? — хозяйственно осведомляется Венька. И, посветив фонариком, оглядывает углы сеней, ищет веник, чтобы обмести валенки.

— Обыкновенно кто — крестный. Дедушка. На

печке он. Все стонет к непогоде-то. Как домовой. Страшно с ним другой раз одной в дому. Вот голик, — протягивает она веник. — Погодите, я вас сама обмету. Ох, как вы закуржавели. Из Самахи идете?

— Из Самахи, — подтверждает Венька, хотя ни в какой Самахе мы не были.

Женщина прошла из сеней в избу, зажгла на стене жестяную лампу. И теперь мы увидели, что она действительно молодая, красивая, с высокой грудью, с плавными движениями.



— Разболокайтесь, ребята, — помогает она нам снимать телогрейки. — А катанки давайте вот сюда в печурку поставим. Они живо подсохнут…

И тотчас же, как мы стянули с ног обледеневшие валенки, она поставила перед нами на полу две пары новых калош:

— Переобувайтесь, ноги живо согреются. Я недавно топила.

Она сняла со стола толстую с бахромой скатерть и постелила другую, белую.

— У меня, ребята, первачок припасен. Просто слеза, а не первачок. Я даже дедушке изредка подношу. Для взбодрения чувств. — И она засмеялась.

— Нет, — сказал Венька. — Мы сейчас пить не будем. Так что-нибудь немножко закусить. А самогонку мы сейчас пить не будем. Даже первачок. Очень опасно. Тут же кругом теперь шнырят сыскари. Можно в любую минуту завалиться, если выпивши…

— Я знаю, знаю, — закивала красивой головой женщина и перекинула косу со спины на грудь, стала заплетать ее длинными пальцами. — Говорят, их много, легавых, сюда понаехало на какой-то чудной машине. Трещит на всю Сибирь. Но сегодня, говорят, сломалась ихняя машина. У

Пряхиной горы сломалась, в самой низине, где трясина…

Это уж показалось мне совершенно удивительным. Откуда женщина могла услышать про наши аэросани, если мы появились тут только сегодня, а аэросани остановились, может быть, в тридцати верстах от этой заброшенной в тайге заимки? Вот как здорово тут действует незримый таежный, или, лучше сказать, бандитский, телеграф!

Женщина нарезала ароматного пшеничного хлеба, какого мы уж давно не ели, поставила на стол копченую рыбу, холодное мясо, нарезанное крупными кусками, блюдо с груздями. И опять спросила:

— А может, все-таки отведаете первачка? Ведь не покупной, собственный…

Мне сильно захотелось выпить. И что уж Венька так ломается? Что мы захмелеем от одного лафитника? А вдруг я простыну? У меня и до сих пор холодные руки.

— И я бы с вами выпила чуток. За здоровье Константин Иваныча. За его лихое, горькое счастье…

— Ну, давайте! — наконец согласился Венька.

Просто так выпить он не соглашался, а за здоровье Константин Ивановича согласился. Знал

бы Костя Воронцов, кто пьет в такую пургу за его здоровье. Или, может, за его верную погибель.

Женщина чокнулась своим лафитником со мной и с Венькой и, глядя в Венькины глаза, сказала:

— А вы знаете, я в первую минутку глянула на вас и чуток обомлела. Больно вы похожи на Константин Иваныча. Не лицом, нет, а фигурой. Конечно, вы пожиже будете в плечах, понятно, помоложе. Но в фигурности вашей есть что-то…

— Ну уж, придумала! — засмеялся Венька.

— Нет, верно, — настаивала женщина. — Да я сейчас вам карточку его покажу, какой он был в совсем молодых годах. Еще при царе.

Женщина пригубила от лафитника, потом подошла к большому, окованному и оплетенному полосками разноцветной жести сундуку, повернула ключ. Замок со звоном открылся, крышка откинулась.

Из глубины сундука, из-под каких-то материй, свертков, меховых шкурок, из нафталинного удушья женщина извлекла карточку и показала нам.

Костю Воронцова мы никогда не встречали, но много раз видели на снимках. Однако такой карточки у нас в уголовном розыске Не было.

Костя, красивый, молодой, в офицерской форме, сидел, раздвинув колени и развалясь на стуле. На коленях у него лежала шашка. А рядом с ним, опираясь на его плечо, стоял уже немолодой угрюмый офицер со скуластым лицом и тоже с шашкой.

— Это кто? — показал Венька на скуластого офицера.

— Вы что? — удивилась женщина. — Евлампия Григорьича разве не узнаете? Это ж Евлампий Григорьич Клочков.

— Ах, правильно! — как бы вспомнил Венька. — Правильно, ведь это Клочков. У него только потом стало больше солидности…

— У него и чин был старше, чем у Константин Иваныча, но он сам считал себя младше. По уму. И пока он ходил под Константин Иванычем, все было хорошо. А как ушел, захотел отдельно воевать, так и погиб. Убили его сыскари. Константин Иваныч сказал: «Я за Евлампия тысячи комиссаров передушу. Вот как выйду весной из тайги, так и передушу». Вы, верно, слыхали, как он сказал.

— Слыхали, — мотнул головой Венька.

— Давайте, — предложила женщина. — Давайте выпьем за упокой его души. За упокой души убиенного Евлампия Григорьича.

— За упокой, кажется, не пьют, — усомнился Венька.

— Пускай не пьют, — опять наполнила лафитники женщина. — А мы давайте выпьем. Он мне все говорил, как выпьет: «Я тебя, Кланя, сам лично люблю, но не как женщину, а как изображение». Ведь он ужасно какой шутник был, царствие ему небесное…

Вот уж никогда я не думал, что нам, комсомольцам, когда-нибудь приведется выпить за упокой подлой души штабс-капитана Клочкова. Но мы выпили.

Женщина, заметно захмелев, погрустнела. Спрятав карточку и замыкая сундук, она показала на него глазами и вздохнула:

— Что же это с Константин Иванычем-то? Подарки мне, видите, все время шлет, а сам не едет. Ай не желает видеться?

— Трудно ему сейчас. Понимаешь, трудно выбраться, — сказал Венька.

— Что ж трудного-то? — опять вздохнула женщина. — На прошлой неделе, я знаю, он в Капустине был. А от Капустина-то до меня шесть верст. Или его Лушка завлекла? Говорят, она сильно перед ним рисовалась. Он в Капустине будто трое суток гулял. И Лушка при нем была.

Вы что знаете про Лушку-то? Вы скажите мне, ребята, про нее, если что знаете. Я буду вам верная, вечная слуга. Знаете или нет вы про нее?

— Знать-то знаем, — сказал Венька. — Но говорить не будем. И не проси. Не наше это дело — разлучать людей.

— Все равно я все узнаю, — погрозилась женщина. — Я самого Савелия допытаю. Он мне скажет. И Лазарь Баукин бы сказал. Он мой верный человек. Но его сейчас Константин Иваныч до себя не допускает. Пусть, говорит, сперва пройдет какое-то испытание. А Савелий мне велел обуть и одеть Баукина, когда он от сыскарей убежал. И товарищей его велел обиходить. Это, говорит, считай, как приказ самого Константин Иваныча… Дедушка, крестный, вы чего там опять стонете? — повернулась она к печке. — Вам попить, что ли, дать? Или вы на двор хотите?

— Язык бы я тебе хотел откусить, — послышался с печки дребезжащий старческий, но еще ясный голос. — Больно длинный у тебя язык…

— Язык у меня, дедушка, какой есть от дня рождения, такой и останется. А вы спите. Вы мне всю душу вымотали. А эти люди от Савелия пришли. По важному делу.

Мне мучительно хотелось узнать, кто же это та-

кой Савелий. Может, я уже знаю его по фамилии, но не знаю по имени?

Все-таки нам многие уже известны из окружения Кости Воронцова. Не напрасно же мы занимаемся этим делом. А про Савелия я никогда не слыхал.

И еще закрадывалась тревога: а вдруг сейчас сюда явится сам Савелий? И не один. Погода ведь в самом деле подходящая для бандитских визитов.

За окнами все еще беснуется пурга. И, пожалуй, будет бесноваться всю ночь. Вот получилась бы красивая картина, если б сюда явился Савелий!

Но больше всего я боялся, что Венька сейчас захочет идти отсюда на Большие выселки или прямо в Проказово. А я нисколько не отдохнул. Я даже излишне разомлел тут от тепла и от этого первачка. Неужели Венька действительно захочет сейчас обратно идти через пургу?

Дедушка опять застонал на печке, забормотал что-то. И в комнате явственно запахло залежанным тюфяком.

— Да ну его! — покосилась на печку женщина. — Еле живой, в чем душа теплится, а все шпионит за мной. Бывший околоточный надзиратель. Приехал из самого Владивостока доживать свой век в тайгу. Он не родной мне. Он мне крестный.

Но Савелий велел его обихаживать. Говорит, он еще потребуется.

Женщина перекинула через плечо холщовое, для посуды, полотенце и стала собирать со стола.

Видно, что она привыкла к порядку, к аккуратности. В избе чисто. На стене перед столом большое зеркало. И она, собирая посуду и разговаривая с нами, изредка поглядывает на себя в зеркало. Как-то сбоку поглядывает, точно хочет разглядеть свое ухо, в котором мерцает длинная, на длинной прицепке серьга с малиновым камешком.

— Вам, ребята, где постелить? — весело спрашивает она. — У печки? Или же на кровати ляжете? — И, не ожидая ответа, сама решает: — Я вам постелю у печки. Тут теплее. А то у нас к утру изба выстывает…

— Нам только выйти на минутку надо, — встал из-за стола Венька.

— Выходите, выходите, конечно, — засмеялась женщина. — Вся ночь еще впереди. А то с вами, не дай бог, что-нибудь случится, как вон с дедушкой, моим крестным, все время случается. Замучил он меня в отличку. Глаза бы мои на него не смотрели и уши мои бы не слышали. Чистый дьявол на печке. От старого режима.

Мы вышли на крыльцо. Пурга все взвизгивала и выла. И мне в этой густой, крутящейся темноте, обступившей избу, вдруг показалось, что мы стоим не на земле, а на какой-то еще неизвестной планете.

Под горой кипела в бело-черной пене дремучая страшная тайга. Она не казалась такой страшной, когда мы шли через нее. И не верилось теперь, что мы только что через нее шли.

Я спросил Веньку:

— Ну что, будем спать?

Я спросил в том смысле: будем спать или будем делать вид, что спим.

— Будем спать, — сказал Венька.

И мы вернулись в дремотно приятную после ветра духоту избы.

— А крестный, слышите, что болтает? — зашептала женщина. — Будто вы не от Савелия, а будто вы… Ну, словом, будто вы… сыскари…

— Пусть его, — отмахнулся Венька. — А тебя, Кланя, я хочу вот что попросить. Если ночью кто постучит — могут и наши постучать и всякие, погода, ты сама говоришь, подходящая, — ты никому не открывай, позови нас.

— А если Савелий придет?

— Ну, Савелий — это другое дело…

Венька вел себя, как старый знакомый хозяйки.

На комоде он увидел семерку алебастровых слонов, стоявших в ряд на кружевной салфетке — один другого меньше.

— Это, Кланя, кто тебе слонов подарил? Клочков?

— Клочков. А ты откуда знаешь?

— Я все знаю, — засмеялся Венька, довольный тем, что угадал.

Он мог бы и не угадать. И не обязан был угадывать. Но, угадав, еще больше расположил к себе хозяйку.

Она потрогала большого слона:

— Это Евлампий Григорьевич мне на счастье их подарил. Говорил, они приносят счастье…

— Я это тоже слышал, — кивнул Венька.

— Баукин рассказывал, что они этих слонов в Горюнове нашли, когда потребиловку брали. Там много хороших товаров было, разной мануфактуры и эти слоны. Никто даже внимания на них не обратил, а Евлампий Григорьевич положил их в карман. «Это, — говорит, — для Клавдии». И вот, глядите, как будто пустяк, а женщине всегда приятно, что про нее помнят…

— Это верно, — опять кивнул Венька. И спро-

сил: — А Баукин у тебя давно не бывал?

— Да нет, он на прошлой неделе был. Он часто бывает. Он у меня тут, кажется, дней десять жил, когда из Дударей ушел. Он мне все дрова перепилил и переколол и полотно ворот перебрал…

Я вспомнил изломанное полотно ворот у избы Баукина и спросил:

— А что ж, он дома у себя не живет, в Шумилове? Боится?

Кланька удивленно вскинула на меня свои красивые глаза, обрамленные длинными ресницами.

— Кто? Лазарь боится? — И словно обиделась за него. — Лазарь никого на свете не боится. Я другого такого отчаянного не знаю. Разве только Константин Иваныч будет посмелее. Да и то, наверно, не посмелее, а поумнее. Даже Евлампий Григорьевич, мне говорили, побаивался Лазаря. Боялся, что Лазарь сменит его и сам в атаманы выйдет…

Кланька отошла от комода и по двум приступочкам поднялась на печку. Заговорила о чем-то со стариком.

Я так и не понял, почему Лазарь Баукин не живет в Шумилове. И не знал, удобно ли дальше расспрашивать Кланьку об этом.

А Венька молчал, разглядывая фотографии на стенах.

На фотографиях были изображены мордастые бородатые мужчины в длинных сюртуках, женщины в огромных шляпах и кофточках с пузырящимися на плечах рукавами. Не похоже, что это предки нашей хозяйки. На одной фотографии хмурился какой-то священник или, может быть, архиерей в высоком черном клобуке. Уж он-то, наверное, не родственник Кланьке. А кто знает, может, и родственник. Может, он родственник тех, кто бродит сейчас в бандах. Хотя едва ли они будут выставлять тут свою родню.

Все это скорее всего случайно попало сюда.

В городах на базарах еще продавали, вернее обменивали, на хлеб разную рухлядь, оставшуюся от богатых домов, потрясенных революцией и гражданской войной. Даже старые фотографии выносили на базар, а также дорогие шкатулки, вазы, бронзовые подсвечники в виде ангелочков, венские качалки с плюшевыми сиденьями, сюртуки с атласными отворотами, барские брюки со штрипками и много еще чего.

Богатые крестьяне все это выменивали в городах и развозили по деревням и глухим таежным заимкам.

Вот почему не только у Кланьки Звягиной, но и в других деревенских избах в ту пору можно было встретить самые неожиданные предметы городской роскоши или старины. И это не удивляло нас. Нас не мог здесь удивить граммофон, стоявший рядом с комодом на фигурной тумбочке, или мраморный умывальник, поставленный против комода для украшения.

Нас удивила сама хозяйка. Поговорив со стариком, она подошла к нам, все еще рассматривавшим фотографии, и, махнув рукой, сказала:

— Ну, это старье. Старые песни. А дальше-то, ребята, как будет?

— Что будет?

— Ну, вся жизнь… Злотников, говорят, уехал со своей шмарой в Японию. Бросил, говорят, свою банду, забрал золотишко и уехал…

Это было для нас новостью. Но мы не выразили удивления. Венька только сказал:

— Мало ли что говорят!

— Но это правда или нет? — допытывалась женщина.

— Не знаю, — покачал головой Венька.

— Как же это вы не знаете? — удивилась она. — Об этом все сейчас говорят. («Интересно, кто это все?») Лазарь даже говорит, за Злотниковым

погоня была. Свои же устроили за ним погоню, хотели его убить, но не словили…

Это бы нам полагалось знать. И очень плохо, что мы об этом только сейчас узнали. А может, это вранье?

— И давно это было? — спросил Венька.

— Да, однако, недели две назад. Лазарь вот тут сидел, — она показала на обитое красным плюшем кресло, — и рассказывал мне. Вот, говорит, до чего дело-то дошло. Атаманы уходят. Может, и у Константин Иваныча такая думка есть. Может, он с Лушкой собирается уехать. Только еще разве японцы ее не видали, а с англичанами она, говорят, тут путалась вовсю, когда еще девчонкой была… — Кланька засмеялась: — А вы, значит, ничего не слыхали?

— Нет, — опять покачал головой Венька.

— Ну да, в газетах ведь об этом не пишут, — насмешливо сощурила глаза женщина.

Мне подумалось, что она, наконец, поняла, кто мы такие, поняла, что старик на печке был прав. Но Венька тут же, должно быть, сбил ее с толку, сообщив, что мы только вчера вернулись с Тагульмы и поэтому никаких новостей еще не знаем.

— Так это вы ездили на Тагульму? — удивилась

Кланька. — Лазарь мне рассказывал…

Лазарь, наверно, и Веньке рассказал об этой Тагульме. Но женщина этого не могла знать. Она опять прониклась доверием к нам и заговорила о Лазаре, о том, как он пилил и колол тут дрова и радовался работе. «Веришь ли, нет, Клавдия, до чего я стосковался по хозяйству? — говорил он ей. — Прямо топор поет в руках про то, как я скучаю…»

«Что ж он дома-то у себя не работает?» — опять хотел спросить я. Но не спросил, не успел спросить.

— Из дому его баба выгоняет, — ответила Кланька на мой невысказанный вопрос. — Он ведь дома-то почти что не жил все эти годы. Так только изредка когда забредет, больше ночью, притащит чего-нибудь детям. Чисто как волк. Но дети его почти что не признают за отца. Отвыкли. Ведь он то на службе был, на войне, на двух, можно сказать, войнах, то в отряде у Клочкова. А что он в отряде, — об этом жена не может открыто говорить. Это значит навести на себя подозрения. Ну, и вот она стала всем объяснять, что он вроде как пропал без вести, что она вроде как, выходит, вдова солдатка. Ей так удобнее. И прошлый год ей выдали на бедность коня. Не коня, а клячу еле

живую, в парше почти что неизлечимой. Но она его начала мазать дегтем, ставить в жидкую глину — одним словом, лечить. И конь одыбел. А тут опять является Лазарь с побега. Думает, конечно, что жена обрадуется, примет его, заплачет слезьми. А она вдруг намахивается на него ухватом и говорит: «Уйди, дьявол. Я через тебя могу лишиться коня. Сколько лет с детьми мучилась без тебя, а теперь у меня есть конь. Мне власть его выдала, продала». Лазарь ее увещевать: «Да зачем тебе эта кляча? Я тебе такого коня приведу, что залюбуешься. Не конь будет, а змий летучий». А она все свое: «Так это ж ты приведешь краденого коня. Из-за него таиться надо, а это конь хоть какой, но открытый, собственный. На него есть справка». Лазарь ей уж по-всячески втолковывал. Наконец прямо спрашивает: «Ну, кто же тебе милее, скажи мне на милость, муж родной и законный или мерин паршивый?» А она одно что намахивается на него ухватом и кричит: «Не срами меня перед людями!» Подумайте, какая дама!..

Кланька засмеялась.

— А мне Лазаря, откровенно скажу, жалко, — продолжала она. — И Константин Иваныч его держит на притужальнике: говорит, пусть сперва пройдет какое-то испытание после побега, и

жена законная до себя не допускает как следует. Я ему прошлый раз говорю: «Ты нашел бы себе какую-нибудь другую бабу. Мало ли нашей сестры! Мужчина ты еще свежий, здоровый. А в Феничке твоей, говорю, прости ты меня за откровенность, ничего завидного нету. Худущая как жердь. И в годах». А он мне говорит: «А дети?» Он тревожится, что дети вырастут и уже совсем не будут его признавать.

Меня удивило, что в звероватом Лазаре Баукине все-таки есть человеческие чувства. Хотя почему человеческие? Звери тоже пекутся о детенышах. Лазарь поздно вспомнил о своих детях.

— Только Савелий сейчас почитает Лазаря, — заключила свой рассказ Кланька и стала подтягивать за цепочку гирю на больших настенных часах в лакированном футляре. — Время-то, глядите, какое! Надо, пожалуй, ложиться…

Мы легли с Венькой у печки на широкий, набитый шерстью тюфяк и укрылись одним тулупом.

Я хотел шепотом спросить Веньку, кто же этот Савелий? Но не решился. Шептаться — это хуже всего. Мы молча лежали под тулупом и слушали, как в соседней комнате скрипит кровать, на которую укладывает свое роскошное, пышное тело невеста «императора всея тайги» Кланька

Звягина, терзаемая жгучей ревностью. А над нами на печке стонет и ворочается, тревожимый лютой злобой и недугами, бывший околоточный надзиратель, которого для чего-то велел сохранять неизвестный мне Савелий, чьим именем мы вошли в этот дом.

Дом этот стоит на горе, но мне кажется в темноте, что мы лежим где-то на самом дне, может быть на дне какой-то пропасти.

Венька тихонько приподымает тулуп, вылезает и уходит в сени.

Я не вижу, не слышу, но отчетливо представляю себе, как он ловит впотьмах плавающий в ушате ковшик, зачерпывает воду со льдом и жадно пьет, роняя капли на голую грудь.

Я тоже страшно хочу пить. У меня все горит внутри от первачка и лука и еще от чего-то, что мы ели. Но я не решаюсь встать.

Я слышу, как Венька вышел из сеней и прошел в ту комнату, где лежит Кланька. Кровать опять заскрипела.

Это Кланька встала с кровати. Я вспомнил, как она сказала крестному: «Они пришли от Савелия по важному делу». Вот теперь Венька выкладывает ей это важное дело или то, что она должна посчитать важным.

А может, он просто любезничает с ней. Может, он обнял ее сейчас, теплую, большую, душистую, и целует впотьмах. Пусть ее лучше Венька целует, чем какой-то бандит Воронцов. Ну что хорошего увидит в жизни эта Кланька, если она связывает себя с бандитами — уже связала? Ни за что увянет ее красота.

Я хотел бы это все сказать Кланьке. Но я этого никогда не скажу. Не все скажешь людям. И не во все они поверят. А может, ей что-то скажет Венька. И ему она поверит. Недаром же она сказала, что он походит на Костю Воронцова. Подумаешь, какая честь походить на бандюгу!

Нет, Венька не будет целоваться с Кланькой. Ни за что не будет. А вдруг? Я напрягаю слух, но не могу всего расслышать, о чем они говорят. До меня долетают только отдельные слова — Кланькины слова. Она говорит свистящим шепотом:

— Ей-богу. Ну вот ей-богу, я клянусь!

И опять через некоторое время те же самые слова. А что ей говорит Венька, я не могу расслышать. Но я все-таки вслушиваюсь, даже приподымаюсь на локте, и, наконец, до меня долетают удивляющие меня слова Веньки. Он говорит:

— Ты запомни одно: мы сюда не приходили, и ты нас никогда не видела. Понятно?

— Понятно, — шепчет она. И просит: — Ты только потише говори. Ведь дедушка, ты знаешь, какой дьявол?

Венька еще что-то ей говорит, но я опять не слышу его слов. Я слышу только, как женщина снова повторяет свистящим жарким шепотом:

— Понятно.

Ей, должно быть, все понятно. А я ничего не понимаю. Мне только ясно, что Венька ей что-то приказывает. И очень строго.

Нет, он ни за что не будет целоваться с нею. В этом я твердо уверен. За это я могу поручиться. Ну, а сам я стал бы целоваться с Кланькой, вот сейчас, впотьмах, вот в такую ночь, где-то на краю земли и, как я сперва подумал, на другой планете?

И, к стыду своему, я должен был признаться себе в ту тревожную ночь, что стал бы, если б к тому же она первая поцеловала меня.

В оправдание себе, в оправдание слабости своей я подумал о том, что мне ведь в самом деле почему-то жалко Кланьку. Жалко, наверно, потому, что она такая красивая, молодая и связалась с бандитами. А я бы уговорил ее уйти отсюда. Я бы даже женился на ней, если б она захотела. Я увел бы ее от этого притаившегося на печке крестного.

От всего увел бы. А иначе погибнет она. И красота ее погибнет.

Жизнь повсеместно изменится, все вокруг похорошеет, будет замечательная жизнь. Будет полный социализм. А Кланьки не будет, если она связалась с бандитами. Хотя она ведь еще не такая испорченная. Ее еще можно бы исправить. Увести отсюда и исправить. А иначе она наверняка погибнет, как все бандиты.

«Бандитизм в нашей стране не имеет перспективы. Он фаталистически идет к своей неизбежной гибели». Эту, как показалось мне в свое время, красивую фразу написал в одном очерке Яков Узелков. И мне запомнилась эта фраза. Я даже выписал ее к себе в записную книжку. Вот я всегда смеюсь над Узелковым, а он все-таки может здорово написать. Интересно, как бы он описал вот эту ночь? Он, конечно, прибавил бы много лишнего. Получилось бы очень красиво, но…

Я уснул, так и не додумав об Узелкове. Проснулся я от толчка. Мне приснилось, что я плыву без весел в лодке по Ангаре. Вдруг лодка наскочила на плоты. Меня захлестывает холодной волной… Вот сейчас я опрокинусь. Другого выхода у меня нет. Нет, есть другой выход.

Я открываю глаза. За окнами все еще темно, но пурга утихла. На стене опять горит жестяная лампа. Передо мной стоит уже одетый Венька.

— Ну, давай обувайся, и пошли.

— А может, вы хоть молочка выпьете?

Это спрашивает Кланька. И голос у нее виноватый, растерянный, не такой, как вчера. Она стоит у притолоки уже причесанная, но серьги не поблескивают в ее ушах. Она не надела серьги. И не смотрится больше в зеркало, как вчера. Все время опускает глаза, взмахивая пушистыми ресницами. И от этого становится еще красивее, нежнее, что ли.

— Молочка выпьем, — соглашается Венька, как в Распопине, где вчера он проводил беседу.

Мы пьем молоко. А Кланька сидит у краешка стола и, точно пригорюнившись, смотрит на нас, подперев горячую румяную щеку ладонью. Может, ей не хочется расставаться с нами. Или, напротив, она теперь боится нас и жалеет, что вчера была так доверчива.

Она теперь, наверно, знает, откуда мы пришли. Конечно, знает. И чувствует, что оказалась вдруг между двух огней. Она никому не скажет, побоится сказать, кто гостил у нее нынешней ночью. Ей нелегко теперь будет выпутаться.

Венька первым выходит из-за стола, протягивает хозяйке руку, улыбается:

— Ну, для первого знакомства у нас все идет хорошо. Спасибо тебе…

Она пожимает нам руки, сперва Веньке, потом мне. Руки у нее маленькие, но необыкновенно сильные. Мне особенно приятно ее рукопожатие. Венька еще что-то говорит ей в сенях, когда я выхожу на крыльцо. И мы уходим. Мне почему-то становится очень грустно, когда мы уходим.

12

Мы спускаемся с горы на лыжах в темноту и в морозный туман, что ползет по низине, цепляясь бурыми космами за черные зубья таежного леса.

— Серьезное дело можем сделать, — говорит Венька, когда мы входим в тихую глухую просеку. — Дураками будем, если не повяжем этого липового императора со всей его шумливой артелью…

Мне хочется все же узнать, кто такой Савелий.

— Да еще сам не знаю, — смеется Венька. — Это какой-то серьезный зверь. Но не шибко серьезный, если Лазарь залез в его секреты. А Кланька, ты понял, приняла нас сначала за связных от Воронцова. Ей Савелий сказал, что будут сегодня

связные. И Лазарю сказал. А Лазарь задержал связных. Это его знакомые…

Я о многом хочу расспросить Веньку. Но он уклоняется от разговора, говорит:

— Потом, потом. Я сам еще не все понимаю. Тут дело намечается тонкое. Не оборвать бы нитку. Обдумать надо…

Да нам и не очень удобно разговаривать на ходу. Он опять вырывается вперед и быстро идет впереди меня. Я все-таки спрашиваю:

— Ты доложишь начальнику, где мы были?

— А для чего сейчас докладывать? Это трепачи докладывают, когда дело еще не сделано. Сделаем — доложим…

Мы долго молча идем по скользкому снегу. Сверху он слегка припушен, но под пухом этим твердый скользкий пласт. После пурги природа отдыхает. Деревья отрадно встряхивают вершинами. На нас сыплется с деревьев обледеневший искристый снег — кухта. Все еще очень холодно, но сам воздух уже отдает весной. Вот она скоро наступит. Пахнет ягодой. Похоже, пахнет облепихой. Это прелый прошлогодний лист, мхи и лишайники, приставшие к стволам вековых деревьев, обманывают нас своим запахом. А снег все еще глубокий.

— Мы другой раз считаем себя дикарями, но есть дикари пострашнее, поглупее нас, — говорит, повернувшись ко мне; Венька. И прочерчивает лыжами по снегу широкий круг. — Смотришь, будто люди, а живут, как медведи. Или даже хуже медведей. Без всякой перспективы. При коммунизме так, однако, жить не будут…

— А как будут, ты считаешь, жить при коммунизме?

— А я откуда знаю? Что я, лектор?

И, сердито воткнув палку в снег, он порывисто бежит вперед.

Мы опять долго молчим. Потом, когда он переходит на замедленный, плавный шаг, я спрашиваю:

— А эта Кланька Звягина, как ты считаешь, толковая? Или она с глупинкой?

— Ну откуда я знаю, какая она? По-моему, она теперь сильно запуталась с этими делами. И уж скорее всего не выпутается.

— А жалко, — говорю я.

— Конечно, жалко, — соглашается Венька.

И то, что он сейчас соглашается со мной, еще больше возвышает его в моих глазах. «Золотой паренек Венька, — думаю я, продвигаясь вслед за ним. — Умный, ловкий, отчаянный».

— А Лазарь мечется, — как бы вспоминает он, опять замедляя бег. — У него сейчас сильно плохие дела. Воронцов велит ему пройти какое-то испытание. Я еще не знаю какое. Но Лазарь мечется. Не видит смысла, для чего ему проходить испытание. Не может понять, куда ему сунуться…

— Все-таки ты здорово разбередил ему башку и душу, — говорю я.

— При чем тут я? — почти сердито оглядывается на меня Венька. — Он сам не дурак. Он видит, как складывается жизнь. Но ему сейчас деваться некуда. Если он уйдет из бандитов, его сами же бандиты ухлопают. И на нас он еще смотрит зверем…

— Но он все-таки навел нас на эту Кланьку…

— Да не так уж сразу навел. В Шумилово-то мы не напрасно заходили. Он это понимает. Но главное не в этом. Главное, что он не хочет проходить испытание…

— Почему ты считаешь?

— Потому что потому — окончание на у, — смеется Венька. — Если б он хотел проходить испытание, он вчера в лесу стукнул бы нас обоих. И Воронцов посчитал бы, что больше никаких испытаний ему не требуется. А он не только не

стукнул, но показал нам дорогу. И точно показал. Это что-нибудь стоит?

— Конечно.

— Но это еще не все, — говорит Венька и опять бежит впереди меня.

Мы скорее, чем надеялись, доходим до Больших выселок, где вчера собирались ночевать. И идем дальше при свете хмурого утра.

В Проказове нас встречает старший милиционер Семен Воробьев, сейчас оправдывающий свою фамилию. Зябко нахохлившийся, он походит на старого воробья, потрепанного непогодой. И новенькая, недавно выданная форма не нарушает этого сходства.

— Сломался ваш аппарат со всеми крыльями, — сообщает он нам с оттенком ехидства. — Сломался, так его мать! Испортил всю коммерцию. Еще вчера сломался — в Пряхине…

— Неплохо работает бандитский телеграф! — смеется Венька, когда мы отходим от Воробьева. — Значит, правильно нам Клавдия сказала про наши аэросани, что сломались. И все-таки телеграф этот бандитов не спасет. Нет, не спасет. Надо только осторожно тянуть нитку…

Мы идем на лыжах в Пряхино. Начальник наш, невыспавшийся, сердитый, уже в который раз,

наверное, принимается ругать механика около затихших, видимо навсегда затихших, аэросаней.

А механик только кряхтит и пытается отвинчивать французским ключом какие-то гайки. Они никак не отвинчиваются. Кожаный его шлем и кожаное пальто, так восхитившие нас вчера и так украшавшие его, теперь скинуты и лежат на дне саней. В обыкновенной стеганке механик ничем не отличается от обыкновенного деревенского мужика.

— Вам легко рассуждать! — наконец огрызается он, глядя в упор на нашего начальника. — А техника, если желаете знать, это темный лес. Ведь сани эти, нужно учитывать, не русские. Это трофейные, как я думаю, японские сани. А я, во-первых, не японский, а русский механик. Чистокровно русский. Микулов — фамилия…

— Да какой ты русский? Нисколько ты не русский, — говорит начальник. — Русские механики берутся сейчас всю Россию до краев перестроить, а ты, я смотрю, крутишься тут…

— А вы сперва вот бандитов уничтожьте! — уже кричит механик. — Уничтожьте сперва бандитов, а потом перестраивайте Россию. А то вот вы бандитов еще не можете уничтожить. А

сейчас что получится? Вы вот сядете на подводы и уедете обратно в Дудари. А я по долгу службы тут обязан остаться около этих японских, будь они прокляты, аэросаней. А ночью сюда подойдут бандиты и меня же зарежут. И зарежут из-за вашей же фантазии, что вы желали с таким форсом прокатиться на иностранном изобретении в такую даль…

— И правильно сделают, если зарежут, — смеется начальник. — На что ты нужен такой… пессимист?

— Да ты не бойся, не робей! — успокаивает механика уже подоспевший сюда старший милиционер Воробьев. — Ты же не один останешься. Я тоже тут побуду, пока под ваши сани подадут лошадей.

— А толк-то какой? — не успокаивается механик. — При вас находится только вот этот револьверт. Смиттвессон. Вот если б при вас пулемет находился, вот тогда бы я сказал: да, это есть представитель власти. Есть чего бояться.

— Какой я ни на есть, но я с тобой побуду, — незлобиво обещает Воробьев. И приседает на корточки у передка аэросаней, где механик все еще откручивает гайку. — Дай-ка я этот болт зажму клещами. Может, она тогда легче пойдет,

эта гайка…

Мы ждем подле аэросаней Колю Соловьева и еще трех наших сотрудников, которые ведут расследование в Мочаеве и Холмогорах. Потом мы сядем на подводы и поедем в Игренево, где начальник предлагает провести оперативное совещание. А уж позднее, после совещания, двинемся обратно — на Дудари.

13

Из Дударей мы выехали морозной зимой, а возвращались в ростепель, в предвесеннюю распутицу, когда сани то ровно повизгивают железными полозьями, вдавливая мокрый снег, то вдруг заскрежещут, наскочив на голый булыжник, вытаявший из-под снега.

Всю жизнь по сю пору смена времен года наполняет меня не только радостью, но и неизъяснимой тревогой по поводу каких-то неоконченных дел, которые надо бы закончить еще вчера, еще в начале зимы. И вот уже наступает весна, вот уже завтра стает весь снег, проклюнутся набухшие почки на деревьях, зазеленеет земля. А чего-то важного я так и не сделал: не отослал деньги матери, не дочитал каких-то книг, не отдал в починку сапоги, не осуществил серьезных замыслов.

Хотя ясных замыслов еще не было у меня в ранней юности. Из-за этого я и сокрушался в ту пору. Мне казалось, что я живу, как растет трава. А вокруг меня люди совершают что-то продуманное заранее, добиваются чего-то изо всех сил. А чего я добиваюсь?

Я вот даже в Воеводском углу ничего толкового не сделал. Даже не попытался сделать. Я только ходил за Венькой, как свидетель или вроде его охраны. Но он и без охраны бы обошелся.

Венька лежал рядом со мной в санях-розвальнях на соломе, прислонившись головой к валенкам возницы, стоявшего на коленях в передке саней и потряхивавшего вожжами над мохнатой лошаденкой.

Потом у возницы, должно быть, затекли ноги. Он сел на перекладину, потревожив Веньку, и спросил:

— А закурить у вас, товарищи комиссары, не найдется?

— Не найдется, — сказал Венька.

— Плохо, — вздохнул возница. — Плохие вы, стало быть, комиссары, ежли у вас и табаку даже нету.

— А еще чего, ты считаешь, у нас нету? — улыбнулся Венька.

— А я больше с вас ничего не спрашиваю, — сказал возница. — Какое мое дело спрашивать? Велели мне вас отвезти в город, я отвожу. Говорят, отвези комиссаров, кои тут жиганов искали. И другим мужикам дали такой приказ — отвезти. А ежли бы не было приказа, мы бы сейчас дрова возили. Но наше дело такое — слушать, чего говорят. А вы что, жиганов-то разве не нашли?

— Не нашли.

— Ну где ж их, однако, найдешь! Ведь они, поди-ка, в лесу. А в лес-то, однако, и комиссарам страшно удаляться. Ладно еще, господь милостив, вас самих не затронули. А то могли бы и вы жизни решиться. А жизнь-то она, поди-ка, каждому дорога. Особливо, ежли получаешь хорошее жалованье. И паек. Казенные харчи, они скусные…

Возница явно смеялся над нами. Потом он стал рассказывать, как зверствуют бандиты. И опять спросил:

— Значит, выходит, товарищи комиссары, вы примерно как на осмотр ездили? На осмотр населения? А Воронцова, стало быть, самого Константина, вам повидать не привелось?

— Не привелось, — сказал Венька.

— А ты сам-то, отец, видал ли Воронцова? — спросил я.

— Где же, в каком месте я его повидаю? — нахмурился возница. — Мне ведь жалованье не выписывают, чтобы его ловить…

— Ты нашему жалованью не завидуй, — уже начал сердиться я. — И харчами не кори. У вас в деревне харчей сейчас больше, чем в городе. Вы даже снабжаете…

Я хотел сказать — бандитов. Но Венька взял меня за руку.

— Давай, отец, условимся вот как, — предложил Венька вознице. — Я запишу твою фамилию и адрес, где ты живешь. Как поймаем Воронцова, я напишу тебе открытку. Приезжай поглядеть на него…

— Надеетесь все-таки словить?

— А как же? Иначе, правда, не стоило бы возить нас в рабочее время. Лучше уж возить дрова…

Венька разговаривал с возницей весело, по-мальчишески боевито. Но когда в Дударях мы пришли в баню и разделись, он словно постарел.

Повязка его так прилипла к незажившему плечу, что мы ее, даже намочив горячей водой, с трудом отодрали. И плечо вспухло. А лицо у Веньки сделалось черным.

Париться он не стал. Только слегка помылся, выстирал бинт, накинув на спину полотенце,

подождал в предбаннике, пока я попарюсь и перевяжу ему плечо.

— Попарься за двоих, — пошутил он. — Жалко, пропадает такой мировой пар.

Из бани мы пошли искать Полякова, чтобы сделать перевязку по-настоящему. Но Полякова нигде не было.

По дороге мы узнали, что сегодня городское комсомольское собрание и на повестке дня очень важный вопрос.

— Пойдем на собрание, — предложил Венька. — А потом опять поищем Полякова. Мне не хочется пропускать собрание. Интересно, ребят встретим…

— Вот видишь, не надо было тебе ездить сейчас в Воеводский угол, — сказал я, заметив, как Венька все время морщится.

— Почему это не надо? — возмутился он. — Очень даже хорошо, что съездили. Я кое-что зацепил…

— А вдруг плечо опять раздурится? Может стать совсем худо.

— Это ерунда. Поляков мне все наладит. У меня же хорошо заживлялось. Он сам говорил. И сейчас тут есть приезжий доктор Гинзбург. Если он только не уехал…

— Теперь тебе, наверно, придется лечь в больницу.

— Нет, я не лягу. Как вот просохнет земля, я опять поеду в Воеводский угол. Нам и сегодня не надо было всем сразу уезжать оттуда. Это мы немножко сплоховали.

— Но это ж начальник так хотел, — сказал я. — Мы уж за это не отвечаем. Мало ли, что он…

— Нет, отвечаем, — вдруг перебил меня Венька. — Мы за все отвечаем, что есть и что будет при нас. Мы же не дрова и не бревна…

И так он это резко сказал, зажмурившись от боли в плече, что мне запомнились на всю жизнь и эти его слова, и лицо его запомнилось при этих словах — какое-то особо выпуклое, напряженное, с глубокой складкой между бровями.

— А к этой Кланьке Звягиной ты опять зайдешь, если поедешь в Воеводский угол?

— Опять зайду.

— Значит, она тебя задела?

— Задела.

— А Юлька?

— Что Юлька? — Он сердито посмотрел на меня, будто я его в чем-то упрекнул. Потом опять зажмурился. И немного погодя сказал: — Юлька — это… я даже не знаю, как это объяснить…

Одним словом, я такой девушки еще никогда не встречал. И, наверно, больше не встречу. Она даже снится мне. Я про нее почти все время думаю. Что бы ни случилось, а я все время думаю про нее. Будто она смотрит на меня. Нет, я, наверно, другой такой больше никогда не встречу.

Это он впервые так откровенно сказал о Юльке, о том, что она интересует его. И сказал это с затруднением, может быть, потому, что у него сильно болело плечо.

— Ну, — отчего-то смутился я, — как можно заранее говорить? Ты с ней еще даже не познакомился. А вдруг она в разговоре окажется не такая...

— Пусть. Мне это все равно. Для меня она заранее умнее всех. И меня умнее. Хотя я себя сильно умным не считаю. Я доверчивый очень. Но меня еще никто не обманывал, кому я доверял...

— А эти бандиты тогда сбежали — Лазарь Баукин и другие? Ты же не знал, что они сбегут из бани. Ведь действительно ты не знал?

Мы проходили среди голых и мокрых деревьев городского сада, что раскинулся над рекой.

Лед уже набух, побурел. Вот еще неделя, другая, и он вздыбится, взорвется, загрохочет и медлительно поплывет далеко-далеко, в Ледовитый

океан.

Венька остановился над обрывом и стал пристально вглядываться вдаль, где чернела тайга, а над нею повисли чуть подсвеченные заходящим солнцем грязноватые облака.

Где-то там, под этими облаками, мы и были сегодня. Там лежит в треугольнике меж гор и рек Воеводский угол.

Я подумал, что Веньке не хочется отвечать на мой вопрос, что я затронул его слабое место. Чтобы выйти из неловкого положения, я сказал:

— Ведь к человеку в душу не залезешь. Откуда можно узнать, что у человека на душе? И с Лазарем Баукиным тогда нехорошо получилось. Ты ему поверил… И все мы ему поверили. А он вдруг убежал. Но, может, он сейчас себя оправдает. Прокурор пока помалкивает…

— Все это ерунда, — проговорил Венька и сделал такое движение, точно отталкивал от себя что-то крайне неприятное. — Лазарь Баукин мне не родня, и никаких обещаний не убегать он никому не давал. Была плохая охрана — он ушел. А в душу мы все равно обязаны залезать — в любую, если нас поставили на такую работу…

И опять стал пристально вглядываться вдаль, в сторону Воеводского угла, где притаились те,

кого мы должны выследить, выловить и даже уничтожить.

Мимо нас прошли Узелков и какой-то незнакомый нам сухощавый молодой человек в очках и в модной финской шапке с кожаным верхом и с барашковой опушкой. Они не заметили нас.

— Надо идти на собрание, — оглянулся на них Венька.

И мы пошли.

В толстостенном помещении клуба имени Парижской Коммуны, где недавно еще жили монашки, было сумрачно и тихо.

Мы прошли по узенькой каменной лестнице на второй этаж в буфет.

Здесь сидели за столиком и пили лимонад Яков Узелков и тот незнакомый нам молодой человек, уже снявший финскую шапку.

У молодого человека было детское, пухлое лицо в докторских очках, темные, гладко причесанные волосы и заметно хилые, покатые плечи, которые он все время как бы суживал, будто ему холодно. В зубах он держал тонкую трубку с длинным чубуком.

— Познакомьтесь, ребята, — показал нам Узелков на своего собеседника. — Это Борис Сумской. Вы о нем, наверно, слышали? А это, — представил

он нас, — местные пинкертоны…

За такие слова Узелкову в другое время сильно попало бы. Но сейчас мы не хотели ссориться с ним при постороннем человеке, при таком особенно, как Борис Сумской, о котором мы, конечно, слышали. Он часто писал в губернской газете фельетоны о попах и о религии, и было известно, что он работник губкома комсомола.

— Пинкертоны? — посмотрел он на нас и тихонько засмеялся. Однако протянул нам руку и сказал: — Очень приятно.

Обижаться было бы глупо с нашей стороны, тем более Борис Сумской, наверно, и не хотел нас обидеть. Просто ему показалось остроумным то, что сказал Узелков.

— Борис, — кивнул на Сумского Узелков, — Борис Аркадьевич будет сейчас делать доклад о религиозном дурмане. А перед докладом по его инициативе будем разбирать дело некоего Егорова. Борис Аркадьевич придает этому делу особое значение…

— Да, я считаю, это будет полезно для всей городской организации, — вынул изо рта трубку Сумской. — Надо учить людей на конкретных примерах. А дело Егорова может послужить прекрасной иллюстрацией…

Мы не знали, кто такой Егоров и что у него за дело. Но Узелков нам тут же все объяснил:

— Егоров работал на маслозаводе, был, понимаете, комсомольцем. И, однако, вместо того чтобы бороться против поповского дурмана, сам некоторым образом принял недавно участие в религиозном обряде, в так называемом крещении ребенка…

— Хорош! — улыбнулся Венька. — Значит, работает и нашим и вашим?

— Вот именно, — поднял перед своими глазами трубку Сумской. — Поразительная, я бы сказал, беспринципность. Будет очень неплохо, если кто-нибудь из вас выступит сейчас по этому вопросу.

— Я не могу, — сразу отказался Венька. — К тому же я его не знаю, этого… Егорова, что ли…

Сумской опять воткнул трубку в рот.

— Это не имеет значения, — отметил он, выпуская клуб густого душистого дыма.

И этот дым неизвестного нам, наверно, дорогого табака, и новенькая кожаная тужурка с черным бархатным воротником, и темно-синие галифе, заправленные в серые чесанки, и все, что мы раньше слышали о Сумском, немножко подавляло нас.

Это была, конечно, большая честь, что такой

человек, приехавший из губернского центра, вот так запросто беседовал с нами. И все-таки Венька сказал:

— Нет, будет неудобно, если я выступлю. С чего это вдруг?

— Глупые! — точно с сожалением, посмотрел на него и на меня Узелков. — Это же прямое поручение губкома. Так надо. Уком уже исключил Егорова из комсомола. А теперь товарищ Сумской рекомендует сосредоточить на этом одиозном деле внимание всей организации. Поэтому нужно выступать…

— Вот ты и выступи, — предложил я Узелкову.

Узелков засмеялся:

— Ох, какие вы странные! Я ведь могу выступить всегда. А товарищ Сумской хочет, чтобы сейчас выступали люди, так сказать, из массы…

— Вот именно, — поддержал его Сумской.

— И, кроме того, я дам в газете очерк об этом деле, — пообещал Узелков. — У меня, в сущности, все написано, постольку поскольку я присутствовал на заседании укома, где Егоров был исключен из комсомола. Это собрание должно прозвучать как заключительный аккорд…

— Вот именно, — опять поддержал его Сумской. И медленно вынул из маленького брючного

кармана часы на цепочке. — Надо, пожалуй, начинать…

— Пожалуй, — согласился Узелков.

А мы молчали.

Нам просто нечего было сказать.

Мы так молча сидели и в зале, когда перед нами за длинным столом, покрытым красной материей, уже разместился президиум.

Первое слово было предоставлено Сумскому. Но он долго не мог начать говорить, потому что ему долго аплодировали, хотя комсомольцев в зале сидело немного.

Тогда во всем городе комсомольцев насчитывалось не больше тридцати, да в уезде еще пятнадцать или двадцать. Вот и вся уездная организация. И чуть ли не вся она собралась сейчас послушать известного Сумского.

— Я с ним учился в гимназии, — сообщил нам Узелков, усевшийся рядом с нами в зале. — Он был в пятом классе, а я в третьем. Потом я ушел на производство, на аптекарский склад, а он на фронте был, в агитбригаде, и мы потеряли друг друга…

— Чего же ты его Борисом Аркадьевичем зовешь, если вы старые товарищи? — спросил я, вообще удивленный тем, что комсомольца, хотя

и старшего по возрасту, называют по имени-отчеству.

— Не люблю проявлять фамильярность, — сказал Узелков и встал. — Пойду возьму пальто. Здесь все-таки прохладно…

— А что такое фамильярность? — спросил я, ухватив его за полу толстовки, чтобы задержать.

— Вот то, что ты делаешь сейчас, — осердился Узелков. — Отпусти. Я тебе не девчонка…

И он пошел на вешалку взять пальто, хотя Борис Сумской уже начал говорить. Но Узелкову, наверно, заранее было известно все, что скажет Сумской.

— …Мировой капитализм опять грозит нам новой интервенцией. Около Якутска, недалеко от нас, все еще бродит со своими битыми войсками белый генерал Пепеляев, которого наняли американские промышленники совершить набег на Советскую Якутию, дабы они могли скупить по дешевке нашу пушнину. Римский папа размахивает своим золотым кадилом, призывая гром и молнии на наши головы. А в это время среди нас, в наших сплоченных рядах, еще находятся комсомольцы, которые никак не могут освободиться от религиозного дурмана. Тут один шаг до предательства интересов пролетариата. И в

этом смысле так называемое дело бывшего комсомольца Егорова весьма показательно. Поэтому нужно и необходимо приковать к нему внимание всей организации. Нужно и необходимо вскрыть до конца всю глубину падения этого человека…

Борис Сумской говорил медленно и тихо, уверенный, что его все равно будут слушать и никто не перебьет. Он говорил о том, что бюро укома комсомола поступило совершенно правильно и своевременно, исключив Егорова из рядов РКСМ. Надо, чтобы и другим было неповадно…

— Да в чем дело? — вдруг закричал Васька Царицын. — Ты сначала объясни, в чем дело!

Зуриков, сидевший за длинным столом президиума, позвонил в колокольчик, призывая Царицына к порядку.

А Борис Сумской наклонил голову и удивленно посмотрел в зал поверх своих докторских очков.

— Я говорю, вы неправильно ведете собрание, — привстал на своем месте в зале Царицын. — Если есть какое-то дело Егорова, то пусть бюро с самого начала доложит собранию. А то я слышу, тут уже какие-то выводы делаются. Это неправильно…

— Понятно, — кивнул головой Сумской. — Значит, здесь, на собрании, имеются элементы, желающие выгородить Егорова. Понятно. Но

я должен предупредить, что это не выйдет. Не выйдет!

— Это, имейте в виду, замечательный полемист, — кивнул на Сумского Узелков, уже накинувший на плечи пальто и опять усевшийся с нами рядом. — С ним лучше не связываться. Судьба Егорова, к сожалению, уже решена.

В зале начался шум. Царицына поддержали еще три комсомольца. И Зуриков, пошептавшись с членами президиума, наконец, признал, что собрание ведется неправильно, не по уставу.

Зуриков сам стал докладывать о деле Егорова.

— А где Егоров? — опять закричал Царицын.

— Егоров, ты здесь? — посмотрел в зал Зуриков.

— Я здесь, — откликнулся из задних рядов еле слышный голос.

— Пусть он выйдет, — предложил Царицын. — Пусть он сам расскажет, как это было.

И тут все увидели высокого застенчивого паренька в черном кургузом пиджачке. Он медленно шел к столу президиума.

— Да мы же его знаем! — сказал мне Венька. — Это же Егоров, кажется, Саша, с маслозавода имени Марата.

— Ну да, — подтвердил я. — Он провожал нас

на крышу, приносил лестницу.

И еще мы вспомнили, что этот Егоров приносил к нам в угрозыск сумку с патронами, которую бросили бандиты, когда грабили маслозавод. Это было в прошлом году, летом.

А теперь сам Егоров завяз вон в какой-то истории и моргает перед собранием красными глазами. Что он, плакал, что ли? Почему у него глаза такие красные?

— Я жил у дяди на квартире, — рассказывал он, готовый и сейчас заплакать. — Это родной брат моей матери. Он выписал меня сюда, потому что я был безработный. Он очень хороший человек, но он женился во второй раз, а жена у него хотя и молодая, но очень отсталая в смысле религии…

— И ты, значит, с дядей пошел у нее на поводу? — спросил Царицын.

— Выходит, что так, — согласился Егоров. — Но в церковь я, даю честное комсомольское, не ходил…

— А это что? — показал бумагу Зуриков. И объяснил собранию: — Это заявление церковного старосты Лукьянова о том, что комсомолец Егоров, теперь бывший комсомолец, участвовал в церкви в церковном обряде крещения ребенка — дочери своего дяди, некоего гражданина Ку-

гичева И. Г.

— Это вранье! — отмахнулся Егоров. — Вот ей-богу, это вранье. В церкви я не был. А церковный староста сердит на меня, что мы под рождество проводили агитацию против религии у нас на маслозаводе. И еще перед церковью спели песню «Долой, долой монахов, долой, долой попов…»

— Значит, ты проводил агитацию против религии, а потом сам же участвовал в крестинах? — опять вскочил со своего места Царицын. — И самогонку пил?

— Нет, самогонку не пил, — помотал головой Егоров. Потом, помолчав, будто вспомнив, добавил: — Настойку, правда, пил. Два стакана выпил…

Все засмеялись.

— А настойка на чем была настояна? — зло спросил вечно угрюмый Иосиф Голубчик. — На керосине?

— Нет, тоже на самогонке, — признался Егоров. — Но она сладкая — на облепихе…

И повесил голову, должно быть сам догадавшись, что получилось глупо.

— Жалко парня! — сказал я Веньке, показав на Егорова. — Теперь уж он не выкарабкается из этого дела. Каюк! И зачем он признался, что пил

настойку? Даже два стакана…

— Очень хорошо, что признался, — одобрил Венька, вглядываясь в Егорова. — Честный парень. А что же он будет врать?

— Я не мог не пойти на крестины, — лепетал Егоров. И зачем-то торопливо застегивал свой кургузый черный пиджачок, будто собираясь сию же минуту уйти отсюда. — Дядя бы обиделся. Я живу у дяди на квартире. Он устроил меня на работу. Выписал сюда. И это родной мой дядя. По моей матери он мне родной…

— Это не оправдание! — крикнул Царицын и взял слово в прениях.

Он предлагал подтвердить решение бюро укома:

— Нам двоедушных в комсомоле не надо, которые живут и нашим и вашим…

Царицын сказал те же самые слова, какие говорил Венька Малышев, когда мы сидели в буфете.

Потом почти так же выступал Иосиф Голубчик. Только Голубчик больше злился, сразу назвал Егорова хвостистом и слюнтяем:

— И еще слезы тут льет, ренегат!..

— Вот это наиболее точное определение, — указал мне на Голубчика Узелков. — Егоров — именно ренегат. Я лично только так бы это

квалифицировал…

Ренегатами тогда называли европейских социалистов, заискивавших перед буржуазией.

Егоров подтянул к запястью короткий не по плечу рукав и рукавом вытер лицо.

— Мне особенно противны эти лицемерные слезы, — скривился в его сторону Голубчик. — Не разжалобишь. Мы боевые комсомольцы. Мы слезам не верим…

При этих словах Венька Малышев поднял руку, попросил слова и, скинув на стул телогрейку, пошел к столу президиума быстрой походкой, высокий, плечистый, оправляя на ходу под ремнем суконную серую гимнастерку.

— А я верю слезам! — сердито посмотрел он на Голубчика. — И я бы, наверно, сам заплакал, если б меня исключили из комсомола. Это не шуточное дело. И нечего тут подхахакивать и подхихикивать, как вот делает товарищ Сумской. Я даже удивляюсь, что такой человек подхихикивает. Чего ты тут увидел забавное?

Узелков даже ахнул, сидя рядом со мной:

— Ну, это Малышев лишнее на себя берет. Борис Сумской — это ему все-таки не Васька Царицын. Это работник губернского масштаба…

А Венька Малышев продолжал:

— Я еще не вижу в этом деле полного состава преступления. Если начать расследовать это дело по-настоящему…

— Здесь не уголовный розыск, — громко произнес Сумской.

И в зале кое-кто засмеялся.

Этот смех сбил Веньку.

— Я, конечно, не оратор, — как бы извинился он после долгой паузы. — Но я считаю, что говорить про Егорова «бывший комсомолец» еще рано. Еще надо это дело все-таки… доследовать… Вот именно — доследовать. Подозрительно мне, что тут некоторые готовы верить церковному старосте и не верить комсомольцу Егорову. С каких это пор церковные старосты стали заботиться о чистоте рядов комсомола? Я не буду голосовать за исключение товарища Егорова, я подчеркиваю — товарища, пока не увижу убедительных улик, что ли…

— Может, тебе представить еще вещественные доказательства? — усмехнулся Сумской.

— Да, мне нужны доказательства, — подтвердил Венька. — И всем, я думаю, нужны. Не только мне. Вот на этом я настаиваю очень твердо. И уверен, что вы, ребята, меня поддержите, потому что, я считаю, комсомольская организация должна не

только наказывать, но и защищать комсомольца, когда на него возводят какую-то… ерунду или что-нибудь вроде этого. Я так считаю…

В зале было уже темно. А когда в президиуме зажгли большую керосиновую лампу, в зале, особенно в последних рядах, стало еще темнее. Поэтому мы не сразу рассмотрели девушку, взявшую слово после Малышева. И только когда она заговорила, мы узнали Юлю Мальцеву.

— Я вполне согласна с этим товарищем, который только что выступал, — подняла она голову и поправила гребенку в пышных волосах. — Я не знаю его фамилии, но я с ним вполне согласна. Он ставит вопрос совершенно правильно — по-комсомольски…

Веньке, вернувшемуся на свое место рядом со мной, вдруг стало душно. Он расстегнул ворот гимнастерки.

Лампа, стоявшая на столе президиума, хорошо освещала Юлю. Видно было даже, как шевелится у нее на груди белый лебедь, вышитый на мохнатом свитере.

Таких свитеров комсомолки тогда еще не носили. Юля, наверно, связала его сама. Так думалось мне. И я следил напряженно за каждым ее движением.



Царицын опять поднял руку, опять попросил слова.

— Это, может быть, глупо, — усмехнулся он. — Но я сейчас послушал выступления, особенно выступление вот товарища Малышева Вениамина, продумал свои слова и вижу, что я поторопился. Я, товарищи, хочу прямо признать, что я поторопился. Я тоже не буду голосовать за исключение товарища Егорова. Это дело надо продумать. В этом деле еще надо разобраться…

Венька Малышев мог бы гордиться, что он повернул весь ход собрания. Все выступавшие после него говорили в защиту Егорова.

Зуриков, снова пошептавшись с членами президиума, согласился, что в этом деле допущен перехлест, что решение по этому делу надо, пожалуй, пересмотреть. И решение тут же пересмотрели.

Егорову поставили только на вид, только предупредили его, чтобы он больше не участвовал в крестинах и во всяких религиозных обрядах, а также пьянках и тому подобных недостойных действиях.

Егоров, растерявшись от счастья, продолжал сидеть в президиуме у лампы, красный и вспотевший. Но Венька больше не смотрел на него.

Венька словно забыл о нем и обо всем, что происходит на собрании. Он, мне кажется, не слушал и доклад Бориса Сумского, в общем, как я помню, интересный доклад. Он все время поворачивал голову и, сильно морщась от боли в плече, смотрел на черное полукруглое монастырское окно, где сидела с подругой почему-то на подоконнике Юля Мальцева, хотя в зале было много свободных мест.

— Шею сломаешь, — пошутил я и потом предложил в конце собрания: — Пойдем познакомимся с ней…

— Пойдем, — покорно отозвался он как загипнотизированный. И, еще раз взглянув на нее, похвалил: — Принципиальная…

Это была наивысшая похвала, какую мог произнести Венька. Ему всегда нравилось это слово и смысл его. Вспоминая о своем отце, он говорил: «Это был замечательный, принципиальный старик. Колчаковцы ему давали десять тысяч царскими деньгами, чтобы он провел бронепоезд, можно было дом купить, а он лучше готов был под расстрел».

После собрания мы решились подойти к Юле. Уже направились к тому окну. Но к нам подошел Егоров.

— Вот пусть вся жизнь моя пройдет — и все равно, товарищ Малышев, я тебя буду вспоминать, — сказал Егоров. — Вот, ей-богу, даю тебе честное ленинское, самое честное слово. Если б сейчас не ты, я не знаю, что было бы…

— Ну ладно, будет ерунду-то собирать, — поморщился Венька, продолжая смотреть в ту сторону, где сидела Юля.

Юли уже не было видно. Но вот она опять появилась в зале. Она, должно быть, кого-то искала. «Может быть, нас?» — подумал я.

— Нет, ты, правда, меня спас, — говорил Егоров, вытирая платком вспотевшее лицо. — Это я даже не ожидал.

А Юля стояла недалеко от нас под низкими сводами. Нас она не могла увидеть за колонной. Да, может, она и не нас искала. Даже скорее всего не нас. Может быть, она искала Узелкова.

— Я уж был уверен, что меня тут заклюют и закопают, — вздыхал Егоров, вытягивая руки, точно желая обнять Веньку и все-таки не решаясь. — Как этот Сумской начал говорить про мировой капитализм и про папу римского и меня тут же вспомнил, я прямо весь обмер. Ну, думаю, конец мне. А ты меня выручил…

— Да зачем мне надо было тебя выручать? —

вдруг осердился Венька, увидев, что Юля ушла. — Чего это ты причитаешь? Для чего? Никто тебя не выручал, а просто ребята увидели, что все делается неправильно. И ты тут ни при чем. Тебе бы надо было выговоров записать. Но ты честно сознался. Поэтому никто не настаивал. А если в следующий раз опять пойдешь на крестины, тебя уж никто не выручит…

— Я никуда теперь не пойду, — сказал Егоров. — Мне теперь все равно не будет жизни на маслозаводе…

Но Венька его не слушал. Он шел все быстрее по узкому монастырскому коридору, будто надеясь догнать Юлю Мальцеву. А Юля, наверно, как думал я, идет сейчас уже по улице, может, под ручку с Узелковым.

Еще днем около клуба лежал смерзшийся снег, а к ночи его уже растопило и развезло, и вдоль тротуара шумел ручей.

На улице было темно и сыро.

Только у двухэтажного каменного здания горсовета, у бывшего особняка купца Махоткина, горели на чугунных столбах старинные шестиугольные керосиновые фонари. И в желтом свете этих фонарей еще толпились парни и девушки, вышедшие из клуба после комсомольского со-

брания.

Издали видно было Бориса Сумского. Он размахивал руками, будто дирижировал.

Я подумал, что и Юля Мальцева где-нибудь здесь стоит. Но ее не было. И Узелкова не было. Значит, верно, он пошел *ее* провожать.

Мы шли по мокрым изломанным доскам тротуара. Вдруг доска зашаталась под нами. Это кто-то догонял нас.

Привыкшие к неожиданностям, мы сразу расступились. И в ту же минуту сконфузились, потому что нас догонял не кто-нибудь, а Узелков.

— Да, Вениамин, — сразу начал он, — испортил ты мне сегодня работку. У меня даже эпиграф был подобран: «В столицах шум, кипят витии, идет журнальная война. А там, во глубине России, там вековая тишина».

— Ты это о чем? — спросил Венька.

— О том же!.. — засмеялся Узелков. — Об этом самом Егорове. Это же типичный обыватель, как его характеризовал Борис Сумской, обыватель с комсомольским билетом. Я уже было очерк о нем написал. А ты…

— Ты сам обыватель, — поглядел на него сверху вниз Венька. — Егоров — честный парень. А ты только ищешь в людях какую-нибудь пакость.

Тебе бы только написать, только бы перед кем-то выслужиться…

— Может быть, товарищ Малышев, ты поточнее скажешь, перед кем я, по-твоему, выслуживаюсь? — с угрозой в голосе попросил Узелков, стараясь в то же время удержаться на шаткой доске, проложенной на двух бревешках над вязкой грязью.

— Я не знаю, перед кем ты выслуживаешься, — перепрыгнул через лужу Венька. — Но я вижу, что тебя все время тянет на вранье, как муху на сладость…

— Поучи меня, поучи! — насмешливо попросил Узелков и остановился у конца доски, не решаясь перепрыгнуть через лужу.

Венька протянул ему руку.

— Не беспокойся, я не барышня! — обидчиво вскинул голову Узелков. Но все-таки ухватился за руку Веньки и перепрыгнул на островок обледеневшего снега.

— Что ты можешь понимать о том, что такое правда и что такое, как ты выражаешься, вранье? — сказал он, ощутив под ногами сравнительно твердую почву. — У тебя от недостатка образования эмпирическая смесь в голове. И, кроме того, ты заражен так называемой христианской

моралью. Ты читал тезисы по антирелигиозной пропаганде?

— Ничего я не читал, — ответил Венька. — Но я вижу, ты всех стараешься подогнать под какие-то тезисы. Ты и Егорова хотел сегодня подогнать. А если б у тебя была настоящая комсомольская совесть при твоем образовании…

Узелков опять гордо вскинул голову:

— Совесть? Что касается совести, как ты ее понимаешь, и всякого правдоискательства, так я это предоставляю разным вульгаризаторам, вроде тебя, товарищ Малышев. Меня христианская мораль не интересует. Мне сюда, — завернул он за угол.

Я все-таки успел ухватить его за полу.

— А что такое христианская мораль? — спросил я.

— Христианская мораль? — Узелков остановился. — Не знаете?

— Если б знали, не спрашивали бы, — сказал Венька.

— Христианская мораль… Как бы это вам объяснить наиболее популярно? Христианская мораль — это прежде всего запугивание человечества всесильным божеством. Церковники внушают верующим, что, если человек украдет, солжет

или сделает еще какую-либо подлость, его обязательно накажет бог. То есть внушают такую мысль, что человек должен вести себя благородно под страхом божественного наказания. Под постоянным страхом…

— А если бога нет, значит, можно врать и обманывать? — спросил Венька.

— Я этого не говорил, — засмеялся Узелков. Вынул из кармана свежую пачку папирос, разорвал ее с угла, вытряс на ладонь три папиросы. Одну зажал в зубах, две протянул нам. Потом достал спички.

Ветер, стремительный, предвесенний, дующий сразу с трех сторон на этом перекрестке, мешал прикурить. Узелков нервничал.

Венька взял из его тонких пальцев коробок. Мгновенно прикурил и, держа горящую спичку в согнутых ладонях, как в фонарике, дал прикурить Узелкову и мне.

— Вот это я понимаю — ловкость рук! — пошутил Узелков. — Есть вещи, которым я завидую…

— Чему ты завидуешь? — спросил Венька.

— Ну вот хотя бы тому, что ты умеешь так ловко на ветру зажечь огонь и удержать его в руках.

— Огонь я могу удержать, — поднял все еще горящую спичку Венька. — Но ты погоди, ты не

темни. Ты скажи откровенно, как ты сам считаешь: Егоров сейчас был виноват?

— До известной степени…

— До какой степени? Ты в точности скажи: надо было его исключать из комсомола?

— Какое это имеет значение — надо или не надо? — выпустил дым Узелков.

— Нет, ты прямо скажи, по всей совести — христианской или нехристианской, — его надо было исключать из комсомола? Он был сильно виноват?

Узелков улыбнулся:

— Как выяснилось на собрании, не сильно…

— Что ж ты взялся писать о нем и срамить его, если он не сильно виноват? — спросил я.

— Вот, вот! — поддержал меня Венька, пристально вглядываясь в Узелкова. — Вы с Борисом Сумским хотели вроде пустить под откос хорошего парня. И ни с того ни с сего…

Узелков наклонился завязать шнурок на башмаке. Завязал, выпрямился:

— Это вам так кажется, что ни с того ни с сего. А если бы вы читали тезисы по антирелигиозной пропаганде, вы бы так не рассуждали. Иногда в политических интересах надо сурово наказать одного, чтобы на этом примере научить тыся-

чи…

— О-о! — вдруг как будто застонал Венька и выбросил в лужу папироску.

Я подумал, что у Веньки уже совсем нестерпимо разболелось плечо, и кивнул на Узелкова:

— Да ну его к дьяволу с этими разговорами! Пойдем. А то ты опоздаешь к Полякову…

— Нет, погоди, — оттолкнул меня Венька. — Так, значит, ты, Узелков, считаешь, что можно сурово наказывать даже не сильно виноватого, лишь бы кого-то там научить? А это будет чья мораль?

— Я морали сейчас не касаюсь, — чуть смешался Узелков и стал потуже обматывать шею шарфом. — Мы говорим о более серьезных вещах. Егоров не какая-то особенная фигура. В огромном государстве, даже в пределах одной губернии его и не заметишь. Как какой-нибудь гвоздик. А тем не менее на его деле мы могли бы научить многих…

— Вон ты какой! — оглядел Узелкова Венька. — А с виду тихий. А что, если тебе самому сейчас пришить дело? Что, если тебя самого сейчас выгнать из комсомола и отовсюду и потом начать всех учить на твоем деле?

— Я же не был на крестинах, — в полной рас-

терянности проговорил Узелков. — И, кроме того, — он взглянул на скользкий снег под ногами, — я, кажется, промочил ноги.

— Иди скорее грейся! — сказал Венька. — Не дай бог, простынешь. Кто же будет тогда других учить… разным жульническим приемам?

— Поаккуратнее, — попросил Узелков. — Поаккуратнее в выражениях. А то я могу поставить вопрос и о тебе, о твоих идейных взглядах…

— Поставь! — махнул рукой Венька.

И мы свернули в переулок, в совершенную тьму, где надо было идти, прижимаясь к забору, чтобы не попасть в глубокую грязь, тускло мерцавшую среди маленьких островков льда и снега.

— Теоретик! — засмеялся я, оглянувшись на Узелкова. — Он, наверно, и перед Юлькой Мальцевой развивает такие теории. Он же сам рассказывал: она играет на гитаре и поет романсы, а он разводит вот такую философию…

— Юля тут ни при чем, — странно тихим голосом произнес Венька. — И не к чему ее впутывать в эту ерунду… А мы с тобой как слепые котята, — вздохнул он, оступившись на тонкой полоске снега и провалившись одной ногой в грязь. — Даже как следует поспорить не умеем. Я только

чувствую, что Узелков говорит ерунду. Не может быть, что есть какие-то тезисы, по которым надо врать и наказывать невиновного, чтобы чего-то такое кому-то доказать. Не может этого быть. Я считаю, врать — это значит всегда чего-то бояться. Это буржуям надо врать, потому что они боятся, что правда против них, потому что они обманывают народ в свою пользу. А мы можем говорить в любое время всю правду. Нам скрывать нечего. Я это хорошо понимаю без всяких тезисов. Но объяснить не могу. Он мне тычет христианскую мораль, намекает вроде, что я за попов. И я немножко теряюсь. А он держится перед нами, как заведующий над всей советской властью. И как будто у него есть особые права…

— Да ну его, он трепач! — сказал я.

— Нет, он не трепач, — возразил Венька и добавил задумчиво: — Он, пожалуй, еще похуже, если в него вглядеться…

Впереди нас вдоль забора, цепляясь за забор, за старые трухлявые доски, продвигался человек. Мы сразу узнали Егорова. И он, конечно, узнал нас, но не заговорил. Он просто молча шел впереди по узенькой кромке обледеневшего снега.

Венька окликнул его:

— Ты куда сейчас?

— Домой, на маслозавод.

— О, это далеко, особенно по такой грязи! И, главное, темно, — сказал Венька. И еще спросил: — А чего это ты говорил, что тебе теперь не будет жизни на маслозаводе?

— Ну, это долго объяснять, — уклонился Егоров.

Видимо, он все-таки обиделся за то, что Венька его не дослушал в клубе. И Венька это сейчас почувствовал.

— А то, хочешь, идем к нам ночевать, — пригласил он. — Можем постелить тебе тюфяк. Попьешь чаю. — И пошутил: — Облепиховой настойки у нас нет, а чай найдется, даже не с сахарином, а с сахаром…

— Нет, спасибо, — отказался Егоров. — Я пойду домой. Утром рано вставать. — Голос у него был невеселый.

На площади Фридриха Энгельса он попрощался с нами и уж совсем невесело сказал:

— Вам хорошо, ребята!

— Чем же нам хорошо? — спросил я.

— Всем хорошо. У вас работа хорошая. Постоянная. Вас никто не тревожит…

Венька засмеялся:

— Вот это ты в точности угадал, что нас никто

не тревожит! Может, тебя устроить на нашу работу?

— А что, я бы пошел! — оживился Егоров. — У вас ни перед кем унижаться не надо…

— А ты перед кем унижаешься?

— Ну, это сразу не расскажешь, — опять уклонился. Егоров. И показал рукой: — Мне теперь вот прямо под гору. Ох, и скользко там сейчас!..

— А то действительно пойдем к нам, — предложил я.

— Нет, ничего, не надо, я доберусь, — пошел через площадь Егоров. И повторил: — Я доберусь…

— Вот что! — крикнул ему Венька. — Если будешь в наших краях, заходи. Мы тут живем недалеко, на Пламя Революции, шестнадцать. Обязательно заходи…

— Ладно, то есть спасибо! — уже из темноты откликнулся Егоров.

Ему надо было идти под гору, потом через мост, все время лесом.

А мы пошли по улице Ленина, где горело несколько керосиновых фонарей и рядом с нами висели в проволочных сетках электрические лампочки, которые должны были загореться к Первому мая, когда будет пущена электростанция.

Мы прошли мимо бывшего махоткинского магазина, мимо магазина Юли Мальцевой, как мы мысленно называли его, и с грустью посмотрели на огромный, чуть покрытый ржавчиной замок, висевший на обитых железом дверях.

Эх, Юля, Юля! Наверно, и в пятьдесят лет и позже не угадать мне, что же было в тебе такое притягательное, что увлекало, и радовало, и мучило нас. Но ведь было что-то, от чего и волновались и робели мы перед тобой. И даже замок твоего магазина вдруг наполнял нас сердечным трепетом.

14

Венька был решительным и смелым, хитрым и даже грубым, беспощадно грубым, когда требовали обстоятельства.

Таким его знали многие. Но мало кто знал, что он же бывает застенчивым и нерешительным.

В окнах нашей амбулатории, или предбанника, как мы ее называли, было уже темно, когда мы проходили мимо. Поляков, должно быть, лег спать. И Венька постеснялся разбудить Полякова, хотя плечо у Веньки разболелось так, что я думал, он в самом деле сойдет с ума.

Он метался всю ночь на узенькой своей кро-

вати, бредил, скрежетал зубами. То сердито, то жалобно и нежно звал Юльку, называл ее Юлей, Юленькой. То вдруг открывал глаза и разумно спрашивал:

— Я кричу?

— Нет, что ты!

— Ну, тогда извини, пожалуйста. Спи. Нам рано вставать. Мне чего-то такое приснилось. Ерунда какая-то…

И опять начинал бредить.

— Отойди! — кричал он кому-то. — А то я покажу тебе сейчас христианскую мораль…

И ругался с такой свирепостью, что сразу разрушил нашу репутацию в глазах богобоязненной нашей хозяйки.

— Никак, напились, — объясняла она за дверью соседке. — А были на редкость смирные ребята. Несмотря что из уголовного розыска.

Во втором часу ночи я все-таки пошел и разбудил фельдшера Полякова.

Заспанный, сердитый, Поляков осмотрел Венькино плечо и развел руками:

— Что же я теперь могу поделать? Ведь я же не врач-хирург. Я деревенский фельдшер. А это уже начинается, кажется, заражение крови. Вам понятно, что такое заражение крови?

— Понятно, — сказал я. — Надо немедленно что-то делать…

— Делайте, что хотите, а я отмываю руки, — пожал плечами Поляков. — Я вам предлагал Гинзбурга?

— Ну, предлагали.

— А теперь Гинзбург уехал в Ощепково. И оттуда уедет прямо к себе. А я отмываю руки. Это уж не по моей специальности.

Тогда я вынул из-под подушки кольт, положил его на стол и сказал Полякову:

— Вот это вы видите, Роман Федорович? Если Венька умрет, я вас — даю честное комсомольское — в живых не оставлю. Я вас тогда на краю земли найду. И из земли выкопаю…

— На это вы только и способны, — презрительно вздохнул Поляков, опасливо покосившись на кольт… — Ну хорошо, тогда я сейчас съезжу в Ощепково. Может, я еще Гинзбурга найду. Хотя я, конечно, не ручаюсь. Может, Гинзбург уже дальше проехал…

Веньку поместили в уездную больницу, которой заведовал родной брат нашего Полякова — тоже фельдшер — Сергей Федорович. Тоже длинный и сухощавый и тоже малограмотный, он, однако, отличался от своего брата необыкно-

венной важностью.

— Здесь медицинское учреждение. Посторонних попрошу удалиться, — сказал он сразу же, как Веньку уложили на койку против окна.

Посторонним был тут только я. Но я не мог удалиться, не хотел удаляться. Я ждал, когда приедет Гинзбург.

У Веньки опять начался бред. Он, должно быть, вспоминал в бреду поездку в Воеводский угол, на кого-то сердился, что-то искал под одеялом. Наверно, пистолет искал. И вдруг ясно, неожиданно ясным голосом позвал:

— Ну, Юля, подойди сюда. Ну, не бойся, подойди…

Мне было неприятно, что при этом присутствует заведующий больницей. Чтобы отослать его, я спросил:

— У вас есть термометр?

— У нас все есть, уважаемый молодой человек, — сказал заведующий. — Но посторонние, еще раз повторяю, должны удалиться. Мы будем обрабатывать больного согласно нашим правилам…

— Вы не будете обрабатывать больного, — твердо сказал я. — Пусть сперва приедет Гинзбург.

А Гинзбург все не приезжал.

Начался тоскливый медленный рассвет.

На рассвете я разглядел, что окно, подле которого лежит Венька, выходит прямо на погреб, украшенный большой старинной, чуть поржавевшей по краям вывеской с твердым знаком: «Для усопшихъ».

— Вы бы хоть вывеску убрали, — показал я заведующему. — Для чего эта вывеска? Вы же сами знаете, где у вас хранятся усопшие…

— Мы-то знаем. А родственники? Тут же каждый день родственники забирают усопших…

— Неужели каждый день?

— Каждый день. А как же вы хотели? Тут же больница, приемный покой.

Я не думал, что Венька вот сейчас умрет в больнице. Я знал, что Венька сильный и он обязательно выживет. Но я не хотел, чтобы он открыл глаза и увидел своими глазами эту вывеску, которая хоть кому испортит настроение.

Я вышел во двор, залез на земляную кровлю погреба и сорвал вывеску.

Заведующий позвонил нашему начальнику. Он кричал с визгом и стоном в телефонную трубку, что тут сотрудники уголовного розыска ужасно озоруют, что если сейчас начальник лично не прибудет сюда, они, эти сотрудники, чего доброго,

разнесут все лечебное учреждение.

Вскоре наш начальник прибыл в больницу. Он сильно ругал меня, грозился посадить под арест. И не за то, что я оторвал вывеску, а за то, что вовремя не известил его о таком несчастье с Вениамином Малышевым.

От шума, поднятого сперва заведующим больницей, а затем нашим начальником, не только проснулись все больные, но очнулся и Венька, которому заведующий уже успел положить на голову резиновый мешочек со льдом.

И на Веньку тоже напустился начальник.

— А ты что тут разлегся? — кричал он на него. — Где же ты раньше-то был? Почему скрывал такое дело? Разве ты не знаешь, что ты от такого дела можешь в любую минуту помереть?

— Ну уж помереть... — тихо сказал Венька, стараясь приподняться в присутствии начальника.

— Свободно можешь помереть, — подтвердил начальник. — Я даже знал одного мужика, который вот так же от глупости своей помер.

Я понял, что напрасно оторвал вывеску.

Наш начальник кричал не только на меня и на Веньку, но и на заведующего больницей, как будто он тоже ему подчиняется. Он оглядел всю больницу, всех больных, нашел, что тут очень

грязно и душно, велел проветрить помещение и сам раскупорил и распахнул в коридоре окно.

В это время и прибыл доктор Гинзбург.

Очень шустрый старичок, с черными внимательными глазами и острой бородкой, он делал все так быстро, уверенно и ловко, что мне вдруг самому захотелось стать доктором и именно хирургом. «А кто знает, может, я еще и стану», — подумал я.

Доктор Гинзбург не просил удалиться посторонних. Он при нас раздел Веньку, протер ему грудь и плечо спиртом, поудобнее усадил его на кровати, для надежности привязал полотенцем, дал ему чего-то попить. И Венька даже ойкнуть не успел, как доктор разрезал плечо и стал выдавливать ватой какую-то гниль, чуть не погубившую Веньку.

Не только мне, но и нашему начальнику понравилось, как работает доктор Гинзбург. Начальник поблагодарил его и сравнил эту работу с цирковой, что, конечно, было наибольшей похвалой в устах нашего начальника. Но доктор сказал, что это не бог весть какая сложная операция, что бывают операции много посложнее, и похвалил Веньку за его спокойствие и железный организм.

— Организм такой, — сказал доктор, — рассчитан на добрую сотню лет.

И нам это было особенно приятно, как будто он хвалил нас самих и все наше учреждение, тем более, что доктор произнес к тому же и уважительные слова о нашей, как он выразился, общественно полезной и, в сущности, чрезвычайно опасной деятельности.

Из уважения к Вениамину Малышеву доктор Гинзбург задержался в Дударях еще на несколько дней. Он уехал, когда процесс заживления раны пошел, по его словам, весьма активно. Но Веньке он все-таки приказал лежать в больнице. И начальник строжайше подтвердил этот докторский приказ.

Навещать Веньку приходили в больницу по очереди все сотрудники нашего учреждения. И даже из других организаций приходили ребята. Пришел и Саша Егоров с маслозавода. Он принес в подарок бутылку кедрового масла и сказал, что уже окончательно расплевался теперь со своим дядей и уезжает завтра к сестре.

Веньке вдруг почему-то стало жаль расставаться с этим Сашей, которого он, правда, выручил из беды. Бутылку с кедровым маслом он не взял, сказал, что ему харчей хватает, а масло посоветовал

отвезти сестре. Оно там больше пригодится, если у сестры трое маленьких детей.

— Ты нам лучше напиши письмо, — попросил Венька Егорова. — Нам же интересно будет, как ты там устроишься, как тебя встретит сестра, какую ты найдешь работу.

— Работу я теперь, однако, не скоро найду, — погрустнел Егоров. — Вы сами знаете, какая безработица. Но я все равно решил отсюда уехать. Все-таки у меня там сестра.

Венька уже свободно ходил по всей больнице и по двору. Он проводил Егорова до ворот, попрощался с ним и потом сказал мне:

— Вот посмотри, какой у меня характер привязчивый! Ну, кто мне этот паренек? Я всего-то несколько раз его видел. А вдруг почему-то прикипел я к нему. И мне жалко, что он уезжает…

Венька вернулся в палату и стал точить на ремне бритву, чтобы побриться.

Один конец ремня он укрепил на гвоздике, вбитом в подоконник, другой держал в зубах.

В это время пришел навестить его Васька Царицын, который ходил к нему в больницу почти так же часто, как я.

Васька принес в подарок Веньке кедровых орехов, сам же щелкал их тут и бережно собирал

скорлупки в кулак. При этом он рассказывал разные новости и между прочим сообщил:

— А эта Юлька Мальцева все время, как я ее встречу, про вас спрашивает. И вчера на репетиции опять спрашивала. Больше спрашивает про Веньку.

Венька продолжал точить бритву и стоял лицом к окну, чтобы свет падал на ремень. Поэтому мне видно было только одну его щеку. И видно было, как к ней приливает густая, горячая краска.

— Будет ерунду-то пороть, — сказал он Ваське, не поворачиваясь к нам, но выпустив из зубов конец ремня.

— Нет, я правду говорю, — разгорячился Васька. — Я ее даже так понимаю, Юльку, что она хотела бы к тебе в больницу зайти. Хочешь, Венька, я ее приведу?

— Для чего это? — сердито спросил Венька и снова ухватил зубами конец ремня.

— Просто так. Хочешь приведу?

Венька промолчал. Он стал пробовать бритву на ногте, очень ли острая она.

А я спросил Ваську:

— Ну, а ты сам-то что же? Ты же сам как будто ухаживал за Юлькой? Даже, я помню, собирался

жениться…

— Да какой я жених? — чуть смутился Васька. — Тем более для Юльки Мальцевой. Она бы только посмеялась надо мной, если б узнала. Она надо всеми смеется. Чересчур образованная.

— А Узелков? — спросил я, стараясь не выдать своей заинтересованности. — Он ведь, по-моему, главный ухажер?

Васька вдруг сам засмеялся.

— Узелков — это одна комедия. С кем ты его равняешь? Венька и Узелков. Ну какое же может быть сравнение! Узелков же обыкновенный жук против него.

И показал глазами на Веньку, уже легонько направлявшего бритву на оселке. Он делал вид, что совсем не слушает Ваську.

Васька покрутился тут, в палате, еще минуты две и, попрощавшись, ушел.

А Венька сел бриться. Он намыливал щеки, смотрелся в зеркало и молчал. И я тоже молчал. Однако молчание Веньки было почему-то неприятно мне. Мне хотелось, чтобы Венька хоть что-нибудь сказал по поводу Васькиных слов. Мы приятели, нам следовало бы обсудить Васькины слова о Юльке.

Я терпеливо ждал, что скажет Венька. Но он

молча выбрил одну щеку и начал брить другую.

Бриться ему было трудно одной рукой. Я удивился, что он бреется, не натягивая кожу на щеке, как делал я, как делают все. И еще я удивлялся уж слишком спокойному выражению его лица, будто ничего здесь не произошло, будто Васька и не приходил вовсе и ничего не говорил. Правда, два раза Венька поморщился, но это оттого, что бритва шла против волоса.

Мне вдруг захотелось, чтобы он порезался.

Но он побрился благополучно, вытер тщательно бритву и, спрятав ее в футляр, стал, не взглянув на меня, собирать со стола бумагу, испачканную мылом. Потом он сказал:

— Вот я и побрился.

— Можешь, — ехидно сказал я, — идти теперь в магазин. Наверно, еще не закрыли, Юлька там.

Венька ничего мне на это не ответил. Взяв кисточку, выжал ее в стаканчик и понес стаканчик во двор, чтобы выплеснуть грязную воду.

Вернувшись, он, улыбаясь, спросил:

— Ты чего злишься? Влюблен?

— В кого это я влюблен?

— В Юльку, что ли?

— Не угадал, — сказал я и тоже улыбнулся.

— А в кого?

И тут я соврал непонятно для чего, может быть из гордости.

— Нет, — сказал я. — Нисколько я в нее не влюблен. Был влюблен, правда. Но теперь прошло. Мне сейчас другая девушка нравится.

— Катя Петухова?

Я зачем-то утвердительно мотнул головой, хотя библиотекарша мне никогда не нравилась.

— Честное слово? — спросил Венька и пристально посмотрел на меня.

Я подумал и сказал твердо:

— Честное слово.

И в эту минуту сам поверил, что мне действительно нравится не Юлька, а Катя Петухова. Я даже почувствовал какое-то облегчение. Венька шагал по комнате взад-вперед и опять молчал.

Утром я поехал в деревню Покукуй, где минувшей ночью произошло убийство с целью грабежа.

Убитым оказался заведующий кооперативом. А сторожа бандиты связали знаменитыми тогда сыромятными ремешками-ушивками, отличавшимися, как мы писали в протоколах, «большой прочностью и свойством крепости узла при завязывании».

Пока я вел расследование в Покукуе, пришло

известие, что точно такие преступления на рассвете совершены в Покаралье, в Уяне и в Ючике. В Уяне, помимо ремешков-ушивок, были найдены на месте преступления еще охотничье ружье марки «Геха», имеющее свойство поражать большую площадь рассеиванием картечи при выстреле, и американская винтовка марки «Винчестер», обладающая большой дальнобойностью.

Эти вещественные доказательства, попавшие в наши руки, говорили о многом.

Во-первых, они попали к нам в руки именно потому, что в одной из деревень, в Уяне, сами жители, главным образом промысловые охотники, оказали серьезное сопротивление бандитам — убили трех бандитов.

Это уже отрадная новость. И многозначительная. Значит, жители все активнее вступают в борьбу против бандитов.

Это я с удовольствием записал в сводку.

Во-вторых, оружие, оставленное бандитами в Уяне, выглядело совершенно новым. Оно и выпущено совсем недавно — в прошлом году. Значит, бандиты все еще снабжаются новым оружием, может быть, прямо из-за границы.

Это тоже очень важный факт. И его я тоже отметил в сводке.

Однако больше всего меня занимали ремешки-ушивки.

Не первые распустившиеся на деревьях листочки, не горячее солнце, а именно эти ремешки-ушивки свидетельствовали, что весна уже началась и на днях у нас вдвое, втрое, вчетверо прибавится работы.

Ремешки-ушивки — это изобретение неуловимого Кости Воронцова, «императора всея тайги». Значит, он уже выходит на простор. Первые убийства и грабежи — дело рук его банды.

Я доложил об этом начальнику. Потом пошел в больницу.

Было обеденное время. Венька, как все больные, ел из алюминиевой тарелки манную кашу с постным маслом.

— Пусть это все валится ко всем чертям! — сказал Венька, выслушав меня, и так гневно отодвинул тарелку, что она скатилась со стола. — Пусть заведующий сам доедает эту кашу. А я сегодня же ухожу из больницы…

— А начальник? Он же тебе твердо приказал…

— Пусть он что хочет приказывает! — обозлился Венька. — Пусть он хоть сам ложится сюда, а я ухожу: Я всю осень готовил дело. И еще зимой налаживал. А теперь я буду тут лежать? Нет,

дураков нету тут лежать…

Венька снял больничный байковый халат, от которого пахло щами, лекарствами и еще чем-то удушливым, надел все свое, принесенное санитаром из кладовой и пахнущее теперь мышиным пометом и сыростью, подарил санитару за услуги зажигалку, сделанную из винтовочного патрона, попрощался с больными, пообещал как-нибудь зайти сыграть в шашки, и мы пошли к начальнику.

Начальник сейчас же вызвал нашего Полякова, велел в своем присутствии осмотреть Венькино плечо и, не поверив фельдшеру, еще сам осмотрел.

— Заживает? Как сам-то чувствуешь, заживает?

— Зажило уже, — сказал Венька. — Я чувствую, что зажило.

— Нет! — покачал головой начальник. — Дней этак десять надо еще полежать. А ты как считаешь, Поляков?

Поляков поднял нос, понюхал воздух, как всегда делал в затруднительных случаях, и согласился с начальником.

— А Воронцова кто будет ловить? — сердито посмотрел Венька на Полякова. — Вы, что ли?

— Это уж не по моей части, — чуть отступил Поляков.

— Вот в том-то и дело, — сказал Венька. — Мне надо ехать в Воеводский угол. Просто очень срочно. Может, даже сегодня. Я и так, наверно, пропустил время. А вы, Роман Федорович, я вас прошу, — обратился он к Полякову, — еще раз мне сегодня перевяжите получше. А потом уж я сам повязку сниму в Воеводском углу. Когда все заживет окончательно...

— Нет, в Воеводский угол ты не поедешь, — стал отмыкать начальник ящик письменного стола. — Ни сегодня, ни завтра не поедешь. Воронцова мы будем ловить уж своими силами. Без тебя. — И, отомкнув ящик, протянул Веньке вчетверо сложенную бумагу.

Это был приказ откомандировать Вениамина Степановича Малышева в распоряжение губернского уголовного розыска.

— Могу тебя только поздравить, — протянул Веньке руку начальник. — Ничего поделать не могу. Могу только поздравить.

— Все это ерунда! — положил на стол бумагу Венька. — И потом я хотел спросить: почему это именно меня откомандировывают? В честь чего?

— Я так понимаю, — сказал начальник, — что

в связи с ликвидацией банды Клочкова. Это надо понимать как выдвижение молодых кадров на руководящую работу в губернский, центр…

— А я при чем? — опять спросил Венька. — Если уж выдвигать, так не меня, а Соловьева Колю. Ведь Клочкова же он убил…

— Ничего не знаю, ничего не знаю! — засмеялся начальник. — Руководящим товарищам виднее, кто кого убил. И, кроме того, очень важно, какое освещение дает событиям пресса…

Тут, наверно, мы все в одно время вспомнили эту фразу из очерка Якова Узелкова о юноше комсомольце с пылающим взором, который совершал буквально чудеса храбрости.

— Значит, даже в губрозыске верят брехунам, — сказал Венька. — Но я все равно должен сейчас поехать в Воеводский угол…

— Поправишься, тогда посмотрим, — спрятал бумагу опять в ящик письменного стола начальник и сделал строгое лицо.

Венька застегнул все пуговицы на рубашке, подтянул поясной ремень и вытянулся, как на смотру.

— Я уже и так поправился. Глядите, как я нажимаю плечо. И ничего…

— Медицина, видишь, другого мнения.

— А ну ее, медицину! — вдруг вспыхнул Венька. И, кроме Веньки, никто бы так не посмел вспылить в присутствии нашего начальника. — Мне работать надо, а тут какая-то ерунда с медициной…

Начальник, однако, не одернул Веньку. Промолчал. И можно было так понять, что он согласен с Венькой.

Поляков, уже не прекословя, повел Веньку на перевязку к себе в амбулаторию.

Мы шли с Венькой домой, на улицу Пламя Революции, мимо городского сада, мимо пахучего кустарника, уже нависшего курчавыми вершинами над решетчатым деревянным забором.

Я предложил:

— Может, зайдем к Долгушину? Он вчера переехал в сад. И медведя своего перевез…

— Ну и пес с ним!

— Нет, правда, может, зайдем? По случаю выздоровления. У Долгушина выступает какой-то новый куплетист. Из Красноярска.

— Ну и пусть выступает! А я поеду в Воеводский угол.

15

Мне тоже хотелось поехать, но меня начальник не пустил.

Венька уехал один. И на работе я как-то не замечал его отсутствия. А в свободные часы мне вдруг становилось скучно. В больницу теперь не надо было ходить. И к Долгушину идти одному казалось почему-то неудобным.

Перед вечером однажды я зашел в библиотеку. Катя Петухова собиралась домой. Она уже сняла свой серенький халатик и мыла руки под дребезжащим умывальником.

— Закрыто, — сказала она мне довольно нелюбезно.

— Ничего, — сказал я. — Я только книжки посмотрю.

— Завтра посмотришь…

— Завтра я, может, уеду. Я хотел сегодня тут кое-что посмотреть.

— Ну, посмотри, — согласилась она.

Я смотрел книжки, пока она вытирала полотенцем руки, потом надевала синюю жакетку. Наконец она загремела ключами и стала у открытой двери, нетерпеливо ожидая, когда я уйду.

Мы вышли вместе, молча прошли весь пере-

улок, а у ворот городского сада я сам неожиданно для себя предложил ей:

— Зайдем в сад?

— Это зачем же?

— Просто погуляем, пройдемся. А что особенного?

— Ничего особенного, — сказала Катя. — Но я еще даже не обедала…

— Здесь и пообедаем. У Долгушина.

Катя вдруг обиделась, покраснела, и на белобровом ее личике как-то смешно вздернулся веснушчатый носик:

— Ты меня за кого принимаешь?

Я засмеялся.

— Я тебя принимаю за девушку, за комсомолку, за хорошего товарища…

— Нет, ты что-то задумал. Я в жизни никогда не бывала в ресторанах. Я считаю, что комсомольцы не должны…

— Комсомольцы должны все испытать, — авторитетно сказал я. — Ты что, считаешь, что в рестораны ходят только одни нэпманы и всякая мразь?

— О, ты, я смотрю, оригинальный человек! — улыбнулась Катя.

Я не знал, хорошо ли это быть оригинальным

человеком. Я понимал только, что Катя относится ко мне снисходительно, смотрит на меня свысока, как бы с высоты тех книг, которые она прочла в этой обширной библиотеке.

Однако она все-таки пошла со мной в сад, а потом и в ресторан Долгушина — в этот дощатый, застекленный павильон, наскоро выстроенный среди густого кустарника.

Всего больше ее заинтересовал начученный медведь, поставленный здесь, как и в зимнем ресторане, у входа. Потом она заинтересовалась посетителями.

Катя была первой девушкой, которую я решился пригласить в ресторан.

Я даже не знаю, как это я вдруг решился. Но в ресторане я вел себя уверенно, вслух читал меню и советовал, что лучше выбрать из многочисленных блюд с замысловатыми иностранными названиями: «шницель», «шнель-клепс», «беф-були», «эскалоп», «ромштекс». Все почти одно и то же, но названия разные.

— И ты часто бываешь здесь? — спросила Катя.

— Часто, — соврал я.

Мне почему-то хотелось, чтобы Катя считала меня развязным, бывалым, даже испорченным. Пусть она, такая правильная, начитанная, бла-

гонамеренная, как сказали бы в старину, пусть она даже чуть ужасается, наблюдая за моим поведением. Пусть она думает, что я гуляка, прожигатель жизни. Пусть она критикует меня.

Но Катя не критиковала. Она только приглядывалась ко мне, и в глазах ее, умных и немножко лукавых, я читал удивление, граничащее с испугом.

Мне нравилось это.

Мы поели. Она заспорила со мной, желая уплатить за свой обед. Но я сказал, что это мещанство, и она успокоилась.

Мещанство — это было такое слово, которое пугало многих в ту нору. И им, этим словом, обозначались иногда понятия, ничего общего не имевшие с подлинным мещанством.

Я проводил Катю домой, не решаясь, однако, взять ее под руку.

И с этого вечера мы стали встречаться с ней почти каждый раз, когда я бывал свободен от работы по вечерам.

А Венька все еще не приезжал. Он только звонил по телефону и говорил, что еще должен задержаться.

Я приглашал Катю зайти ко мне, посмотреть, как я живу. Но Катя уклонялась от этого пригла-

шения.

— Лучше ты ко мне зайди в воскресенье, если хочешь. Я познакомлю тебя с мамой.

Но я тоже не решался зайти к ней домой. Знакомство с ее мамой мне представлялось мещанством.

Мне приятно было, что Катя такая рассудительная и образованная. Конечно, она не такая красивая, как Юлька Мальцева. Даже совсем не красивая, но очень симпатичная и какая-то душевная.

Она расспрашивала меня о моих делах — не о конкретных уголовных делах, которыми я занимался ежедневно, а о том, что я думаю, что я собираюсь делать дальше.

— Не всегда же, не всю жизнь ты будешь работать в уголовном розыске. Или ты хочешь остаться навсегда?

— Зачем навсегда? Может, я себе еще какое-нибудь дело подберу. Мне хочется разное попробовать. Я даже так думал: если меня серьезно ранят, я пойду работать куда-нибудь, допустим в библиотеку, или постараюсь устроиться в собственные корреспонденты, вот как Яков Узелков…

— Тоже нашел кому завидовать! — сказала Катя. — Узелков же совершенно некультурный. Я

его видеть не могу…

Меня удивило это.

Оказывается, Узелков читает много, но чаще всего берет, по мнению Кати, легкомысленные книжки. А когда ему надо писать серьезную статью и требуется подходящая цитата, он прибегает в библиотеку и перелистывает энциклопедию Брокгауза и Ефрона.

— В энциклопедии все есть, — говорила Катя. — В ней и химия, и физиками что угодно. Весь университет. А дома у него, я видела, всего три книжки: «Купальщица Иветта», «Огонь любви» и «Тайна одной иностранки». Дает всем читать…

— А ты у него была дома?

— Была. Наверное, раз десять была. Он же крайне неаккуратный человек…

— Ты, значит, только к неаккуратным ходишь домой?

— Конечно. Он целый месяц держал два тома энциклопедии. Он без нее ни одного дня не может прожить…

Я удивился еще больше. Я и подозревать не мог, что на свете есть такой кратчайший путь к образованию, как энциклопедия.

Чтобы поддержать разговор, я сказал после раздумья:

— Да, он, в сущности, мелкий человек, Узелков.

— Ну, вы с Малышевым тоже не такие уж глубокие, — сказала Катя. — Начитались разных книг без толку, без всякой системы и станете думать, что вы теперь образованные. У вас ведь в голове полный сумбур…

— Сумбур, — согласился я.

Я не мог не соглашаться с Катей. Она все больше вырастала в моих глазах.

Я старался теперь каждый вечер встречаться с ней, но это не всегда удавалось: то она занята, то я.

Один раз я пошел без нее в городской сад. Она пойти не могла: в библиотеке был переучет книг.

Я один бродил по темным аллеям, где сидят, прижавшись друг к другу, влюбленные парочки. Мне было завидно.

С Катей я еще никогда не сидел так, потому что побаивался ее.

Я бродил по темным аллеям и думал о Кате. Я думал о ней еще лучше, чем в те часы, когда она была со мной.

Вдруг в боковой аллее послышался девичий смех, и через секунду в сопровождении двух девушек вышел на пятачок между аллеями Васька

Царицын.

Я не успел поздороваться с ним, как он схватил меня за руку и положил в мою руку теплую ладонь девушки.

— Знакомьтесь, — сказал Васька.

И вторая девушка тоже протянула мне ладонь. Я узнал Юлю Мальцеву. Она не только крепко пожала мою руку, но и весело встряхнула ее, как будто мы давно уже были друзьями.

Я немножко смутился, но смущение мое сейчас же прошло, и я посмотрел ей в глаза. Глаза у нее мягко светились. Она улыбалась.

Васька Царицын снова взял первую девушку под руку и направился в сторону танцевальной площадки. А я и Юля пошли позади.

Юля взяла меня под руку и спросила:

— Почему ты такой скучный?

Она говорила мне «ты». И это неудивительно: она комсомолка, и я комсомолец. Но вопрос ее удивил меня. Вернее, голос. В голосе ее как будто прозвучала обида.

— Просто так, — сказал я. — Немножко было скучно.

— Потому что Катя Петухова не пришла? — спросила Юлька. И, улыбаясь, заглянула мне в глаза. («Значит, она и раньше интересовалась

мной, если знала про Катю»).

— Нет, — сказал я. — Просто так.

— А со мной тебе не скучно?

— Нет. Не скучно.

Юлька смеялась про себя. Я чувствовал это, хотя лица ее не видел, смотрел под ноги. И сердце у меня вдруг заныло.

Духовой оркестр заиграл ту степ. Мы вышли на ярко освещенную площадку сада, где в деревянной раковине сидели со сверкающими трубами музыканты из пожарной команды. Перед нами на подмостках изгибались в танце пары.

Из щелей подмостков, из-под каблуков танцующих вырывались тоненькие струйки пыли.

Я смотрел на эти струйки и не видел ни танцующих, ни музыкантов. И Юльку не видел, хотя локтем чувствовал ее мягкий, теплый, горячий бок.

Я снова испытал смущение и не решался посмотреть на нее.

Васька Царицын, как нарочно, ушел куда-то со своей девушкой.

— Ты любишь танцы? — спросила Юля.

— Нет, — сказал я.

— Я знаю, что ты не любишь, — засмеялась она, хотя ничего смешного в том, что я не люблю

танцы, не было. — Пойдем тогда на берег.

И мы снова вернулись в темную аллею, чтобы пройти к реке.

Юлька молчала и прижималась ко мне. Прижималась потому, что около реки становилось прохладно, а девушка была в легком платье.

Я снял свой френч и накинул ей на плечи.

Это был самый решительный жест, на который я был способен в ту минуту. А вообще я чувствовал себя совершенно беззащитным с ней.

У реки мы сели на рогатую, давно уже вытащенную из реки и просохшую корягу.

За рекой, в темноте, вдалеке, как всегда, вспыхивали и гасли огоньки.

Они гасли и вспыхивали до меня, до дня моего рождения и, наверно, так же будут вспыхивать и гаснуть после меня, когда я уйду отсюда, постарею, умру или когда убьют меня.

Я никогда раньше, если не считать самого раннего детства, не думал о смерти, не вспоминал о ней.

Неожиданно эти скучные мысли пришли ко мне почему-то именно сейчас, когда я сидел рядом с Юлькой. Она все перевернула во мне. Я даже на мгновение забыл, что сижу рядом с ней.

Вдруг недалеко от нас тонко свистнул пароход.

Маленький, светящийся на темной воде множеством разноцветных огней, он, сопя и вздрагивая, пришвартовывался к пристани.

Взглянув на него, я почувствовал, что у реки не только прохладно, но даже холодно.

Запахло черемухой и гарью. И гарью запахло, конечно, сильнее, чем черемухой. Должно быть, где-то недалеко, на той стороне реки, горела тайга.

Юлька сняла с себя мой френч и, держа его в вытянутых руках, сказала:

— Тебе ведь тоже холодно. Хочешь, укроемся вместе?

Я не мог сопротивляться. Она укрыла меня и себя, и мы сидели теперь очень близко друг к другу. Я слышал, как дышит она.

— А Малышев Венька сейчас, может быть, на происшествие поехал.

Я не сказал это, а как бы подумал вслух. Ведь в самом деле, Венька бродит где-то в Воеводском углу, вон там, на той стороне реки, откуда несет гарью.

Юлька, однако, не проявила интереса к имени моего товарища, сказала только:

— Ну, какие сейчас происшествия?

Я стал говорить, что как раз вот в это время, в

эти минуты, происшествий бывает очень много: вон кто-то тайгу зажег, может быть, нечаянно — охотники, а может быть, нарочно — бандиты. Меня тоже во всякий час могут вызвать прямо с гулянья на работу. Много раз уже так случалось.

Говорить о работе мне было легче, чем о других вещах. И я говорил. И чувствовал, что странная робость моя постепенно проходит. Снова вспомнив о Веньке, я сказал:

— Он ни за что бы не поверил, что я вот так сижу с тобой.

Но самого меня уже нисколько не удивляло в эту минуту, что девушка, о которой мы так много думали, сидит рядом со мной, очень близко от меня, как я не сидел даже с Катей Петуховой.

Я уже начинал потихоньку смелеть. Я ведь и раньше не был робким парнем. Робость моя — явление совершенно случайное, может быть даже болезненное, как шок.

И вот я начал оправляться от шока и смелеть больше, чем надо. До глупости начал смелеть. И, конечно, по глупости я сказал:

— Венька бы волосы рвал на себе, если б знал, что я с тобой…

— Почему? — вдруг порывисто спросила Юлька. И мой френч упал с наших плеч.

— А так, — сказал я, снова накидывая френч на Юлькины и свои плечи. — Он ведь в тебя страшно влюблен.

Юлька слегка потянула к себе правый борт френча и снова прижалась ко мне.

Я заметил, что слова мои, наконец, заинтересовали ее. И мне захотелось рассказать ей по-свойски, как мы покупали у нее спички, как не спали по ночам, думая о ней.

Не понимаю до сих пор, почему я вдруг расчувствовался так и повторил:

— Он страшно в тебя влюблен.

— А ты?

— Что я?

— А ты влюблен в меня? — горячим шепотом спросила Юлька. И заглянула мне в глаза, как цыганка.

Вот тут я действительно замялся, говоря:

— Как тебе сказать…

— Ну, раз не знаешь, как сказать, лучше не говори, — попросила Юлька и положила свою маленькую теплую ладонь на запястье моей руки. — Ты лучше что-нибудь расскажи о своей работе…

И не знал, что ей можно рассказать, что ее может заинтересовать. И мне совсем не хоте-

лось рассказывать. Не хотелось окончательно обрывать ту горячую связь, что возникла между нами, когда она спросила, не влюблен ли я в нее. И зачем я произнес эти глупые слова: «Как тебе сказать?»

Эти слова сразу охладили ее. Это я заметил. Но я не знал, как поправить дело, как вернуть ее прежнее настроение. И в то же время я чувствовал, что все равно не смог бы иначе ответить на ее вопрос.

— Это, видишь ли, не такая простая вещь, — сказал я.

— Что не простая вещь?

— Ну, вообще все.

— Ты странный, — еще теснее прижалась она ко мне. — Ты странный, очень странный. Ты о чем-то думаешь и не решаешься сказать. Ты скажи…

— Я ни о чем не думаю…

— Совсем, совсем ни о чем?

— Ни о чем.

— Странно, — улыбнулась она. — А я всегда о чем-нибудь думаю…

— Тогда лучше ты скажи, о чем ты сама сейчас думаешь?

— Пожалуйста, — засмеялась она. — Я думаю

о том, что ты думаешь сейчас обо мне: вот какая нахальная девушка, первый раз меня встретила и уже уселась рядом под одним френчем, как влюбленная, и расспрашивает, влюблен ли я в нее. Ну, скажи откровенно, ведь правда, ты так думаешь?

— Нет, нисколько, — запротестовал я. — Мне это и в голову не приходило…

— А я не первый раз тебя встретила, — как бы оправдывалась она. — Я еще зимой хотела познакомиться с вами — с тобой и с Малышевым. Я всегда любила дружить больше с ребятами, чем с девушками. Но вы почему-то нигде не бываете. У вас много работы?

— Много.

— Зато работа у вас, наверно, интересная. Ну, расскажи что-нибудь о вашей работе…

— Просто нечего рассказывать.

— Ну, расскажи что-нибудь, — опять положила она свою маленькую, чуть похолодевшую ладонь на мое запястье и требовательно подавила его, будто пробуя пульс. — Это правда, что Малышев самый храбрый у вас?

— Как тебе сказать… — снова, помимо воли своей, повторил я эту глупую фразу. — Вообще-то у нас не держат трусов. Если человек — трус, ему

у нас делать нечего.

— Но, говорят, Малышев самый храбрый…

— Кто это говорит?

— Многие говорят, — уклонилась она от прямого ответа и поправила что-то у себя на груди… — И я сама думаю: такой человек должен быть очень храбрым. Мне понравилось, как он выступал тогда на собрании, когда разбирали дело, кажется, Егорова. Насколько он выше всех этих… ораторов. Я даже видела его в ту ночь во сне…

«И он тебя видел в ту ночь во сне, даже в бреду тебя вспоминал», — хотел я сказать ей, но не сказал. И хорошо, что не сказал.

У меня и так было смутное чувство, будто я много лишнего уже наболтал. И она еще что-то выпытывает у меня, выпытывает ласково, но настойчиво.

Мне теперь совсем непонятно было, зачем она спрашивала, влюблен ли я в нее, если ясно, что ей интересен не я, а Венька. Она уже знает о его ранении, поимке бандитов в Золотой пади.

Об этом она, наверно, прочитала в очерке Узелкова.

— А Узелкова что-то не видать сегодня, — проговорил я после долгого молчания. — Он, говорят, ухаживает за тобой…

— Не знаю, — почти грустно откликнулась Юлька и поднялась с коряги, поправляя ленивым движением пышные свои волосы.

Я проводил ее до дома на Кузнечной, шесть, и ушел поздно ночью к себе домой, взволнованный сложным чувством, в котором были и смятение, и досада, и больше всего запомнилась тоска.

Юлька Мальцева, красивая, неожиданная, во всем неожиданная, недолго посидев со мной на берегу, надолго расстроила меня. Она как будто одно мгновение подержала в руках мое сердце и отпустила его.

После того вечера мне не так уж интересно было встречаться с Катей. Хотя и в Юльку я, кажется, не был влюблен. Вернее, не был влюблен так неотвратимо, так тревожно и горестно, как Венька.

16

Венька вернулся из Воеводского угла пропыленный, исхудавший, но веселый.

Никаких подробностей о своих делах он не рассказывал, сказал только, что есть возможность заарканить Костю Воронцова и что дураки мы будем, если не возьмем «императора всея тайги» живьем, как полагается, при всех его холуях.

Мне подумалось, что Венька на этот раз преувеличивает наши возможности.

Начальник еще вчера, до приезда Веньки, предупреждал нас на секретно-оперативном совещании, что ни в коем случае нельзя, как он сказал, недоучитывать всей серьезности обстановки, в которой мы сейчас находимся.

Эта весна и лето будут наиболее трудными для нас, так как банды за истекшую зиму, по некоторым агентурным сведениям, не только не сократились, но даже увеличились, в частности в Воеводском углу.

Воронцов все еще пользуется большой поддержкой со стороны богатых мужиков таежных деревень. Не считаться с этим нельзя, сказал начальник и показал нам напечатанные на пишущей машинке листовки, собранные в некоторых деревнях, где их распространяли связчики Воронцова.

В этих листовках восхвалялся ультиматум лорда Керзона, присланный недавно нашему правительству, и говорилось, что большевикам скоро конец.

В двух больших селах, в Китаеве и Жогове, в церквах, как утверждают священники, чудесным образом за одну ночь обновились иконы

божьей матери, засияли ослепительным светом серебряные ризы. И это, по словам все тех же священников, есть знамение господне, указывающее на скорую перемену власти.

— …Мы не можем вести себя так, как будто мы одним махом всех побивахом, — сказал начальник на этом секретном совещании. — Я имею особые указания: не зарываться. Поэтому мы должны сейчас учитывать всю обстановку, связывать все факты — и, значит, что? Значит, ни в коем случае не зарываться, не зазнаваться и не думать, что мы вот так, сразу уничтожим, например, Воронцова и его банду. Это не так просто…



Я вспомнил эти слова начальника и подумал, что он будет недоволен настроением Веньки.

Я пересказал все, что было на секретном совещании. Но Венька ничему не удивился и только сказал засмеявшись:

— Я лорда Керзона пока ловить не собираюсь. А Костю Воронцова мы поймаем. Дураками будем, если не поймаем. Тогда уж, правда, мужикам лучше вместо нас дрова возить.

Очень сильно ему, должно быть, запали в голову те слова старика возницы, который вез нас еще в конце зимы из Воеводского угла.

Начальник, однако, встретил Веньку ласково, долго разговаривал с ним наедине, и после разговора этого выяснилось, что через день Венька опять уезжает в Воеводский угол.

— А сегодня ты отдохни, выспись как следует, — советовал начальник, провожая Веньку из своего кабинета по коридору, как будто Венька был не сотрудник, а гость. — Главное, выспись. Завтра подготовишься, а послезавтра поедешь. Вот так будет правильно...

Венька увидел меня в коридоре и подмигнул: гляди, мол, как ласкает меня начальник.

Однако спать Венька не пошел, несмотря на повторный совет начальника, хотя был уже вечер.

— Пойдем к Долгушину?

— Пойдем.

По дороге в городской сад мы встретили Узелкова. Он поинтересовался, где был Венька, почему его так давно не было видно, и спрашивал, что слышно в преступном мире. Он так всегда и говорил: «преступный мир». Венька сказал, что пока ничего не слышно, ничего не знаем.

— Опять секрет полишинеля? — засмеялся Узелков.

Я спросил:

— Полишинель — это тоже из энциклопедии?

— Из энциклопедии? При чем тут энциклопедия?

— Говорят, — засмеялся я, — что ты ее всю замусолил в библиотеке. Собираются на тебя в суд подавать.

Я, конечно, хотел уколоть Узелкова. Однако я никогда не думал, что он способен так смутиться.

Но я не пожалел его и еще сказал:

— Знаем, знаем, откуда все твои слова! А мы-то думали, ты университет кончил.

Узелков стоял перед нами растерянный. Он старался смотреть на нас вызывающе, но это у него сейчас не получалось.

Мне даже стало жалко его:

— Ну, ладно, не обижайся. Мало ли что бывает. Пойдем, если хочешь, с нами к Долгушину.

— Нет уж... — вздохнул Узелков. — Спасибо. — И ему удалось все-таки изобразить улыбку. — Я лучше энциклопедию пойду читать.

И он прошел мимо. А мы вошли в долгушинский павильон.

Мы просидели там не меньше часа, ели котлеты, пили пиво и разговаривали обо всем. Нет, пожалуй, не обо всем.

Венька рассказывал, каких щук сейчас вылавливают в Пузыревом озере, в котором он сам два раза искупался, хотя вода еще очень холодная. Но жители купаются. И Венька искупался.

Можно было подумать, что он только для этого и ездил в Воеводский угол, чтобы посмотреть на этих щук и искупаться в Пузыревом озере.

О бандитах он на этот раз ни слова не сказал, как будто и не думал о них. И я его ни о чем не расспрашивал. Если надо, он сам расскажет. Не надо — значит, нечего и расспрашивать. Есть секреты, которые не принадлежат лично нам, хотя мы и знаем о них.

Я не обижался на Веньку за то, что он не рассказывает мне в подробностях о своих делах в

Воеводском углу.

Поужинав, мы вышли из павильона и сразу же напротив, около тележки мороженщика, увидели Ваську Царицына. Он облизывал зажатый в круглых вафлях малиновый кружок и морщился от холода на зубах.

— А Юлька только сейчас меня спрашивала, почему вас не видно, — сообщил он. И заулыбался: — Юлька на берег пошла. Вы ее еще догоните…

— Зачем нам догонять? — сказал я независимо.

Но когда Васька, поговорив с нами и доев мороженое, направился к киоску пить воду, мы, не уславливаясь, пошли на берег.

На том самом месте, на рогатой коряге, где я однажды сидел с Юлькой, сейчас сидели две девушки. Длинная заросшая аллея кончалась как раз у этого места. Мы подошли к коряге. И девушки разом вздрогнули и обернулись.

Я поздоровался с ними и потом, точно так, как Васька Царицын меня, взял Веньку за руку и познакомил сразу с Юлей и с Катей.

Катя сказала, показывая глазами на Веньку:

— Я с ним уже знакома. Я с ним в комиссии была, кожзавод проверяли. Помнишь?

— Помню, — кивнул Венька.

Потом, как водится, я с Катей пошел вперед, а

Венька с Юлей — за нами. И я нарочно сделал так, чтобы мы потерялись.

Венька нашел меня только дома. Он вернулся домой как будто чем-то расстроенный. Я подумал, что он разочаровался в Юле или понял так же, как я, что девушка эта совсем не такая, как казалось. Но Венька, снимая через голову рубашку, вдруг сказал мрачно:

— Честное слово, я женился бы на ней. Если б она согласилась, я бы женился. Вот так, сразу, не раздумывая…

— Женись, — улыбнулся я, почти не удивившись его словам. И еще добавил зачем-то: — По-моему, она тебя любит.

На это Венька ничего не ответил. Аккуратно сложил около кровати на стуле одежду и молча лег в постель. Мне тоже не хотелось разговаривать. После этой встречи с Катей настроение у меня было неважное.

Перед Катей я чувствовал себя виноватым. Надо было или сказать ей, что я сидел тогда с Юлькой под френчем, или не говорить, забыть это. Я не знал, что Катя давно знакома с Юлькой. Они, кажется, подруги…

И Веньке тоже всего не сказал. Надо, подумал я, сказать прежде всего Веньке о том, как я один

вечер ухаживал за Юлькой. Обязательно надо сказать. А то какие же мы товарищи?

Но Венька, должно быть, спал. Я сидел за столом. Потом тихонько отодвинул стул, встал и на цыпочках прошел к своей кровати.

Я уже разделся и лег, собираясь погасить лампу, и в последний раз посмотрел на Веньку. Глаза у него были открыты, и он смотрел на меня. Я даже вздрогнул. Но он, не обратив на это внимания, сказал:

— Все-таки я ее не стою. — И приподнялся на подушке.

— Почему это? — спросил я.

— Потому... — вздохнул Венька. — Она какая-то нежная. Прямо как девочка. А у меня все-таки были обстоятельства...

— Какие?

— Ну, помнишь, я тебе рассказывал...

— Чего рассказывал?

— Неужели не помнишь?

— Не помню.

— Ну, как я встретил одну женщину и потом захворал. Когда мне не было еще семнадцати лет...

— Но ты же вылечился, — сказал я.

— Но что из того, что вылечился? Все-таки было. Как ты считаешь, надо это Юльке сказать?

— Вот уж не знаю, — затруднился я. — Как-то неловко про такое говорить…

— В этом все дело, что неловко, — согласился Венька.

— А зачем говорить?

— Ну как же не говорить, если она сама такая откровенная и вдруг выйдет за меня замуж? Если, конечно, решится выйти…

— Вот когда выйдет, тогда и скажешь.

— Нет, это получится, что я ее обманывал. А тут надо делать все начистоту. Это же будет у нас семейная жизнь. Для чего же все начинать с обмана?!

Венька посмотрел на меня внимательно, как смотрят на человека, желая прочитать его мысли, и спросил:

— Ты как считаешь, я правильно думаю?

— Вообще-то правильно, — уклончиво ответил я.

— А конкретно?

— А конкретно я еще не знаю, как тут считать…

— Крутишь ты чего-то! — упрекнул меня Венька. — А я считаю, что в семейной жизни не должно быть никаких секретов. На службе это одно, а в семейной жизни все должно быть в открытую.

Иначе какая же это семейная жизнь!

— Отчасти это правильно, — согласился я. — Но как-то неудобно говорить девушке…

— В этом все дело, — опять сказал Венька.

Он снова лег на подушку и задумался. И я задумался. Как быть? Сейчас сказать ему про тот вечер с Юлькой или потом? Ну, хорошо, я скажу сейчас, он расстроится. А если сказать после? А если совсем не говорить? Ведь ничего особенного не было. Просто сидела рядом. Я уж сказал ему, что мы сидели рядом. Про френч только не сказал. Ну, скажу про френч, что сидели под френчем…

Но Венька первым нарушил тишину.

— Ты знаешь… — сказал он и повернулся лицом ко мне. — Вот я всегда Думаю. Дай мне три месяца свободных! Совсем свободных. Чтобы никакой заботы, ни воров, ни бандитов. И я буду думать про свою жизнь. Как я жил, как мне жить дальше. Я все ошибки свои вспомню, где когда промазал, не догадался. И все начну по-новому. Чтобы ни одной ошибки. Вот тогда другое дело. А то, знаешь, как может получиться? Будет полный коммунизм. Будут новые люди, которые еще с пионеров начали. И не только самогонку не пили, но даже красное вино не пробовали. И они нам скажут…

Но что они нам скажут, Венька, должно быть, еще не знал. Он замолчал неожиданно, впрочем, как часто делал, оборвав себя вдруг на полуслове, и отвернулся к стене.

Он долго лежал так, отвернувшись. Потом снова окликнул меня:

— А ты знаешь, я ей все равно не смогу сказать про это. Мне стыдно…

— Действительно, — проговорил я спросонья.

И в эту минуту впервые мне представилась нелепой вся эта история. Венька ведь сегодня только познакомился с девушкой и уже собирается жениться на ней и рассказывать такой секрет.

«Хотя, — сию же минуту подумал я, — ничего, пожалуй, удивительного: он давно ее любит, и она, наверно, тоже. Уж если он решил жениться — значит, это серьезно, прочно, окончательно».

Весь следующий день Венька был занят своими делами. Мы почти не виделись.

Вечером, когда я пришел домой, он уже спал. А на рассвете за ним заехал кучер нашего начальника и увез его в Воеводский угол.

Из Воеводского угла он приезжал теперь ненадолго — на сутки, не больше — и уезжал обратно.

И все-таки за это краткое пребывание в Дударях

он успевал встречаться с Юлькой.

Домой после этих встреч он возвращался невеселый, задумчивый, немножко поговорив со мной о каких-нибудь пустяках, ложился спать, потому что утром ему надо было снова ехать в тайгу.

О своих делах в Воеводском углу он по-прежнему почти ничего не рассказывал. Но однажды вечером, когда мы дома пили чай, он вдруг ни с того ни с сего засмеялся.

Я удивленно взглянул на него.

— Очень смешно, — сказал он. — Лазарь Баукин, такой зверюга, ты говоришь, а жена его — ухватом прямо по башке! Он мне сам жаловался. «И ничего, — говорит, — поделать не могу. Выгоняет из избы».

— Все-таки мне непонятно, — сказал я, — почему ты ухватился за этого Лазаря? Ведь ты сразу за него ухватился еще тогда зимой. Помнишь, как это было?

— Помню.

— И вот я не понимаю, почему ты тогда за него ухватился?

— Я сам не понимаю, — опять засмеялся Венька. — Но ты подожди, подожди. Ты еще посмотришь, как все получится. Хотя, конечно, Лазарь

— это не ангел.

— Не только не ангел, но бандит, мы с тобой таких, наверно, не один десяток встречали. Но ты почему-то за Лазаря ухватился…

Венька задумался, но ненадолго. Потом сказал:

— Это, понимаешь, не всегда можно все в точности объяснить — что, зачем и почему. Но раз я ухватился, я должен доколотить это дело до конца.

Все силы свои он, казалось, сосредоточил теперь на одном — на будущей поимке Кости Воронцова.

Он даже все личные планы строил теперь с таким расчетом: «Вот поймаем Костю, и я осенью обязательно поступлю на рабфак. И ты поступай тогда. Что мы, хуже всех, что ли? Вот заарканим императора, и я сразу договорюсь с Юлькой. Не могу я это дело тянуть!»

И не только свои личные планы он связывал с поимкой Кости Воронцова: «Вообще все здорово будет, когда мы его поймаем. Всех остальных бандюг мы тогда свободно переловим и переколотим. Костя у них сейчас вроде как знамя. И до чего сильно его боятся везде! Даже председатели сельсоветов боятся. Это уж просто срам. Называются представители советской власти — и боятся

какого-то бандита! От одного его имени дрожат. Это мы виноваты, что так долго вокруг него крутимся. Если б мы работали как следует, мы бы его еще прошлой осенью взяли. Мы за это в первую голову отвечаем!»

17

Наконец однажды в середине дня Венька вернулся из Воеводского угла и сказал мне:

— Ну, кажется, начинаем делать дело. Сейчас доложил начальнику всю картину. Завтра вместе с ним едем брать императора.

— А я?

— Что ты?

— А я опять тут буду сидеть?

— Нет, и ты поедешь. Начальник сам сказал, чтобы и ты поехал. И Колю Соловьева возьмем. Только этот припадочный Иосиф Голубчик не поедет. Я просил, чтобы он не ездил. Тут дело тонкое, хитрое. Тут героизм не требуется…

Мы пошли с Венькой на реку купаться. Он разделся на плотах и показал мне плечо.

— Ты смотри, как здорово зажило! А ты знаешь, от чего? От брусничного листа. Мне Лазарь прикладывал брусничный лист. Его знахарка научила в Воеводском углу. Мировая медицина!..

— А ты Лазаря, значит, часто видишь?

— Конечно. Мы вчера с ним рыбу ловили на Черном омуте. Он здорово жарит рыбу на рожне. Вот так возьмет рыбину, распорет, выпотрошит, чуть присолит и растянет на рогатке. Над костром. Обожраться можно, до чего вкусно! А икру из рыбины надо сразу есть. Лучше всего с хлебом…

Если б я не знал, кто такой Лазарь Баукин, я подумал бы, что Венька рассказывает про своего закадычного дружка. Но я не мог забыть, что Баукин — преступник с большим и тяжелым грузом преступлений, за которые он должен ответить по закону. Ведь он не просто удит рыбу в Черном омуте или в Пузыревом озере, он скрывается от заслуженного наказания. Ведь мы не отпустили его из уголовного розыска, а он убежал. И еще увел с собой двух преступников.

Об этих его соучастниках в побеге Венька почему-то никогда не упоминал в разговоре со мной и не вспоминал о тех, что остались тогда и были осуждены на разные сроки.

Венька говорил только о Лазаре. Конечно, он хотел использовать его для поимки Кости Воронцова. Он, наверно, сразу после поимки Лазаря учуял, что его можно использовать. Это понятно.

И в этом нет ничего удивительного. Для поимки Воронцова стоило использовать любые средства. Но мне все-таки не ясно было, почему вдруг Венька так душевно прикипел к Баукину. Хоть убей, я не видел в Баукине ничего замечательного, кроме разве его особой звероватости и исступленной злобы, все время вскипавшей в его небольших медвежьих глазах.

— Ты не сердись, Венька, — сказал я. — Но не лежит у меня душа к этому Баукину. Он мне даже противен как-то…

— А ты знаешь почему?

— Не знаю, но он мне противен.

— Это вот почему, — сказал Венька и, присев на край плота, спустил ноги в воду. — Он тебя тогда в дежурке, когда его забрали, как-то, я сейчас не помню, обозвал. И начальника он обозвал боровом. Начальник ему это тоже не простит…

— Но тебя он даже ранил, — напомнил я. — А ты все-таки, как… Ты не сердись, но ты, ей-богу, вроде как монашек повел себя. Я, мол, зла не помню. А мне это просто удивительно и даже противно!

— Что противно?

— Ну, что это получается как-то неестественно. Будто ты правда монашек. Ты же живой, и я знаю, ты бываешь сердитый. А с этим Лазарем ты повел

себя как-то странно. Если б он, допустим, ранил меня, я бы ему этого не забыл.

— А что бы ты ему сделал?

— Я не знаю, но я бы ему этого не забыл…

— Ерунду ты говоришь. — Венька вытащил ноги из воды и пошел, балансируя руками, по осклизлому вертящемуся бревну. — Ничего бы ты ему не сделал. И потом, кто это тебе сказал, что он меня ранил?

— Но он сам же признался. Даже хвастался…

— Вот это правильно, — остановился Венька и перепрыгнул на толстое, более устойчивое бревно. — Вот это правильно, что он хвастался. А кто может поручиться, что именно он в меня попал? Он только шапку мою запомнил. А стрелял он не один. Все стреляли. А когда в дежурке ты его допрашивал, ему хотелось показать, что он нас не боится. Ему же сколько лет морочили голову разные офицерики, что комиссары — это звери! И он уверен был, что мы его сразу стукнем. Терять ему было нечего. И он хотел хоть перед смертью показать себя героем. А мы ему это не дали. Не доставили ему такого удовольствия. Он к нам со злобой, а мы к нему — по-человечески. И он враз растерялся от неожиданности. А когда он растерялся, тут я стал его разглядывать, как голого. И

гляжу, он мужик толковый, но запутавшийся. Погоди, думаю, мы с тобой еще дело сделаем. Большое дело… Почему я так подумал? Потому что я вижу, что мужик не трусливый, твердый, сердитый. И бедный. Ничего ему не дали бандитские дела, а он все-таки хорохорится. Я подумал, если ты так хорохоришься из-за бандитского своего самолюбия — значит, есть в тебе твердость. Значит, есть нам смысл повозиться с тобой. И я стал с ним возиться…

— А он все-таки убежал?

— Убежал. Но ты погляди, как дальше пошло. Воронцов ему велел пройти испытание. Лазарь бы его в два счета прошел, но не пожелал. Ты думаешь, испугался? Нет, он просто уже не видел смысла проходить бандитское испытание. Он вчера мне говорит на Черном омуте: «Комиссары это хорошо придумали — провести единый налог. Мужики довольны. Даже моя баба Феничка, уж на что росомаха, и та довольна». Значит, видишь, куда он теперь тянет? Савелий ему все подготавливает испытание, держит его, как на привязи, около себя, сапоги ему преподнес. А он над Савелием уже смеется. Испытание теперь мы ему предложим…

— А кто это Савелий?

— Это Савелий Боков — правая рука Воронцова. Редкий гад…

— Ты его, может, тоже сагитируешь за советскую власть? — засмеялся я. — Он, наверно, тоже мужик твердый…

— Балаболка ты! — рассердился Венька. — С тобой серьезно разговариваешь, а ты, как балаболка!..

Он подошел к краю плота и стал смотреть на реку, на бело-синий пыхтящий пароход, тянущий за собой против бурного течения две баржи, с верхом груженные мешками и бочками.

Пароход хлопал по воде широкими красными лопастями, подымал волны. И под нами закачались на волнах притянутые к берегу стальными канатами плоты.

— Ты думаешь, все это вот так просто? — заговорил он снова. — Моя мать вон какая умная женщина, все понимает, хорошая портниха. А до сих пор верит в бога. И ходит в церковь… И Лазарь мне на днях говорит: «Все бы ничего, но жалко, вы, коммунисты, попов не признаете. А ведь попы не сами себя выдумали». Я спрашиваю: «Ты что, без попов жить не можешь?» Он говорит: «Не в этом дело, но ведь был какой-то порядок. И вдруг все сломалось…» Лазарь и в белой армии

воевал и в бандиты пошел не из-за одних только барышей. Барыши-то ему и не достались. Но ему внушали, все время вколачивали в башку, что он воюет против коммунистов, за какую-то святую Русь. И что бог это все оправдает: и грабежи и убийства. У Воронцова в банде до сих пор находится свой поп. Отец Никодим Преображенский. И он там тоже туман напускает, что советская власть не от бога… А советская власть только набирает силу. Она вот как этот пароход. Ей трудно, но она все-таки тянет. И, смотри, волна какая…

Венька сложил перед носом ладони, подпрыгнул, как будто под ним были не плоты, а пружина, и бросился вниз головой в волны. Я сделал то же самое.

Опрокинувшись на спину, было приятно качаться на волнах. Но вода слишком холодная.

Я скоро вылез на плоты.

А Венька еще долго плавал разными способами: и «по-собачьи», и «по-бабьи», и «на посаженках», далеко выбрасывая длинные сильные руки.

Из воды он вылез синий, постукивая зубами, и лег на плоты, подставив все тело горячему солнцу и только голову закрыв рубашкой.

Я прополаскивал в быстро текущей воде свою линялую тельняшку.

— Вот ты говоришь… — снял с лица рубашку Венька. — Вот ты как будто удивляешься, что я не обозлился, когда Лазарь признался или похвастался, что хотел убить меня. И что я как будто разыгрываю из себя монаха. Но это ерунда, — перевернулся на живот Венька. — Зимой во время операции в Золотой пади я был злой, наверно, как дьявол. Это ж я убил Покатилова. И я точно знаю, что убил его я. И не жалею нисколько. Это было как в драке, как в бою. Но вот теперь смотри. Я веду допрос. — И он сел. — Вот так я сижу, а вот так арестованный. Он один. За ним уже никого нет. А за мной закон, государство со всеми пушками, пулеметами, со всей властью. Чего же я буду сердиться на арестованного? Государство же не сердится. Ленин прямо говорит…

Вдруг бревно резко качнулось под Венькой, и нас обдало холодными брызгами.

Это Васька Царицын прямо с крутого берега прыгнул на плоты.

— Читаешь лекцию? — засмеялся он, посмотрев на Веньку.

Венька покраснел, так и не досказав, о чем говорит Ленин.

Васька, здороваясь, протянул нам широкую, измазанную мазутом ладонь. И лицо и шея у него

были измазаны мазутом.

— Иду с работы, — весело сообщил он и стал раздеваться, присев на чуть вздыбленное рулевое бревно. — А вы что, уже искупались?

— Искупались, — сказал я, недовольный приходом Васьки.

Мне хотелось еще о многом расспросить Веньку. Он был в том хорошем душевном расположении, когда его можно было расспросить обо всем. А мне всегда казалось, что он знает больше, чем говорит. Говорит он обычно редко и чаще как-то отрывисто, затрудненно, будто тут же додумывая и желая не столько собеседнику, сколько самому себе объяснить что-то сильно тревожащее его душу.

Васька явно помешал нашему разговору. Но он, должно быть, не заметил этого. Раздевшись, лег на плоты с того края, где они ближе к берегу, и запустил обе руки в воду, добывая со дна серый илистый песок.

Натирая лицо и все тело этим песком, он без умолку что-то такое напевал себе под нос. Потом сказал:

— А я, ребята, сам вчера лекцию хорошую слушал. Оказывается, милиции-то не будет…

— Как это милиции не будет?

— Вот так! — торжествующе заявил Васька, уже весь, как черт, измазанный мокрым песком и илом. И даже волосы его слиплись и встали дыбом, как рога. — Оказывается, все это прекращается: и милиция и уголовный розыск. И судить тоже никого не будут…

— Кто это тебе сказал?

— Как то есть кто? Лектор. Приехал, я не знаю откуда. Кажется, из Читы. Вчера у нас на электростанции читал лекцию. Потом будет, говорят, выступать в клубе Парижской Коммуны…

— И что же он говорит?

— Да он много чего говорит. Но это верно, я сам своими ушами слышал, что уголовного розыска больше не будет. Все это отменяется. Вплоть до прокуратуры.

«Хорошенькое дело! — подумал я. — Мы завтра едем на операцию, а тут вон какие новости!»

— Брехня это все, — сказал Венька, опять развалившись на илотах и жмурясь от солнца. — Брехня, я тебе говорю…

— А вот и не брехня! — настаивал Васька, подпрыгивая на одной ноге на том осклизлом и вертящемся бревне, по которому ходил Венька. — Лектор приводит данные из книги Ленина. Я только забыл, какое название. У меня записано.

— А кто же, по-твоему, бандитов будет ловить? — спросил я Ваську. — Вы, что ли, с лектором их будете ловить?

А бандитов вовсе не будет, — покачнулся Васька. И, не удержавшись на бревне, бултыхнулся в воду.

Из воды, отфыркиваясь, он закричал:

— Я вам это верно говорю, ребята! Можете кого угодно спросить, кто был на лекции. Я потом сам переспрашивал. Это верно, что все отменяется…

Мы лежали на плотах и смотрели на Ваську, изображавшего, как плывет дохлая свинья, как купается пугливая барыня, как идет на дно утопленник.

Васька был прирожденным артистом. Принявшись изображать в воде, кто как купается, он, должно быть, тотчас же забыл только что сообщенную новость.

Нас эта новость тоже не сильно взволновала. Мы поняли, что тут какое-то недоразумение. Васька чего-то не понял, недобрал в рассуждениях лектора. И мы сказали ему об этом, когда он вылез из воды.

— Нет, я все хорошо понял, — прыгал он опять на одной ноге, стараясь вытряхнуть воду из уха. — И домзаков тоже не будет. Лектор это пря-

мо говорит…

— А когда не будет? — насмешливо спросил Венька, подымаясь с бревен. — Завтра, что ли?

— Не завтра, но при коммунизме, — сказал Васька.

Венька смыл с ног присохший ил и водоросли и стал одеваться с той обстоятельностью и аккуратностью, которые мне всегда нравились в нем.

Одевшись полностью, замотав портянки и натянув сапоги, он стал застегивать поясной ремень и сказал:

— Это правильно, я читал, при коммунизме никаких властей не будет. При коммунизме все будет зависеть от совести людей…

Я еще раз потрогал свою выстиранную и растянутую на бревнах тельняшку. Она уже просохла. Я тоже стал одеваться, поглядывая, как причесывается Венька. Наклонившись над водой, он обмакивал в воду расческу, чтобы получше примять высохшие после купанья волосы.

— Значится правильно вам сказал, — обрадовался Васька, продолжая прыгать то на левой, то на правой ноге.

— В общем, правильно, — согласился Венька. — Но надо было только сказать, что это будет при коммунизме. И лектор, наверно, так говорил…

— Ну да, — подтвердил Васька. — Он все время и говорил о том, как мы будем жить при коммунизме, какие будут города, заводы. И вообще как все будет, когда наступит коммунизм.

А что он наступит очень скоро, в этом, конечно, никто из нас не сомневался.

Ни нам, ни Ваське Царицыну, ни, может быть, даже заезжему этому лектору не дано было тогда вообразить, через какие еще неслыханные трудности и страдания должен был пройти весь наш народ раньше, чем в историческом далеке забрезжут огни коммунизма.

Васька остался купаться, а мы с Венькой пошли по отлогому откосу в гору, чтобы пересечь маленький садик на берегу реки, раньше называвшийся Купеческим, а теперь — имени Борцов революции.

Многое было уже переименовано в этом небольшом уездном городе — и учреждения, и улицы, и сады, — а люди все еще жили здесь в большинстве своем по-старому. Даже не то что по-старому, но с боязливой оглядкой, с выжидательной осторожностью, тревожимые то смутными слухами, то предчувствиями, то внезапными выстрелами в ночи.

Мы были пришлыми в этом городе. У нас здесь

не было ни родных, ни знакомых. И мы неохотно заводили новые знакомства, чтобы случайно не оказаться в обществе враждебных нам людей.

Власть менялась здесь трижды за короткий срок. Уходили красные, приходили белые, потом опять утверждались красные. И у каждой власти, естественно, были свои приверженцы в этом добротном деревянном городе, омываемом, как сказали бы поэты, сумрачным океаном тайги.

Те, кто активно участвовал на стороне побежденных, вынуждены были уйти из города или притаиться в нем в надежде на перемены.

Победители же еще не чувствовали себя полными хозяевами положения, потому что хозяйством города, его торговлей и экономикой практически верховодили новоявленные предприниматели, так называемые нэпманы. Им принадлежали многие магазины и лавки, скупочные конторы и даже заводы, правда небольшие: лесопильный, кожевенный и шубный.

И все-таки мы верили, что скоро наступит коммунизм. Мы верили в это даже вопреки тому, что против садика имени Борцов революции, из которого мы вышли на базарную площадь, уже был отремонтирован двухэтажный дом, и маляры, громыхая босыми ногами по железной

свежеокрашенной крыше, подымали на уровень второго этажа большую вывеску: «И. К. Долгушин. Кондитерский магазин».

— Ты смотри, и стекло хорошее где-то добыл! — показал Венька на отмытые окна дома, позолоченные косыми лучами предзакатного солнца. — А говорят, стекла нигде нету…

Долгушин укреплялся в городе как завоеватель. Вытеснить его с этих позиций будет, пожалуй, не так-то легко. Не легче, быть может, чем поймать и обезвредить Костю Воронцова. Но и Воронцов ведь еще не пойман. И неизвестно, удастся ли его поймать.

Край неба внезапно потемнел, когда мы переходили базарную площадь.

— Будет сильный дождь, — посмотрел я на небо.

— Не скоро, — сказал Венька. — Хотя давно бы пора. Жарко. — И остановился у бочки с квасом, возвышавшейся на телеге: — Будешь?

— Нет, — помотал я головой. — Лучше дома попить чаю…

— Ну, как хочешь. — Венька протянул продавцу деньги и подставил под медный кран литую стеклянную кружку.

Потом он купил у лоточницы два треугольных

пирога с черемуховой начинкой, один дал мне и, откусив, засмеялся:

— А про деньги Васька Царицын еще не знает…

— Про какие деньги?

— Ну, что денег при коммунизме тоже не будет. Я это читал. Все будут выдавать без денег…

Это для меня было новостью. Я про это еще не читал. И мне захотелось представить себе, как же будет выглядеть базар, если денег не будет.

И так постоянно: мысли о близком и дальнем, о будущем и настоящем шли почти одновременно в нашем сознании. О будущем мы думали даже чаще, взволнованнее, чем о настоящем.

У закрытого амбара стоял шарманщик с деревянной, как колотушка, ногой. На такой же ноге стояла подле него, поддерживаемая им за ремень, обитая позолоченной жестью, обвешанная разноцветными стекляшками шарманка. А на шарманке, над ящиком с билетами, сидела белка с пушистым хвостом. Она держала в лапах незрелую, еще зеленоватую шишку с орехами и не грызла ее, а поглядывала по сторонам так же, как шарманщик, нет ли желающих проверить свое счастье, узнать свою судьбу.

Мы с удовольствием бы сами заплатили дорого,

чтобы узнать свою судьбу, узнать, как сложится все через десять, через двадцать или тридцать лет. Но мы уже не верили в белку, в то, что она может предсказать.

Мы просто стояли в стороне у закрытого амбара, доедали пироги и рассеянно смотрели на все, что происходило вокруг нас.

Молодая женщина развязала зубами узелок на носовом платке, вынула деньги, подала шарманщику.

Белка, тотчас же отложив шишку, деловито, как конторщица, стала рыться лапками в ящике. Наконец она вынула синий билетик.

Шарманщик развернул его и прочитал женщине:

— «Бойся пуще всего черного глаза. Тебя преследует черный глаз».

— Женский или мужской? — спросила женщина.

— Чего это?

— Какой глаз меня преследует: мужской или женский?

— Этого уж я не знаю, — пожал плечами шарманщик. — Если желаешь, можешь приобрести еще один билет. Может, белка сделает тебе прояснение судьбы.

Женщина снова развязала зубами узелок и приобрела еще один билет. Белка его вынула. Шарманщик прочитал:

— «Мужчины слишком коварны. В замужестве особого счастья не жди».

Венька сказал шарманщику:

— Для чего это пугаешь народ? Ты придумал бы что-нибудь такое веселое…

— А вы, гражданин, отойдите, — строго попросил шарманщик Веньку. — Я никого не пугаю. Народ и так хорошо напуганный…

Шарманщик поудобнее натянул на плечо ремень от шарманки и, закрутив ручкой, заиграл и запел сердитым, пронзительным голосом, будто угрожая всему свету:

Пускай могила меня накажет
За то, что я тебя люблю.
Но я могилы не страшуся,
Кого люблю я, с тем помру.

Мне показалось, что от этой песни, от голоса шарманщика, от визга и дребезга шарманки потемневшее предгрозовое небо еще ниже спустилось над базаром.

— Ерунда какая! — сказал Венька. Но это он сказал, я думаю, не о песне и не о шарманщике,

а о чем-то ином, что вдруг встревожило его, и посмотрел на ручные часы. — Ты сейчас домой?

— Домой. А ты?

— А мне еще надо тут зайти…

Я прямо спросил:

— К Юльке?

Он утвердительно мотнул головой и конфузливо улыбнулся.

Ложась непривычно рано спать — в одиннадцатом часу, я распахнул наше единственное окно, так как в комнате было нестерпимо душно, а на улице темно от черной тучи, плотно обложившей уже все небо. Ночью, наверно, будет гроза.

Я проснулся от шороха. Венька, по-кошачьи пригнувшись, влезал в окно.

— Хорош сыщик! — засмеялся он надо мной. — Открыл окошко и спит. Залезай кто хочет и вытаскивай тебя за ноги, как жареного зайца.

— Дышать нечем, — сказал я. — Даже голова заболела…

— И мне что-то нехорошо, — сразу посерьезнел Венька.

Он зажег лампу и сел к столу, подперев щеку ладонью, будто у него вдруг заболели зубы.

— Несмелый я человек, вот в чем вся беда, — сознался он после некоторого молчания. — Не могу

я ей вот просто так сказать. Робею.

— Насчет чего?

— Ну вот опять, здравствуйте! — поморщился Венька. — Насчет чего! Насчет чего прошлый раз говорили?

— А! — вспомнил я. И, сонный, не знал, что ему посоветовать.

А он настойчиво ждал ответа.

— Хочу написать ей письмо, — наконец сказал он.

— Письмо бы писать не надо.

— А что делать?

— Может, ты потом с ней поговоришь?

— Потом, потом! Когда же потом? Так все лето пройдет…

— А может, ничего ей пока не говорить? — неуверенно предложил я.

— Ну как же это можно не говорить? — возмутился Венька. — Это же, выходит, обман…

— Да, в общем-то нехорошо получается, — вяло согласился я, побариваемый сном. И вскоре уснул в этой предгрозовой духоте, так ничего путного и не посоветовав Веньке.

Я спал и видел страшный сон. За мной, маленьким, может быть трехлетним и бесштанным, гналась огромная лохматая собака. Я бежал из

последних сил. И, страшась собаки во сне, в то же время думал не просыпаясь: собака — это к добру, она друг человека. Бабушка говорила, что видеть собаку во сне хорошо.

Вдруг собака догнала меня и схватила за шею. Я вскрикнул.

— Извини, — потрогал меня Венька. — Я хотел тебе прочитать, чего я ей пишу. Интересно, что ты скажешь. Слушай…

И он, стоя передо мной в лиловых, как чернила, трусиках, читал письмо, сочиненное только что, на котором, наверно, не остыло еще тепло его рук.

Из письма до сознания моего долетали отдельные фразы, вроде: «…Принимая во внимание, что я первый чистосердечно сообщил тебе, ты, по-моему, должна учесть…» или: «Я хочу, чтобы ты потом не уличала меня, будто я какой-то двоедушный…»

Письмо он закончил словами, памятными мне до сих пор:

«Я хочу, чтобы жизнь наша была чистой, как родник, чтобы мы понимали друг друга с полуслова и никогда бы не ссорились, как другие, которых мы наблюдаем каждый день.

Подумай хорошенько, взвесь все обстоятель-

ства „за“ и „против“ и ответь мне, пожалуйста, в письме или в записке, если тебе неловко отвечать на словах, как мне в эту минуту, в эту душную ночь перед грозой, когда я все это пишу и волнуюсь.

Крепко жму твою красивую руку, робко гляжу в твои честные таинственные глаза. Обещаю любить тебя всю жизнь, как самого любимого товарища.

С комсомольским приветом Вениамин Малышев».

— Как, считаешь, правильно? — спросил он меня.

— Правильно, — сказал я.

— Ну, тогда будем спать, — удовлетворенно вздохнул он, будто сбросил с себя тягчайший груз. — Утром чистенько перепишу…

За окном в небе сильно загрохотало, треснуло, разорвалось.

Небо на мгновение осветилось ярчайшим светом. И сразу по железной крыше, по наличникам, по стеклам открытого окна загремел, застучал, забарабанил крупный, благодатный, освежающий воздух и землю дождь.

А когда он вскоре закончился, оказалось, что уже наступило утро. Больше спать нельзя. Неко-

гда спать.

Венька, так и не переписав письмо начисто, запечатал его в конверт, надписал на конверте адрес: «Кузнечная, 6, получить товарищу Юлии Мальцевой», — облизал языком марку, наклеил и сказал:

— Надо сейчас же отправить. А то вдруг передумаю. — И, помолчав, добавил: — Не люблю людей, которые все по десять раз передумывают. И сам не люблю передумывать. Уж раз решил, значит, нужно делать…

Венька как будто подбадривал себя.

Мы вышли на освеженную дождем улицу, пахнувшую омытой листвой и взрытой землей.

Венька перешел через дорогу, бросил письмо в почтовый ящик, внимательно посмотрел на него и улыбнулся грустно.

18

Дождь прошел только над самыми Дударями. А над трактом стояла такая же нестерпимая жара, как вчера, как все это лето. И по-прежнему летала желтая удушливая пыль.

Мы ехали не быстро, верхом на лошадях, взятых из конного резерва милиции. Нас было шесть человек вместе с начальником.

«Не мало ли? — подумал я, снова оглядев всех на тракте. — Не мало ли нас собралось, чтобы ловить неуловимого Костю Воронцова, императора не императора, но все-таки нешуточного бандита? Неужели нельзя было опять сговориться хотя бы с повторкурсами? Пусть бы они послали с нами курсантов...»

Я ехал на рыжем белолобом мерине рядом с Колей Соловьевым, выбравшим себе серого в яблоках жеребца, а Венька Малышев — позади нас, на такой же, как у начальника, каурой кобылице. Он о чем-то спорил с начальником. Потом, хмурый, подъехал к нам. Он был хмурый оттого, что начальник в последний момент не согласился с ним и все-таки взял на эту операцию Иосифа Голубчика.

— Ну вот, припадочный опять едет, — сказал нам Венька. — Работаешь всю весну и почти что все лето, как зверь. Все налаживаешь. Потом берут припадочного, и он может поломать всю операцию. Из-за своего геройства.

— Пусть теперь начальник за ним сам наблюдает, — покосился в сторону Голубчика Коля Соловьев. — Мы за этого орла не можем отвечать.

— Можем или не можем, а все равно ответить

придется, — сказал Венька. И я ждал, что он повторит свою любимую фразу о нашей ответственности за все, что было при нас.

Но Венька промолчал и подъехал к Голубчику, фасонисто, с этакой лихостью сидевшему в казацком седле впереди нас на гнедой поджарой лошади.

Видно, что Венька уговаривает Голубчика. А Голубчик, должно быть, не соглашается на уговоры и смеется, наматывая на руку ремешок от рукоятки плети.

Я вижу, как у Веньки бледнеет лицо, когда он оглядывается на начальника. Это значит, что Венька злится.

«Да плюнь ты на этого Голубчика! — хочется мне крикнуть Веньке. — Ну едет и пусть едет. Пусть начальник потом нянчится с ним...»

Мне обидно за Веньку, и я очень сердито думаю о нашем начальнике. Неужели он не понимает, что действительно может поломаться вся операция из-за его самолюбия, из-за того, что он пожелал взять на операцию этого недоучившегося гимназиста?

Уже два раза были неприятности из-за него: зимой, когда окружали Клочкова в Золотой пади, и еще прошлым летом, во время операции на

Жужелихе. Голубчик тогда на Жужелихе тоже преждевременно открыл стрельбу, желая показать начальнику свое геройство.

Я подъезжаю к Веньке, когда он удаляется от Голубчика, так, видимо, ни о чем и не договорившись с ним.

— А может, сделать по-другому? — советую я Веньке. — Если уж начальник упрямится, и ты ведь тоже можешь заупрямиться. Ты можешь сказать, что у тебя опять заболело плечо или еще что-нибудь и ты не можешь участвовать в операции. Пусть тогда начальник вместе со своим любимым Голубчиком ловят Костю. Забавно будет посмотреть, как они его будут ловить!

Я смеюсь. Но Венька все больше хмурится. Наконец он медленно и сердито говорит:

— Никогда не думал, что ты посоветуешь такую ерунду. Что я тут для начальника, что ли, стараюсь? Нужно мне для него стараться! — И, тронув шенкелями свою каурую кобылицу, он опять подъезжает к начальнику, опять о чем-то спорит с ним.

А начальник делает строгое, величественное лицо. Вот такое лицо он делает всякий раз, когда произносит свои любимые слова:

— Если память мне не изменяет, я пока тут

числюсь как будто начальником…

Я угадываю, что именно эти слова он произносит сейчас.

А Венька, натягивая поводья так, что лошадь задирает голову, продолжает настаивать на чем-то.

Я напрягаю слух и откидываюсь в седле. Мне хочется понять, о чем они спорят.

Наконец до меня долетают слова начальника:

— Ну, делай как хочешь. Но только помни, Малышев…

А что надо помнить Малышеву, я не слышу.

Венька подъезжает ко мне:

— Начальник приказал, чтобы ты, я и Коля свернули сейчас на Девичий двор. Давайте поскорее проедем вперед…

Лицо у Веньки повеселевшее. Я понимаю, что это не начальник приказал, а Венька склонил начальника к такому распоряжению.

Мы сворачиваем с тракта в сторону Девичьего двора и въезжаем в густой, толстоствольный лес, где можно продвигаться только гуськом друг за другом по узенькой тропинке, которая то исчезает, то возникает вновь, петляя и извиваясь.

Вот уж где совершенно нечем дышать, как в бане, в парном отделении, когда парятся сибир-

ские древние старики. Мы сразу же покрываемся липкой испариной. И на потные наши лица и руки налипает густая мошкара. Она вместе с дыханием попадает в рот, в горло.

Я все время отплевываюсь. А Венька весело спрашивает меня:

— Ты вспоминаешь эти места?

— Ну да, — откликаюсь я не очень весело, потому что ничего не вспоминаю и некогда мне вспоминать.

— Мы уже были тут с тобой зимой, — говорит он. — Помнишь?

Я утвердительно мотаю головой, стараясь одновременно отбиться от мошкары, облепившей и шею и плечи и, кажется, пробравшейся уже во все мои внутренности.

— Помнишь? — опять спрашивает Венька.

— Помню, — говорю я.

Однако, мне думается, я никогда не бывал в таком аду.

Даже всегда невозмутимый Коля Соловьев говорит:

— Жалко, я маску против мошкары с собой не захватил. Хотел захватить и забыл. Беда, как беспокоят, заразы. Прямо глаза выедают…

Временами мы едем почти в полной темноте.

Высокие и густые вершины деревьев заслоняют солнце, не пропускают свет.

Под ногами лошадей хрустят сухие ветки.

А мошкара и во тьме терзает нас.

— Мы тут левее с тобой проходили зимой, — вспоминает Венька.

А я по-прежнему ничего не вспоминаю.

— Тут речка недалеко, — как бы успокаивает он меня и Колю Соловьева. И голос у него все время веселый, даже радостный. Неужели его не тревожит мошкара? Или он просто не замечает ее, потому что увлечен предприятием, о котором мечтал давно? — Жалко, что мы не сможем искупаться. Мало времени. Еще долго ехать…

Мы выезжаем из мрачного леса на великолепную, сияющую под солнцем поляну. Но Венька направляет свою кобылицу опять в лес, и мы снова едем гуськом.

— Тут трясина, — показывает нагайкой на поляну Венька. — Помнишь, я тебе рассказывал, как я тут чуть-чуть не увяз?

Действительно, вскоре показалась узенькая речка. От нее повеяло прохладой.

Мы поехали по берегу, глядя на быструю синюю воду, ревущую на острых камнях, на шивере.

Запахло смородиной, вернее, смородинным

листом и нагретой солнцем березовой корой.

Березы весело белели стройными стволами и переливались листвой, словно обрадованные на всю жизнь тем, что вырвались на солнышко из чащи тайги, где их душили сосны, и ели, и непроходимый бурелом.

Венька спрыгнул с седла, присел на обомшелый пень, снял сапоги и брюки и стал переводить коня, похлопывая его по шее, через ревущий неглубокий поток. Мы с Колей Соловьевым сделали то же самое. Поплескались немножко в холодной воде. И поехали дальше вдоль кромки тайги.

Над нами теперь торжественно шумели темно-зелеными вершинами красивые, стройные кедры.

— Шишек-то сколько! — показал все время молчавший Коля. И вздохнул: — Ох, приехать бы сюда когда-нибудь запросто! Пошишковать. Я любитель этого дела…

— А что, приедем когда-нибудь, — сказал Венька. — Всех бандюг переведем и приедем. Тут мировые места. Можно свободно любой дом отдыха открыть. Не хуже чем на Байкале открыли в прошлом году…

— А мошкара? — поплевал я на ладонь и по-

мазал горящую, как от ожога, шею. — Мошкару куда девать?

— Мошкара — это ерунда, — тоже поплевал на ладонь Венька. (Значит, она все-таки и его беспокоит.) — Мошкару можно, как и бандитов, перевести. Даже легче…

— Я читал, — разговорился молчаливый Коля, — я читал в одном журнале, что от мошкары есть хорошее средство. Вроде порошка. Только надо этим порошком с аэропланов посыпать.

— Пустяки! — засмеялся я. — Надо сначала своих собственных аэропланов настроить, русских…

— А что, — сказал Венька, — не настроим, что ли? Еще сколько аэропланов настроим, что будь здоров, не кашляй…

И от этих мальчишеских, хвастливых слов всем нам стало так весело, что мы не заметили, как Венька свернул в уж совсем нестерпимо душный участок тайги, полный мошкары и каких-то крупных, оглушительно жужжащих мух, от укуса которых лошади всхрапывают, вскидывают головы и со свистом обмахиваются хвостами, а у нас мгновенно всплывают на коже большие, разъедающие кожу волдыри.

Я все время плевал на руку, чтобы смазывать места укусов. Но вот уж истощилась слюна. Во

рту пересохло.

А сухие ветки трещат в темноте, бьют по лицу. Чего доброго, и глаза так выколешь и рот раздерешь.

Я закрываю глаза и наклоняюсь над гривой фыркающего мерина. Ветки бьют меня по голове, по ногам. Но я не открываю глаз до тех пор, пока резкий свет не ударяет мне в лицо.



Оказывается, мы опять выезжаем на просторную поляну. И опять рядом с нами на взгорье шелестят вершинами высоченные кедры. И тотчас же мы замечаем множество красивых, похожих издалека на голубей, птиц. Однако они мельче голубей, и полет у них не голубиный, а какой-то суетливый. Они то взлетают над кедрами, то как бы ныряют в мохнатую темную зелень.

— Ух, подлюги! — кричит Коля Соловьев. — Ух, подлюги поганые! — И, придерживая серого жеребца, грозит птицам нагайкой. — Вы глядите, что делают, твари! Это ж кедровки!..

Венька спрыгивает с лошади:

— Правильно, это кедровки. Они сейчас тут облупят все шишки…

— Да вот в том-то и дело, что не все, — говорит Коля. — Они ведь как делают, гады! Они только сверху затронут шишку, полущат, полущат и бросят. И куда уж она тогда годится? Ух, подлюги, подлюги!..

Коля расстраивается так, будто кедры эти принадлежат лично ему, будто кедровки налетели на его собственный сад, и вот теперь он просто не знает, что делать.

И Венька сочувственно качает головой.

А я тоже, как они, спрыгнув с седла, разминаю

ноги, и мне тоже жаль этих шишек. Хотя, быть может, мы больше никогда в жизни не попадем в эти места и не попробуем этих кедровых орехов.

— Эх, вырубить бы колотень! — неотрывно смотрит на кедры Коля. — Можно было бы насшибать шишек. Вы глядите, уж много спелых. А то слушай, Вениамин, может, я залезу сейчас на минутку, а? На одну минутку. Сшибу хоть десятка три на дорогу…

— Некогда, — говорит Венька. И заметно колеблется.

— А то я залезу? — опять предлагает Коля. — Тут же одна минутка…

— Некогда, — уже тверже повторяет Венька. И ставит ногу в стремя.

Мы едем дальше по широким просекам, переплетенным толстыми корнями елей, и всю дорогу разговариваем о кедровых шишках и о подлом поведении кедровок, бандитствующих в кедровых лесах.

Коля Соловьев вспоминает интересные случаи из своей охотничьей жизни. Мы с Венькой также кое-что вспоминаем. Коля говорит, что в этом году, однако, много будет белки, если такой урожай на орехи. Да и соболь, наверно, проявится. Он тоже большой любитель орехов.

— Орехи все любят, — улыбается Венька. — Лазарь говорит, что ими можно даже чахотку лечить…

— Какой это Лазарь? — как бы настораживается Коля, чуть придерживая нервного жеребца.

— Лазарь Баукин.

Венька заметно смущается и, наклонившись, поправляет подседельник. Ведь Коля, кажется, ничего не знает о том, что Венька поддерживает связь с Лазарем Баукиным и что еще зимой мы здесь встречались с ним. Об этом мы никому не рассказывали. Может быть, только начальнику об этом докладывал Венька.

— Он, наверно, тут где-то бродит, — говорит Коля. — Он, мне помнится, из этих мест…

— Из этих, — подтверждает Венька. — Он эти места как свои пять пальцев знает. Может повсюду зажмурившись пройти…

— Ну, конечно. У него дело тонкое, — усмехается Коля. — Он и от нас тогда моментально ушел. И все концы в воду. Ух, если б я его встретил!..

— Еще встретишь. Может, сегодня еще встретишь, — смеется Венька. И сразу же становится серьезным, даже озабоченным, внимательно оглядывая местность. — Нет, скорее всего завтра увидим Лазаря…

Коля молчит, перебирает поводья, что-то соображает, потом спрашивает:

— Он что ж, теперь, выходит, от нас работает?

— Зачем ему работать от нас? — уклончиво отвечает Венька. — Он может работать и от себя. Он мужик головастый и вполне сознательный…

Это слово «сознательный» было в те годы в большом ходу. Им как бы награждали человека. Сознательный, значит понимающий, осознающий, с какими трудностями связано построение нового мира, и готовый пойти на любые жертвы в преодолении трудностей.

Мне, быть может, так же, как Коле, показалось, что Венька явно перехватил, обозначив таким почти что священным словом Лазаря Баукина, еще недавно состоявшего в банде Клочкова. Но мы оба промолчали.

Венька ведь не просто наш товарищ, такой же, как мы, комсомолец, но и в некотором смысле наш начальник. И это следовало нам помнить, особенно сейчас, когда мы ехали на операцию. Он знает, наверно, такое и про Лазаря Баукина, чего мы еще не знаем и что еще не положено нам знать.

Однако Венька сам, должно быть, понял, что мы не согласились с ним и, поворачивая свою

каурую кобылицу опять в густой, непроглядный лес, сказал:

— Вы завтра увидите, как работает Лазарь…

— А мы что, завтра будем брать Воронцова? — спросил ничему на свете не удивляющийся Коля.

— Завтра. Наверно, завтра, — не очень уверенно подтвердил Венька и, отодвинув рукой широкую и длинную еловую ветку, направил лошадь по еле различимой тропе.

Из этого леса мы выбрались уже в сумерки и въехали в деревню.

— Ну, хоть эти-то места ты узнаешь? — опять спросил меня Венька. — Это ж деревня Дымок. Мы тут на аэросанях проезжали. Помнишь?

— Помню, — сказал я, хотя ничего не помнил. Ведь тогда была зима. Все укрыто было снегом.

А теперь лето. И в деревне, как на тракте, пахнет горячей пылью. Нет, не только пылью, но и коровьим навозом, печным дымом и парным молоком.

Мы ехали по затихшей деревне шагом, оглядывая темные избы. Нигде ни одного огонька. Жители спят, и даже собак не слышно.

— Интересно, прибыл наш начальник или еще нет? — вслух задумался Венька. — А я все-таки

немножко промазал…

— В каком смысле? — спросил я.

— Немножко, должно быть, не рассчитал, — вздохнул Венька. — Лишний крюк сделали, а никого не встретили. Придется сейчас еще промяться…

Меня встревожили эти слова. Неужели нам сегодня, сейчас надо будет дальше ехать? Ведь даже кони, пожалуй, не выдержат.

Проехав почти всю деревню, мы увидели огонек, вернее светлую щель, в занавешенном окне.

Венька спрыгнул с лошади и повел ее за повод. Мы сделали то же самое. Значит, мы приехали.

В просторной прохладной избе у пыхтящего, как паровоз, огромного самовара сидел под лампой наш начальник, пил чай и рассматривал карту.

Он возил ее с собой почти на каждую операцию в уезде и рассматривал с таким выражением на лице, точно видит на карте живых бандитов и уже прицеливается в них.

Около него стояли и сидели Иосиф Голубчик, старший милиционер Семен Воробьев и Бодягин Петя, прозванный за постоянную и часто неуместную резвость Бегунком.

— О, — сказал начальник, увидев нас, — здоро-

во мы вас опередили!

— Да вот так получилось, — виновато пожал плечами Венька. И, подойдя к начальнику, стал негромко разговаривать с ним, объясняя ему какую-то свою оплошность.

Но начальник не сердился на него. Он был настроен, как показалось мне, даже весело.

— Садитесь с нами чай пить, — весело пригласил он нас.

Я увидел на столе соленого омуля, медвежий окорок и картошку в мундире.

Мы с Колей Соловьевым сразу же сели за стол без церемоний. Мы ничего ведь не ели с самого раннего утра.

А Венька, который тоже ничего не ел, отозвал в сторонку Воробьева и спросил:

— Можно, я на твоей кобыленке тут недалеко съезжу? Моя сильно пристала. Погляди, если не трудно, за моей… Покормить бы ее надо…

— Пожалуйста, — сказал Воробьев. И усмехнулся, потрогав свои пышные усы. — Только учти, дорогой товарищ, у меня кобыленка слишком кусачая. Она посторонних почему-то не шибко любит…

— Ничего, — улыбнулся Венька. — Может, она меня полюбит.

И, ни слова больше не сказав начальнику, уехал во тьму таежной ночи. Было слышно, как захрустел щебень под копытами неутомимой воробьевской кобыленки.

Начальник продолжал рассматривать карту. Потом он поднял глаза на часы-ходики, висевшие на бревенчатой стене, потянулся и сказал Воробьеву:

— Время еще есть. Я, пожалуй, прилягу. Мне все-таки не семнадцать лет. Обеспечь охрану, чтобы было тихо. Понятно?

— Понятно. Будет сделано, — почтительно пообещал Воробьев.

— Если я засплюсь, разбудишь.

— Разбужу, а как же, — опять пообещал Воробьев, который был постарше нашего начальника, но спать не собирался. — Будьте покойны, я тут на своих ногах…

Венька все не возвращался.

Делать было нечего. Мы с Колей Соловьевым вышли посмотреть, как едят в темноте болтушку с отрубями и овсом наши кони.

Болтушка была замешана в трех колодинах, выдолбленных в толстых лиственничных бревнах. У каждой колодины — два коня. Они устало переступали с ноги на ногу и лениво обмахива-

лись хвостами.

Недалеко от лошадей настлана солома. На соломе белеет рубашка Голубчика. Он прилег по примеру начальника. Рядом с ним поместился, наконец, угомонившийся Петя Бегунок.

Мы с Колей Соловьевым поглядели на них и тоже прилегли на солому. Прилегли и сразу же задремали.

Я проснулся от тихого разговора во дворе.

— Не покусала она тебя? — заботливо спрашивал Воробьев, светя во тьме красным огоньком самокрутки.

— Ну для чего же она будет меня кусать?

Я узнал голос Веньки. Значит, он уже вернулся.

— Стало быть, фартовый ты, — говорил Воробьев, и было слышно, как он похлопывает кобыленку по крупу. — Она зимой наробраза покусала…

— Кого?

— Наробраза. От народного образования приезжал сюда человек из Дударей — Михайла Семеныч Кущ. Она очки ему сбила и грудь ободрала зубами. А тебя, гляди-ка, не тронула. Стало быть, ты фартовый, ежели тебя и лошади уважают. Это хороший признак! Очень хороший…

Венька засмеялся:

— Но ведь тебя она тоже уважает, товарищ Воробьев, твоя кобыленка.

— Меня — она обязана. Я над ней, как не скажи, первое начальство, — напомнил с достоинством Воробьев. И стал водить лошадь по двору, чтобы она не запалилась от быстрого бега. — Ездил-то ты на ней далеко ли?

— Нет, недалеко. Тут рядом…

— Ну, не заливай. Ты гляди, какая она мокрая, и бока ходуном ходят. А за лошадью, это имей в виду, нужен глаз, как за ребенком. Если желаешь, чтобы лошадь была постоянно на ходу, когда это требуется по делу неотложной важности…

Разговор был тихий, хозяйственный, ничем не напоминавший о том, что скоро предстоит важнейшая операция.

Венька подошел к своей кобылице, похлопал ее по крупу, точно так, как Воробьев свою кобыленку. Потом спросил:

— Начальник в избе?

— В избе, — сказал Воробьев. И почтительно добавил: — Отдыхает.

— Отдыхать некогда, — сказал Венька. — Сейчас поедем. Сейчас по холодку далеко можно проехать…

— Может, чаю попьешь?

— Некогда, — Венька пошел в избу, но на крыльце остановился и спросил Воробьева, как мальчик-сирота: — Хлебца кусочек не найдется? Что-то у меня сосет внутри…

— Как же это не найдется! — забеспокоился Воробьев. — Я и мясо найду. И все, что надо. Как же можно не жравши воевать!..

Он привязал кобыленку и вслед за Венькой вошел в избу.

Минут пять спустя Венька вышел на крыльцо. И в полосе света, выпавшей из избы, было видно, что в руках у него кусок хлеба и кусок мяса. Он ел и говорил Воробьеву, опять появившемуся на крыльце:

— Ты, Семен Михайлович, сейчас с нами можешь не ехать. Пусть твоя лошаденка отдохнет. Ты часам к двенадцати к нам подъедешь — к Пузыреву озеру.

— Нет, уж я сейчас поеду, — сказал Воробьев. — Ты за мою Тигру не беспокойся.

— За какую Тигру?

— Ну кобылу-то мою Тигрой зовут.

Венька опять засмеялся. И смеялся он так, будто ничего смешнее этих слов никогда в жизни не слышал.

19

Было раннее утро, когда мы подъезжали к Пузыреву озеру.

Только что проснувшийся лес полон был птичьего щебета и той влажной, пахучей свежести, которая скапливается за ночь в листве и мхах и при свете солнца распространяется по земле, оздоровляя все живое, оживляя мертвое и волнуя души людей предчувствием великого счастья.

Люди, может быть, всего добрее бывают именно в утренние часы — добрее, возвышеннее, великодушнее. И настроиться на суровый лад им не так легко, когда все вокруг торжествует и радуется восходящему солнцу.

А мы ехали, как говорится, на дело.

По плану операции, расчерченному нашим начальником на карте, мы должны были, как он выразился, закупорить большак, то есть одну из главных на этом участке таежных магистралей, по которой минувшей ночью проехал «император всея тайги» к своей возлюбленной Кланьке Звягиной.

Я помнил, что Кланька живет на взгорье, на Безымянной заимке — у самого пруда. Но я сейчас ни за что не разыскал бы эту заимку. И мне

неловко было спрашивать, далеко ли до нее. Да и спрашивать некого.

Мы ехали по лесу вдвоем с Колей Соловьевым, который знал об условиях предстоящей операции, наверно, еще меньше меня.

Остальные же из нашей группы вместе с начальником продвигались по ту сторону большака. Их было не видно и не слышно.

В лесу сгустилась необыкновенная тишина. И только где-то в отдалении усердно трудился дятел, добывая себе пропитание.

Всякий разумный человек, наверно, подумал бы о том, что это не простое и, пожалуй, даже рискованное дело — закупорить большак, если нас всего шестеро и мы не знаем в точности, сколько бандитов сопровождает Костю Воронцова. Ведь не один он поехал к своей невесте. Едва ли он решился бы поехать один. А вдруг не мы, а он закупорит нам все пути?

Эта мысль, конечно, встревожила бы и меня, если бы она тогда сразу достигла моего сознания. Но мой мозг все еще был объят дремотой, и я заботился о том, чтобы не задремать в седле.

А задремать было легко. Все-таки я не спал уже две ночи. В ту ночь в Дударях меня томила духота, и Венька мешал мне спать, читая свое письмо. И

в эту ночь, кажется, никто из нас по-настоящему не уснул.

Сквозь дрему, склеивающую глаза, я изредка поглядывал на Колю, то едущего рядом со мной, то отстающего. И мне казалось, что он тоже задремывает. Вот сейчас мы оба уснем в этом опасном лесу. У меня набрякли веки. Больно смотреть. Я закрыл глаза.

Вдруг Коля толкнул меня рукояткой нагайки в плечо:

— Медведь!

— Где медведь?

— Ну откуда я знаю где, — благодушно ответил Коля. — Был и вышел…

Я опять закрыл глаза, но Коля снова толкнул меня в плечо:

— Гляди, деревья-то какие…

Я поглядел на деревья, но ничего особенного не заметил.

— Ободранные, — сказал Коля. — Это медведи их ободрали. У них сейчас, наверно, самая свадьба. Хотя по времю-то им пора бы уже отгулять…

Правда, теперь я разглядел: на нескольких деревьях ободранная кора.

Медведи, это я знал, в дни гоньбы сильно злят-

ся, царапают когтями землю, становятся на дыбы и передними лапами обдирают кору с деревьев.

Наклонившись с седла, я потрогал толстую осину, с которой длинными лоскутьями свисала зеленовато-бурая кора.

Видно было, что содрана она совсем недавно — час или десять минут назад: мезга еще не подсохла. Значит, и медведь ушел недалеко. Может, он бродит где-то тут. Может, он уже скрадывает нас.

Это напрасно рассказывают, что медведь будто бы глупее лисы, что он неповоротливый, ленивый. Медведь и хитер и быстр, когда это нужно ему. И нам не уйти от него даже на лошадях, если он захочет нас преследовать в этом лесу.

А стрелять нам не велено. Венька еще в деревне передал нам строжайшее распоряжение начальника: ни в коем случае не стрелять в лесу без особой команды. Вот загадка для младшего возраста: что делать, если на тебя напал медведь, а стрелять тебе нельзя?

Мою дремоту как рукой сняло.

Невдалеке от нас затрещали сучья. Кто-то тяжелый пробирался по лесу в нашу сторону.

Коля Соловьев придержал коня и вскинул карабин, висевший на шее.

Я потрогал шершавую, рубчатую оболочку гранаты и тут же вспомнил инструкцию, в которой сказано, что «гранату бросать на близком расстоянии, не обеспечив себе укрытия, не рекомендуется». Но мало что не рекомендуется. Я все равно брошу, если…

Из зарослей кустарника высунулась лошадиная морда с пеной на губах, а над листвой показалась голова Веньки Малышева в кепке козырьком назад.

— Ну, как вы, ребята?

— Чуть-чуть тебя не стукнули, — засмеялся Коля.

— С чего это вдруг?

— Подумали, что медведь…

Венька тоже засмеялся:

— Ну, какие тут медведи!..

— А это что? — показал Коля на осину.

Венька, как я, подъехал к дереву и с седла потрогал мезгу.

И в этот момент недалеко от нас раздался страшный рев.

Венька оглянулся, и я увидел, как лицо у него дернулось и застыло в испуге. А у меня задрожали руки и ноги и острый холодок пробежал по спине.

— Медведь! — сказал Коля.

А я ни слова не мог выговорить. И Венька тоже.

Позднее мне думалось, что сам я испугался не столько медвежьего рева, сколько выражения лица Веньки. Уж если Венька боится, значит, действительно страшно. И мой рыжий ленивый мерин подо мной забеспокоился. Я чувствовал, как вздрагивает он всей мохнатой, вспотевшей шкурой.

— Я слово даю, что это медведь, — опять сказал Коля.

— Медведь, — согласился Венька. Голос у него вдруг сделался тихий-тихий. И он, как по секрету, сообщил нам: — Я в жизни второй раз слышу, как он ревет. Хуже его рева, наверно, ничего нету…

— Это на него человечьим духом нанесло, — догадался Коля. — Человечьим и еще конским духом. Потным, парным. Это для него все равно, что для нас конфетка…

Медведь опять взревел — протяжно, яростно, с хрипотцой. И еще раз. И еще.

Нет, это, кажется, не один медведь ревет. Может быть, их двое или трое.

Может быть, они сейчас дерутся где-нибудь на поляне из-за самки.

Я это еще в детстве слышал, что медведи часто дерутся во время свадьбы. Вот, наверно, они и сейчас дерутся. Но если мы их спугнем, нам будет плохо.

Я представляю себе во всех подробностях, как медведи, прервав междоусобицу, бросаются на нас.

Всю жизнь меня пугали не столько действительные, сколько воображаемые опасности. И всю жизнь я завидовал людям, или начисто лишенным воображения, или ограниченным в своих представлениях. Им живется, мне думалось, много спокойнее. Их сердца медленнее сгорают. Им даже чаще достаются награды за спокойствие и выдержку. Их минуют многие дополнительные огорчения, но им, однако, недоступны и многие радости, порождаемые воображением, способным в одинаковой степени и омрачать, и украшать, и возвеличивать человеческую жизнь.

Медведи ревели все сильнее, все яростнее.

Мне казалось, что мы движемся прямо на них. Вот сейчас мы выедем на ту цветущую, обогретую знойным солнцем поляну, где они дерутся подле звенящего на камнях прохладного ключа. А в стороне от ключа, под корягой, под замшелой

валежиной удобно и прочно устроено гайно медведицы — царственное ложе невозмутимой красавицы, даже не сильно польщенной, может быть, что из-за нее сцепились в кровавом поединке самые могущественные властелины тайги.

Я представляю себе в подробностях поединок медведей, хотя никогда не видел его в действительности, и все время держу руку на гранате. Она становится влажной от вспотевшей моей руки, и я слышу ее железный запах.

И слышу голос Веньки, едущего впереди:

— …Но имейте в виду, ребята, начальник еще раз нам твердо приказал: что бы ни случилось, стрельбы не открывать. Мы обязаны взять императора живьем. Убивать его мы не имеем права…

— А он нас тоже не имеет права убивать?

Это спрашивает Коля и смеется.

Венька не успевает ему ответить. Да Коля и не ждет ответа. Он увидел что-то занятное в траве и кричит:

— Ой, глядите, ребята, оправился! На цветы: прямо на кукушкины сапожки!..

— Не кричи, — останавливает его Венька. — Кто оправился?

— Ну, как кто? Медведь, — говорит Коля, будто

обрадованный. И, смеясь, показывает на то место, где останавливался медведь по неотложной надобности. — Уже, глядите, имеет полное расстройство желудка. Ягоды ел. Голубицу…

«Вот он, наверно, ничего не боится! — думаю я про Колю. — Он и кричит и смеется. А я почему-то боюсь. Это, наверно, оттого, что я не выспался. Но ведь и другие не выспались».

— Это еще не расстройство, — с седла внимательно рассматривает медвежий помет Венька. — Если бы этого медведя легонько рубануть по хвосту прутом, вот тогда бы он, правда, расстроился. Он на задницу очень хлипкий. От него бежать ни в коем случае нельзя. Словом, нельзя его пугаться…

Я завидую Веньке. Ведь я хорошо видел, что он испугался медвежьего рева. А сейчас он не только подавил в себе испуг, но старается и нас взбодрить. Иначе для чего бы ему говорить о том, что все и так знают: если медведя испугать, у него начинается понос.

— Это уж как закон природы, — улыбается Венька. — Против всякого страха есть еще больший страх.

— А ехать нам далеко? — спрашивает Коля.

— Нет, — говорит Венька. — Сейчас до Желтого

ключа доедем, и там уж будет видно заимку. — И поворачивается ко мне. — Ты эти места узнаешь?

— Узнаю, — киваю я, хотя по-прежнему ничего не узнаю.

20

Мне казалось, что силы мои уже на исходе, когда мы подъезжали к Желтому ключу. Я устал от нестерпимой жары, от подпрыгивания на седле и всего больше от изнурительной работы собственного воображения — от поединка с медведями, которого не было.

Желтый ключ веселой тоненькой струйкой выбивается из-под самой горы, но вода в нем не желтая, а кипенно-белая, холодная. Желтый песок вокруг ключа.

Я набираю воды в пригоршню и пью мелкими глотками, потому что она студит до боли зубы. Потом я умываюсь.

Хорошо бы снять рубашку и намочить холодной водой спину, грудь! Но я не знаю, что еще будет дальше.

Я устал, а работа наша только должна начаться. Должно начаться то, для чего мы выехали из Дударей и вот уже вторые сутки кочуем по этим

местам.

Из леса выезжает наш начальник. Затем появляются Иосиф Голубчик, Петя Бегунок и старший милиционер Воробьев. Их лошади взмылены. Видно, что они прошли большой и трудный путь — больше нашего.

Но начальник бодро спрыгивает с коня. Толстые ноги в мягких сапогах с короткими голенищами чуть прогибаются под его увесистым телом и глубоко вминают высокую сочную траву в рыхлую почву, когда он идет к ручью.

У ручья он долго умывается, поливая круглую, остриженную под бобрик голову холодной водой, потом вытирает лицо и шею носовым платком и, глядя на Веньку покрасневшими выпуклыми глазами, спрашивает:

— Ну-с?

— Время еще есть, — смотрит на ручные часы Венька. — Всего девятый час. Двадцать минут девятого. Подождем еще минут сорок?

— Подождем.

— Может, закусим? — робко спрашивает Воробьев.

— Можно, — опять соглашается начальник и садится на траву, по-калмыцки подогнув ноги. — Только и делаем, что закусываем да чай пьем, а

настоящего дела пока не видать…

— Не наша вина, — по-стариковски кряхтит Воробьев и, оскалив желтые, полусъеденные зубы, зубами развязывает туго стянутый узел на мешке с едой.

Мешок брезентовый, широкий, он растягивается на кольцах и расстилается на небольшой поляне, на волнистой траве, как скатерть.

— Садись, Малышев, — приглашает начальник Веньку, показывая на еду, на хлеб и мясо, которое режет большим складным ножом Воробьев. — И вы, товарищи, садитесь.

— Спасибо, — отказывается Венька. — Я после поем. Я на минутку отойду. — И направляется в сторону большака, не видимого отсюда.

— Я тоже с ним пойду, — вскакивает с травы Иосиф Голубчик.

Венька останавливается и обиженно и вопросительно смотрит на начальника.

— Никуда ты не пойдешь, — строго говорит начальник Голубчику. — Садись и сиди. Вот еда, кушай…

Мы все садимся вокруг мешка и, подражая начальнику, подгибаем под себя ноги.

А Венька уходит в заросли боярышника в сторону большака.

Мне кажется странным, что начальник ест с таким аппетитом. Мне совершенно не хочется есть. Я смотрю, как начальник обкусывает мясистую кость, и думаю: «Интересно, куда же это пошел Венька? И что будет через сорок минут. Венька сказал: подождем минут сорок».

— Ты чего не ешь? — спрашивает меня начальник.

— Я ем, — говорю я. Беру пучок черемши, обмакиваю его в соль, отламываю от ломтя кусочек хлеба и запихиваю все это в рот. Есть мне все-таки не хочется.

После еды Петя Бегунок отводит меня от ключа в сторону и показывает на взгорье, где виднеются избы заимки.

— Вон видишь, серебряная крыша? Да ты не туда смотришь. Ты смотри вот на эту сосну. Вон видишь, серебряная — крыша? Это изба, в которой Кланька живет.

Из-за ветвей хорошо видно оцинкованную крышу. Она действительно поблескивает сейчас на солнце, как серебряная. Такие крыши — редкость на таежных заимках.

Я смотрю на эту крышу, и мне немножко обидно, что Бегунок показывает мне на нее. Я же зимой вместе с Венькой был под этой крышей.

Бегунок, наверно, никогда не видел Кланьку Звягину, а я ее видел, был у нее. Но я молчу.

— В девять часов ровно, — говорит Бегунок, — вот с этой стороны, с правой, должны поднять жердь с паклей. Ровно в девять…

Я обижаюсь не на Бегунка, а на Веньку. Неужели он не мог мне объяснить, как будет проходить операция? Подумаешь, какой секрет, если даже Бегунок его знает! Или Венька мне об этом не говорил потому, что считал, что я сам все уже знаю? А я ничего не знаю.

— Чего это вы смотрите? — подходит к нам Коля Соловьев, все еще прожевывая хлеб.

— Да вот Петя любуется избой Кланьки Звягиной, — смеюсь я, чтобы показать, что это для меня не новость.

— А которая изба? — интересуется Коля. — Вот эта белая, что ли?

Значит, Коля тоже ничего не знает. Тогда я возмущаюсь про себя. До чего же глупо организована операция! Никто ничего не знает. Как же действовать в таких условиях? Все, значит, получается втемную. Даже не сказано, что нам делать, когда над крышей поднимется жердь с паклей. Для чего же нас сюда собрали?

Начальник сидит на траве, спиной привалив-

шись к сосне. Он курит, но глаза у него прищурены. Похоже, он задремывает.

А Веньки все еще нет. Куда же, интересно, он ушел?

На взгорье хлопает выстрел.

— Начинается, — веселеет Бегунок и, ухватив за повод свою лошадку, вкладывает ей в рот удила. Потом легко запрыгивает в седло и, уже сидя в седле, всовывает ноги в стремена.

Иосиф Голубчик и Коля Соловьев тоже бегут к лошадям.

А я смотрю, как начальник, неторопливо опираясь на руку, подымается с травы.

Раздается второй выстрел, третий, четвертый.

Иосиф Голубчик, еще не обратив лошадь, передергивает затвор карабина.

— Спокойно, — говорит начальник, отряхивая травинки, приставшие к брюкам. — Спокойно! Ничего покамест не случилось... — Но подходит к своей лошади и закидывает повод на конскую шею. Все делает он неторопливо, как бы с ленцой.

— Жердь! — кричит не склонный к спокойствию Бегунок. И показывает плетью с седла. — Жердь, смотрите-ка, подняли!

— Ну, слава тебе, господи, — вздыхает Воробьев.

Он, пожалуй, бы даже перекрестился, если бы руки не были заняты мешком и карабином и если бы не стеснялся осенить себя крестным знамением в присутствии партийного начальства.

На взгорье громыхают телеги, лают собаки. Слышно даже, как гремят цепи и взвизгивает проволока, по которой скользят кольца от цепей, удерживающих собак-волкодавов. А человеческих голосов не слышно.

Из зарослей боярышника выходит Венька.

— Взяли, — говорит он. Но лицо у него не веселое, а скорее печальное. И весь он какой-то измятый, не такой, каким мы видели его еще меньше часа назад.

— Ну, слава богу, — опять вздыхает Воробьев.

Венька подходит к начальнику, недолго разговаривает с ним, потом не запрыгивает, а устало залезает в седло. Вялый он, медлительный. И кепка надета уже как следует, козырьком вперед.

А начальник становится вдруг необыкновенно быстрым в движениях, натягивает повод, бьет лошадь по брюху толстыми ногами в стременах и кричит:

— Внимание! Выезжаем на большак. Голубчик, особо учти: без моей команды ни во что не соваться!..

Мы выезжаем на большак и поднимаемся на взгорье, окутываясь горячей удушливой пылью.

Навстречу нам громыхает телега, в которую запряжена мохнатая лошаденка, точно такая, на какой разъезжает старший милиционер Воробьев. На телеге сидят, свесив ноги, два мужика, а между ними лежит, распластавшись, третий, с окровавленной бородой.

— Убили? — спрашивает Веньку начальник, глядя на бородатого.

— Да нет, это не Воронцов, — отвечает Венька. — Это Савелий Боков. Оказал сопротивление. Ничего нельзя было сделать. И Кологривова сильно ранили. Наверно, умрет…

— Ну и пес с ним! — говорит Воробьев. — Прости меня, господи. Ведь как озорует, как озорует! Даже в царское время такого не было…

Я смотрю на проезжающую мимо нас телегу, на мертвого Савелия Бокова. Вот, значит, какой он, этот Савелий, именем которого мы зимой вошли в избу Кланьки Звягиной.

— Бывший прапорщик, — смотрит на него Воробьев. — Я с ним в одном полку служил в германскую — импери…стическую. — И кричит мужикам, сидящим на телеге: — Там внизу остановитесь! Я потом к вам подъеду. — И опять

вздыхает, провожая взглядом телегу. — Тоже вполне порядочные бандиты, эти мужики, не гляди, что сейчас тихие. Я их обоих знаю. Братья Спеховы. У них и отец бандит, хотя и старичок…

Странно все это. Бандиты везут на телеге убитого бандита и подчиняются распоряжению старшего милиционера Воробьева.

Я оглянулся. Они действительно остановились внизу.

На взгорье я, наконец, все вспомнил. Вот мимо этого забора мы проходили на лыжах зимой. За забором лаяли и гремели цепями собаки. Они и сейчас лают. Но мы проезжаем дальше. И вот уже виден весь дом Кланьки Звягиной. Мы въезжаем в распахнутые ворота.

Во дворе на телеге на спине, на связанных за спиной руках, молча лежит босой, в разорванной шелковой рубахе красивый молодой мужчина с русой, аккуратно подстриженной бородой. Он жадно дышит раскрытым ртом, и широкая сильная грудь его, чуть поросшая рыжим волосом, нервно вздрагивает при каждом вздохе. На груди фиолетовой тушью наколота надпись: «Смерть коммунистам».

— Гляди, чего написал, — читает надпись Воробьев. И спрашивает: — Ты каким же местом

думал-то, бандитская морда, когда эти слова писал? — И, послюнив палец, опасливо трогает надпись. — Это же вечное тебе будет клеймо. С этими словами и помрешь…

Бандит не удостаивает Воробьева даже взглядом. Он, не мигая, смотрит в голубое, нежно-голубое небо. На небе ни облачка.

В глубине двора, у высокой колоды, привязаны крупные, сытые лошади. Они спокойно хрумкают овес и поблескивают крутыми лоснящимися задами.

На этих лошадях приехали бандиты из глубокой тайги. На них они и уехали бы, если бы не случилось всего, что случилось.

— А этого куда? — спрашивает Бегунок, выходя из избы и показывая в распахнутые двери на бандита, лежавшего в сенях на соломе.

— Кончился он?

— Кончился.

— Кладите их рядом, — приказывает Воробьев.

— Но этот же мертвый, а этот живой, — вмешивается Коля Соловьев, подходя к телеге.

— Ничего, — говорит Воробьев. — Кладите их рядом. Они дружки. Им обоим одна дорога.

На крыльце появляется наш начальник. Он уже обошел весь двор, побывал в избе и вышел

вспотевший, сердитый.

— Ты тут глупостей не устраивай, — выкатывает он глаза на Воробьева. — Ты представитель чего? Ты Представитель власти. Значит, что? (Воробьев испуганно и почтительно вытягивается.) Значит, глупостей творить не нужно. Живой пусть так и останется как живой. А мертвого надо на другую телегу.

Начальник отдает еще какие-то распоряжения Веньке и, взобравшись в седло, выезжает из ворот в сопровождении Пети Бегунка.

Мы остаемся во дворе без начальника. Нас остается всего пять человек: Венька Малышев, Иосиф Голубчик, Коля Соловьев, старший милиционер и я. А незнакомых во дворе становится все больше.

Мне еще непонятно, кто тут бандиты и кто просто жители этой заимки. И вообще непонятно, как это все произошло, кто связал «императора всея тайги», кто убил Савелия Бокова и кто смертельно ранил Кологривова. Многое еще непонятно.

В избе, в полутьме от задернутых на окнах занавесок, я не сразу узнал Лазаря Баукина. Он сидел у стены за столом, все еще уставленным бутылками, стаканами, тарелками с недоеденной едой, и негромко разговаривал с Венькой. Похоже, о чем-то договаривался.

Тут же у печки на табурете сидела, как мне показалось, немолодая женщина в темном платке, по-монашески повязанная. Она вставила в разговор мужчин какие-то слова, но Лазарь грубо ее оборвал:

— Ты, Клавдея, помолчи. Тебе самая пора помолчать сейчас…

Как же это я не узнал Кланьку? Будто тяжелая болезнь изменила ее. И она не показалась мне теперь такой красивой, как тогда, зимой. Даже странно, что я готов был жениться на ней в ту метельную, суматошную ночь.

Я услышал, как Лазарь сказал:

— Ты, Веньямин, ни об чем не тревожься. Как ты поступаешь, так и мы поступаем. Договор дороже денег. Мы проводим вас до самого места. И я сам в Дудари явлюсь. Ежли нужно меня судить, пускай судют. Я весь наруже. Был в банде, товарищи мои бандиты на меня не обижались. И ты не обижайся, что я тебя тогда подстрелил в Золотой пади…

— Об этом незачем теперь говорить, — отодвинул от себя пустую бутылку и стакан Венька и облокотился на стол. — Надо думать, Лазарь Евтихьевич, как дальше жить…

Наверно, всякого бы удивило, что они так,

сравнительно спокойно, ведут какой-то разговор, когда в сенях на соломе все еще лежит мертвый Кологривов, а во дворе на телеге ворочается связанный Костя Воронцов и вокруг него толпятся неизвестные люди.

— Туман. Во всем туман. Во всей жизни нашей туман, — сказал Лазарь Баукин и стал вылезать из-за стола так, что загремела посуда на столе. — Но уж если дело сделано, об том тужить не надо. Все равно какой-то конец должен быть… — Он увидел на полу смятую фуражку-капитанку, наклонился, поднял. — Это чей картуз?

— Это… этого, — затруднилась с ответом Кланька.

— Кологривова, что ли?

— Да что вы, ей-богу, разве не знаете, чья это фуражка? — будто обиделась Кланька. — Это ж Константин Иваныча фуражка…

— Отнеси ему ее.

— Нет, уж вы сами относите. Сами вязали его, сами и относите…

— А ты что, невеста, жалеешь жениха?

— Никого я не жалею, надоели, осточертели вы мне все! — отвернулась Кланька и пошла в сени. — Вон как ухалюзили избу! Нахлестали кровищи, все забрызгали. Кто это будет замывать?

Мне подумалось, что Кланька словами этими, вспышкой мелочной ярости и хозяйственной озабоченностью и суетой хочет спрятать что-то в душе своей, старается не показать, что она чувствует сейчас. А ведь, наверно, она что-то чувствует. Ведь не корова же она.

Я вспомнил, что вот на этой печке зимой всю ночь стонал и кряхтел старик. Я спросил у Кланьки, где он. Она сделала любезное лицо и как будто даже улыбнулась.

— Крестный-то? Помер он. Зимой еще помер. Здравствуйте! А я и не признала вас второпях…

И ни тени огорчения не было на ее припухшем лице.

— Отнеси ему, Клавдея, картуз, тебе или кому говорят? — опять зачем-то приказал Лазарь. — И сапоги эти отнеси. Это его? — кивнул он на фасонистые коричневые сапоги.

— Да чего вы ко мне пристали! — отмахнулась она. И заискивающе заглянула в глаза Веньки. — Чего он ко мне пристал, товарищ начальник? Я-то тут при чем?

— Вот гляди, Веньямин, какие бабы бывают, — показал на нее Лазарь Баукин. — Пока Костя царствовал, она юлила вокруг него. Даже плакала, что Лушка его завлекает. А сейчас… Вот гляди

на нее...

Но Венька промолчал. Он как будто стеснялся этой женщины и старался не смотреть на нее.

И только когда мы выехали из ворот, он оглянулся на окна ее дома под серебряной крышей и сказал:

— Да, бывает по-всякому.

21

Даже на большаке, когда мы далеко отъехали от Безымянной заимки, было слышно, как протяжно и грозно ревут медведи, справляя свои свирепые свадьбы в глубине тайги. Но теперь, наверно, никого уже не пугал и не тревожил этот рев.

Только, может быть, я один представлял себе, как самцы сейчас встают на дыбы, как рвут друг друга когтистыми сильными лапами, как летит с них клочьями линялая шерсть. А где-то в стороне сопит, стоя на четвереньках и поглядывая на них, красивая медведица, которая достанется победителю, которая будет любить победителя, — того, кто окажется сильнее, крепче.

Венька ехал рядом со мной, но все время молчал, задумавшись о чем-то. Лицо у него опять почернело, как тогда, после ранения.

Чтобы немножко взбодрить его, я сказал:

— Все-таки ты здорово это организовал…

— Что организовал?

— Ну, всю эту операцию. Никто ведь не думал, что вот так запросто к нам попадется в руки сам «император всея тайги». По-моему, даже начальник в это дело не сильно верил. Если б не ты…

— Да будет тебе ерунду-то собирать! — поморщился Венька. — Это и без меня бы сделали. Это все Лазарь Баукин сделал. Это мужик, знаешь, с какой головой!

— Ну, это ты можешь кому-нибудь рассказывать, — перебил я его. — А я сейчас многое понимаю…

— Ничего ты не понимаешь, — сказал Венька. — И давай не будем про это…

Говорили потом, что Венька ловко сагитировал этого упрямого, звероватого Лазаря Баукина и других подобных Баукину мужиков. Но это не совсем так. Мужиков этих мало было сагитировать. Мужики эти, рожденные и выросшие в дремучих сибирских лесах, могли быстро забыть всякую агитацию, могли еще много раз свихнуться, если бы Венька, презирая опасность, неотступно не ходил за ними по опасным таежным тропам, не следил за каждым их движением, не напоминал им о себе и о том, что замыслили они по доброму

сговору сделать вместе с ним.

Он покорил этих неробких мужиков не только силой своих убеждений, выраженных в точных, сердечных словах, а именно храбростью, с какой он всякий раз готов был отстаивать свои убеждения среди тех, кто доблестью считал накалывать на груди, как у атамана, несмываемую надпись: «Смерть коммунистам».

А Венька был представителем коммунистов.

Он, конечно, хитрил — и еще как хитрил! — действуя, однако, во имя правды.

Нет, он не напрасно прожил всю весну и часть лета среди топких болот в душном комарином гуле Воеводского угла.

Он добился крупной удачи, самой крупной из всех, какие были у нас за все это время. Но удача теперь будто не радовала его.

Он сидел в седле по-прежнему вялый и какой-то безучастный, с почерневшим то ли от загара и ветра, то ли еще от чего лицом.

Дорога шла сначала через густой, однотонно шумевший лес, изгибаясь вокруг широкоступных деревьев, потом пошла напрямик через мелкий кустарник, по кочкам и скоро вышла на пыльный горячий тракт, поросший по бокам отцветшим багульником.

Воронцову было неудобно лежать на спине, на связанных за спиной руках под палящим солнцем. Но он так долго лежал без движения, будто умер или впал в беспамятство. Только крупные капли пота, выступавшие на лбу и заливавшие глаза, показывали, что он жив.



Наконец он грузно пошевелился, как медведь, лег на бок и вдруг громко и почти весело проговорил:

— Эх, кваску бы сейчас испить! Холодного. Хлебного. С узюмом!

И со стоном вздохнул, опять перекинувшись на спину.

Все промолчали. Только Семен Воробьев, ехавший рядом с телегой, тоже вздохнув, сказал:

— Нет, видно, отпил ты свой квас, Кинстинктин. Не будет тебе больше ни квасу, ни первачку. Отошла коту, как говорится, масленица, настал великий пост…

Воронцов покосился на него крупным, лошадиным глазом.

— Эх, попался бы ты мне, папаша! — сказал он задумчиво. — Я бы из тебя сделал… барабан!

— Знаю, — усмехнулся Воробьев. — Знаю это все, прекрасно знаю. Да, видно, неспроста не дал бог свинье рог. Для того и не дал, чтобы она лишнее не озоровала…

Венька Малышев встрепенулся, поднял голову, подъехал к телеге и велел прекратить разговоры.

— Для чего ты пристаешь к нему? — спросил он Воробьева.

— А для чего он сам меня затрагивает? — почти по-детски обиделся Воробьев. — Я ему все-таки не мальчик. И я ему ничего не говорю. Я ему только говорю, поскольку он пострадал из-за бабы, пускай в таком случае помалкивает…

— И ты помалкивай, — строго посоветовал Венька Воробьеву. И, поглядев на Лазаря Баукина, кивнул на Воронцова: — Надо бы его, пожалуй, развязать?

Лазарь, возвышавшийся на игреневом, белоногом жеребчике, пожал плечами: дело, мол, ваше, вы начальство, глядите, как будет лучше, а мне все равно.

— Уйдет! — зашипел, зашептал Воробьев. — Шуточное ли это дело — развязать! Уйдет, в одночасье уйдет! И тут же всегда, — он оглянулся на разросшийся по сторонам тракта и колеблемый легким ветром кустарник, — тут же всегда нас могут встретить его компаньоны. Они уж и сейчас, наверно, про все прослышали. У него ведь банда-то какая! И все на лошадях…

— Развязать, — приказал Венька.

Мужик, сидевший на передке телеги, опасливо оглянулся на Воронцова:

— Ну-к что же, давай-ка я развяжу тебя, Константин Иваныч. Велят, стало быть, надо развязать.

Однако он не смог развязать туго стянутые ременные узлы.

Венька строго взглянул на Воробьева:

— Ножик!

Воробьев, отогнув полу форменной гимнастерки, покорно вынул из кармана брюк свой большой, остро наточенный складной нож, которым резал на привалах хлеб и мясо. Но сам не взялся разрезать ремни, протянул нож Веньке.

Венька, наклонившись с седла и ухватившись одной рукой за передок телеги, быстро тремя ударами рассек знаменитые ремни-ушивки, которыми связывали воронцовские бандиты своих пленников и которые пригодились теперь для того, чтобы связать бандитского главаря.

Воронцов негромко, болезненно закряхтел. Должно быть, у него сильно затекли руки. Потом потянулся, сгреб под себя солому и сено, сел. Надел фуражку, лежавшую в телеге. Натянул козырек на глаза. И, взглянув из-под козырька на Веньку, спросил:

— Это ты и есть Малышев?

Венька ничего ему не ответил.

— Ловок. Ничего не скажешь, ловок, — спокойно, внимательно оглядел его Воронцов. — Давно я про тебя слышу, что есть такой Малышев. Еще

с зимы слышу. Все хотел тебя повидать. Посылал даже людей за тобой. Шибко хотелось встретиться…

Венька опять ничего не ответил.

— Ну вот и встретились, — усмехнулся Воронцов. И посмотрел по сторонам. — Курить хочу.

Лазарь Баукин, сидя в седле, вынул кисет, аккуратно свернул из клочка газеты большую цигарку и, не заклеивая ее своей слюной, протянул с седла Воронцову.

Воронцов высунул кончик языка, заклеил цигарку и взял в зубы.

Лазарь же высек для него огонь на трут и поднес прикурить.

— Эх, Лазарь, Лазарь! — выпустил дым Воронцов и покачал головой. — Продажная все-таки твоя шкура! Не думал я, что она такая, до такой степени продажная…

— Не продажней твоей, — зло прищурился Лазарь. — На чей счет живешь, тому и песни поешь… Император! «Император всея тайги»! Кто тебя ставил тайгой править? Пес ты, а не император, кулацкий пес! Для запугивания тебя кулаки поставили. Для запугивания людей. И для заморачивания голов…



Воронцов с любопытством посмотрел на него, даже фуражку приподнял над глазами.

— Не худо, — как бы похвалил он его взглядом. — Не худо говоришь. Не хуже комиссаров, которые болтают на сходках. Быстро они тебя обучили…

Лазарь сдвинул самодельную кепку с затылка на лоб. Видно, его задели слова атамана. Он заметно смутился:

— Никто меня не обучал. У меня и свой умок есть. Я своими глазами вижу, чего вокруг делается. Не слепой. Народ хлебопашествует, смолокурничает, работает. А мы с тобой, Константин Иваныч, вроде игру придумали со стрельбой. Народ от дела отбиваем. Губим народ. А для чего? Для какой цели жизни?

— Для какой цели жизни? — переспросил Воронцов и поудобнее уселся на телеге, свесив ноги. — Ты эту цель жизни хорошо понимал, покуда тебя комиссары не словили. Покуда ты не снюхался с комиссарами. Я это сразу почуял, что ты снюхался. Не хотел я тебя допускать к делам, когда ты явился будто с побега из Дударей. Ни за что не хотел. Это вот Савелий все время подсудыркивал. — Воронцов показал глазами на телегу с мертвыми. — Он все время уговаривал

меня. Допусти, мол, Лазаря Баукина. Он, мол, не вредный, честный, давно воюет. Мухи сейчас вот за эту доверчивость и едят Савелия. Видишь, как бороду облепили…

— И тебя еще облепят мухи, — сказал Лазарь и, вытянув руку, ударил жеребчика рукояткой плети по голове, чтобы он не тянулся к пахучему сену на телеге Воронцова.

— И меня, может, еще облепят мухи, — понурился Воронцов. И тотчас же вскинул голову. — Но ты не радуйся, Лазарь. В комиссары ты все равно не пройдешь. Ты расстегни-ка рубаху, покажи, что у тебя на груди наколото. У тебя же наколоты те же слова, как у меня. Не простят тебе эти слова комиссары. Не простят, помяни мое слово.

— Буду смывать эти слова.

— Чем же? Моей кровушкой надеешься смыть?

— Хоть твоей, хоть своей, но смывать надо. Уж какой-то конец должен быть. Утомился я достаточно от этой игры со стрельбой. Пускай будет любой конец…

Воронцов пошарил рукой в телеге позади себя. Нащупал в соломе сапоги. В сапогах же оказались и портянки. Натянул один сапог, уперся подошвой в перекладину телеги, оправил голенище, стал натягивать второй. И, натянув до половины,

спросил Лазаря:

— Что ж ты раньше-то не уходил, если, говоришь, утомился? Шел бы к бабе своей в Шумилово. Ей, говорят, комиссары коня выдали на бедность…

— А ты что, тревожить бы меня не стал, ежели б я ушел? — опять зло прищурился Лазарь.

— Не знаю уж, как бы я с тобой распорядился, — наконец натянул и второй сапог Воронцов. — Не знаю…

— А я знаю, в точности знаю, — сказал Лазарь. — Я своими глазами видел, как ты сам срубил Ваську Дементьева, когда он хотел навсегда уйти к своей бабе на заимку. Вот этой штукой ты его срубил. — Лазарь вытащил из-за гашника и показал длинный вороненый пистолет, еще часа два назад принадлежавший Воронцову. — Нет уж, ежли рвать, Константин Иваныч, так все с самым корнем, чтоб и памяти не было. И лишнего шуму…

Лазарь то отъезжал от Воронцова, то опять подъезжал к нему.

Всю дорогу они вели с перерывами не очень громкий, даже не очень сердитый разговор. И к этому разговору настороженно прислушивались почти все, кто сидел на телегах и ехал верхом.

Здесь были люди еще вчера, еще сегодня служившие Воронцову, еще сегодня боявшиеся его, но сейчас во всем подчинившие себя Лазарю Баукину. Он изредка оглядывал их, будто проверяя, все ли они на своих местах, с некоторыми коротко переговаривался. И держался в седле так, как подобает держаться человеку, несущему ответственность за всю эту процессию.

Под ним сдержанно танцевал игреневый, белоногий жеребчик, принадлежавший «императору всея тайги». Ничего, однако, царственного не было в этой резвой, крутобокой лошадке. Только на седле был раскинут и притянут желтыми ремнями красивый бархатистый ковер с длинными кистями.

Мы с Венькой Малышевым ехали недалеко от телеги, на которой то сидел, то лежал Воронцов. Лежал спокойно, подложив руки под затылок и заслонив глаза от солнца лакированным козырьком фуражки-капитанки. Видно было, что он примирился со своей участью. Ни волнения, ни скорби не было заметно на его широком белом лице, обрамленном светлой бородой.

Такое лицо могло быть у богатого купца, у содержателя большого постоялого двора, даже у молодого священника.

Такое лицо было у атамана одной из самых крупных банд, отличавшейся особой свирепостью. Лазарь предложил ему еще раз закурить, но он отказался:

— Труху куришь. Комиссары могли бы тебе папиросы выдать за твою работу. Дешево они тебя ставят!

Я не расслышал, как отозвался Лазарь на эти слова, потому что мое внимание отвлек Венька.

— Интересно, — сказал он, — что мне теперь ответит Юля. По-настоящему она должна бы написать мне письмо.

Веньку уже не интересовал Воронцов и его разговор с Лазарем Баукиным. Для Веньки в эту минуту Воронцов уже был, как говорится, пройденным этапом. Я вспомнил, как он загадывал еще ранней весной: «Вот поймаем императора и наладим все свои личные дела. Что мы, хуже других?»

Я вспомнил душную, предгрозовую ночь накануне этой поездки, когда Венька писал свое первое в жизни любовное письмо. Потом, мне казалось, он забыл о нем, занятый всем хитросплетением этой сложной операции, прошедшей, однако, незаметно для нас.

Я, например, так и не понял, как это случилось

в подробностях, что Баукин, которому не доверял Воронцов, все-таки оказался на Безымянной заимке и сумел повязать «императора» с помощью его же телохранителей. Впрочем, двое из приближенных были уничтожены. Остальных же Баукин заставил покорно сопровождать «императора», может быть, в последний путь.

Мне все это представлялось удивительным и в те часы, когда мы ехали по тракту, возвращаясь в Дудари.

А Венька, кажется, ничему не удивлялся. Он теперь говорил только о том, ответит ли Юля Мальцева на его письмо и что именно ответит.

Он теперь не выглядел таким уверенным, боевитым, неутомимым, каким я видел его в эти дни и сутки перед самой операцией и во время операции, когда он цепко удерживал в своих руках тонкие и трепетные нити этого опасного и неожиданного дела, организованного им.

В эти дни он почти не разговаривал со мной по-приятельски, не советовался и даже что-то, как мне думается, скрывал от меня.

А сейчас он вдруг сник, будто опять заболел, и, похоже, спрашивал моего совета, говоря:

— Просто не знаю, что делать, если она мне не ответит. Это будет уже совсем ерунда. Я ей напи-

сал, думал, что она ответит…

И в выражении его глаз было что-то тоскливое, даже жалкое. Он как будто разговаривал сам с собой:

— Я чего-то лишнее ей написал. Можно было подумать и написать получше, если бы было время. Но все равно, я считаю, она должна мне ответить. Если она мне ответила, то письмо, наверно, уже пришло. Конечно, пришло…

После этих слов, произнесенных на редкость растерянным голосом, мне почему-то стало казаться, что письмо это еще не пришло и, может быть, никогда не придет. Мне стало жалко Веньку. Но я ничего не сказал.

У нас была нормальная мужская дружба, лишенная сентиментальности, излишней откровенности и холуйского лицемерия. Вероятно, если бы я попал в беду, Венька сделал бы все, чтобы выручить меня. Но он же никогда бы не решился вслух жалеть меня или успокаивать.

У каждого есть свое представление о силе своей. И каждый поднимает столько, сколько может и хочет поднять. Вмешиваться в сугубо личные дела, уговаривать, предсказывать, жалеть — это значит, мне думалось, не уважать товарища, считать его слабее себя.

Поэтому я промолчал.

И момент для разговора был уже неподходящий.

В лесу с двух сторон тракта одновременно затрещали ветки кустарника, зафыркали лошади и зазвучали голоса.

Воронцов поднял голову, потом приподнялся на локтях.

— Ляг, — сказал ему Лазарь.

Но Воронцов не лег, а присел и улыбнулся.

Лазарь взмахнул над ним плетью:

— Ложись, я тебе говорю!

И мужик, сидевший в передке телеги, опасливо оглянулся на Воронцова. Потом тихонько потянул его за могучие плечи:

— Ложись, Константин Иваныч. А то опять свяжем. Нам недолго. Для чего ты сам себя конфузишь?

Воронцов мельком взглянул на него, будто вспоминая, где он еще раньше видел его. И, должно быть, не вспомнив, отвернулся.

Ветки в лесу трещали все сильнее, все ближе к нам.

Венька побледнел. Я видел, как бледность проступила на его коричневом от загара лице, и я, наверно, побледнел тоже.

Мне подумалось, что это бандиты пробираются по лесу на выручку Воронцова. Но из леса на тракт с двух сторон выехали конные милиционеры.

Их было много. Новенькая, недавно выданная форма — синие фуражки с кантами, синие гимнастерки с блестящими пуговицами — красиво и неожиданно выделялась на фоне пыльного тракта и пыльных придорожных кустов.

Воронцов лег. Потом опять сел и засмеялся ненатуральным, болезненным смехом:

— А все-таки, Лазарь, не шибко тебе верят комиссары! Продать меня доверили, а охранять не доверяют. Нет, не доверяют. Милицию вызвали. Боятся, а вдруг ты меня отпустишь? Вдруг я уйду…

На тракт выехал наш начальник. Он уже успел переодеться в Дударях в новую милицейскую форму, сменил коня и, величественно грозный, неузнаваемый, приближался к нашей группе, похлопывая по взмыленным конским бокам короткими ногами в стременах.

Венька, конечно, заметил начальника, но сделал вид, что не замечает, и, проехав чуть вперед, заговорил о чем-то с Лазарем, склонившись к его плечу.

Оба они потом посмотрели на начальника и,

как мне показалось, презрительно улыбнулись.

Начальник сам подъехал к Веньке и спросил, о чем он разговаривал с Лазарем. Видно, улыбка Веньки не понравилась начальнику.

— Ни о чем я с ним не разговаривал, — ответил Венька. — Просто я извинился перед ним за этот хоровод…

— Какой хоровод? Ты что, милицию считаешь хороводом?

— Я считаю, — твердо и дерзко и довольно громко сказал Венька, — что милиции не было, когда брали Воронцова. Люди сами без нас это все сделали, вот эти люди. По своему убеждению. И не надо было сейчас им показывать, что мы им не доверяем, когда все дело уже сделано. Можно подумать, что мы какие-то трусы и боимся, что Воронцов убежит. Я бы на вашем месте…

— Вот когда ты будешь на моем месте, тогда и будешь учить, — перебил его начальник. — А пока я еще, Малышев, числюсь начальником, а ты много на себя берешь. Больше, чем надо, берешь. Не пожалеть бы тебе об этом…

— Все равно, — упрямо сказал Венька, снова бледнея от обиды и злости, — все равно я на вашем месте хотя бы извинился. Вот хотя бы перед Баукиным…

— Буду я извиняться перед всякой сволочью! — выкатил нежно-голубые глаза начальник и, тронув Лазаря Баукина за плечо, велел ему проехать вперед. — И вы проезжайте вперед, — приказал он другим всадникам из группы Баукина.

Я увидел, как, проехав вперед, Баукин и его товарищи оказались в окружении конных милиционеров.

У Баукина за спиной все еще висел обрез, в руке была плетка, но он уже выглядел арестованным.

Мое сердце тронула обида, может, самая горькая из всех, какие я испытывал в ту пору. Мне показалось нестерпимо обидным и оскорбительным, что Костя Воронцов, ненавидимый нами, выходит, был прав, когда говорил Лазарю Баукину, что комиссары ему, Баукину, не доверяют, что они его дешево ставят.

Но ведь это неправда. Не один наш начальник представляет советскую власть, которую Воронцов называл комиссарами.

Однако мы сделать ничего не могли против несправедливости начальника. Он был величествен и непреклонен в этот момент. Он был похож, наверно, на Петра Великого во время Полтавской битвы. И усики его топорщились. Но ведь битва-то уже кончилась. И не наш начальник

ее провел.

Венька же как будто успокоился и спросил начальника:

— Разрешите, я тоже поеду вперед? Я вам сейчас не нужен?

— Не нужен, — сердито сказал начальник.

Я поехал за Венькой. Мы поравнялись с Баукиным и поехали рядом.

Баукин был мрачен и все время молчал. Потом звероватое лицо его вдруг осветилось улыбкой, и он сказал нам:

— Вы, ребята, поехали бы как-нибудь отдельно. А то неловко выходит. Вы не в форме. Могут подумать, что вы, как и мы, арестованные…

— Пусть подумают, — засмеялся Венька.

И это он в последний раз засмеялся.

22

В Дударях мы с Венькой проехали прямо в конюшню конного резерва милиции, что стоял тогда на окраине города, в слободке, сдали лошадей и, не спеша, отдыхая, прогулочным шагом пошли в наше учреждение, подле которого уже толпился народ, услышавший о поимке неуловимого Воронцова.

Всем это казалось невероятным. Уж сколько раз

даже в губернской газете объявляли, что он пойман, а потом оказывалось, что это только слухи.

И вот, наконец, он в самом деле взят и посажен в каменный сарай во дворе уголовного розыска.

А рядом с сараем, с задней его стороны, выходящей в Богоявленский переулок, на деревянном помосте лежат для всеобщего обозрения мертвые соучастники Воронцова — Савелий Боков и Гавриил Кологривов.

Вечером их увезут в мертвецкую при больнице, в тот погреб под железной вывеской с твердым знаком: «Для усопшихъ».

Остальные бандиты, взятые вместе с Воронцовым, заключены в обычном арестном помещении при уголовном розыске.

Вечером же их переведут в городской домзак, как теперь называется тюрьма в Дударях.

Все эти сведения мы с Венькой почерпнули из разговоров в толпе, пока пробивались в уголовный розыск.

Пробиться было не так-то легко: народ все прибывал, как вода в половодье.

В дежурке мы увидели Якова Узелкова. Он уже успел поговорить с начальником и теперь хотел, чтобы его допустили взять интервью у Воронцова.

— Начальник мне рекомендовал обратиться к тебе, — остановил он и даже охватил руками Веньку. — Начальник так и сказал: обратитесь к моему помощнику Малышеву. Меня больше всего интересует разговор с Воронцовым. Это же необыкновенная сенсация! Говорят, тут какая-то романтическая история. Замешана какая-то Грунька или Кланька. Жаль, что ее не привезли! Словом, как говорили древние, шерше ля фам. Ты должен дать мне разрешение. Я все это опишу…

— Иди ты! — вдруг обозлился Венька и вырвался из рук Узелкова.

— Вениамин! — проникновенно сказал Узелков. — Умоляю тебя во имя всего святого, разреши мне хотя бы пять минут поговорить с Воронцовым! Я умоляю тебя от имени тысяч читателей! И, кроме того, я полагаю, что именно сейчас ты должен быть добрее. Начальник мне, между прочим, сообщил, что он тебя представит к награде…

Венька сузил глаза:

— Возьмите с начальником себе эту награду. Она вам, может, больше пригодится…

И мы зашли в секретно-оперативную часть.

Я сказал Веньке, что так, пожалуй, не надо было говорить о начальнике, тем более в присутствии Узелкова. Он ведь сейчас же все передаст.

— А мне все равно, — сказал Венька. — Я все равно больше не буду работать в Дударях. Меня вызывают в губрозыск, вот я и уеду. Раньше не хотел уезжать, а сейчас твердо решил: уеду, если такое отношение…

Он вытаскивал из ящиков стола бумаги, быстро прочитывал и откладывал в сторону или сразу разрывал и выбрасывал в корзину, стоявшую под столом. Было похоже, что он в самом деле собирается сейчас же уезжать из Дударей и хочет перед отъездом навести порядок.

В дверь постучали. Вошел Коля Соловьев и тоже сказал, что начальник собирается представить Веньку к награде. И не только Веньку, но и всю группу сотрудников, участвовавших в операции.

— В какой операции? — спросил Венька.

— Ну в этой, вот в какой мы сейчас были, — чуть смутился Коля.

— А где Лазарь Баукин?

— Начальник приказал его временно задержать для проверки, — сказал Коля. — И этих, которые с ним, тоже. Потом, говорит, разберемся. Может, удастся их подвести под амнистию…

— И ты считаешь, это правильно?

— Что правильно?

— Что нас с тобой представить к награде, а Лаза-

ря посадить для проверки. Для какой проверки?

— Но начальник же говорит, что будет потом хлопотать за него и за других, — опять смутился Коля. — Ты же все-таки помощник начальника, ты же лучше меня знаешь, какой должен быть порядок…

— Порядок должен быть такой, чтобы людей уважали, когда они стараются стать людьми, — сказал Венька. — Сначала оскорбить, а потом хлопотать! Кому нужны такие хлопоты!

— Ты погоди, погоди, — взял Веньку за руку Коля Соловьев. — Мы же не имеем права его сейчас отпустить. Он же у нас был под арестом и потом убежал. Это же закон не позволяет…

— Закон не позволяет издеваться! — блеснул глазами Венька. — А Лазарь и не просил его отпускать. Он сам хотел, чтобы все было по закону. Пусть, говорит, судят меня за то, в чем я был виноват. Но можно же все делать по-человечески! Ведь Воронцова-то не мы взяли, а Баукин. За что же нам награда?

— Это верно, — согласился Коля. — Я тоже так сообразил, что тут какая-то неловкость. Можно даже так подумать, что начальник не в силах забыть, как Баукин еще тогда зимой обозвал его боровом…

— Ну и что же? Обозвал и обозвал. А потом сделал дело. Мы бы еще сколько ловили Воронцова! Да и вряд ли бы так просто поймали…

Венька вышел из комнаты секретно-оперативной части и пошел по коридору, как будто пол качается под ним. Я подумал, что это от усталости, оттого, что он долго не спал.

В дежурке он спросил, не было ли ему письма.

— Что-то было, — сказал дежурный и посмотрел в толстую книгу. — Нет, заказных не было, — захлопнул он книгу. — Может, простые были. Надо спросить Витю…

У Веньки дрогнули губы. Он хотел что-то сказать и не сказал. Может, он хотел обругать дежурного?

Пришел делопроизводитель Витя, отомкнув ящик своего стола, долго рылся в нем, потом развел руками:

— Ничего нету.

— Может, нам домой письмо прислали, — предположил я. — Могли прислать на домашний адрес…

— Могли, — как эхо, отозвался Венька.

И мы пошли домой, потому что дел на сегодня не было, да и едва ли мы сумели бы сегодня еще работать, голодные и усталые. Начальник тоже

уехал домой обедать.

Дома, однако, не было письма. И хозяйки нашей не было. Она уехала по ягоды, как сказала нам соседка. И никакой еды не оставила.

— Пойдем к Долгушину, — позвал я.

— Пойдем, — согласился Венька как-то уныло, безучастно.

— А может, ты сильно устал? Может, ты не хочешь идти?

— Нет, пойдем. Все равно, — сказал он. И опять меня слегка встревожил его унылый вид.

Был уже вечер, когда мы переходили через базар, чтобы коротким путем пройти в городской сад.

На базаре никого не было. Все ларьки и лавки давно закрылись. И только у одного навеса стояли ночной сторож и молодой человек с валенками в руках.

Мы узнали Сашу Егорова, паренька с маслозавода.

— Ты не уехал? — удивился Венька, и лицо его вдруг оживилось. Это было заметно и в сумерках.

— Нет, я завтра уезжаю.

— А валенки это для чего в такую жару?

— Хотел продать. Тут один велел мне к нему

зайти. Хотел, словом, у меня их купить…

— У тебя что, на билет не хватает? — спросил Венька.

— Нет, на билет у меня хватает. Я просто так хотел продать валенки. Зачем они мне сейчас? Я лучше племянникам гостинцы куплю.

— Ты погоди, — сказал Венька. — Не уезжай. На днях вместе поедем. И гостинцы купим. Я тоже уезжаю.

Венька теперь словно хвастался тем, что уезжает.

Поговорив недолго с Сашей Егоровым, он будто почерпнул в этом разговоре новую надежду и сказал, когда мы пошли дальше:

— А вдруг мне все-таки пришло письмо? Ведь почту и вечером подают. Может, зайдем на минутку в розыск?

Нам надо было сделать большой крюк по городу, чтобы зайти сейчас в наше учреждение. И мы сделали этот крюк, прошли по улице Марата, свернули в Ольшевский переулок и вышли прямо на бывший Махоткинский магазин, где работала кассиршей Юля Мальцева.

На железных дверях магазина под лампочкой в проволочной сетке висел, как всегда в эту пору, огромный ржавый замок. Юля давно уже ушла

домой, на свою Кузнечную улицу.

Проще всего, казалось бы, нам с Венькой вместе пойти к ней домой в этот вечер, если он стеснялся идти один. Но он ждал от нее письма, точно она живет в другом городе. Это письмо ему нужно было сейчас до крайности.

Он просто не мог жить без этого письма.

В дежурке нас опять встретил Узелков. Опять стал приставать к Веньке с просьбой допустить его к Воронцову. Венька сказал, что Воронцов не игрушка, и принялся перебирать свежую пачку писем, только что доставленных с почты и лежавших на столе дежурного.

— Все-таки, Вениамин, ты извини меня, но ты очень жестокий человек! — сказал ему Узелков. — Неужели ты не способен понять, что беседа с Воронцовым мне нужна не для какого-то развлечения, а для работы?

— Ничего я теперь не способен понять, — ответил Венька, так и не найдя письма. — Иди к начальнику. Вы с ним все хорошо понимаете. А я ничего не понимаю.

— Да, теперь я вижу, что ты человек, не обижайся, но я вижу, что ты человек недалекий. — Узелков вынул из портфеля книгу. — Мне сегодня случайно пришлось прочесть вот это твое пись-

мо, и я страшно удивился. Хотя я не охотник читать чужие письма, тем более любовные…

Узелков раскрыл книгу, и из нее выскользнул и полетел на пол конверт с письмом.

Венька быстро наклонился и поднял его.

Я узнал конверт того письма, которое он всю ночь писал перед нашей последней операцией. Как это неприятно, что оно попало в руки Узелкова!

— Ты где его взял? — спросил Венька.

— Не вытаращивай глаза, — насмешливо попросил Узелков. — Я еще не арестованный. И тут нет ничего загадочного. Твое письмо лежало в моей книге «Огонь любви», которую я давал читать Юле Мальцевой. Сегодня она вернула мне мою книгу…

Венька быстро перечитал свое письмо, потом тщательно и спокойно разорвал его и разорванное положил в карман.

В дежурку вошел наш начальник. Он вынул из застекленного ящика, висевшего над головой дежурного, ключ от кабинета и, выходя из дежурки, сказал:

— Малышев, зайди ко мне.

Узелков пошел за ним. Но начальник не принял его.

Венька вышел из кабинета минут через пятнадцать, вспотевший, взъерошенный и злой.

Я спросил:

— Ну что, не пойдем к Долгушину? Пожалуй, поздно.

— Нет, почему? Пойдем, — сказал Венька.

По дороге он все время плевался, точно попробовал что-то горькое.

Я ни о чем его не спрашивал.

В окнах здания укома партии и укома комсомола горел свет, когда мы проходили мимо. Даже одно окно на втором этаже было распахнуто.

У распахнутого окна сидела завучетом Лида Шушкина и стучала на пишущей машинке, несмотря на поздний час.

Мы остановились под окном. Венька спросил, в укоме ли Зуриков.

— Уехал, — сказала Лида, навалившись грудью на подоконник и высунув стриженную после тифа голову из окна. — Вчера еще уехал насчет двухнедельника по борьбе с самогоноварением. И от вас ведь тоже кто-то поехал…

— А Желобов, не знаешь, сейчас в укоме партии?

— Нет, — замотала головой Лида. — Он тоже уехал. Да вы что хватились-то? — удивилась

она. — Все сотрудники ушли уже давно по домам. Я вот одна сижу. Просто беда, какая запущенность в личных делах!..

Она еще что-то говорила, но ни я, ни Венька не слушали ее. Я смотрел на Веньку. У него было какое-то странное лицо, будто он в самом деле тяжко заболел.

— Ну, ладно, — сказал он, словно очнувшись. — Пойдем к Долгушину, если ты хочешь… Я не возражаю. Мне все равно.

У Долгушина он слегка успокоился. В передней перед зеркалом аккуратно причесался, подтянул голенища сапог, оправил гимнастерку и вошел в павильон, как всегда входил в общественные места, чуть приподняв голову.

В глубине павильона на деревянном помосте смуглый и длинный, чем-то напоминающий змею молодой человек в черном костюме с белой грудью, размахивая соломенной шляпой канотье, отбивал чечетку и выкрикивал входившую тогда в моду песенку о цыпленке жареном и цыпленке пареном, который тоже хочет жить.

Он трудился добросовестно, этот молодой человек, то подпрыгивая, то приседая, и в сидячем положении — на корточках — продолжая отбивать чечетку.

— Умеет, — посмотрел на него Венька, но не улыбнулся.

Долгушин заметил нас, когда мы уже уселись в дальнем углу.

— Ох, какие дорогие гости пожаловали! — подбежал он рысцой к нашему столику.

— Ужин бы нам, — сказал Венька.

— И пивка позволите?

— И пивка.

Уже накрыв на стол, Долгушин, изогнувшись и заглядывая нам в глаза, спросил:

— Говорят, поймали вы этого самого Воронцова?

— Поймали, — кивнул Венька.

— Говорят, начальник ваш сильно отличился? Говорят, он сам и ловил его и очень сильно отличился? Перестрелка, говорят, была?

— Была, — опять кивнул Венька.

— Вот видите, — округлил глаза Долгушин. — Ну, хорошо. Очень хорошо. — И он еще больше изогнулся перед нами. — Интересно, что же вы будете теперь делать с ним? Застрелите, наверно…

— Застрелим, — механически подтвердил Венька.

— Ну, хорошо, — опять сказал Долгушин. — Очень хорошо. А я думал, вы его еще судить

будете.

Венька почти не слушал Долгушина. И поэтому я, чтобы не было неясности, кратко объяснил, что мы никого не судим, мы только ловим. А это уж суд решит, что с ним делать, с Воронцовым.

— Суд? — снова округлил глаза Долгушин. — Ну, это хорошо. Очень хорошо.

— Что хорошо? — сердито спросил я.

— Все хорошо, — сказал Долгушин. — Поймали — значит, хорошо. Теперь уже будет полное спокойствие.

Венька выпил пива сразу два стакана, но котлеты есть не стал, слегка поковырял вилкой и отодвинул тарелку.

Пока я ел, он задумчиво водил ножом по скатерти, вычерчивая незримые фигуры. Потом сжал в кулаке нож, легонько постучал им по столу и сказал:

— А все-таки мне здорово обидно.

— Да, уж Юлька поступила некрасиво, — поддержал я разговор. — Главное, нашла кому показать письмо — Узелкову! Он теперь будет трепаться.

— Ерунда, — сказал Венька и сделал свое обычное отталкивающее движение, будто отметая что-то мелкое, ненужное, наносное. — Не в этом

дело. Совсем не в этом. И Юля, я считаю, ни в чем не виновата. Просто мне самому не повезло. Это, как моя мама говорила: «Оце тоби, чайка, и плата, що в тебе головка чубата». Я сам, наверно, во всем виноват. Но я по-другому не могу…

— А мать у тебя украинка?

— Украинка.

Голос у него был очень усталый, как у пьяного, хотя он, конечно, не мог захмелеть от двух стаканов пива. Может, у него опять заболело плечо? Ведь так бывает, что рана затянулась, зажила, а внутри еще что-то болит, ноет и даже в голове мутит. У меня у самого так было после ранения. Я внимательно посмотрел на него и спросил:

— Тебе, Венька, что, нехорошо?

— Конечно, нехорошо, — ответил он и стал наливать пиво в граненые стаканы, сначала мне, потом себе. — И для чего я это письмо дурацкое написал? Хотя что ж, хотел написать и написал. Не жалею…

— Можно, — сказал я, отхлебнув пива, — можно как-нибудь сделать, чтобы Узелков не трепался насчет письма. Можно его как-нибудь предупредить…

— Да что мне Узелков! — брезгливо поморщился Венька. — Я сам еще больше его натрепался.

Мне теперь так противно все это дело с Воронцовым, будто я сволочь какая-то, самая последняя сволочь и трепач!..

— Но все-таки ты сделал большое дело, Венька. Я считаю, что это ты один все сделал. То есть ты главный закоперщик. И даже, смотри, у начальника заговорила совесть, если он хочет представить тебя к награде. Значит, у него заговорила совесть…

У Веньки по лицу прошла как бы тень улыбки.

— Если б у него была совесть, она бы, может, заговорила. Но у него нету никакой совести. Я это сейчас хорошо понял. Ты знаешь, чего он хочет? Он хочет, чтобы мы все это дело оформили так, будто это не Лазарь Баукин повязал Воронцова, а мы повязали и Воронцова, и Баукина, и всех остальных. А ты видел, как мы их вязали?

— Конечно. Я даже сам удивился…

Венька отпил пива и зажмурился.

— Мне сейчас стыдно перед Лазарем так, что у меня прямо уши горят и все внутри переворачивается! — сказал он. — Выходит, что я трепался перед ними, как… как я не знаю кто! Выходит, что я обманул их! Обманул от имени советской власти! Какими собачьими глазами я буду теперь на них смотреть? А начальник говорит, что этого

требует высшая политика…

— Какая политика?

— Вот я тоже сейчас его спросил, какая это политика и для чего и кому она нужна, такая политика, если мы боремся, не жалея сил и даже самой жизни, за правду. За одну только правду! А потом позволяем себе вранье и обман. Он говорит, я тебя представлю к награде и всех представлю, а иначе нас, мол, не за что награждать. А я ему говорю: нет, вы лучше выдайте мне другие глаза, чтобы я мог смотреть на вас и на все и не стыдиться…

Голос у Веньки стал какой-то дребезжащий.

— Ты успокойся, Венька, — попросил я, заметив, что на него поглядывают люди от соседних столиков. — Выпей еще пивка. — И я долил ему в стакан и себе долил. — Мы это дело как-нибудь обмозгуем и повернем. Мы все-таки комсомольцы, а не какие-нибудь…

— Вот в этом все дело, что мы не какие-нибудь, — ухватился Венька за мои слова. — А начальник уже всем в городе заявил, что это мы сделали это дело, что это он сделал. Он для этого и конную милицию вызывал на тракт. И Узелкову все рассказал в своих красках. Узелков все это опишет на всю губернию. Нам дадут награды, а

Лазаря и других выведут в расход. Пусть Лазарь был бандит, но ведь он же тогда еще не понимал, какая может быть жизнь. Он был еще сырой. А потом он мне лечил плечо брусничным листом, спал со мной под одним тулупом, укрывал меня от холода и от всего и говорил, что я первый настоящий коммунист, которого он встретил в своей жизни. Хотя я еще и не состою в партии…

У Веньки выступили слезы. Он задрожал всем телом. Я опять сказал:

— Ты успокойся, Венька.

— Нет, я не могу теперь успокоиться! — задрожал он еще сильнее. — Я в холуях сроду не был! И никогда не стану холуем! Никогда!..

Мне было тяжко смотреть на него. В растерянности я снова отпил пива. Я, кажется, даже не отпил, а только наклонился и прикоснулся губами к полному до краев стакану, боясь расплескать. И вдруг услышал, как кто-то подле меня коротко вскрикнул и захрипел.

Я поднял глаза.

У Веньки из виска била толстая струя крови.

Выстрела я не слышал. Я слышал только, как упал на дощатый пол тяжелый пистолет.

Венька отклонился в сторону и пополз со стула.

Со мной случилось что-то неладное. Я не бросился к товарищу, а стал торопливо допивать оставшееся в стакане пиво, будто боялся, что кто-то у меня отберет стакан.

Вокруг нас мгновенно собралась плотной стеной толпа. Я вынул из петельки спрятанный сзади под гимнастерку пистолет и пошел на толпу, расчищая себе путь к телефону.

Я кричал что-то, но крика своего не слышал, как во сне. Зато помню все, что я сказал в трубку. Я сказал:

— Товарищ начальник, ваш помощник по секретно-оперативной части Малышев умер. Сейчас в саду. Я звоню из сада.

Но не помню, что мне ответил начальник, так же как не помню, что я делал, отойдя от телефона.

Я помню только, что начальник, приехав в ресторан, схватил меня за руку, в которой был зажат кольт, вырвал его и сказал почему-то шепотом:

— Нашли, сопляки, место, где стреляться!

И этот шепот дошел до моего сознания. Помню, что первое чувство, очень ясное, испытанное мною в тот момент, было не жалость, не сожаление, а стыд, что все это произошло в таком месте. У Долгушина, которого мы презирали. А

мы — комсомольцы!

Затем я удивился, увидев в дверях Венькины ноги в неестественном положении. Обутые в сапоги, они болтались на весу.

И только затем я совершенно ясно понял, что Веньки больше нет.

Начальник посадил меня в свою пролетку. И сидел со мной рядом, говоря:

— Глупость есть самая дорогая вещь на свете. Я, кажется, не раз вам на это указывал…

23

В полдень я принимал дела покойного старшего помощника начальника по секретно-оперативной части товарища Вениамина Малышева.

Венька лежал уже в гробу в клубе. Начальник не разрешил мне идти туда.

Я принимал дела, рылся в чужом столе, читал бумаги. Сознание мое все еще было затуманено, как после болезни.

Первой мне попалась опись вещественных доказательств, в которой было написано:

1. Сыромятные ремешки-ушивки, имеющие большую прочность и свойство крепости при завязывании узла.

2. Охотничье ружье марки «Геха», обладающее

свойством поражать большую площадь рассеиванием картечи при выстреле.

3. Американской системы винтовка марки «Винчестер», замечательная большой дальнобойностью.

Мне вспомнились минувшая зима, поездка на аэросанях, ночная прогулка на лыжах по Воеводскому углу, мокрая, холодная весна, встретившая нас в Дударях, первые летние пожары в тайге и любовное письмо, которое всю ночь писал Венька.

Все это было совсем недавно, на днях. Но мне казалось теперь, что это было очень давно.

Бумаги эти, исписанные моим и Венькиным почерком, начинали как будто желтеть. Я старательно перебирал их, разыскивая что-то самое главное.

В это время в комнату, не постучав, ввалился Васька Царицын. Он не говорил, а кричал:

— Ты знаешь, как это получилось? Оказывается, Венька все-таки влюблен в нее. А она осрамила его на весь город! А он взял и застрелился. Как идиот…

Я сказал как мог спокойно:

— Выйди, Васька, сейчас же из помещения. Или я…

Васька понял меня и ушел сейчас же.

А я вылез из-за стола и отправился в кабинет начальника доложить, что в бумагах покойного ничего существенного не найдено, что могло бы непосредственно указать на причину его смерти.

Я вошел в кабинет без разрешения. Как входил Венька Малышев. Как имеет право входить исполняющий обязанности старшего помощника начальника. Я имел теперь такое право.

Но начальник вскочил из-за стола и закричал:

— Кто позволил входить без стука?

— Простите, — сказал я, обиженный, и повернулся, чтобы уйти.

Однако начальник задержал меня. И тут я увидел, что очки его запотели, бобрик, всегда аккуратно причесанный, будто вымок и растрепался, и лицо, чисто выбритое, гладкое, чуть помялось и покрылось багровыми пятнами.

Я понял, почему он закричал на меня, и опустил глаза, чтобы не смотреть на него.

Но он снова сел за стол, хлопнул ладонью по столу и сказал:

— А?

Я хотел уже приступить к докладу. Но начальник не дал мне открыть рот и, опять хлопнув ладонью по столу, сказал:

— Какого парня потеряли. А? — И взглянул в свою открытую ладонь, как в зеркало. — Какого парня…

Я тихонько вздохнул. И начальник как-то печально крякнул.

— Если б его можно было оживить! — сказал он тоскливо. И вдруг скулы у него зашевелились, что всегда предвещало грозу. — Я бы дал ему десять суток ареста. Пусть бы он подумал, сукин сын, как жить на свете, как вести дела!..

Мне хотелось сказать начальнику, что он сам некоторым образом повинен в смерти своего помощника. Может, больше всех повинен. Но я не решился сказать ему это в глаза.

Это сказал Коля Соловьев. Он сказал это при особых обстоятельствах, когда начальник вызвал его, как вызывал по очереди всех сотрудников, чтобы установить причину самоубийства Малышева.

Прежде всего начальник спросил, не знает ли Соловьев девчонку, с которой путался Вениамин Малышев.

— Знаю, — подтвердил Коля. — Но он не путался с ней, а хотел, говорят, жениться…

— А что это за особа?

— Она не особа, — возразил Коля, убежденный,

что особами называются только классово чуждые элементы. — Она комсомолка и работает кассиршей в бывшем Махотинском магазине…

— Так, так, — постучал искалеченными пальцами по столу начальник. — Стало быть, ты ничего существенного не знаешь? Ну, иди…

— Существенного ничего не знаю, — сказал Коля. — Но на вас он перед смертью сильно обижался, товарищ начальник.

— Это почему же?

— Он так считал, что вы вроде хотите аферу сделать с этим Лазарем Баукиным…

— Аферу?

— Ну да. Будто вы так хотите объявить, что это мы поймали Воронцова и Баукина…

— А ты как полагаешь, кто их поймал? Сами, что ли, они поймались?

— Я тоже так полагаю, что это может получиться с нашей стороны вроде как афера…

— Стало быть, я аферист? — грозно взъерошился начальник и пошевелил скулами.

— Не аферист, но…

Начальник не дал Коле договорить. Он приказал ему сейчас же сдать оружие и стукнул уже всей ладонью по столу:

— Положи его вот сюда. И на десять суток я тебя

отстраняю от выполнения всяких обязанностей. А потом поглядим…

Весть о таком распоряжении начальника в одну минуту, как говорится, облетела наше учреждение.

У меня в комнате собрались почти все наши комсомольцы, да их и было-то в ту пору в нашем учреждении всего пять человек. После смерти Вениамина Малышева осталось четверо.

Коля Соловьев подробно, во всех деталях, рассказал о своем разговоре с начальником и заявил, что он, Соловьев, это дело так не оставит, что он сегодня же, вот сейчас, пойдет в уком комсомола к Зурикову. И даже, если надо, до укома партии дойдет, до самого Желобова. Пусть начальник не думает, что он тут царь и бог и выше его будто никого на свете нет…

— Глупо, — воззрился в Колю Соловьева черными горячими глазами Иосиф Голубчик. — Если б я был начальник и ты бы сказал на меня, что я чуть ли не аферист, я бы не только отстранил, я посадил бы тебя, как цуцика! Ты, если не понимаешь политических вопросов, ты лучше спроси…

И Голубчик стал объяснять, почему начальник хочет оформить это дело так, будто не Лазарь Баукин поймал Воронцова, а мы поймали их

всех. Начальник заботится сейчас не о том, чтобы самому прославиться. Это было бы мелко и гадко. Начальник хочет поднять в глазах населения авторитет уголовного розыска. А это уже вопрос политический.

— Ведь вы подумайте, как было, — показал нам Голубчик свои длинные, поросшие черными волосами пальцы и мизинец загнул. — Воронцова мы ловили не один год и не могли поймать. В народе уже стали поговаривать, что мы какие-то дармоеды. А мы ведь не от себя работаем. Если ругают нас — это значит ругают советскую власть. На это нам много раз указывал начальник. И вот сейчас он стремится поднять наш авторитет, а это значит, он стремится поднять авторитет советской власти…

— Это ж ты контрреволюцию говоришь, — вдруг заметил нервный, суетливый Петя Бегунок. — Что она, такая несчастная, что ли, советская власть, что ее надо сильно подкрашивать и малевать?

Петя Бегунок меня больше всех удивил. Я считал, что он любимец начальника, что он только и способен повторять его слова и все действия. Он даже стрижется, как смеялись у нас, под начальника: тоже завел себе этакий бобрик — вся голова наголо острижена, а на лбу колючий хохолок. И

все-таки у него, оказывается, есть собственное мнение.

— Обман всегда считается обманом! — закричал он. — А советская власть без обмана проживет. Ей обман не нужен…

— Ты закройся, — презрительно поглядел на него Иосиф Голубчик. — Тебя вызовут тридцать второго. И ты мне контрреволюцию не пришивай. И не бери на испуг. Тот, кто брал меня на испуг, давно на кладбище, а тот, кто собирается, еще не родился…

Иосиф Голубчик говорил, как всегда, напористо и сердито. Но я заметил, что слова Пети Бегунка все-таки смутили его. Я подумал, что Голубчик, бывший гимназист, у которого родители имели до революции собственную торговлю, оттого и старается показать себя самым идейным, что боится, как бы ему не вспомнили, кто он такой.

Однако я молчал. Я молчал до тех пор, пока Голубчик в запале этого спора не сказал, что Венька Малышев поступил, как трус.

Уж тут я воспламенился. Кто-кто, а Венька, я это твердо знаю, никогда не был трусом.

— Ты Веньку лучше не затрагивай, — сказал я Голубчику. — Ты лучше иди обратно доучивайся в свою гимназию, а Веньку не затрагивай. Венька

всю свою молодую жизнь боролся за правду. Он был против всякого обмана и боролся только за правду…

— Видели мы, до чего он доборолся, — скривил гримасу Голубчик и стал закуривать, не ответив как следует на мои слова.

Я был уверен, что Петя Бегунок и Коля Соловьев сию минуту поддержат меня. Я знал, что они не любят Голубчика, как не любил его и Венька. Но они молчали.

Потом Коля, глядя не на нас, а куда-то в сторону, сказал:

— О Веньке сейчас разговаривать нечего. Я Веньку тоже не оправдываю. И не хочу, не могу оправдывать…

— Но факт остается фактом, что он боролся за правду и против всякого обмана, — опять сказал я.

— Факт остается фактом, — тихо заметил Петя Бегунок, будто не хотел разглашать этого факта, и оглянулся по сторонам. — Мне Малышев давал рекомендацию в комсомол. Я его всегда уважал. Но сейчас даже беспартийные у нас тут говорят, что он нас всех осрамил…

— Это верно, — подтвердил Коля Соловьев. — Уж если бороться за правду, так надо бороться. А

то, выходит, как это самое… как дезертирство…

Получилось так, что ребята поддержали не меня, а Иосифа Голубчика, которого они действительно не любили.

Истинная причина самоубийства Вениамина Малышева так и осталась неизвестной жителям города. Да я и сам до сих пор не могу ее в точности определить. Я думаю только, что тут была не одна причина. А в городе называли одну.

В конце дня, когда я собирался домой, в комнату ко мне зашел наш делопроизводитель Витя и сказал, что в дежурке меня спрашивает какая-то… «Какая-то дамочка», — ухмыльнулся он.

В дежурке у запыленного окна стояла спиной к дверям Юля Мальцева.

Я не сразу подошел к ней. Я даже не хотел подходить, остановившись в дверях. Но она оглянулась под пристальным моим взглядом и бросилась ко мне.

— Что же это? — сказала она. И больше ничего не сказала.

На нас смотрели дежурный и обычные наши посетители: две торговки, задержанные за спекуляцию, инвалид, ограбленный в пьяном виде и еще не протрезвившийся, мальчишка — карманный вор.

На глазах у этих людей мне было неловко разговаривать с Юлей. Я повел ее в коридор.

— Подожди здесь, — сказал я ей довольно строго и пошел в свою комнату прибрать бумаги.

Я укладывал бумаги в шкаф и в стол и все время старался сообразить, как же мне следует вести себя с ней, если я знаю, точно знаю, что она была одной из причин гибели Веньки. Пусть невольно, бессознательно, но она содействовала его гибели. И зачем она пришла сейчас? Как хватило у нее нахальства?

Я надеялся, что она, может быть, уйдет, пока я укладываю бумаги, и мне не придется объясняться с ней. Мне не хотелось объясняться. Мне противно было смотреть на нее. Лучше бы она пошла к своему Узелкову. Ну ее к дьяволу!.. Еще не хватало мне, чтобы тут начался разговор о каких-то моих шашнях с ней! Пусть она лучше уйдет.

Но она не уходила. Я слышал, как ходит она по каменным плитам коридора недалеко от двери. Вот сейчас выйдет из своего кабинета начальник. Ведь он еще, кажется, не ушел. Я все время ждал, когда он поедет обедать, чтобы и самому уйти вслед за ним. Вот сейчас он выйдет, увидит ее в коридоре и спросит, что это за девушка, зачем она

сюда пришла. В самом деле, зачем она пришла? Что ей еще надо?

Уложив бумаги, я постоял у окна, посмотрел на улицу, хмурую в этот предвечерний час. И так, ничего не сообразив, вышел из комнаты и стал запирать дверь. Я только думал о том, что лучше всего именно сейчас увести Юлю отсюда, пока не вышел начальник. Лучше всего поскорее увести ее…

Однако я не успел это сделать. Начальник вышел из кабинета раньше, чем я запер дверь.

— Ты уходишь? — спросил он.

— Хотел пойти пообедать…

— Пообедай и сейчас же возвращайся. Будешь нужен. Через час.

— Слушаю, — сказал я, ожидая с тревогой, что он спросит о девушке, стоящей в коридоре. И я не знал, как ему ответить, кто эта девушка. Разве можно так прямо ответить, что это та самая девушка, из-за которой…

Но начальник даже не взглянул на Юлю, прошел мимо. А Юля подошла ко мне.

— Извини меня, — сказала она, — я вижу, что ты…

Я не дал ей договорить.

— Давай выйдем отсюда, — почти подтолкнул

я ее. — На улице поговорим.

На улице было ветрено и одиноко. Где-то вдалеке простучали по неровной мостовой колеса пролетки нашего начальника, уехавшего обедать.

— Извини меня, — опять сказала Юля, собиравшаяся, должно быть, еще что-то сказать. Но я опять перебил ее:

— Поздно теперь извиняться. Поздно и не к чему. Мне твои извинения не нужны. Мне наплевать на твои извинения. И тебе незачем было приходить ко мне…

— Я хотела только сказать…

— Мне неинтересно, что ты хотела. Я знаю, что ты сделала, когда передала это письмо своему паршивому Узелкову…

— Я не передавала, — взяла меня за руку Юля. — Я клянусь тебе, что не передавала!.. — И заплакала. — Я клянусь! Я проклинаю себя!..

— Ты не плачь. Теперь поздно плакать. Все-таки письмо оказалось в руках Узелкова, и он ударил Веньку этим письмом по самому сердцу…

Юля заплакала сильнее и все крепче стала сдавливать мою руку, как бы требуя, чтобы я замолчал.

Из несвязных ее объяснений, прерываемых

плачем, я понял, что письмо попало к Узелкову случайно. Оно лежало в книге «Огонь любви», взятой у Узелкова. Узелков пришел за книгой, когда Юли не было дома, и хозяйка отдала книгу вместе с письмом.

— А я рассердилась на Малышева, — сквозь слезы проговорила Юля. — Я не ожидала, что он напишет мне такое письмо.

— Узелков сделал подлость, а ты рассердилась на Малышева, — сказал я. — Как же это понять?

— Я рассердилась на Малышева за то, что… Ну, неужели он, такой умный, честный, не мог понять, что я?.. Ты ведь не знаешь, что было написано в его письме…

— Я все знаю. Он откровенно признался тебе…

— А зачем? Зачем надо было признаваться? Неужели он думал, что я какая-то мещанка? Неужели он не понимал? Я хотела встретиться с ним, я ждала…

Мы проходили мимо клуба имени Парижской Коммуны, где лежал в гробу Венька Малышев. Я боялся, что Юля, вот такая заплаканная, захочет сейчас войти в клуб. Но она сама сказала:

— Нет. Я не могу. Я не хочу смотреть на него… мертвого. Я не хочу, чтобы он умирал!..

Мы прошли мимо клуба, свернули в переулок,

пересекли площадь и оказались на улице Победы революции.

Около ворот нашего дома мы остановились.

— Можно, — спросила Юля, — можно, я зайду к вам?

Не к тебе, а именно к вам, сказала она, будто Венька Малышев все еще живет в этом доме. Она посидела в нашей комнате минуты две, посмотрела на узенькую Венькину кровать, застланную серым солдатским одеялом, на его деревянный, обшарпанный сундучок, видневшийся из-под кровати, потрогала, потом взбила его подушку и ушла, сказав:

— На похороны я не пойду. Я не могу. Я не хочу ходить на похороны.

Хоронили Малышева в ненастный день. Накрапывал мелкий, нудный, предосенний дождь. Но казалось, все население города вышло на самую большую улицу — на проспект Коммунизма. Всем интересно было поглядеть, как хоронят комсомольца, застрелившегося из-за любви.

Впереди шагал духовой оркестр. За ним шли лучшие лошади из конного резерва милиции, запряженные в беговые дрожки, на которых возвышался гроб. За гробом следовало наше строгое учреждение почти в полном составе. И обывате-

ли, точно артистов, рассматривали нас.

Но мы шли, опустив головы, как и полагается ходить на похоронах.

Рядом со мной шел Васька Царицын. Он смотрел себе под ноги и тихонько вздыхал. Потрясенному всем происходящим, мне пришла в голову нелепая мысль, будто Васька вздыхает потому, что ему жалко сапог, надетых сегодня в первый раз и уже до колен вымазанных в этой непролазной грязи.

Мне захотелось столкнуть его в грязь, чтобы он вымазал не только сапоги, но и новенький френч и удивительно красивую высокую фуражку с аккуратными и ровными вмятинами над околышем.

Нет, такого дружка, как Венька, мне больше никогда не встретить!

Процессия шла вдоль зеленых решеток городского сада. В этом саду мы гуляли с Венькой. Здесь он познакомился с Юлей Мальцевой. Здесь он и застрелился.

Я поднял голову и посмотрел на ворота с резными петухами. И вдруг увидел у калитки Долгушина.

В эту минуту Долгушин поразил меня, как удар. Я ведь почти забыл о нем в эти дни. И вот он стоит у калитки сада и смотрит, как мы хороним наше-

го товарища, застрелившегося, как все думают, из-за любви.

Гимназисты стрелялись, юнкера стрелялись, барышни какие-то травились уксусной эссенцией. Все это было. Но мы же говорили, что это старый мир, а мы — комсомольцы.

Я оглянулся на Долгушина. Он уже отошел от калитки и направился по тротуару — за нами.

Васька Царицын тихонько потрогал меня за рукав и сказал, кивнув на гроб:

— Уж лучше бы его убили бандиты.

Должно быть, он догадался, о чем я думаю. И это примирило меня с ним.

Дождь прекратился. Показалось солнце. Кладбищенские деревья сбрасывали на нас крупные дождевые капли.

Мы пробивались меж деревьев в центр кладбища, где была вырыта новая могила. И за нами неотступно шли горожане, многие из которых еще недружественно относились к нам под влиянием враждебной агитации.

Их было больше, чем нас. Значительно больше. И когда мы окружили могилу, они стали за нами плотной стеной. Их томило любопытство. И они нетерпеливо дышали нам в затылки.

Может быть, среди них стоял и Долгушин. Мо-

жет быть, это он и дышал мне в затылок. Но я не мог оглянуться.

Я вспомнил, как Венька любил говорить, что мы отвечаем за все, что было при нас. Нет, неверно, мы должны отвечать и за то, что будет после нас, если мы хотим быть настоящими коммунистами.

Венька Малышев лежал в гробу, чуть повернув голову, чтобы скрыть то место, в которое вошла пуля. Он лежал, как живой, крепко сжав губы, как делал всегда, обдумывая что-нибудь. В таких случаях, я помню, он иногда закрывал глаза.

И я готов был поверить, что и сейчас он вдруг встанет, сердито посмотрит на всех и скажет, что это все ерунда, что он никогда не умирал и не умрет, что он просто не очень остроумно пошутил, желая проверить, как о нем будут говорить после смерти. Обыватели могут не беспокоиться: он не такой уж дурак, чтобы кончать жизнь самоубийством.

Я готов был поверить в самое невероятное в тот тяжкий час.

Но Венька не встает и не собирается вставать. Вот уже разбирают доски, на которых держался гроб над могилой. Вот уже гроб забрасывают землей. Я слышу, как стучит земля о крышку гроба…

Я долго иду среди пышных кладбищенских деревьев, среди буйно цветущих на хорошо удобренной земле цветов, среди памятников, старых и новых. Земля вольготно дышит после дождя. И над землей поднимается туман. Я долго иду в тумане.

Вдруг впереди меня возникает, как видение, форменная фуражка нашего начальника. Она колышется в тумане среди ветвей кладбищенских деревьев, высокая, с острыми краями, еще не обношенная. И тотчас же я слышу слова:

— Вы не совсем правы. Самоубийство при всех обстоятельствах не наш метод и, разумеется, не наш, не советский аргумент.

Но это говорит не начальник, а Узелков. Я сразу узнаю его голос. И вот уже вижу его белую ворсистую кепку, мелькающую в кустах — много ниже фуражки начальника, потому что и сам Узелков ниже.

— Безответственность — это, учтите, самый серьезный порок, — как бы внушает Узелков начальнику.

А начальник глубокомысленно сопит.

Ему, наверно, искренне жаль Веньку. Но он не в состоянии понять, как это его подчиненный вдруг может в чем-то не согласиться с ним. Есть

же твердые, давно определенные правила, но которым положено начальнику приказывать, а подчиненному выполнять приказания. И начальник не может быть не прав, потому что он действует в соответствии с единым планом, в конечной пользе которого никто не станет сомневаться.

— Таким образом, в основе этого печального факта лежит грубая политическая ошибка, я бы даже сказал, политическая бестактность. И этого мы не можем простить Малышеву. Мы обязаны смотреть правде в глаза. Вы согласны со мной?

Это спрашивал Узелков начальника.

А начальник что-то такое бурчит, чего я не могу расслышать. Он, должно быть, все еще не пришел в себя, все еще тягчайшее огорчение томит его. Но едва ли он в чем-нибудь возразит Узелкову.

Ведь Узелков говорит правильные слова. И говорит их от имени высшей силы, произнося могучее слово «мы».

Он давно уже присвоил себе это право говорить от имени высшей силы. И никто не усомнился в этом его праве, так же как никто не заподозрит его в содействии самоубийству Малышева, потому что ни один прокурор не найдет в его поступке того, что на языке криминалистов называется

составом преступления.

Ведь он же ничего явно преступного не совершил. Он только прочитал чужое распечатанное письмо, случайно оказавшееся в его собственной книге. Неужели такой мелочный факт мог привести к столь печальным последствиям? Неужели такого сильного, уверенного в себе человека, как Венька Малышев, мог доконать такой тщедушный деятель, как Узелков?

Но он все-таки доконал его. И вот идет уже за пределами кладбища рядом с нашим начальником, и, преисполненный чувства собственного достоинства и собственной непогрешимости, произносит торжественные слова о мужестве и правде, и советует бесстрашно смотреть правде в глаза.

А по раскисшей земле мягко стелется теплый туман, в котором отчего-то знобит меня, и я все время думаю о Веньке, о том, что, если бы ему привелось сейчас увидеть Узелкова, он сам бы не простил себе этой минутной слабости.

После этого прошло много лет. Я многое забыл из того далекого времени, о котором шла здесь речь.

Я забыл, наверное, даже некоторые важные подробности.

Но запомнилось мне особенно крепко, как на кладбище дышали нам в затылки любопытные горожане — обыватели уездного города, где мы были первыми комсомольцами, и как бодро шел после похорон Узелков рядом с нашим начальником.

Каждый раз, вспоминая это, я испытываю заново все ощущения того ненастного, печального дня. И чувство скорби, гнева и сожаления до сих пор не ослабевает во мне.

Переделкино, октябрь 1956 г.


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
ПОВЕСТЬ
СРОК

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК
Повесть

1

Зайцев быстро освоился. Он носил теперь старенькое, узковатое в плечах пальто, не иначе как приподняв воротник. Кепку натягивал до самых бровей так, что не было видно огненно-рыжих волос. И смотрел на всех, чуть выкатив сердитые серые глаза.

Еще весной на книжном развале он купил замусоленную книжку с описанием японских способов борьбы, собранных, как было указано на обложке, господином Сигимицу, начальником тайной полиции, в помощь сыщикам, морякам и господам офицерам, желающим усовершенствовать свою мускулатуру.

Сделавшись, таким образом, обладателем всех этих хитроумных способов борьбы, Зайцев прямо-таки рвался к деятельности, бурной, рискованной, головокружительной, готовый хоть сейчас поставить на карту всю свою восемнадцатилетнюю жизнь.

А деятельности все еще не было.

Вернее, деятельность-то была: в уголовном розыске почти непрерывно звонил телефон — из районов города и губернии сообщали о происшествиях — убийствах, кражах, ограблениях. Но Зайцева пока не допускали к этим делам.

И Егорова не допускали.

Впрочем, Егоров, как видно, и не стремился к опасным приключениям.

Угрюмый, стеснительный, похожий в кургузом черном пиджачке и вылинявшей форменной фуражке на обносившегося гимназиста, он целый день сидел на широкой скамейке, где обычно ожидают своей очереди потерпевшие или задержанные по подозрению, пока их не опросит дежурный. И его самого было легко принять за потерпевшего.

Дежурный по городу так ему и сказал:

— Ты, брат, тут не сиди. А то ты только путаешь меня…

Егоров пересаживался поближе к столу дежурного. Но здесь сидеть было уж совсем неудобно. К столу то и дело подводят задержанных или подходят потерпевшие, и надо все время кому-то уступать место.

А Зайцев большую часть дня проводил в раз-

ных комнатах — слушал, как ведут допросы, или заглядывал в окошечко арестного помещения, где сидят и шумно переговариваются еще, должно быть, не протрезвившиеся самогонщики.

Да и протрезвиться им мудрено: отобранные у них самогонные аппараты свалены тут же рядом, в кладовой, отчего весь коридор пропах сивухой. Чиркни, кажется, спичкой — и воздух вспыхнет синим спиртовым пламенем.

Встретив в этом длинном полутемном коридоре заблудившуюся торговку, пришедшую заявить о краже со взломом, Зайцев, раньше чем провести ее к дежурному по городу, сам ей тут же учинял допрос. И держал правую руку в кармане, будто у него там пистолет. Но пистолета Зайцеву еще не выдали.

И Егорову не выдали.

И неизвестно, выдадут ли. Неизвестно даже, оставят ли их работать в этом грозном учреждении.

Жур, к которому они прикреплены в качестве стажеров, вот уже который день лежит в больнице. Его подстрелили бандиты на Извозчичьей горе. Говорят, очень сильно попортили ему руку. И еще неизвестно, вернется ли Жур к исполнению своих обязанностей.

Ничего неизвестно.

А время идет.

Дежурный по городу, сидя за обшарпанным столом, часто взглядывает на стенные часы и записывает время в толстую тетрадь. Он записывает с точностью до минут, когда было заявлено о происшествии, когда агенты поехали на поимку преступников, когда привели задержанных. Он записывает течение времени. Спокойно записывает, потому что ему некуда спешить. Он уже устроился на работу, и вместе с временем идет ему зарплата.

А Егорову и Зайцеву зарплата не определена.

Все будет зависеть от Жура. И не только от Жура, но и от обстоятельств.

Дело в том, что в губкоме комсомола ошибочно выписали две путевки на одну штатную должность. Значит, кто-то один может остаться на работе — или Егоров, или Зайцев.

— Останется тот, кто покажет себя с лучшей стороны, — сказал Жур в первый же день, как приставили к нему стажеров. — Но вообще-то вы не сильно тревожьтесь, ребята. Штат, конечно, почти весь заполнен. Однако у нас особая работа: все время происходит движение в личном составе. Может, вам внезапно обоим повезет. Вдруг

откроется непредвиденный шанс.

— Понятно, — кивнул Зайцев и весело улыбнулся, как Жур.

А Егоров ничего не понял. Не понял, какой может вдруг открыться непредвиденный шанс.

Зайцев объяснил ему это, когда они вышли из комнатки Жура.

— Ну, честное слово, ты как бестолковый, — сказал Зайцев. — Сотрудников же непрерывно убивают. Ты сам видишь, какой повсюду бандитизм. Даже в газетах об этом пишут. Ну и вот, если кого-нибудь при нас убьют, нам освободятся места. Или, — Зайцев опять улыбнулся, — или нас самих тут ухлопают, пока мы еще не в штате…

У Егорова потемнело лицо.

— Боишься? — спросил Зайцев.

— А ты?

— Не очень.

— Ну и я, — сказал Егоров.

И по-другому он не мог сказать. Неужели он признается, что боится! А может, Зайцев нарочно испытывает его?

Зайцеву было бы куда лучше, если б Егоров испугался: пошел бы в губком комсомола и заявил, что тут у вас, мол, вышла ошибка — две путевки на одну должность. Пусть, мол, там в угрозыске

остается Зайцев, а я хотел бы пойти на курсы счетоводов, как настаивает моя сестра Катя. Или хорошо бы, если есть свободная путевка, устроиться в Завьяловокие механические мастерские — учиться на слесаря-водопроводчика, как советовал покойный отец.

Конечно, Зайцев был бы доволен, если б Егоров именно так поступил. Но Егоров так не поступит. Ни за что не поступит.

Нет, уж он лучше подождет Жура. Подождет сколько надо. Хотя сидеть часами в дежурке и ждать своей участи очень нелегко.

Дежурный по городу, когда подле него нет ни задержанных, ни потерпевших, достает из-под бумаг пачку печенья «Яхта», сердито разрывает обложку и, откусывая сразу от двух печенюшек, пьет чай из крышки от американского термоса.

На Егорова он теперь не обращает никакого внимания, будто это не человек, а неодушевленный предмет, такой же, как высокая китайская ваза, что стоит зачем-то вот там в углу.

Напившись чаю и съев в задумчивости всю пачку печенья, дежурный выплескивает из термосной крышки остатки чая прямо на пол, завинчивает термос и, вытерев губы аккуратно сложенным носовым платком, выдвигает ящик

стола.

В ящике он устанавливает небольшое зеркало и, глядя в него, осторожно, как женщина, укладывает пальцами волнистые длинные волосы.

Вдруг на щеке он заметил какой-то непорядок, пятнышко какое-то, обеспокоился, сделал страдальческое лицо и стал натягивать кожу ногтями. Ногти у него давно не обрезались — такая мода. Особенно длинный ноготь на мизинце. Этим ногтем, как шилом, он долго оперирует щеку — счищает пятнышко, и ему, наверно, совсем неинтересно, что о нем думает Егоров.

А Егоров думает о многом.

В Дударях, где жил Егоров еще недавно, тоже есть уголовный розыск. У Егорова там были знакомые ребята. Он иногда заходил к ним. И вот если сравнить ту дежурку в Дударях с этой, то получится просто позор.

Там, в Дударях, чистота, все стены заново побелены, а тут только слава, что губернский уголовный розыск. Пол затоптан, стены и вся мебель обшарпаны.

И на стенах всюду надписи гвоздем, и карандашом, и еще чем-то. Например: «Усякин, я тебя не боюсь». Или: «Иванова Женя пусть помнит...» — дальше зачеркнуто карандашом. «Костю Ва-

рюхина давно бы надо выгнать отсюдова. Даже фамилия, обратите внимание, Варюхин. Этого терпеть нельзя». И опять: «Усякин, я тебя не боюсь».

Дежурный, должно быть, не видит, не замечает этих надписей.

Выдавив угорь на щеке, он осторожно прижигает ранку пробочкой от пузырька с йодом. Затем выходит из-за стола и, по-петушиному отставив ногу, как артист на сцене, читает стихи, грустно глядя в отпотевшее окно, за которым идет дождь со снегом:

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.
Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое…

— А кто такой Усякин? — вдруг спрашивает Егоров.

Дежурный, вздрогнув и прищурившись, подозрительно смотрит на Егорова.

— А тебе зачем?

— Тут написано, — показывает Егоров.

— Мало что тут написано, — строго говорит дежурный. И опять садится за стол, сметая рукой обертку от печенья в специальную корзинку, стоящую подле стола.

Зайцев уже узнал, что этот дежурный по городу готовится в артисты.

«Все куда-нибудь готовятся, — уныло и завистливо думает Егоров. — А я…»

И не может додумать свою мысль до конца. Не успевает. На столе звонит телефон и спутывает мысли Егорова.

— Дежурный по городу Бармашев вас слушает, — говорит в телефонную трубку дежурный. И, как-то по-особенному вывернув ручку, записывает широким пером «рондо» очередное происшествие.

Почерк у дежурного тонкий, паутинный, со многими завитушками. И сколько Егоров ни вытягивает шею, он все равно не может прочитать, что там записывает в толстую тетрадь дежурный.

А Егорову хочется узнать, где что случилось. Каждый звонок волнует его. Но заговаривать с дежурным он больше не решается. Чего доброго, дежурный еще скажет: «А ну-ка, иди отсюда. Ты мне мешаешь…»

Егоров старается сидеть тихо. Вид у него вялый. Глядя со стороны, можно подумать, что он хочет спать. Но он спать совсем не хочет. Внутри у него все кипит и клокочет.

Уж лучше бы ему, чем сидеть вот так без толку, опять пойти по дворам. Если нет постоянной работы, можно наняться к кому-нибудь попилить, поколоть дрова, тем более у него есть хорошая лучковая пила и колун — еще от покойного отца остались. Все-таки заработок.

А то вечером придешь домой, сестра Катя спросит:

— Ну, как, сыщик, кого поймал?

— Никого я не поймал, но поймаю, — скажет Егоров. — Вот посмотришь, поймаю…

— Ну уж ладно, — невесело засмеется Катя. И поставит перед ним чугунок с теплыми картошками в мундирах. — Кушай уж что есть. И получше тебя люди не могут устроиться…

Прямо в горле останавливаются эти картошки. А что делать?

И Катю винить нельзя. Ей трудно, у нее трое ребятишек, без отца. Она целый день и ночь стирает и гладит, стирает и гладит.

А Егоров вот сидит в дежурке. И чего он сидит? На что надеется? Может, ничего из этого

сидения и не получится. Даже скорее всего — не получится.

А время идет. И это ведь не просто время идет — это жизнь проходит. Было Егорову семнадцать лет, зимой будет восемнадцать.

В Дударях он было хорошо устроился: жил у дяди, работал на маслозаводе. И грузчиком работал, и помощником аппаратчика. Неплохо работал, присматривался к делу. Но дядя внезапно на старости лет женился во второй раз. Новая жена стала настраивать дядю против племянника. Пришлось уехать обратно к сестре. И не рад теперь Егоров, что уехал из Дударей. Там он все-таки считался штатным работником. А тут он кто?

— Ты гляди, что нам дали, — вдруг появляется в дежурке Зайцев и протягивает Егорову две записки. — Это билеты. Нас приглашают как сотрудников. Будет вечер. В честь Октябрьской революции. И еще полагаются талоны в буфет. Пойдем к Зыбицкому, возьмем талоны… Да ты не рассиживайся, пойдем скорее. Что ты как сонный?..

Зайцев уже знает всех. И хотя на дверях комнаты, где сидит Зыбицкий, приколочена табличка «Посторонним вход воспрещен», Зайцев смело открывает эту дверь.

А Егоров остается в коридоре.

— Да иди ты, иди, — тянет его за собой Зайцев. — Тут написано: «посторонним». А мы же с тобой не посторонние, если нас, ты видишь, приглашают…

2

Худенькая, белобрысая, похожая на сердитую девочку Катя вся вдруг осветилась от счастья, увидев пригласительный билет. Не ее приглашали, а брата, но все равно она была в восторге. Особенно ей понравилось: «Дорогой товарищ Егоров!» («Дорогой товарищ» напечатано на машинке, а «Егоров» приписано от руки).

Катя несколько раз перечитала билет, словно хотела заучить его наизусть: «Организационная комиссия по проведению праздника Октябрьской революции приглашает вас на торжественный вечер. Доклад товарища Курычева. Художественная часть. В заключение — товарищеский чай».

— Вот оно как дело-то обернулось, — говорила Катя. — Ну, я очень рада за тебя, Саша. Очень рада. — И она поцеловала брата. — А я ведь, дура, до последнего не верила, что тебя примут…

— Да меня еще не приняли, — покраснел Егоров.

— Теперь уж примут. Обязательно примут, — уверяла Катя. — Теперь уж тебя выгнать не имеют права, если пригласили. И смотри, как пишут: «Дорогой товарищ Егоров». Значит, уважают…

— Да это всем так пишут…

— Нет, это уж ты мне не рассказывай — всем. Всем, да не каждому. Товарищеский чай. Но в чем же, мне интересно, ты пойдешь? Надо бы хоть рубашку тебе купить.

И утром в воскресенье, попросив соседку приглядеть за ребятишками, Катя повела Егорова на Чистяревскую улицу.

Было слякотно, туманно, но все еще не очень холодно. Никогда, говорят, в Сибири не было такой осени — то дождь, то снег, то опять дождь.

Прежде всего они зашли в красивый магазин с громадной вывеской «Петр Штейн и компания. Мануфактура и конфекцион».

Продавец им выбросил на прилавок несколько коробок с сорочками. Но Кате почему-то не понравилась ни одна. Нет, одну она как будто хотела купить. Подошла уже к кассе, стала пересчитывать деньги, завязанные в платке.

Долго пересчитывала. Толстый приказчик в пенсне насмешливо смотрел на ее худенькую фигурку в старомодном плюшевом жакете и на

Егорова в смешном, кургузом пиджачке и в гимназической фуражке.

Егорову вдруг стало тошно.

— Пойдем, — сказал он сестре. — Не надо мне никаких рубашек. — И пошел из магазина.

— Как же это так не надо? — заморгала белесыми ресницами Катя, но все-таки пошла вслед за ним.

Молча пройдя всю Чистяревскую, тускло поблескивавшую запотевшим стеклом витрин и полированной бронзой, они издали увидели в низине широкую площадь, где качались, как подсолнухи под ветром, шапки, шляпы, фуражки и рокотал многоголосый гул.

Вот уж где можно было купить все что угодно.

И на столах, и на прилавках, и на ручных тележках, и просто на рогожах на земле разложен разный товар.

Замки и старинные шкатулки, посуда и пряники, ватные пиджаки и балалайки, топоры и валенки, старые генеральские погоны и живые гуси.

И тут же лиса в клетке.

Егоров больше всего заинтересовался лисой, даже спросил, сколько она стоит. Но Катя ухватила его, как маленького, за руку и повлекла в

сторону.

Она увидела старуху, распялившую на палке не новую косоворотку. Цена была подходящей. Но Катя порядилась минут пять и заставила Егорова примерить покупку. Не раздеваясь, примерить, просто вытянуть руки — не коротки ли рукава. А пока он примерял, стала приценяться, к почти новому цвета морской волны френчу на руках у мальчишки.

Френч этот года два-три назад носил какой-то иностранный офицер-интервент, завезенный к нам из неведомых земель. Офицера, наверно, и убили в этом френче. Но сейчас не хотелось думать об этом, да и некогда было думать.

За френч и косоворотку удалось заплатить ненамного больше, чем за одну сорочку в магазине «Петр Штейн и компания».

Егоров надел френч и даже ростом стал как будто выше. А Катя, безмерно счастливая, оглядывала его со всех сторон и оправляла.

— Вот теперь ты сотрудник. Настоящий сотрудник. Я деньги берегла, хотела ребятишкам валенки на зиму купить, но теперь не жалею. Ребятишкам два шага до школы, им ничего не сделается. А тебе важнее, если тебя приняли на такую работу…

— Да меня еще не приняли, — опять покраснел Егоров.

— Значит, примут, обязательно примут, — успокоила его Катя. — Как же это могут не принять, если мы затратили такие деньги только на одну одежду…

У Егорова защемило сердце. Ведь вот что наделал этот пригласительный билет. Катя, расчувствовавшись, отдала почти все свои сбережения за френч и косоворотку. А вдруг Егорова все-таки не примут? Даже скорее всего — не примут.

Егоров предложил тут же сейчас продать его кургузый пиджачок, чтобы выручить хотя бы часть денег. Но Катя сказала, что сперва починит пиджачок, приведет в порядок, а потом будет видно — может, он и сам его еще поносит. Трепать такой красивый френч во всякое время нельзя.

Возвращались они с базара по одной из главных улиц — бывшей Петуховской, теперь Фридриха Энгельса.

Улица уже готовилась к празднику. Над фасадами домов плескались флаги.

На крышу самого высокого дома — почты — рабочие поднимали на веревках портрет Карла Маркса.

— Смотри, Катя, как красиво! И тут еще лампоч-

ки к вечеру зажгут, — показал Егоров на крышу.

— А чего красивого-то? — не обрадовалась Катя. — Буржуи как были, так и остались. Только название переменилось — нэпманы…

— Это временное явление, временные трудности, — тоном докладчика произнес Егоров. И ему самому не понравился этот тон. Не так бы надо разговаривать с родной сестрой. А как?

Катя сейчас, вот в эту минуту, беспокоится, конечно, не столько из-за новоявленных буржуев, сколько из-за того, что деньги, сбереженные ребятишкам на валенки, уже истрачены, почти все истрачены. И это понятно Егорову. А что касается буржуев и неустройства жизни, тут не все понятно и ему самому, хотя он комсомолец и должен бы уметь все объяснить. Но он не умеет и чувствует себя растерянным и виноватым перед Катей. Уж лучше бы не покупать эту рубашку и френч. Но что теперь делать? Куплены.

— Хорошо вам, мужикам, — опять говорит Катя. — Беспечные вы. Никакой-то заботушки у вас нет. А женщинам ох как трудно! Особенно с детями…

«И мужчинам трудно», — хотел бы сказать Егоров. Но он молчит. Не словами надо успокаивать Катю, а делом — заработком. А когда он будет,

заработок?

В ту же ночь Катя перелицевала воротник на френче, срезала малиновые лычки с серебряными птицами, перешила пуговицы. И когда Егоров снова примерил обнову, оглядев его, сказала:

— А этот офицерик, видать, был одного роста с тобой. Тоже, наверно, молоденький. Дурак, поехал воевать в Россию, даже в самую Сибирь. Вот и довоевался.

— Он же не сам поехал, — сказал Егоров, — его послали.

— Все равно дурак, прости меня, господи, — вздохнула Катя. — Теперь где-нибудь лежит закопанный. А ведь тоже, наверно, была у него мать или еще кто-нибудь. Я и про тебя тоже думаю. Радуемся, что поступаешь на работу, а ведь работа-то какая опасная…

— Сравнила! — возмутился Егоров. — Он же кто, этот офицер? Интервент. Все равно что бандит. А я…

— Ну ладно, ну ладно, — сказала Катя. — У тебя своя голова на плечах. Сам смотри, как тебе будет лучше. А люди, между прочим, выучиваются на счетоводов. И никого ловить не надо. Сиди в тепле, считай себе на счетах.

3

Вечер устраивали не в том помещении, где находился уголовный розыск, а рядом — где управление губернской милиции. И вход был с другого подъезда.

Окна на втором этаже были ярко освещены, когда Егоров подходил к зданию в восьмом часу вечера. И внутри победно играл духовой оркестр, сотрясая стены.

И может, именно духовой оркестр внушил Егорову внезапную робость. А вдруг его не пустят на вечер? Вдруг скажут, что это была ошибка с приглашением, что стажерам нельзя? А он вон как празднично приоделся, надел френч, начистил башмаки, постригся и причесался. Волосы еще мокрые после причесывания.

Двери были широко распахнуты, и с улицы, даже с той стороны улицы, видно, что каменная лестница тоже ярко освещена и устлана коврами.

На ковре у входа стоял дежурный по городу, старший уполномоченный Бармашев в синей шерстяной толстовке и в серебряного цвета брюках дудочкой, как было модно в ту пору.

Егоров хотел незаметно пройти мимо него. Да-

же подождал у дверей в надежде, что Бармашев уйдет: долго и старательно вытирал подошвы. Но Бармашев увидел Егорова, заулыбался и сказал:

— Приветствую, — и протянул ему руку. — Фуражку можешь повесить вон туда, на вешалку. Проходи. Очень приятно.

На втором этаже, в светлом коридоре, прогуливалось уже много приглашенных мужчин и женщин. Пахло духами, пудрой, легким табаком и чем-то неуловимо волнующим, чем пахнут праздники нашего детства, нашей юности.

Егоров поднялся на второй этаж и сразу остановился. Ему показалось, что все теперь смотрят только на него. А этот, мол, еще откуда взялся?

Знакомых не было видно. Да и откуда тут возьмутся знакомые?

Мимо прошел чем-то озабоченный Бармашев. Видимо, и здесь он дежурный по вечеру. Оглянувшись на Егорова, он вдруг потрогал его за плечо. И это легкое прикосновение было необыкновенно приятно Егорову.

Потом всех пригласили в зал, в тот самый зал, где в обычные дни за тесно составленными столами сидят милицейские служащие, стучат машинки, прикладываются печати, толпятся посетители.

Теперь столов тут не было. Были рядами выстроены стулья и сооружен помост с трибуной и единственным длинным столом, устланным красной материей.

Егоров не пробивался в первый ряд, но как-то так случилось, что он оказался в первом ряду и впервые в жизни увидел самого товарища Курычева. Даже рябинки на его лице увидел.

Товарищ Курычев, опираясь на трибуну, делал доклад.

Егоров неотрывно смотрел на Курычева. И ему казалось, что и Курычев смотрит с трибуны только на него.

А может, оно так и было? Докладчики ведь часто почти бессознательно выбирают в зале кого-нибудь одного, на кого бы можно было опереться глазами. Вот Курычев и выбрал Егорова, еще не зная, кто такой Егоров.

А Егоров, разглядывая Курычева, только и думает о том, что перед ним стоит человек, от которого будет зависеть вся его дальнейшая судьба. Примет Курычев Егорова на работу или не примет?

Только о судьбе своей и думает Егоров. Но вот до сознания его долетает фамилия — Воровский. Этого Воровского недавно убили где-то в Лозанне, в отеле «Сесиль». Он был нашим представителем.

Его убили враги нашего государства.

Никаких подробностей убийства докладчик не приводит. Он называет дальше новую фамилию — Керзон оф Кедльстон.

Этого Егоров знает. Не лично знает, но слышал.

Еще весной, когда Егоров жил в Дударях, был митинг по поводу этого лорда Керзона. Он предъявил нам ультиматум, грозил войной, если мы чего-то не выполним, а мы этого как раз вовсе не хотим выполнять. И не обязаны, потому что мы против мировой буржуазии. Мы за рабочий класс. За весь рабочий класс, какой есть на всем земном шаре. Поэтому мы сейчас приветствуем рабочих немецкого города Гамбурга, которые вот в эти дни ведут ожесточенные уличные бои с полицией.

— …Мы посылаем им сейчас отсюда наш пролетарский пламенный привет, — говорит товарищ Курычев.

И весь зал аплодирует.

И Егоров аплодирует.

Потом товарищ Курычев объясняет, почему мы еще допускаем буржуазию торговать и даже позволяем частникам открывать заводы. И приводит подлинные слова Владимира Ильича Ленина: «…Мы сейчас отступаем, как бы отступаем назад,

но мы это делаем, чтобы сначала отступить, а потом разбежаться и сильнее прыгнуть вперед. Только под одним этим условием мы отступили назад в проведении нашей новой экономической политики. Где и как мы должны теперь перестроиться, приспособиться, переорганизоваться, чтобы после отступления начать упорнейшее наступление вперед, мы еще не знаем. Чтобы провести все эти действия в нормальном порядке, нужно, как говорит пословица, не десять, а сто раз примерить, прежде чем решить».

— Вот это подлинные ленинские слова, — говорит Курычев. — Я надеюсь, вам понятна вся сложность и все неимоверные трудности, в которых мы живем. — И опять смотрит на Егорова.

И Егоров невольно кивает в подтверждение того, что ему все, решительно все понятно. А чего же тут не понять! Только Катя все обижается, что ей с ребятишками очень трудно. Но ведь всем трудно, всему народу.

Однако есть надежда, что дела исправятся, как дальше доказывает докладчик. И приводит цифры добычи угля в Донбассе.

Докладчик считает уголь на пуды, на тысячи пудов. И так по его словам получается, что угля у нас в будущем году будет больше. Ненамного

больше, но все-таки больше. Как-никак уже добыто пятьдесят один миллион пудов. И значит, мы постепенно ликвидируем послевоенную разруху, откроем новые заводы, сократим безработицу. А кроме того, наше правительство купило недавно в Америке триста тракторов.

— Таким образом, — говорит докладчик, — наша с вами судьба, товарищи, зависит сейчас не только от нас самих, но и от многих мировых факторов.

«Факторы» — это еще непонятно Егорову. Но ему становится вдруг понятным, что и его судьба теперь зависит, пожалуй, не только от товарища Курычева. Она связана, его судьба, и с добычей угля в Донбассе, и с боями в Гамбурге, и еще со многим, что происходит вдалеке от него, но имеет к нему, однако, прямое отношение. Он усваивает это не столько умом, сколько сердцем. И его охватывает необыкновенное, еще до конца не осознанное волнение.

— Теперь возьмем такой факт, — вытирает носовым платком лицо и шею товарищ Курычев. — Генерал Пепеляев, как вы знаете, недавно разбит. Его банды рассеяны, но не ликвидированы полностью. Они еще бродят по тайге, совершают набеги на сельские местности и поль-

зуются поддержкой кулачества. Кое-кому они внушают надежду, что все еще переменится, что еще повторится интервенция. В деревне идет глухая классовая борьба. Она идет и в городе. Нэпманские элементы еще надеются, что им удастся хотя бы тихой сапой одолеть советскую власть. Они занимаются хищением, применяют обман, и подкуп, и другие подлости. Вы же знаете, что нам пришлось недавно удалить из нашего аппарата несколько старых работников, уличенных во взяточничестве и грязных связях с нэпманскими элементами. Мы сейчас делаем ставку на молодые кадры работников. Мы должны быть уверены в их неподкупности…

Глаза у товарища Курычева вдруг стали колючими. И вот такими глазами он смотрит на Егорова. И хотя Егоров ни в чем не виноват, он ежится под этим взглядом. И в то же время улавливает в голосе докладчика какую-то особенность, которая чуть расхолаживает его, Егорова. Есть в докладчике некоторая простоватость, не такой уж он, наверно, необыкновенный человек, как показалось Егорову вначале.

— …Во всяком случае, мы всегда должны быть начеку, — говорит товарищ Курычев. — А у нас еще есть товарищи, которые начинают почему-

то думать, что мы уже всего достигли. А нам еще надо перестроить весь мир. Наша жизнь еще, как указывает товарищ Ленин, по-настоящему не налажена. В нашей жизни еще имеется много мусора, который надо изымать, чтобы можно было быстрее строить новую жизнь. Нам надо всеми силами насаждать революционную законность, беспощадно карать врагов нашего молодого государства, а также приводить в чувство тех, кто озорует, не желая войти в политическое сознание. Да чего далеко ходить! Вчерашний день в ресторане «Калькутта» опять бандиты зарезали пьяного. А он оказался кассиром, который спокойно и бессовестно пропивал государственные деньги! Где же, я спрашиваю, были мы? Где была наша революционная бдительность в обоих случаях, когда, с одной стороны, этот преступный кассир брал из кассы деньги, а с другой стороны, рисковал своей жизнью в ресторане «Калькутта»?..

4

После доклада был перерыв. Многие вышли в коридор поразмяться, покурить.

А Егоров продолжал сидеть в зале, боясь потерять это удобное место. Ведь уже объявили: после

перерыва будет художественная часть.

Он сидел, положив локоть на спинку стула, и рассеянно оглядывал зал.

Вдруг ему кто-то замахал рукой от дверей. Кто же это может быть? Ах, да это же Зайцев!..

Егоров не сразу узнал его.

Зайцев подошел к нему. Он был в сером, излишне свободном костюме.

«Наверно, в отцовском», — подумал Егоров.

Рыжие волосы Зайцева, всегда укрытые кепкой, сейчас пылали при ярком электрическом свете. И вздернутый нос, слегка облупленный, сиял, будто чем-то намазанный. А может, и правда намазанный? Егоров, улыбнувшись, подумал, что у Зайцева, наверно, постоянный жар и от этого облупился нос. Больше не от чего — лето давно прошло.

Зайцев хлопнул Егорова по колену и сел рядом.

— Слыхал, что Курычев-то говорит? — весело спросил Зайцев. — Нужны, мол, молодые кадры, насаждать революционную законность. Даже в самом срочном порядке. А Жур, между прочим, все еще лежит в больнице, и мы из-за него должны баклуши бить. Нет, это надо поломать. Надо пойти прямо к самому Курычеву и поставить

вопрос вот так: или — или…

Егоров боялся ставить вопрос вот так, как советовал Зайцев. Да и Зайцев, пожалуй, излишне горячился. Ни к кому он, скорее всего, не пойдет, ничего не скажет. Но Егорову все-таки понравился этот решительный тон, и он сказал:

— Для такой работы, как эта, я считаю, надо иметь особые способности, как вот у тебя. А я еще про себя не знаю…

— Ну что ты! — засмеялся Зайцев. И пожалел Егорова: — И у тебя хорошие способности будут. Если, конечно, приложишь старание… — И, не посчитавшись с тем, что они соперники — ведь все еще не ясно, кто из них остается на работе и кому придется уйти, — вынул из кармана потрепанное произведение господина Сигимицу, с которым он теперь, должно быть, не расставался. — Вот интересная книжонка, смотри. Если хочешь, ознакомься. По-моему, мировая книжонка, хотя автор явно не наш человек…

Егоров раскрыл книжку, прочитал название и сразу углубился в чтение. Но тут началась художественная часть. Зайцев ушел в задние ряды.

На подмостках появился Бармашев. Он весело, с прибаутками, объявлял артистов.

Первыми выступали какие-то молодые парни

и девушки, одетые как испанцы, — в черных плащах и в широкополых шляпах. Они лихо плясали, били в бубен и пели частушки про лорда Керзона и про наши самолеты, которые мы выстроим назло всем керзонам.

Егорову это все так понравилось, что он сам стал тихонько притопывать ногой в такт пению. И случайно прихлопнул носок сапога своего соседа, какого-то важного старичка в милицейской форме, сидевшего рядом с женой.

— Извиняюсь, — сконфузился Егоров.

— Ничего, — сказал сосед. И кивнул на подмостки: — Действительно здорово поют. И все в самую точку. В самую точку. До чего способные и политически подкованные люди…

Машинистка милиции Клеопатра Семенова, как ее объявил Бармашев, спела под аккомпанемент рояля романс «Отцвели уж давно хризантемы в саду». Потом два милиционера в форменных брюках, но без гимнастерок продемонстрировали спортивные упражнения на брусьях, старший делопроизводитель сыграл на гитаре и спел под собственный аккомпанемент «Вот вспыхнуло утро, румянятся воды, над озером быстрая чайка летит…». Уполномоченный угрозыска Воробейчик показал фокусы с картами.

Наибольший успех, однако, имел Бармашев, читавший стихи Сергея Есенина.

И это было особенно приятно Егорову. Он вспомнил, как Бармашев разучивал эти стихи в дежурке в его присутствии.

Егоров больше уже не обижался на него за то, что дежурный по городу относился к нему еще два дня назад как к неодушевленному предмету.

Внизу, в первом этаже, были накрыты столы.

Перед каждым приглашенным поставили стакан с чаем и тарелку с бутербродами, яблоками и конфетами.

Яблоки и конфеты Егоров сразу же спрятал в карман. Потом, подумав, аккуратно завернул в чистый носовой платок бутерброды с сыром и брынзой. Все это он унесет домой племянникам и Кате.

Только бутерброды с вареньем и омулевой икрой он решил съесть сам, а то, чего доброго, измажешь икрой и вареньем карманы.

Зайцев сидел у другого конца стола и все время наклонялся к какой-то девушке с алой лентой в черных волосах.

«Хорошенькая, — подумал, глядя на нее издали, Егоров. И еще подумал: — Как в песне: „Вьется алая лента игриво в волосах твоих, черных как

ночь“».

Зайцев оставил свою девушку и ушел ненадолго.

Потом он появился с бутылкой пива и закричал через стол, как у себя дома:

— Егоров, иди сюда!

Егоров уже допил чай и подошел.

— Пива хочешь? — спросил Зайцев. И стал наливать в стаканы сначала девушке, потом Егорову пиво. И себе налил. — Давайте чокнемся. Нет, неправильно. Вы сперва познакомьтесь.

Девушка протянула Егорову левую руку — в правой пиво — и сказала:

— Рая.

— Егоров, — сказал Егоров. И покраснел. И от смущения нахмурился. И так, нахмурившись, спросил Зайцева: — А пиво это откуда?

— Тут же еще один буфет — за деньги, — кивнул на дверь Зайцев. И засмеялся, облизывая губы. — Ты как будто первый раз сюда пришел.

— А я и правда первый раз, — сознался Егоров. Но если б он даже знал, что здесь продают пиво, все равно не купил бы. На что он купит?

А Зайцев купил не только бутылку пива, но и две толстые конфеты в красивых бумажках — девушке и Егорову. От конфеты Егоров отказался.

— Это откуда девушка? — негромко поинтересовался он, отозвав Зайцева в сторону. — Тоже здешняя? Сотрудница?

— Нет, зачем! — улыбнулся Зайцев. — Это просто моя девушка. Знакомая.

— А как она сюда попала?

— Обыкновенно. Я ее провел. Взял у Бармашева билет и провел…

Егорову даже стало как-то обидно. Он стеснялся сюда идти, боялся, что его не пустят. А Зайцев не только сам прошел, но и девушку свою провел. Не побоялся.

И еще удивился Егоров, что у Зайцева уже есть своя девушка, хотя Зайцев старше Егорова всего месяца на три.

А у Егорова не было девушки, про которую бы можно было сказать, что он за ней ухаживает. Он, пожалуй бы, даже не решился пойти вот так куда-нибудь на вечер с девушкой. Ему бы совестно было, неловко.

Года два назад, когда еще был жив отец и Егоров учился в школе, ему сильно нравилась одна девочка — Аня Иващенко. Он, наверно, влюбился в нее. Конечно, влюбился. И написал ей стихи.

Он тогда еще писал стихи и мечтал стать поэтом. Но не стал. И теперь уже не станет. Сам

знает, что не станет. А тогда писал. Тайно писал. Никому не показывал. Нет, показывал. Но только одному человеку — Ваньке Маничеву. Они сидели за одной партой.

Ванька Маничев был старше его года на два, учился плохо, но считал себя очень умным и говорил: «Ты, даю тебе слово, Егоров, будешь как… как, я не знаю кто… как Пушкин. Или, в крайнем случае, как Лермонтов».

Да, правда, только Маничеву Егоров показывал свои стихи, больше никому. И Ане Иващенко не показывал. Да она и не обращала на него никакого внимания, хотя, наверно, заметно было, что он в нее влюблен.

Он подружился тогда с ее братом, мальчишкой пронырливым, жадным, выпрашивавшим в школе дополнительные завтраки. Егорову была особенно противна его жадность. Но Егоров все-таки подружился с ним, подарил ему двух лучших голубей. Все для того, чтобы бывать у них в доме и хоть мельком видеть Аню, слышать ее голос.

Егоров даже заикался, когда разговаривал с ней. А она все равно не обращала на него никакого внимания. А почему?

Егоров, сидя сейчас за длинным столом, по-

крытым белой скатертью, как бы нечаянно посмотрелся в большое зеркало. И в зеркале увидел не только себя, но и Зайцева, и его девушку.

Нельзя, пожалуй, сказать, что Егоров хуже Зайцева на вид. Егоров и ростом выше, и плечистее, и нос у него не облупленный, и темные волосы хорошо причесаны.

«Шатен» называется мужчина, у которого такие волосы. Егоров шатен, а не рыжий, как Зайцев.

Но все-таки Зайцев, а не Егоров пришел сюда с этой хорошенькой девушкой. И легче все в жизни достается Зайцеву.

Наверху, на втором этаже, опять загремел духовой оркестр.

Начались танцы. Все пошли наверх. Зайцев пошел со своей девушкой. И Егоров.

Весь вечер Зайцев танцевал с кем хотел. И девушка его танцевала то с Зайцевым, то еще с кем-нибудь.

А Егоров хорошо устроился на стуле в коридоре и вчитывался в книжку господина Сигимицу. Любопытная книжка. И хорошо ее тут читать под музыку. И музыку слушаешь и читаешь.

Егоров уже немало книг прочел в своей жизни. Особенно много он читал в Дударях. Делать там нечего было по вечерам. Он брал книги в библио-

теке и читал.

Он даже старался прочитать «Капитал» Карла Маркса. Но ничего не понял. И чуть не заболел от досады. Ему было обидно, что все читают и понимают или говорят, что читают и понимают, а он вот один не понимает. Ну никак не понимает! Что он, глупее всех, что ли?

Его успокоила одна учительница, сказала, что у него недостаточно образования для такого чтения, и посоветовала читать пока другие книги.

Он прочитал о звездах, о происхождении жизни на Земле, о дальних странах — таких, как Индия. Потом читал романы Гончарова, Диккенса, Тургенева, читал и делал выписки, как его научили.

И из этой книжки господина Сигимицу он тоже сделает выписки. Тем более что это теперь ему надо для работы, если его, конечно, возьмут на работу.

Он спрятал книжку в карман и решил идти домой. Но из зала вышел разгоряченный танцами Зайцев.

— А ты чего не танцуешь? Хочешь, потанцуй с моей девушкой. Запомни: ее зовут Рая.

Егорову отчего-то было неловко сказать, что он не танцует, не умеет. Он сказал:

— Не стоит сейчас. После. Я домой пойду.

— А что ты такой невеселый? Вроде печальный.

— Я думаю, — сказал Егоров.

Зайцев засмеялся:

— Все думают, но у тебя вид какой-то постный. Ты что, все тревожишься, что тебя на работу, думаешь, не возьмут?

— Да это пустяки, — слукавил Егоров. — В крайнем случае я в какое-нибудь другое место устроюсь.

— А я нет, — сделал сердитые глаза Зайцев. — Я все равно тут останусь. Мне просто нравится эта работа. Я хотел или в матросы пойти, или сюда. Мой отец работает в артели «Металлист»…

— Это его костюмчик? — кивнул Егоров.

— Его, — опять засмеялся Зайцев. — Так вот, я говорю, мой отец работает мастером в артели «Металлист». Он все уговаривал меня, чтобы я тоже к ним в артель пошел. А что мне за интерес делать замки!

У Егорова мелькнула мысль: «А что, если через Зайцева устроиться в эту артель? Вот было бы дело! Во-первых, специальность…»

Но Егоров тут же отогнал эту мысль. Из самолюбия отогнал. Если Зайцев считает, что его, Зайцева, обязательно примут на работу в уголов-

ный розыск, почему он, Егоров, должен считать себя хуже Зайцева?

Конечно, Зайцев более шустрый. Шустрых все любят. Однако пока еще ничего не известно.

5

Вернувшись домой, Егоров всю ночь при керосиновой лампе изучал произведение господина Сигимицу. Вот именно изучал. Читал, и перечитывал, и делал выписки.

И под утро пришел к убеждению, что он, Егоров, способен с помощью этой книги усовершенствовать свою мускулатуру ничуть не хуже любого моряка или офицера. Все дело в упорстве, в систематичности занятий, как уверяет господин Сигимицу. Ну что ж, Егоров, если надо, проявит упорство. Посмотрим, что из этого получится.

После торжественного вечера в честь Октябрьской революции, после доклада и товарищеского чая, после всей этой веселой, бодрящей душу праздничности он, несмотря на прежние сомнения, был все-таки полон самых, как говорится, радужных надежд.

Однако положение его в дежурке и после праздника ни в чем не изменилось. По-прежнему дни его текли бесплодно.

Бармашев, казавшийся таким любезным на вечере, опять как будто не узнавал Егорова. Опять во время своего дежурства он принимал его за неодушевленный предмет. Опять, не глядя на него, пил из термоса чай с печеньем «Яхта», смотрелся в зеркало и читал стихи, по-петушиному отставив ногу.

Все, словом, было по-прежнему. И по-прежнему Егоров сидел в дежурке в старом черном пиджаке с короткими рукавами. Френч цвета морской волны он решил, по совету Кати, не носить, пока не определится его судьба.

И пока судьба его не определилась, Егоров не обижался на Бармашева. И на Воробейчика не обижался, когда дежурил Воробейчик. Хотя другого человека нахальнее Воробейчика, наверное, нет на всей земле.

Егоров был занят, если можно так сказать, проверкой учения господина Сигимицу.

В этой великой книге были рекомендованы, между прочим, верные способы укрепления кисти руки.

Для этого надо было постоянно ребром ладони постукивать о какой-нибудь твердый, желательно деревянный, предмет, и ладонь постепенно приобретает прочность камня или железа.

Чтобы не терять даром времени, Егоров, сидя в дежурке, в часы наибольшего шума и суеты добросовестно и терпеливо постукивал о край скамейки ребром ладони то одной, то другой руки, то обеими вместе.

И действительно, вскорости он убедился, что господин Сигимицу в общем не врет, ладони в самом деле как будто твердеют.

Егоров продолжал еще с большей энергией стучать о край скамейки.

Делал он это, как ему казалось, незаметно для окружающих. Да и кто будет обращать на него внимание среди множества людей? Но дежурный по городу Воробейчик все-таки заметил его странные движения и однажды спросил:

— Ты чего дергаешься? Ты нервный, что ли?

— Не особенно, — конфузливо сказал Егоров.

Сказать, что он не нервный, как требовалось бы для этого дела, он не решился. Посовестился. Не хотел врать.

Может, он действительно нервный, даже скорее всего нервный.

Весь этот шум в дежурке, все эти разговоры о происшествиях, о разных несчастьях и несчастные люди, которых он видит здесь, угнетают его.

Если б он не посидел несколько дней, как те-

перь, в дежурке уголовного розыска, он, наверно, никогда бы не узнал, что на свете, вот лишь в одном городе, столько несчастий.

А человек, было написано в одной книге, создан для счастья, как птица для полета. Егорову в свое время так понравились эти слова, что он выписал их в тетрадку.

Но откуда берутся несчастья?

Откуда появляются воры, грабители, убийцы или вот такие женщины, как эта, что стоит сейчас у стола дежурного, в сбитой на затылок шляпке, и рыдает, и сморкается, и опять рыдает?

Волосы у нее распущены. На тонких ногах шелковые, скользкие чулки.

— Да не убивала я его! — кричит и плачет она. — Он был из себя очень полный, представительный, в хороших годах. Он покушал немножко портвейну, прилег и помер. А что у него были деньги, я вовсе не знала. Мне, правда, Лидка говорила — вы же знаете Лидку Комод! — что он будто сам из нэпманов, что у него будто свой магазин на Чистяревской. Но я не знала. Он только обнял меня, вот так, и говорит…

— Ну ладно, прекрати. Ты это расскажешь следователю, — оборвал ее дежурный по городу Воробейчик. И покосился в угол. — Тут дети…

— Да какие это дети! — опять закричала женщина. — Это не дети, а первые бандиты. Они сейчас сумку у меня выхватили в коридоре. Велите им, гражданин начальниц, отдать сумку…

— Эй вы, орлы! — повернулся в угол Воробейчик.

Он, видимо, хотел сказать этим беспризорным мальчишкам, стеснившимся в углу, чтобы они отдали сумку. Но на столе зазвонил телефон.

Воробейчик снял трубку. На Бакаревской улице только что ограбили сберегательную кассу.

— Водянков! — закричал Воробейчик. — Давай на Бакаревскую. Возьми с собой Солдатенкова. Дом номер четыре. Сберкасса.

А мальчишки достали откуда-то белую булку, рвут ее грязными руками, едят и хохочут.

И Егорову, когда он смотрит на них, тоже хочется есть. И хочется узнать: откуда взялись эти мальчишки, где их родители, что они такое натворили, за что попали сюда? И еще интересно, правда ли, что эта женщина, переставшая теперь плакать, убила нэпмана?

Все это хорошо бы выяснить Егорову. Но, кроме него, это, должно быть, никому тут не интересно.

Воробейчик говорит милиционеру, кивнув на

женщину:

— Эту уведи в шестой номер. Я ее записываю за Савельевым. А этих, — он показывает на мальчишек, — пусть заберет Михаил Кузьмич. — И смотрит на потерпевших, сидящих у стены. — Ну, кто тут еще?

Воробейчик, наверно, сейчас же забыл о тех, кого увели. Он опрашивает уже новых людей. А Егоров все еще думает о той женщине и о мальчишках. И неловко признаться, что его печалит их судьба, словно они ему родные, словно он, Егоров, чего-то недоглядел и вот из-за этого произошло несчастье или еще скоро произойдет.

6

Вечером Зайцев зовет Егорова в «Париж».

— Да ты не стесняйся, — говорит Зайцев. — У меня есть деньги. В крайнем случае ты тоже меня потом пригласишь… Что мы с тобой, в последний раз, что ли, видимся?

А откуда, интересно, у Зайцева деньги?

У Егорова даже двадцати копеек не бывает. Он и на стрижку, как ни стыдно, у сестры берет.

А Зайцев, это заметно, всегда при деньгах. И на вечере тогда он пиво покупал.

Они идут через Сенной базар, мимо широких

ворот пожарной команды, мимо сломанного памятника царю Александру Второму, разговаривают обо всем. Но Егоров все думает: «Откуда у Зайцева деньги?» Наконец спрашивает:

— Тебе деньги отец дает?

— Нет, зачем! Я сам зарабатываю…

— А как?

— Очень просто. Я в газете пишу. Если где замечу непорядок, сейчас же подаю в газету заметку. Вот, например, тут в прошлом году прессованное сено сложили, а укрыть не укрыли. Оно сгнило. Я написал, что надо бы дать по рукам…

— А как подписываешься?

— «Глаз».

Это почему-то удивило Егорова.

— Глаз?

— Ну да, Глаз. Мне платят за это как рабкору. Немного, но все-таки платят. Я могу и больше зарабатывать… Сколько захочу, столько и заработаю. Я могу даже фельетончик написать.

— А почему ты не поступишь на постоянно в редакцию?

— Не хочу.

Этот ответ просто ошеломляет Егорова. Зайцев ведет себя так, будто все в мире зависит только от него, Зайцева. Куда захочет, туда и поступит.

И не похоже, что он хвастается. Нет, он, наверно, в самом деле так думает, так уверен, что удастся все, что захочет.

— Я же тебе говорил, что я люблю эту работу в уголовном розыске, — напоминает Зайцев их разговор на вечере.

И это тоже удивительно Егорову. Как это можно любить или не любить работу? Да Егоров стал бы хоть камни на себе перетаскивать, лишь бы платили, лишь бы не сидеть на шее у Кати, не ходить вот так в ресторан на чужой счет.

В «Париже» они сидят за столиком у стены, под пальмой. А над ними висит клетка с канарейками. Играет музыка. И большая белотелая женщина с красиво изогнутыми бровями поет на подмостках, точно желая успокоить Егорова:

Пусть ямщик снова песню затянет,
Ветер будет ему подпевать.
Что прошло, никогда не настанет,
Так зачем же, зачем горевать?..

В жизни Егорова еще ничего не прошло. Или прошло пока что очень мало. Жизнь его, по сути дела, только начинается. Но как-то странно она начинается.

Отец сперва хотел, чтобы сын стал кровель-

щиком, как он сам, как дедушка. Потом отец переменил свое мнение, стал говорить, что сыну лучше всего после школы выучиться на слесаря-водопроводчика. Но отец умер.

И Егоров так ни на кого и не выучился…

— Ты где на комсомольском учете состоишь? — наливает ему пиво Зайцев.

— Пока нигде, — поднимает стакан Егоров и сдувает пену. — У меня учетная карточка еще в Дударях.

— А членские взносы ты платишь?

— Пока не платил. Не с чего платить. Я же не считаюсь безработным. На бирже труда не состою.

— Ты смотри, как бы тебя не погнали из комсомола. Ты возьмись на учет в управлении милиции.

— Да кто же меня примет?

— Примут. Я уже взялся. Мне вчера дали одно комсомольское поручение. Буду драмкружок организовывать.

Егоров опять удивлен:

— Ей-богу?

— Комсомолец не должен говорить «ей-богу». Пора от этого отвыкать, — нравоучительно произносит Зайцев. И прищуривается точно так, как

дежурный по городу Бармашев. — Ты что, в бога веришь?

— Не верю, но… — Егоров ставит стакан на стол, — но просто такая привычка. — И вдруг сердится: «Что он меня учит? Подумаешь, какой большевик с подпольным стажем…»

Но Зайцев как будто не замечает, что Егоров сердится. Или в самом деле не замечает.

— Да ты пей пиво, — кивает он на стакан. — Сейчас поедим пельменей, и у меня есть предложение…

Егоров пьет пиво медленно, мелкими глотками. Оно приятно холодит рот, горло. Во рту у него была сегодня весь день неприятная сухость. Уж не простудился ли он?

Не френч бы ему надо было покупать, а башмаки. Они совсем прохудились. Ноги по такой слякоти все время мокрые.

— У меня есть вот какое предложение, — говорит Зайцев Егорову, когда официантка подносит им пельмени. — Вы тарелки-то как держите? — вдруг спрашивает он официантку. — Вы же пальцы туда макаете. А ресторан, между прочим, называется «Париж».

— Да ладно, — машет рукой Егоров.

— Ничего не ладно. В другой раз вызову хозяи-

на, заставлю переменить. Идите, нечего на меня глазеть! На первый раз я это дело прощаю.

— Да не стоит с ними затеваться, — машет рукой уже с ложкой Егоров. — Они, эти официантки, тоже, можно сказать, рабочий класс. Работают от хозяина.

— Вот в том-то и дело, я заметил, — не может успокоиться Зайцев, — когда сюда зайдет какой-нибудь толстопузый нэпман, так они готовы в три погибели изогнуться. А когда зашли, они видят, простые ребята, значит, можно без подноса… Нет, это дело надо поломать. — Зайцев берет ложку. — Так вот какое у меня есть предложение, — говорит он, осторожно пробуя горячий бульон. И вдруг кричит: — Перец!

Поперчив пельмени, он с удовольствием их ест, прихлебывая пиво. И уж потом выкладывает свое предложение:

— Надо бы навестить Жура.

Эта мысль, такая простая и ясная, могла бы, кажется, давно прийти и в голову Егорову. Но не приходила. И может быть, не пришла бы. А Зайцев уже все обдумал.

— Вообще-то, — ковыряет он в зубах спичкой, — я сейчас не держусь за Жура. Я мог бы работать, допустим, с Водянковым. Он даже согласен взять

меня к себе. Но ему неудобно перед Журом. Поэтому нам лучше всего завтра пойти в больницу и узнать, какие дела у Жура. Может, он еще год собирается болеть…

И тут, между прочим, выясняется уж совсем удивительная подробность.

Оказывается, пока Егоров все эти дни сидел в дежурке, Зайцев сумел побывать на четырех происшествиях.

Водянков сегодня искал Солдатенкова, чтобы ехать на Бакаревскую, где ограбили сберкассу. Но Солдатенкова вызвали к начальнику. А тут подвернулся Зайцев. И Водянков его взял с собой.

Рассказывая Егорову об этом происшествии, Зайцев свободно пользовался словами из обихода уголовного розыска, как будто он не дни, а годы провел в этом учреждении.

Он восхищался Водянковым, который «сразу наколол наводчика».

Наводчиком оказался племянник сторожа соседнего со сберкассой дома.

— Рыжий, вроде меня, и наших лет с тобой парнишка, но дурак, — смеялся Зайцев. — Когда Водянков начал допрашивать его дядю, он хотел тут же подорвать когти. Бросился к окошку, но я тут же сшиб его с ног. Знаешь, тем приемом?

Вот так… А потом, когда мы его вели, он сразу же раскололся, раскис. Говорит: «Я год был безработным, прямо все продал с себя, поехал к дяде, познакомился тут с одними ребятами…» И плачет…

— А может, он правда был безработным, — предположил Егоров.

Зайцев прищурился:

— Ты что, его жалеешь? Воров жалеешь?

— Не жалею, — смутился Егоров. И опустил глаза в пустую тарелку. — Но все-таки, когда посмотришь на это, как сегодня в дежурке, неприятно…

— Все равно надо кончать эту публику, — решительно заявил Зайцев. И постучал ножом по тарелке, подзывая официантку. — Вечером просто нельзя пройти по саду Розы Люксембург. Вырывают у женщин сумки. Даже у моей девушки — помнишь эту Раю? — чуть не вырвали…

Егоров опять вспомнил женщину, которая будто бы убила нэпмана, и мальчишек, вырвавших у нее сумку.

— А с твоим характером, я тебя предупреждаю, тебе будет худо, — сказал Зайцев. — Характер тебе придется менять.

— Ну да, — согласился Егоров. И в задумчивости

стал постукивать ребром ладони о край стола, как рекомендует господин Сигимицу.

Это превращалось в привычку.

7

Утром они решили навестить Жура в больнице. Но когда они явились в уголовный розыск, чтобы спросить разрешение на отлучку и узнать точный адрес, Воробейчик им сказал, что Жур ходит где-то тут. И они сию же минуту увидели Жура.

Высокий, плечистый Жур изрядно похудел, побледнел. Веселые глаза его запали. Но, увидев практикантов, он заулыбался:

— Ну как, ребята, вас еще не подстрелили? А я вот досрочно встал на текущий ремонт. — И он пошевелил правой толстой забинтованной рукой, висевшей на черной повязке. — Такие дела, такая работа…

Он долго перелистывал журнал происшествий. Потом сказал дежурному по городу Воробейчику:

— Ты мне больших дел не давай. Я еще числюсь на больничном листе. У меня рука. Но дай что-нибудь такое не очень хлопотное, чтобы с ребятами съездить. — И кивнул на Егорова и Зайцева. — Огневые, видать, ребята.

Эта случайная и еще не заслуженная похвала

не обрадовала, а, пожалуй, встревожила Егорова. «Огневые»! Зайцев — это правда, огневой. А про себя Егоров не решился бы такое сказать.

И даже чуть струхнул. Вот сейчас начинается самое главное. Они поедут, как говорят тут, на дело, где надо будет действовать в опасных условиях, и сразу обнаружится, что Егоров не годится. «Хотя почему это вдруг? — про себя обиделся Егоров. — Еще ничего не известно. Посмотрим».

— Тут у меня есть одно дело, такое вроде ученическое, — сказал дежурный по городу. — Аптекарь какой-то не то отравился, не то удавился. На Поливановской улице, номер четырнадцать. Против приюта для глухонемых…

— Вот, вот, это подходяще, — почти обрадовался Жур. — Надо только вызвать Каца.

— Кац тут, — сказал дежурный.

И вскоре пришел Кац, худенький старичок с маленьким чемоданчиком.

— А как же с оружием? — спросил Зайцев. — Нам надо бы хоть какие-нибудь пистолеты. Так-то, пожалуй, с голыми руками будет неудобно…

— Да они сейчас ни к чему, — улыбнулся Жур. — Но если есть нетерпение, можем достать…

Зайцеву он вручил браунинг, а Егорову наган.

Зайцев подошел к окну и стал передергивать затвор.

— Ты погоди, — остановил его Жур. — Как бы ты не ахнул в окно.

— Да нет, я умею, — сказал Зайцев. — Мне уже сегодня Водянков давал точно такой. Это же, кажется, бельгийский, первый номер, если я не ошибаюсь. — И Зайцев сунул пистолет в карман.

А Егоров не решился поступить таким же образом. Он опасливо держал револьвер в руке до тех пор, пока Жур не объяснил ему, как нужно обращаться с таким оружием. Жур посоветовал носить наган под пиджаком на ремне, вот с этой стороны, как у самого Жура.

Егоров легко приспособил наган, положил в кармашек за пазухой, как орехи, десяток патронов и готов был к любым действиям. Но его знобило. И он не мог понять, отчего его знобит. От простуды или от предчувствия опасности? И во рту была нестерпимая сухость. Все время надо было облизывать губы, а они от этого потом потрескаются. Неужели он правда простудился? А вдруг он сляжет как раз в эти дни, когда он еще не служащий и не безработный? Вот будет приятный подарок Кате…

— Ну, пошли, товарищи, — позвал Жур. — Глав-

ное в нашем деле — не робеть. В любое время. Мы, как говорится, ребята хваткие. Семеро одного не боимся. И на печке не дрожим.

На улице было по-прежнему слякотно. Хваленая сибирская зима долго не могла установиться в том году. Накрапывал мелкий дождь.

Жур прошел несколько шагов по тротуару. Потом поднял левую руку и подозвал извозчика.

— Познакомьтесь, — сказал он уже в пролетке, когда все уселись. — Это судебный медик Илья Борисович Кац. А это, — показал он на Зайцева и Егорова, — это мы еще поглядим, что из них будет. — И засмеялся.

На Поливановской у дома номер четырнадцать, где внизу аптека, толпились любопытные.

Два смельчака даже взобрались на карниз и заглядывали в тусклые, забрызганные дождем окна.

— Ты нас, уважаемый, тут подожди, — приказал Жур лохматому извозчику. И вошел в дом.

На узкой деревянной лестнице было темно. Пахло мышами и лекарствами. Мышами — сильнее.

Жур открыл дверь в коридор, набитый, людьми.

— Здравствуйте, — сказал так громко и привет-

ливо, точно здесь собрались исключительно его знакомые. — Что это у вас случилось?

— Да вот, — указала болезненного вида женщина на коричневую запертую дверь. — Наш сосед, аптекарь Коломеец Яков Вениаминыч, разошелся с супругой. И, видимо, переживал.

— Короче говоря, скончался, — заключил мужчина в жилетке.

— Ключ? — спросил Жур.

— Да он изнутри замкнутый, — вздохнула женщина, подперев ладонью щеку.

Жур левой рукой вынул из кармана большой складной нож и стал заглядывать в скважину замка. Потом молча протянул нож Зайцеву.

И Зайцев без слов все понял. Быстро раскрыл нож, просунул лезвие в щель двери, поковырял-поковырял, и дверь бесшумно открылась.

Лучше было бы Егорову не приезжать сюда, не сидеть в извозчичьей пролетке, не греть у живота наполняющий сердце гордостью наган.

Как открылась дверь, Егоров сразу обмер.

В спертом воздухе под потолком на шнуре висел человек с обезображенным лицом.

— Ваше слово, Илья Борисыч, — кивнул на покойника Жур и повернулся к дверям: — Граждане, лишних все-таки прошу отойти. А вот вы и

вы, — указал он на двух мужчин, — пожалуйста, останьтесь. Нам нужны понятые…

Но разве кто-нибудь сам себя посчитает лишним! Почти все и остались, но в комнату не вошли. Продолжали толпиться у дверей.

Кац потрогал повесившегося за ноги, сморщился, пожевал стариковскими губами.

— Это называется «смерть». Надо его снять.

Зайцев поднял лежавшую тут стремянку, на которую, может быть, в последний раз поднимался аптекарь, мигом установил ее, укрепил на шарнирах и полез по ступенькам с открытым ножом.

— Придерживай его! — крикнул Жур Егорову, когда Зайцев стал перерезать шнур.

Егоров, однако, не понял, кого придерживать, и взялся скрепя сердце за стремянку.

А придерживать надо было аптекаря, чтобы он не рухнул. Но этого уж Егоров, пожалуй, не смог бы. Не смог бы заставить себя.

Аптекаря снял Кац. И Жур помогал ему левой рукой. А Егоров все еще держался за стремянку, хотя Зайцев уже слез.

— Так, — сказал Жур и стал осматривать комнату, подошел к окнам.

Узенькая форточка была плотно притворена,

но не защелкнута на крючок. Жур ее толкнул кулаком, отворил. Потом опять прикрыл.

Вышел в коридор, прошелся по нему взад-вперед.

— Ходили к нему его компаньоны — братья Фриневы, Борис и Григорий. Очень жалели его, рассказывала Журу болезненного вида женщина. — Все сговаривали его прокатиться на извозчике. Для удовольствия. Чтобы, значит, согнать тоску. Даже нанимали извозчика. Но он не схотел, бедняжка…

— Какие братья? — спросил Жур.

— Фриневы. Тоже аптекари, с Белоглазовской.

— Давно они были?

— Да уж давно. Дня, наверно, три назад.

Жур опять вошел в комнату.

Кац рассматривал лицо и шею мертвого аптекаря. Трогал зачем-то его уши.

— Не нравятся мне эти линии, — показал Кац на шею покойника. И опять потрогал его уши.

— Да, не очень хорошо он выглядит, — согласился Жур. (Как будто аптекарь, удавившись, мог выглядеть хорошо!) — Егоров! У тебя как почерк? Разборчивый?

— Ничего, — глухо ответил Егоров.

— Ну, тогда садись пиши. Только старайся, по-

чище пиши, поразборчивей…

Жур подвинул ему стул и положил перед ним стопку бумаги.

Егоров взял перо. Он боялся, что у него будут дрожать руки. Но руки не дрожали.

— Пиши, — повторил Жур. — Сначала заглавие: «Протокол осмотра места происшествия». Написал? Молодец! Теперь год, месяц, число. «Двенадцать часов дня… Я, старший уполномоченный уголовного розыска Жур У. Г., — значит, Ульян Григорьевич, — в присутствии судебного медика Каца Ильи Борисовича, практикантов Егорова…» Как тебя зовут?

— Саша.

— Нет, так не пойдет. Надо полностью.

— Александр Андреевич.

— «…Александра Андреевича и Зайцева…» А ты, Зайцев, как называешься?

— Сергей Сергеевич, — поспешно и с достоинством откликнулся Зайцев.

— «…Сергея Сергеевича, а также понятых, — Жур посмотрел удостоверения личности двух мужчин, — Алтухова Дементия Емельяновича и Кукушкина Свирида Дмитриевича, составил настоящий протокол осмотра места происшествия — смерти гражданина Коломейца Якова Вениа-

миновича». Написал? Хорошо пишешь. Дальше. «Осмотром установлено. Двоеточие…»

Егоров старательно, почти без ошибок, записал под диктовку Жура все, что установлено осмотром. И как расположена в общей квартире комната аптекаря, и сколько в ней дверей, и окон, и форточек, и как они закрыты, и куда выходят, и какого размера передняя в квартире. И как была вскрыта комната («путем отжима ригеля») в момент прибытия представителей органов власти на место происшествия.

«Значит, этот язычок у дверного замка называется „ригель“. Интересно, — подумал Егоров, продолжая писать. — И как ловко Зайцев его отодвинул перочинным ножиком, этот ригель. Молодец Зайцев! А на покойника мне не надо глядеть. Ни в коем случае. Да ну его».

Жур диктовал четко, ясно, выговаривая каждую букву.

И Егоров писал спокойно, радуясь, что рука не дрожит. Значит, всякий человек может заставить себя делать что угодно, если этого требуют обстоятельства.

Он подробно описал под диктовку всю мебель в комнате аптекаря, перечислил склянки с лекарствами на столе, подушки, большие и маленькие,

матрас, голубое тканьевое одеяло, которым покрыта постель, брюки, жилет и пиджак аптекаря, сложенные на спинке кожаного кресла.

Затем так же спокойно он описал вделанный в потолок массивный медный крюк для люстры, на котором висел на шнуре — и толщину и цвет шнура описал — труп мужчины средних лет, невысокого роста, плотного телосложения, одетый в нательное теплое егерское белье сиреневого цвета.

— Хорошо пишешь, — опять похвалил Жур Егорова. — Но погоди минутку. — И снова стал осматривать труп, расстегивая пуговицы на рубахе. — Пиши дальше. «После освобождения шеи трупа от петли и констатации судебным медиком факта смерти произведен детальный осмотр трупа. Белье на трупе оказалось целое, чистое, без каких-либо пятен. На лице, голове и теле трупа никаких ран, ссадин, царапин и иных повреждений нет. Конечности целы. На шее трупа, однако, имеется неясно выраженная странгуляционная борозда, оставленная шнуром, что указывает на необходимость судебно-медицинской экспертизы. Из ранних трупных явлений налицо сильное окоченение челюстей и конечностей, а также трупные пятна, расположенные на ногах в виде

сливающихся овалов размером с куриное яйцо и пятикопеечную монету царской чеканки». По-моему, правильно? — обратился Жур к Кацу.

Кац утвердительно мотнул головой. И Егоров мотнул. Мотнул, как клюнул. И свалился со стула. Обморок.

Ах как растерялся, а затем обозлился Жур! Ведь не будешь объяснять любопытным, все еще заглядывающим в открытую дверь, что это не работник уголовного розыска упал в обморок, а стажер — мальчишка, щенок, разиня!

— Нашатырный спирт, — сказал Кац и стал близорукими глазами осматривать склянки на столе аптекаря.

Егорову дали понюхать нашатырного спирта. Он очнулся.

Жур и Кац усадили его на стул. И Жур еще для большей верности с особой энергией потер ему левой рукой виски и уши.

— Зайцев, пиши, — приказал Жур.

Зайцев уселся за стол. Потом вскочил, подошел к трупу, потрогал его ноги и сказал:

— А это вы немножечко ошиблись насчет пятен, товарищ Жур. Куда же с пятикопеечную монету? Это как две копейки царской чеканки…

— Пожалуй, — согласился Жур. — Ну, пиши: с

двухкопеечную монету…

Зайцев продолжал писать протокол.

А Егоров, бледный, с красными ушами, сидел в стороне от стола и автоматически, уже совсем бессознательно, постукивал ребром ладоней о край стула, как рекомендует господин Сигимицу для укрепления кистей рук. Но на кой черт нужен теперь господин Сигимицу со всей его наукой и хитроумными способами, если, кажется, все пропало, все.

Когда явились из морга санитары в серых халатах, Зайцев стал суетливо помогать им укладывать на носилки труп аптекаря.

А Егоров даже не приподнялся со стула. Зачем он будет еще поднимать этого мертвяка, если из-за него — вот именно из-за него — рухнула, пожалуй, вся карьера Егорова? И что ему не жилось, аптекарю? Нет, видите, пожелал удавиться…

Внизу, у подъезда дома, все еще ждал лохматый извозчик. И рядом стояли дроги из морга.

Егоров, спустившись вниз по этой узкой деревянной лестнице, хотел сразу же направиться домой. Ведь все ясно: не служить ему больше в уголовном розыске. Пусть ему сделают отметку на комсомольской путевке, что он не справился, и отошлют ее обратно в губком. Не справился и

не справился. Что ж теперь делать? Пусть…

Но все-таки, проходя мимо Жура, садившегося в пролетку, Егоров спросил только из вежливости:

— Мне больше не надо приходить?

— Это в честь чего не приходить? — осердился Жур. — Нет, милости просим. Давай садись в пролетку. Поехали…

8

В дежурке в тот же день узнали о происшествии с Егоровым. Ведь о чем-нибудь хорошем чаще всего узнают позднее, а о плохом мгновенно.

Воробейчик хохотал больше всех.

— Значит, могло получиться сразу два мертвяка — аптекарь и стажер. Вот так работнички…

— Почему работнички? — спросил Егоров. — Ведь Ягодин упал. Зайцев не падал.

— Значит, боишься? — допытывался Воробейчик. — Покойников боишься?

— Боюсь, — сознался Егоров.

И то, что он не оправдывался и не обижался, когда смеялись над ним, в какой-то степени выручало его.

Новые факты потом постепенно ослабят, может быть, впечатление от этого, в сущности, исключительного случая. Однако забыть о нем совсем

сотрудники, наверно, не смогут. Так всегда и будут вспоминать: «Егоров? Какой это Егоров? Ах, этот, что упал в обморок, когда поднимали мертвого аптекаря! Ну и слюнтяй...»

Больше всего здесь не прощают трусости, душевной слабости, излишней чувствительности. Ты пришел сюда работать — так работай. Ты же знал, что тут не гимназисток воспитывают...

Это знал и Егоров. И все-таки допустил непростительный промах.

Воробейчик не даст теперь ему проходу. Нахальный, надоедливый Воробейчик. Черный, как грач.

Егоров сперва думал, что его так прозвали — Воробейчик. За юркость. Он и ходит подпрыгивая. А потом выяснилось, что это его настоящая фамилия — Виктор Антонович Воробейчик...

И как раз сегодня он до самой ночи будет дежурным по городу. Поэтому сидеть в дежурке Егорову уже совсем тяжко, невыносимо тяжко.

Лучше ему побродить по коридору, благо коридоры длинные и полутемные.

Жур, должно быть, забыл о Егорове. Или Журу противно вспоминать про него. Где-то в коридоре слышен голос Жура.

Егоров невольно идет на этот голос.

Узенькая дверь чуть приоткрыта. За дверью разговаривают несколько человек. Пять или шесть, или всего трое.

— Почему вдруг выгнать? — кого-то спрашивает Жур. — А если тебя выгнать или меня?

Егоров догадывается, что это говорят о нем. Кто-то требует, чтобы его выгнали. Ну и пусть. Может, это сам Курычев требует. Ему уж, наверно, доложили. Уже нашлись старательные болтуны и доложили…

Близко подходить к двери Егоров не решается. Но и совсем отойти не может. И не может расслышать всех голосов. Только голос Жура он слышит довольно ясно:

— Вообще мне противно это слово «выгнать». Это барское, дурацкое слово. А что касается Усякина, то я считаю, что его увольнять пока не надо. Его надо только решительно предупредить. Пусть он знает, что у нас тут не балаган и безобразий мы не потерпим. Пусть Усякин занимается только собаками и никуда не лезет.

Усякин, Усякин. Ах, это тот Усякин, про которого в дежурке написано: «Усякин, я тебя не боюсь». Но Егорову сейчас даже не хочется догадываться, кто такой Усякин.

«Я сам теперь Усякин», — угнетенно думает

Егоров и проходит мимо двери.

Но дверь вдруг открывается.

Из комнаты выходят Жур и трое незнакомых. Нет, один знакомый. Ой, да это сам товарищ Курычев, начальник угрозыска!

Егоров хочет с ним поздороваться. Но Курычев, даже не взглянув на него, уходит в глубину коридора — в свой кабинет, где ковры. Интересно, знает он, как оскандалился Егоров, или не знает? Хотя теперь это уже все равно.

— Ну, как ты, Егоров, себя чувствуешь? — кладет Жур левую руку Егорову на плечо.

— Ничего, — говорит Егоров.

— Ты вот что, — задумывается Жур, — пойди в криминалистический кабинет. Ты был у нас в криминалистическом кабинете?

— Нет еще.

— Вот пойди. И Зайцева позови. Пойдите вместе. А потом можете идти домой. Завтра приходи ровно в девять. И в дежурке не сиди. Там тебе нечего делать. Приходи прямо ко мне, вот сюда. Ну, будь здоров. Гляди веселее…

Не очень-то, однако, весело глядеть чувствительному человеку на эту страшную выставку в криминалистическом кабинете. Даже стошнить может с непривычки.

Егоров подумал, как бы ему тут опять не упасть, в этом кабинете. Вот был бы позор. И он все время облизывал губы. И все время ему хотелось сплюнуть куда-нибудь, но сплюнуть, к сожалению, некуда. И неловко.

Все стены увешаны веревками, мешками, колотушками. И указано точно, кого, когда и кто убивал этими предметами.

А в витринах разложены пистолеты, винтовочные обрезы, ножи и кинжалы со следами порыжевшей крови.

И это еще ничего. Но зачем сфотографированы в разных позах убитые, повешенные, утопленные люди? И непонятно, для чего развешаны портреты убийц: старуха какая-то, как баба-яга, убила восемнадцать человек разными способами и в разное время, бородатый ломовой извозчик, погубивший своих детей, торговка, делавшая пирожки из человечьего мяса… Много их, всяких тут. В стеклянных банках заспиртованы чьи-то внутренности.

Егоров просто не может смотреть на все это. Но Зайцев кричит с другого конца зала:

— Егоров! Иди сюда! Вот смотри-ка, еще что… — И показывает на большую стеклянную банку, в которой мерцает — издали видно — что-то розо-

вое с синим, отвратительное что-то.

— Тут всего за один день не разглядишь, — говорит Зайцев, когда Егоров приближается к нему. — Я во второй раз смотрю и то удивляюсь. Нам надо с тобой сюда еще раза два-три прийти, чтобы все как следует рассмотреть… во всех подробностях…

— Придем, — покорно кивает Егоров. — А сейчас мне некогда. Надо идти.

— Подожди, — удерживает его Зайцев.

Все-таки очень деликатный человек Зайцев. За все время он ни разу даже намеком не напомнил о том, что сегодня случилось с Егоровым на Поливановской, в комнате аптекаря. Разговаривает обо всем, а о том ни слова.

На улице Зайцев вдруг останавливается.

— Погоди. Нам надо зайти в комсомольскую ячейку. Я все-таки хочу, чтобы тебя взяли на учет.

— Не возьмут.

— А я тебе говорю, возьмут. Я уже разговаривал с Шурочкой…

— Кто это Шурочка?

— Там, наверху, в управлении милиции.

И они поднимаются на второй этаж, входят в тот зал, где был торжественный вечер.

Никакой торжественности тут теперь, понятно, нет. Опять тесно составлены столы, над столами склонились милицейские служащие.

Зайцев быстро находит коротко остриженную девушку, издали похожую на парня. Ее неловко называть Шурочкой — такая она большая, могучая. И голос у нее хриплый. Но Зайцев все-таки называет ее Шурочкой.

— Вот, Шурочка, наш парень из уголовного розыска, Егоров. Я тебе про него говорил…

Дело, томившее Егорова все время, пока он здесь живет, решилось в две минуты.

Шурочка сказала, что она сама запросит учетную карточку из Дударей, а пока поставит его на учет условно.

— Спасибо, — сказал Егоров уже на улице. — Большое, я даже не знаю, какое тебе большое спасибо, Зайцев. Я это никогда не забуду. Ты меня, ей-богу, сильно выручил…

— Опять «ей-богу»? — засмеялся Зайцев.

— Ну ладно, я потом отвыкну, — пообещал Егоров.

Они проходили в сумерках мимо красного здания городского театра, где подле освещенного подъезда среди голых, давно уже сбросивших листву деревьев толпилось множество людей.

И над толпой возвышались три конных милиционера.

А на фасаде театра в окружении электрических лампочек висела огромная афиша:

«Был ли Христос? В диспуте примут участие нарком просвещения А. В. Луначарский и митрополит Александр Введенский».

Весь город, казалось, рвался в театр. И конечно, не потому, что всем хотелось немедленно выяснить, был ли на самом деле Иисус Христос.

Всем хотелось посмотреть на знаменитого наркома просвещения, вдруг пожелавшего приехать в этот далекий сибирский город. И на митрополита Введенского — главу так называемой живой церкви — многим тоже хотелось посмотреть.

— Хочешь, зайдем? — показал на театр Зайцев.

— Ну, разве пробьешься? — усомнился Егоров.

— А хочешь?

— Я бы пошел с удовольствием, если б пустили, — сказал Егоров.

— Тогда сразу пойдем, — позвал Зайцев и, наклонив голову, устремился в толпу.

Егоров еле поспевал за ним.

Зайцев расталкивал людей и говорил только одно слово «минутку».

У самых дверей они вынуждены были остано-

виться.

Их остановили билетеры, стоявшие с двух сторон.

— Ваши билетики?

— Из угро, — как-то глухо и грозно произнес Зайцев. И оглянулся на Егорова. — Это со мной.

— Пожалуйста, — сказал один билетер и опасливо посторонился.

Все великолепие этого старинного театра с его люстрами, синим бархатом и позолотой в одно мгновение как бы обрушилось на Егорова и придавило его.

Оказывается, он никогда еще не был в театре и не знал, что здесь так красиво.

— Гляди, Луначарский, — показал Зайцев, когда они уселись на бархатный барьер ложи.

— Который?

— Да ты что, Луначарского не видел?

— Где же я его увижу?

— А на портретах?

— Ах, на портретах…

— Вы что тут, долго будете безобразить? Слезайте сейчас же. А то я милицию вызову.

Зайцев посмотрел сверху вниз на чистенького старичка билетера.

— Вызовите. Я как раз хотел вас об этом по-

просить.

А Егоров спрыгнул с барьера и потянул за собой Зайцева.

— Не валяй дурака, Сережа, а то подумают, мы — хулиганы.

— Не подумают, — скосил глаза на билетера Зайцев, но все-таки тоже спрыгнул.

— Который, ты говоришь, Луначарский? — опять спросил Егоров, жадно вглядываясь в людей, разместившихся за высоким и длинным столом президиума, устланным красным бархатом.

— Вон тот, полный, налево смотри, в пенсне, редкие волосы. Причесывается, что ли? Нет, просто ухо потрогал…

— А я на этого подумал, на худощавого…

— Ты что? — удивленно посмотрел Зайцев на Егорова. — Разве плохо видишь?

— Нет, ничего.

— Этот же, худощавый, — поп. Его сразу заметно, что он поп. Это и есть митрополит Введенский.

Однако ошибиться было легко.

Из-за трибуны видно только голову и плечи выступавшего митрополита. Волосы у него не длинные, как бы полагалось духовному лицу. И

он в эту минуту перелистывал на трибуне бумаги. Вычитывал цитаты, как всякий докладчик. Только цитаты он приводил из Библии на церковнославянском языке, непонятном многим.

Егорову же был понятен этот язык. Он и грамоте стал учиться сперва по-славянски. Раньше чем он пошел в школу, его учил отец по какой-то старинной книге.

Отец Егорова больше всего любил чтение именно старинных, главным образом божественных книг. Верхолаз-кровельщик, он часто чинил купола храмов, разъезжал с этой целью по всей Сибири и считал себя близким к церковным делам. Только, кажется, перед самой смертью, уже на гражданской войне, он разочаровался в религии. А бабушка Егорова постоянно до сих пор читает Библию. И кажется, еще совсем недавно она возила внука на пароме в Староберезовский монастырь, на поклонение мощам святого Софрония.

Егоров до сих пор помнил все молитвы. Но сейчас весь этот божественный, религиозный мир был от него где-то далеко-далеко, как в тумане. И ему было вовсе не интересно слушать митрополита.

Он рассеянно оглядывался по сторонам, рас-

сматривал расписанный потолок, балконы, галерку.

— Не люблю я их, — негромко и досадливо сказал он, опять покосившись на митрополита Введенского.

— Кого? — удивился Зайцев. — Кого не любишь?

— Ну, одним словом, попов и вот всю религию. У меня из-за них в Дударях чуть большое дело не вышло. Чуть-чуть меня из комсомола из-за них не наладили…

— А что такое? — обеспокоился Зайцев. — Ты в церковь ходил? Молился?

— В том-то и дело, что я уже не молился. И не ходил. А все-таки пришили дело. Меня, одним словом, один парень спас, Вениамин Малышев. Мировой парень! Так я ему до сих пор письмо и не написал. А он меня, можно сказать, спас. А то бы я сейчас скитался.

— Да в чем дело-то было?

— После я тебе расскажу. Но это было большое дело, — вздохнул Егоров.

— После так после, — оборвал его Зайцев. — А сейчас слушай. Говорит Луначарский. Вон он, видишь, встал… — Зайцев схватил Егорова за руку. — Теперь внимательно слушай — Луна-

чарский…

Полный, плотный человек с крупной седоватой головой поднялся за столом. Пенсне его заблестело.

— Ну, хорошо, — сказал он, — допустим на минутку, что митрополит Введенский ведет свое происхождение непосредственно от бога Саваофа. Допустим, что он создан по образу и подобию божию. А я и те, кто со мной согласен, происходим, как утверждает наука, от обезьяны. И вот, если вспомнить, как выглядит обезьяна, и взглянуть хотя бы на меня, можно сказать, какой прогресс. А теперь вспомните могущественного бога Саваофа, каким его изображают на иконах, и посмотрите на нашего собеседника митрополита. Не правда ли, какой ужасный регресс?!

Многие засмеялись и захлопали.

А когда смех и аплодисменты утихли, Егоров наклонился к уху Зайцева и доверительно прошептал:

— А мы правда все от обезьяны происходим.

Зайцев опять засмеялся.

— Я серьезно говорю, — нахмурился Егоров. — Я это еще в Дударях читал, что мы все от обезьяны…

Тон у Егорова был такой, что мне самому, мол,

неприятно это открытие, но не признать его все же нельзя. И Егоров вздохнул.

Домой он пришел очень поздно, но в темном дворе еще визжала пила и ухал топор.

Катя и ее ребятишки азартно работали под окном кухни, в полосе света, падавшей из окна от керосиновой лампы-«молнии». Они пилили и кололи дрова и укладывали их тут же под низеньким навесом.

Егорову стало стыдно. Ребята и Катя работают, а он где-то там ходит, слушает митрополитов… А все думают, что он задерживается на работе. А на работе он сегодня оскандалился.

Катя, однако, обрадовалась его приходу.

— Вы, ребята. Пилите, — оставила она пилу, — а я покормлю дядю.

Раньше она его так почтительно не называла.

— Нет, я уже поел, — сказал Егоров.

— Вижу, — вытерла руки фартуком Катя. — Вижу по личику твоему прекрасному, как ты поел. Краше в гроб кладут.

— Нет, я правда не хочу есть. Я буду сейчас пилить с вами.

— Поешь, — повела его в дом Катя. — Я сегодня щи варила. Большой чугунок. Мы уж во второй раз поели. Еще теплые щи.

Она три раза повторила это слово «щи», и Егоров вдруг так захотел есть, что у него засосало внутри.

— Хорошие, очень наваристые. С костями от ветчины варила, — поставила Катя на стол ароматную еду и нарезала толстыми ломтями хлеб.

Пригласительный билет на торжественный вечер в честь Октябрьской революции был, как сказали бы историки, переломным моментом в отношениях брата и сестры. Она теперь, казалось, с особым удовольствием ухаживала за ним, как за важным лицом, оказавшим ей высокую честь состоять в прямом родстве.

Егоров поел, и его быстро сморила дремота, но он ее преодолел и пошел пилить дрова.

Племянники оживились. Каждый хотел пилить с ним. Но счастье это выпало только младшему — Коле. Митя и Валентин кололи и укладывали дрова.

А Катя ушла намочить белье к завтрашней стирке.

9

Всю ночь Егоров ворочался, бился. И даже кричал во сне.

Снились ему мертвый аптекарь и какие-то

облезлые тигры; которые во что бы то ни стало хотели сожрать Егорова. Он забирался от них на высоченную лиственницу, но они упорно лезли за ним.

И он чувствовал, что хочет спать, что силы иссякают, и боялся, что тигры обязательно растерзают его в таком состоянии. Но поделать ничего не мог.

Тигры, однако, его не растерзали.

Утром он проснулся бодрым, опять поел вчерашних щей и пошел на работу.

Работа оказалась на редкость странной.

Жур посадил его и Зайцева переписывать старые протоколы допросов и осмотра мест происшествий. Они сидели за одним столом.

Зайцев писал и сердился:

— Опять школа первой ступени…

Хотя едва ли ему приходилось в школе переписывать такие документы.

А Егоров молчал.

Школа первой ступени была сладчайшим воспоминанием его жизни.

В школе он встретил Аню Иващенко и влюбился в нее. И еще сейчас это воспоминание слегка туманит его голову. Надо бы хоть разыскать как-нибудь брата Ани. Интересно узнать, где сейчас

Аня. Но все это успеется. Все это можно сделать потом.

А сейчас главное — работа. Все равно, какая работа — переписка или что-нибудь другое. Лишь бы пройти испытательный срок, утвердиться на этом месте.

В двенадцатом часу дня пришел Воробейчик и попросил Жура отпустить Зайцева съездить вместе с ним в Замошкину рощу, где минувшей ночью произошло два ограбления.

В третьем часу Зайцев вернулся из Замошкиной рощи, и уже сам Жур послал его привезти в уголовный розыск вдову аптекаря Коломейца, которая, по справке адресного стола, проживает в Зверином предместье, Вокзальная улица, дом номер двенадцать.

Зайцев во второй раз уехал.

А Егоров все продолжал переписывать старые протоколы.

Нет, он не все время переписывал. В обеденный перерыв, когда на втором этаже — в управлении милиции — затрещал звонок, Егоров вынул из кармана мешочек, в котором были кусок хлеба и две картошки, съел их и запил теплой водой из титана с кислой конфеткой «барбарис», выданной ему Катей в знак особого ее уважения к его

необыкновенной деятельности.

Деятельность же оказалась не ахти какой необыкновенной.

Егоров понял, что его отстраняют от оперативной работы, но зато собираются, может быть, оставить на канцелярском деле. Вот так, наверно, все и будет. Их зачислят обоих в штат — Зайцева и Егорова. Только поставят на разную работу. Ну что же! Лишь бы оставили. Не все ли равно, что делать, в конце концов. Надо только стараться хорошо работать, а то и с канцелярского дела могут попросить. И Егоров старался. Он выписывал аккуратно каждую букву и огорчался только, что ручка попалась какая-то расхлябанная, перо в ней все время болтается. Все пальцы испачкал чернилами. И еще, чего доброго, можно испачкать страницу.

Зайцев привез на извозчике вдову аптекаря и, оставив ее в коридоре у дверей, вошел в комнату Жура.

— А я тебя жду, — сказал ему Жур. — Надо бы еще привезти старшего брата Фринева, Бориса. Он живет на Белоглазовской, тринадцать…

Жур мог бы послать Егорова за этим Фриневым Борисом, пока не было Зайцева. Подумаешь, какая сложность! Но Жур все-таки не послал

Егорова. Значит, правильно: Егоров, по мнению Жура, не годится даже для самой простой оперативной работы.

«Ну что ж, пусть, — подумал Егоров. — Пусть Зайцев ездит, а я буду переписывать. Все буду делать, что заставят. Я не капризный. Мне так даже лучше. Башмаки у меня худые. А на улице слякоть».

И все-таки где-то в глубине его сознания тлела, как уголек, горчайшая обида.

Не мог Егоров примириться с тем, что Зайцев лучше его, что Зайцеву все доступно, что Зайцева здесь уже считают боевым, а он, Егоров, вдруг бухнулся в обморок, как девчонка, испугался мертвого аптекаря.

Но теперь уж поздно жалеть об этом. Может, потом еще будет время и Егоров тоже покажет себя. А пока… «При осмотре места происшествия обнаружено… двоеточие. Как это может быть обнаружено двоеточие? Чепуха какая! Я ошибся. Я, наверно, устал…»

И он действительно устал.

Был уже шестой час дня. За окнами потемнело. Но Егоров решил исправить ошибку, решил снова переписать протокол осмотра с самого начала.

В это время к нему подошел Жур.

Егоров побоялся, что Жур прочтет последнюю фразу, заметит глупую ошибку и поймет, что стажер не годится и для канцелярской работы.

Егоров закрыл последнюю строку ладонью и размазал чернила. Руки от волнения у него были потные.

Но Жур не обратил никакого внимания на то, что пишет стажер. Жур сел на стул против него и сказал:

— Слушай, Егоров, у меня к тебе есть просьба. (Не задание, заметьте, а просьба.) Я вчера велел, чтобы в мертвецкой заморозили этого аптекаря Коломейца, ну его к черту. За ним тоже вскрываются дела. Но у нас, знаешь, какие там работнички. Может, ты съездишь в Ивановскую больницу, проверишь?

— Ну что же, — опустил глаза Егоров.

— Я знаю, тебе почему-то неприятно смотреть на этого аптекаря. Но такое дело — послать некого. У меня еще два допроса. Съездишь?

— Ну что же.

— «Ну что же» — это не разговор, — вдруг посуровел Жур. — Ты находишься на работе, с тобой говорит уполномоченный — твой, стало быть, непосредственный начальник. Надо, во-первых, встать…

— Ну что же, — еще раз невольно сказал Егоров. И встал.

— Так, значит, съездишь? Можешь съездить?

— Отчего же я не съезжу? Пожалуйста. Сейчас?

— Да, нужно бы сейчас съездить…

Но это только так говорится — съездить. А ехать не надо. Можно пешком пройти два квартала Главной улицы, потом свернуть на Бакаревскую и спуститься к набережной.

Тут, на набережной, за понтонным мостом, и находится Ивановская больница.

Егоров пошел пешком. Он шел и все старался подавить в себе гнетущее чувство надвигающейся на него неотвратимой беды. И в то же время он думал: «А что, если б послали в мертвецкую сейчас Воробейчика или даже Зайцева? Они, пожалуй, и не почесались бы. Нет, наверно, и им было бы неприятно. Но они бы все равно пошли. И я иду. В чем дело?»

На набережной было уже совсем темно и холодно. Великая река, объятая холодным туманом, ревела со стоном и скрежетом. Будто томилась, что до сих пор нет настоящего мороза и она никак не может покрыться льдом.

За мостом стало чуть светлее от ярко освещенных окон больницы.

Она большая, во весь квартал, больница. И вдоль нее тянется чугунный забор на каменных столбах.

Егоров вошел в больничный двор, где было еще светлее.

Из боковой двери две женщины в серых халатах вынесли укрытые простыней носилки.

— Это откуда? — спросил их мимо идущий мужчина с газетным свертком под мышкой. — Из десятой?

— Из десятой.

— Неужели Савельев?

— Он.

— Значит, преставился?

— Значит, так.

— Ну, этак-то ему лучше будет, отмучился, — удовлетворенно вздохнул мужчина, тоже, видно, здешний человек, наверно санитар, и, поправив сверток под мышкой, пошел дальше.

«В баню, — подумал Егоров. И еще подумал, глядя на женщин с носилками: — У людей вот такая работа, может, каждый день, и они ничего. А меня не надолго сюда послали, и я уже чего-то боюсь. А чего бояться-то?»

Егоров хотел спросить этих женщин, где тут мертвецкая, но понял, что носилки несут именно

туда, и побрел за носилками.

— Никодим! Никодим Евграфыч! — закричала одна женщина, державшая носилки. — Открывай, принимай гостя!

— Чего кричишь? Открыто для всех. И для вас лично, — отозвался откуда-то из-под земли старческий голос.

И над дверями подвала вспыхнула лампочка.

Из подвала вылез на свет старик в брезентовой куртке и в брезентовых же штанах, с тонкой, длинной шеей, как у гуся, и с маленькой, детской головкой в теплой шапке.

— К вам тут вчера привезли аптекаря, — сказал ему Егоров. — Приказали заморозить. Аптекаря фамилия, — он посмотрел в бумажку, — Коломеец Яков Вениаминович.

— Ничего не знаю, — снял шапку старик и, отряхнув ее, опять надел. — У меня тут все почти что аптекари. Если велели заморозить, значит, заморожен. Иди гляди…

И повел Егорова по широким каменным ступеням в подвал, куда уже пронесли носилки.

В глубине подвала старик опять зажег лампочку над нишей, откуда пахнуло зябким, мертвенным холодом, и Егоров увидел на помосте восемь в ряд лежащих мертвецов. Три женщины, четыре муж-

чины и один мальчик, кажется. Не разберешь.

Лампочка светит тускло, она грязная.

— Он вам родной? — спросил старик.

— Это с какой стати? — почти обиделся Егоров. — Я из уголовного розыска.

— А-а, ну, это другое дело.

Егоров думал, что старик, узнав, кто он такой, проникнется к нему особым почтением и станет извиняться, что еще не заморозил аптекаря. Но старик, напротив, утратил к Егорову всякий интерес, выяснив, что он не родственник аптекарю.

— Ищите его, где он тут лежит, — показал старик на весь подвал. И зажег еще одну лампочку. А потом еще одну.

Подвал оказался громадным.

— Где же его тут найдешь? — растерялся Егоров и поежился.

Здесь казалось даже холоднее, чем на набережной. И все-таки откуда-то шло, должно быть, тепло. Нет, это просто было душно.

— Они как же у вас тут, по номерам? — спросил Егоров, стараясь не показать растерянности.

— По номерам? — засмеялся с дребезгом старик. — Да разве на них наберешься номеров? Их вон сколько тут напихано, накладено! Видимо-невидимо. Ужас…

Однако ужаса старик, должно быть, не испытывал.

Ужас испытал Егоров. Он почувствовал, что его опять подташнивает, как тогда. И от лампочек в углах шевелятся тени. Кажется, что здесь не только мертвые, но притаились и живые. И эти живые в сговоре со стариком. В сговоре против Егорова. Вот они сейчас его погубят. Очень хитро и страшно погубят.

Егоров пошел к дверям.

А может ему в самом деле уйти и сказать, что аптекаря не нашли, не могли найти? Пусть придет сюда Воробейчик, если он так любит над всеми подфигуривать. Или Зайцев. Или кто-нибудь еще, кто хочет. Даже зарплату не платили, а уже посылают куда-то.

— Вы что это, вроде как робеете? — вдруг с ухмылкой посмотрел на Егорова старик.

И весь позор вчерашнего дня снова встал перед Егоровым. И позор этот повторится.

— Отчего это я робею? — не сразу, а переведя дыхание спросил Егоров. — Ты не робеешь, а я робею?

— Мне-то уж чего робеть, — опять ухмыльнулся старик. — Мое дело такое, что мне робеть не полагается. Но многие, я замечаю, робеют. Даже

из вашего этого самого… из сыскного, словом.

— Я не из сыскного, — твердо и с вызовом сказал Егоров. — Я из уголовного розыска. Сыскное — это при царе было. Ну-ка, давай показывай, где у тебя самые свежие, кого, допустим, вчера привезли…

— А я их не отбираю. Это не ягоды. Вы сами тут разбирайтесь. Мне за отбор денег не платят…

Егоров на мгновение снова растерялся. Как же он тут разберется сам? Ни за что ему не разобраться. Но его внезапно осенила счастливая мысль.

— Тебе ведь, отец, еще вчера приказали заморозить аптекаря. А ты чего делаешь? Чего ты тут выясняешь, кто робеет и кто не робеет? Тебя поставили на дело — делай, а нечего дурочку разыгрывать! Я ж тебе говорю, что я не из шарашкиной конторы, а из уголовного розыска. Показывай мне, где тут аптекарь…

— Пожалуйста, глядите, — вдруг действительно оробел старик. — Давайте вот этого сымем. — И он потянул за ноги мертвеца, лежавшего первым от края. — Женщин тревожить не будем, а мужеский пол оглядим. Не этот? Глядите…

Глядеть на это было самым трудным для Егорова. Но он глядел.

— Нет, не этот.

— Ну, тогда зайдемте с этого краю, — предло-

жил старик, потирая будто озябшие руки.

Егоров не считал мертвецов, но, пожалуй, не менее двадцати перебрал их старик, пока Егоров угадал:

— Вот этот.

Это был действительно аптекарь. И сейчас, как тогда, Егорову, мельком взглянувшему на него, опять стало плохо.

«Только бы снова не сыграть дурака, — быстро подумал он и привалился плечом к каменному столбу. — Не упасть бы тут при старике. А то просто позор будет. Просто позор…»

Но старик уже не глядел на Егорова. Он, как бревешко, поднял аптекаря и понес к той высокой нише, где лед.

Как благодарен был Егоров старику за то, что он не попросил помогать ему!

Однако, дотащив аптекаря до ниши, старик закричал:

— Ваше здоровье, молодой человек! А ну-ка, давайте вдвоем закинем его!

Егоров никогда не смог бы вспомнить, как это произошло. Но он все-таки собрал в себе силы, заставил себя взять аптекаря за каменно-холодные ноги, и, чуть качнув, они уложили его на лед.

— Большое спасибо, — сказал Егоров старику.

Бодро, твердо сказал. И пошел из подвала.

— И вам спасибо, — ответил старик. — Это наше дело — призревать усопших. А как же! Каждого надо устроить, куда надлежит…

Егоров вышел из подвала, и силы, казалось, оставили его. Коленки дрожали. Но все-таки он прошел весь двор. И только у забора остановился.

Не мог дальше идти, навалился на забор. Тошнит, и в глазах темно. И отчего-то хочется плакать. И страшно: вдруг кто-нибудь увидит его тут… Что это, молодой человек, покойников, что ли, испугались? А сколько вам лет? Зимой будет восемнадцать? А где вы работаете?

«Ну, ладно, — сказал Егоров самому себе, — пойдем потихоньку…»

Когда он проходил по набережной, коленки уже не дрожали. Но все еще подташнивало. Он постоял недолго на мосту, облокотившись на перила, будто смотрит в воду. Потом пошел дальше.

10

На Главной улице уже вовсю горело электричество. И особенно много было света, как всегда, у кинотеатра «Красный Перекоп».

Здесь стояли, освещая рекламу, старинные

шестиугольные фонари. Они остались еще от той поры, когда кино называлось иллюзионом и содержал его забредший в Сибирь итальянец.

Шла старая картина «И сердцем, как куклой, играя, он сердце, как куклу, разбил». И готовилась новая, которую будут показывать завтра, — «Солнце любви».

Егоров остановился посмотреть в широком окне фотографии из новой картины.

Остановился не потому, что уж так хотелось все это посмотреть, а потому, что ему опять вдруг стало нехорошо. Ах, какой ты нежный, Егоров!

Он сам сердился на себя.

Вдруг его кто-то потрогал за рукав. Оглянулся. Перед ним стоял высокий румяный молодой человек в хорошем драповом пальто, в серой кепке. Узконосые штиблеты, фасон «шимми» или «джимми», ярко начищены, несмотря на слякоть.

— Егоров, ты не узнаешь меня?

— Отчего же не узнаю? Маничев Ваня. Но вид, правда, богатый. Где работаешь?

— У частника. Сейчас только у частника и можно заработать. На консервной фабрике Гусева. А ты, мне сказали, куда-то уехал…

— Я уже приехал. В Дударях работал, на масло-

бойном заводе…

— А сейчас где?

— А сейчас… — Егоров затруднялся. — Сейчас приглядываюсь только…

Сказать, что он работает в уголовном розыске, Егоров не решился. Да он еще и не работает. По-прежнему неизвестно еще, будет ли работать.

Поговорили они недолго о том о сем — в общем ни о чем, как говорят давно не видевшиеся люди, знавшие друг друга еще школьниками. Но Маничев все время разглядывал Егорова тяжелым взглядом взрослого человека, которому понятно многое. Потом сказал:

— Удивительно… Я помню, ты стихи писал. Ты мне показывал. Наша географичка Нина Степановна говорила, что у тебя… вроде того, что… природные способности. Я думал, ты далеко пойдешь…

— Не пошел, вот видишь, не пошел. — улыбнулся Егоров. Невесело улыбнулся, потому что ведь в самом деле горько, что он не пошел далеко. Некоторые пошли, а он не пошел. Даже на башмаки себе не может заработать. Хлюпает грязь в башмаках.

И все-таки очень приятно, что он встретил Ваньку Маничева.

Конечно, было бы еще приятнее, если бы он встретил его, когда и у самого были бы получше дела. Но все равно радостно вспомнить детство, школу, школьный сад, где они забирались с Ванькой в укромный уголок у каменной сырой стены соседнего со школой дома и Егоров тайно, таинственным голосом читал свои стихи. Ох, как волновался он тогда в предчувствии каких-то необыкновенных перемен в своей жизни, с каким торжеством и трепетом произносил, читая стихи, это красивое слово — «будущее»!

И вот будущее уже наступило. Он идет еле живой из мертвецкой. И стыдится сказать об этом даже Ваньке Маничеву. Нечем гордиться Егорову. Недалеко он пошел…

— Ты что, — еще измерил его взглядом Маничев. — болеешь или болел?

— Нет, я здоровый.

— Живешь, что ли, худо? Вид плохой у тебя. Ровно после тифа.

— Нет, ничего. Живу неплохо.

— Приходи к нам на фабрику. — пригласил Маничев. — Могу устроить как старого дружка…

— Спасибо, — сказал Егоров и подумал: «Кто знает, может, еще придется прийти». Но не стал спрашивать, куда приходить. Спросил только:

— Наших старых ребят не встречаешь?

— Встречаю. Аню Иващенко помнишь?

— Аню Иващенко? — зачем-то переспросил Егоров. И почувствовал, как перехватило горло. — Где она?

— Вон она, — показал Маничев в стеклянные двери кинотеатра.

И Егоров увидел Аню.

Она стояла в светлом вестибюле, в легком жакете, отороченном мерлушкой, и в мерлушковой шапочке — покупала яблоки. Какая-то чужая, не такая, как раньше, но еще более красивая.

Егоров не хотел, чтобы Аня увидела его в таком виде. И в то же время он рад был бы услышать ее голос, потрогать ее руки. Нет, не потрогать, а только посмотреть на них, увидеть, как она улыбается, поднимая изломанные брови, а на щеках возникает нежный-нежный румянец, от которого становится всем светло.

Он мечтал когда-то не о женитьбе, нет, но о каком-то удивительном приключении, вдруг сталкивающем его с Аней. И ему нравилась старинная песня:

Обобью свои сани коврами,
В гривы алые ленты вплету.

Прогремлю, прозвеню бубенцами
И тебя подхвачу на лету.

Нет, он только с виду такой тихий, Егоров. А это именно он собирался прогреметь-прозвенеть бубенцами. И именно Аню Иващенко он собирался подхватить на лету.

Вскоре Аня вышла из вестибюля на улицу, поискала глазами Маничева, нашла, улыбнулась и, вынув из кулька, протянула ему большое красное яблоко.

Егорова она не узнала.

— Аня, это Егоров, — сказал Маничев и протянул Егорову яблоко.

— Не хочу, — замотал головой Егоров.

— Все ужасно изменились, — посмотрела на Егорова Аня. — А ты, Егоров, как прежде, дикий. Кушай яблоко. У меня еще есть…

Она не поздоровалась с ним, не удивилась, что встретила его, спросила только:

— Ты тоже на этот сеанс — в семь тридцать?

— Нет, — опять мотнул головой Егоров. — Я просто мимо шел. Просто мимо…

Потом он спросил, где ее брат и что она сама делает. Брат ее вьется вокруг театра. Она так и сказала: «вьется». Не артист, но что-то вроде ад-

министратора или помощника. Уехал в Барнаул. А она на курсах иностранных языков. Уже второй год учится.

— Это сейчас мировое дело — иностранные языки, — надкусил яблоко Маничев. — На любую концессию можно устроиться переводчицей. Они платят валютой. Говорят, им уже отдают в концессию даже пароходство. Не справляются с делами большевики…

Маничев точно хлестнул Егорова по лицу этими словами. Но Егоров ничего не ответил. Да, наверное, и не сумел бы ответить.

В вестибюле загремел колокольчик. Это приглашали в кинотеатр тех, кто взял билеты на семь тридцать.

Маничев потрогал Егорова за рукав.

— Ну, будь здоров.

— Буду, — пообещал Егоров. И, кивнув Ане, пошел дальше.

А Аня взяла Маничева под руку и даже не оглянулась на Егорова. Да и почему она должна была оглядываться?

Из всех витрин — из магазинов, аптек и парикмахерских — лился на улицу яркий свет.

И над самой улицей, над серединой ее, качались электрические лампочки. А под лампочками

мерцали лужи.

На каждом углу сидели подле маленьких черных ящиков мальчишки — чистильщики обуви.

Мало кто хотел сейчас чистить обувь, в такую слякоть. Но каждого прохожего пытались остановить своим криком мальчишки: «Почистим, гражданин! Почистим до блеску, до самого трес-ку!»

И только Егоров не интересовал мальчишек. Не такие у него башмаки, чтобы их еще чистить за деньги. Да и денег нет у Егорова. И не скоро будут.

Не скоро он купит себе такие штиблеты с узким носком, фасон «шимми» или «джимми», как у Ваньки Маничева. А может, не купит никогда. И все равно надо было что-то ответить Ваньке Маничеву, когда он сказал о большевиках.

Надо было ответить так, чтобы Аня вдруг покраснела. Не барин, мол, ты, Ванька, а холуй, хотя и корчишь из себя барина. И папа твой, лихач-извозчик, тоже холуй. И вечно вы будете холуями. «Сейчас у частника только и можно заработать». Ну и зарабатывайте! Ну и целуйте частника во все места! А Аня пусть целует этих самых… концессионеров. И Ваньку Маничева, если ей нравится этот боров. «Не справляются

с делами большевики». Еще посмотрим, кто с кем справится! Послать бы тебя, Ванька, сейчас в мертвецкую искать аптекаря, ты бы свободно набрал там полные штаны…

Егоров так взбодрился, что от недавнего его нездоровья не осталось и следа. Лоб вспотел. Клеенчатая подкладка фуражки прилипла ко лбу. Он потрогал козырек, сдвинул старенькую фуражку на затылок, и исхудавшее, бледное лицо его неожиданно приобрело залихватское выражение.

Вот таким он и вошел к Журу.

Жур, однако, не только не похвалил его, но и не взглянул на него, озабоченно роясь в каких-то бумагах на столе.

Весь стол был завален бумагами.

— Ах, как жалко! — наконец вздохнул Жур. — Я про Шитикова и забыл. Просто выпал у меня из головы этот Елизар Шитиков.

— Я Елизара Шитикова знаю, — сказал Егоров. — Он у нас во дворе жил. Потом он переехал. Он теперь на Извозчичьей горе живет…

— Нигде он не живет, — опять стал рыться в бумагах Жур. — Его сегодня убили.

— Убили?

— Ну да. Надо было его тоже велеть заморозить.

Он нам будет нужен. Это все одно дело. Ну и навязался на нашу голову этот аптекарь Коломеец Яков Вениаминович! Без него мало работы. А теперь бросить нельзя. Надо заморозить Шитикова…

Егоров молчал. А Жур все рылся в своих бумагах. И чего он такое потерял?

— Надо было мне сразу тебя попросить, когда ты пошел, чтобы заморозили и Шитикова, — опять сказал Жур.

Егоров неожиданно для себя предложил:

— Я еще раз могу сходить…

— Сходишь? — как будто обрадовался Жур.

— Схожу.

— Сходи, пожалуйста, Егоров. Не посчитай за труд… А ты обедал?

— Успею…

— А деньги на обед v тебя есть?

— Ну, откуда? — даже удивился Егоров. И успокоил Жура: — Я дома потом пообедаю.

— Дома ты завтра будешь обедать, — посуровел Жур. — Ты сейчас сходи еще раз в больницу насчет Шитикова, а потом пойдешь в «Калькутту» и там поешь. На вот. — Он достал деньги. — Бери, бери, не ломайся! Я этого не люблю. В получку отдашь…

— Ну уж, в «Калькутту»! — улыбнулся Егоров, уверенный, что Жур шутит. — Там меня только и дожидаются, в «Калькутте».

— Все уже закрыто, все столовые закрыты, — посмотрел на часы Жур. — А в «Калькутте» только начинают гулять. Зайди поешь. Послушаешь музыку. Но вина смотри не пей. Ни капли. Ты на работе.

— Да я и никогда не пью, — покраснел Егоров.

— Ровно в двенадцать ты мне будешь нужен, — постучал Жур пальцем по вещественному доказательству — по циферблату настольных часов в форме башни, подаренных когда-то кому-то в день чьей-то серебряной свадьбы, о чем гласит серебряная же, еще не оторванная пластинка. И вдруг сказал: — Хотя погоди, я вот что сделаю. Шитикова поднимал Водянков, пусть он его и замораживает. Я ему сейчас позвоню. А ты иди в «Калькутту». Обязательно хорошо поешь. Солянку возьми. Ночью, однако, мороз будет. Я чувствую, у меня рука ноет…

Егоров в «Калькутту» все-таки не пошел. Хотя было любопытно — никогда не был. Но не решился пойти. И домой пойти тоже не решился. Ведь все равно сегодня же придется опять уходить, а Катя обязательно пристанет с вопросами, куда

да зачем.

Но до двенадцати часов еще было далеко. А тут толкаться в коридорах не хотелось.

Егоров вышел на улицу, постоял у подъезда. Улица на его глазах чуть побелела — повалил снег.

Напротив, на другой стороне улицы, светился вход в клуб имени Марата. На дверях висела афиша:

«Сегодня лекция. Начало ровно в 8 часов. Вход свободный для всех».

Егоров перешел на ту сторону.

До начала лекции оставалось восемь минут, но народ собирался медленно. На кино или на постановку все идут, а на лекцию, даже когда вход свободный для всех, народу немного.

Егоров на деньги Жура взял в клубном буфете винегрет, селедку и полфунта хлеба. Все съел, показалось мало. Подумал, не взять ли еще бутерброд с сыром и чаю с сахаром. Что он, не отдаст эти деньги Журу? Конечно, отдаст. Жур сам сказал: «Отдашь в получку». Значит, будет получка.

Эта надежда развеселила Егорова. Он взял еще не только бутерброд с чаем, но и два печеньица из пачки «Яхта» — точно такие, какие ест во время своего дежурства по городу старший уполномо-

ченный Бармашев. Не для одного же Бармашева делают это великолепное печенье!

Все получилось очень хорошо. Егоров допил чай и доел печенье как раз в тот момент, когда из зала вышел заведующий клубом и сказал:

— Ну, товарищи, мы начинаем лекцию. Больше ждать нельзя. После лекции будет кино…

Лекция называлась «Будущее Сибири».

И вот есть дураки, которые не ходят на такие лекции!

Егорову было все безумно интересно.

Седенький старичок, какой-то ученый, что ли, подробно рассказывал, как все будет.

Через какое-то время — ученый, правда, не сказал, через какое, — Сибирь никто не узнает.

Ленин указывает, что электрификация должна изменить всю страну. И как раз в Сибири есть все возможности для электрификации. В Сибири появятся во множестве такие грандиозные заводы, каких еще не видывал мир. Они будут выпускать все — от сложнейших машин до одеколона. И нам не нужны будут никакие концессионеры. В кабалу к мировой буржуазии мы не пойдем. Мы будем делать все сами. Мы построим новые, чудесные города. И наши люди забудут даже такие слова, как «разруха» и «безработица».

Егоров, конечно, не сомневался, что все именно так и будет. Но он хотел бы, чтобы это все поскорее делалось.

Иначе, если дело такое затянуть, многие могут не выдержать. Многим очень трудно.

И этот старичок лектор, пожалуй, умрет, пока ликвидируют безработицу. Надо скорее строить и открывать заводы, чтобы всем была работа. А то ведь как нехорошо у нас пока получается: говорят, на работу надо принимать только членов профсоюза, а чтобы пройти в члены профсоюза, надо сперва поступить на работу. А как поступить?

Из-за этого и сестра Егорова Катя вот уже второй год не может никуда устроиться. Много ли она заработает стиркой при трех детях. И при ней же, вроде как на ее иждивении, находится пока брат…

Егоров сидит, внимательно слушает лектора и ребром то одной, то другой ладони, то обеими вместе постукивает о край стула.

Хорошо, что он попал на такую лекцию. Но как бы ему не опоздать на работу. Надо ровно к двенадцати. Он наклоняется к соседу и спрашивает шепотом, сколько времени.

— Десятый час. Двадцать минут десятого.

Значит, можно еще посмотреть и кино.

Неплохо идет время. Неплохо. А будущее еще не наступило. И лектор об этом говорил.

Егоров ошибся сегодня, когда скорбно подумал там, у кинотеатра, что будущее уже наступило.

Нет, будущее наступит еще. Замечательное будущее. Но в том будущем, которое наступит, уже не будет прежней Ани Иващенко. И не будет прежнего, влюбленного в нее Егорова. Он что-то приобрел сегодня и что-то потерял. Но так и идет жизнь…

11

Ровно в двенадцать ночи Егоров вошел в полутемный коридор уголовного розыска.

После не очень яркого света в клубе имени Марата тут ему показалось уж совсем темно. Как в освещенном восковыми свечами подземелье Староберезовского монастыря, куда бабушка еще маленьким привозила его на пароме, чтобы поклониться мощам святого Софрония. И стены тут такие же толстые, глухие, как там, в подземелье. Пол бетонный.

Многие сотрудники давно ушли домой. Остались только те, кто дежурит и кому предстоит участвовать в операции нынешней ночью.

Из дальней двери, должно быть из кабинета начальника, вышел Жур, увидел Егорова.

— А Сережа где?

Это он уже так называет Зайцева.

— Я могу его поискать, — предлагает Егоров.

— Не надо, — встряхивает черными волосами Жур. Днем видать, что они с проседью, с чуть заметной проседью. А сейчас, в этом полутемном коридоре, ничего не заметно. — Зайцев сам найдется. Он паренек точный.

Значит, Журу уже известно, что Зайцев паренек точный. А какой паренек Егоров? Об этом еще ничего не известно.

— Иди, Егоров, посиди там у меня, — говорит Жур, проходя дальше по коридору. — Скоро поедем. У нас сегодня серьезные дела. Очень серьезные…

Жура подстрелили прошлый раз на Извозчичьей горе, когда он производил обыск — искал оружие. Были проверенные сведения, что с Дальнего Востока опять поступила партия японских карабинов.

Две крупные партии оружия Жур отыскал еще весной. Был уверен, что отыщет и третью, о которой все время поступают сведения. Но не вышло. Бандиты оказали сопротивление.

Правая рука висит на перевязи. И ноет, надоедливо ноет. Видимо, кость серьезно повреждена.

Однако Жур не может сейчас лежать и нянчить руку. Он хочет поскорее отыскать эту третью партию оружия. Вот отыщет, тогда будет видно, что делать с рукой.

— Поехали, — говорит он в половине первого ночи и быстро шагает по коридору.

Зайцев уже нашелся и идет за ним. И Егоров идет.

Во дворе они усаживаются в старенький автобус фирмы «Фиат», который в уголовном розыске для простоты, что ли, называют «фадеем».

В кузове, со всех сторон затянутом дырявым брезентом, уже сидят какие-то люди, но рассмотреть их невозможно, потому что в кузове темно.

И во дворе темно, и на улице. Город давно спит.

А они куда-то едут…

Не весь город, однако, спит. В «Калькутте», когда они проезжают мимо, играет музыка. И будет играть всю ночь. И всю ночь из широких окон ресторана будут литься на улицу трепетные полосы синего света. И всю ночь будет греметь бубен. И гортанные голоса цыган будут разрывать пьяный гул.

Хорошо там, наверно, в «Калькутте», тепло. А в автобусе холодно. В дыры и в щели врывается ветер — уже зимний, пронзительный.

Егоров сидит в автобусе у самого края, на узкой скамейке, держится за железную скобу и чувствует, как коченеет рука от холодного металла. Но не держаться нельзя, а то, чего доброго, вывалишься из автобуса. Вот тогда будет хохоту в дежурке.

— Ты где там, Егоров? — спрашивает Жур. — Живой?

— Живой, — говорит Егоров. Но голос у него сейчас отчего-то сиплый, жалобный.

В автобусе смеются. Так теперь, наверно, всегда будут смеяться над ним. Что бы он ни делал, что бы ни говорил. Ну и пусть!

По хохоту Егоров узнает Воробейника. Значит, и Воробейчик едет с ними. А рука уже совсем закоченела. Что же будет дальше?

Автобус дребезжит, как консервная банка на веревочке.

И вдруг останавливается. Какое счастье, что можно погреть руку! Хоть минутку погреть. Ведь рука будет нужна для дела. Может, этой рукой сейчас придется взять наган. Может, придется стрелять. Кто знает, что придется делать!

Нагану тепло, он угрелся на животе Егорова. А

Егорову холодно. Правильно предсказал Жур, что ночью будет мороз.

Трое, пошептавшись, выпрыгивают из автобуса и уходят в кромешную тьму.

Вот теперь совсем хорошо. Егоров усаживается поудобнее. Можно больше не держаться за скобу. Руки он прячет за пазуху, под самое сердце. А сердце отчего-то сильно бьется. Может, Егоров трусит? Может, он правда боится? А чего бояться-то? Сколько народу в автобусе! И никто ничего не боится. Зачем же он один будет бояться!

Воробейчик опять смеется. Но Егоров понимает, что Воробейчик теперь смеется не над ним.

Теперь Егоров хорошо различает все голоса в автобусе, слышит все слова.

— Значит, ты немножко сердишься на меня, Ульян Григорьевич? — спрашивает Воробейчик Жура.

— При чем тут ты? — говорив Жур. — Я сам это дело выбрал. Но вообще-то получилась серьезная петрушка. Выбрал, называется, мелкое дело для практики стажерам. А теперь этот аптекарь всю душу из меня вымотает. И как раз он в эту пору мне сильно нужен при моих делах. Просто без него мне бы делать было нечего…

— Давай, Ульян Григорьевич, я аптекаря возь-

му себе, — предлагает Водянков. — И стажеров твоих возьму.

— Нет, уж пусть они при мне остаются, — весело отвечает Жур. — Больно хорошие ребята. И аптекаря мы между делом сами доработаем, доведем до ума.

Жур, в сущности, такой же, как все, уполномоченный, старший уполномоченный. Но по тому, как с ним все остальные разговаривают в автобусе, можно понять, что Жур имеет над ними еще какую-то вроде власть.

Водянков вдруг просит его:

— Ты поговори, Ульян Григорьевич, с Курычевым насчет Баландина. Это все-таки политическое дело. А он не дает мне людей. Я хочу, чтобы работала группа. Это всегда лучше, когда сразу начинает работать группа…

— Я поговорю, — обещает Жур. — Но толк-то какой? Тут не все от Курычева зависит…

Егоров прислушивается к разговорам и догадывается, что Жур какой-то особый человек. Не начальник, но все-таки особый. Ах, ну чего же тут гадать! Жур просто секретарь партийной ячейки.

Егорову с Зайцевым, наверно, сильно посчастливилось, что они попали именно к Журу.

А может, и не посчастливилось. Кто знает, что еще будет...

Автобус опять остановился. И опять двое выпрыгнули из автобуса. И еще выпрыгнул один, когда автобус переехал Архиерейский мост.

Вот этот, наверно, самый смелый, который выпрыгнул сейчас. Здесь же где-то рядом кладбище, а за кладбищем — это давно известно — живут самые отчаянные жиганы. Это даже отец Егорова всегда говорил, что за кладбищем ютится самое отъявленное жиганье.

Отец рассказывал, что ему пришлось тут однажды, еще в молодости, девушку провожать, так он, говорил, чуть ума не лишился. На обратном пути на него четверо жиганов в мертвецких саванах напали. Еле убежал. А отец был человек не трусоватый, на войне был — и на германской, и на этой, на гражданской.

— Егоров, где ты? Иди сюда, — позвал Жур.

Жур сидит недалеко от шофера. И Зайцев тут же.

— Чего ты там уединился? — говорит Жур. — Садись с нами. В компании-то веселее.

Егоров садится рядом с Журом, но особенного веселья не испытывает.

Автобус теперь продвигается медленно.

На ходу из автобуса выпрыгнули еще двое. И еще один.

Этот один был Воробейчик. Егоров узнал его в темноте.

В автобусе остались только Жур, Зайцев и Егоров. Егоров думал, что Жур будет что-то объяснять, расскажет, как надо вести себя в случае чего. Но Жур молча курил. И когда цигарка из газетной бумаги вспыхивала при затяжке, было видно лицо Жура, как показалось Егорову, печальное.

Наконец автобус остановился.

— Пошли, — сказал Жур и первый выпрыгнул на прихваченную морозом звонкую землю. За ним выпрыгнул Зайцев, потом, чуть помедлив, Егоров.

На улице стало как будто светлее, даже намного светлее.

Это из развалин тучи вышла луна.



Нет, кладбище они еще не проехали. Вот оно — белые столбы забора, чугунная ограда и церковь. Это они заехали с другой стороны кладбища. Оно большое, Егоров не думал, что оно такое большое.

Снег смешался с грязью и так застыл. Ноги в башмаках скользят. Надо было бы надеть валенки. У Егорова есть валенки. Хорошо, что он не продал их тогда, летом, в Дударях. А Жур правильно еще с вечера говорил, что к ночи будет мороз, хотя вечером было слякотно, шел снег.

Жур идет подле кладбищенского забора, поднимается в горку. У него тоже скользят ноги, но он идет уверенно.

— Ну, ребята, — говорит он, — тут глядите в оба!

Зайцев как-то странно горбится и озирается.

Жур вдруг смеется:

— Ты что думаешь, ты похож на Пинкертона? Ты сейчас на собаку-ищейку похож. А человек должен всегда походить только на человека…

Легко сказать — походить на человека. А на человека походить, может, труднее всего.

По скользким комкам мерзлой грязи они переходят улицу. Идут по переулку, мимо длинных сараев, мимо ветхих домиков, вдоль заборов,

сплетенных из обрезков кровельного железа, березовых прутьев и еловых жердей. Здесь официально обитают ломовые и грузовые извозчики, печники, скорняки, сапожники, скобяных дел мастера, и мало ли еще кто здесь обитает неофициально.

Кладбище теперь позади, но его хорошо видно с горки — кресты, склепы. Выше всех склеп купцов Трубицыных.

Жур стоит на горке, подносит к глазам левую руку, смотрит на часы. Потом долго и молча оглядывает кладбище.

И стажеры молчат. Так, наверно, и надо вести себя перед важной операцией.

Жур, может быть, еще раз обдумывает, как ее лучше проводить. Но Жур вдруг говорит:

— Ох, как я покойников сильно боялся! Долго боялся. Бабушка у меня была такая болтливая! Все мне, маленькому, про покойников разные страсти рассказывала. Вот я и боялся. Даже ночью другой раз не мог уснуть. Все мне что-то такое мерещилось…

— А потом? — спрашивает Зайцев.

— А потом, уж не знаю, как-то притерпелся, — пожимает могучими плечами Жур. И улыбается: — Все еще может быть. Может, и сейчас еще ис-

пугаюсь…

Зайцев тоже улыбается:

— Ну уж, сейчас?

— А что вы думаете? — серьезно говорит Жур. — Может найти всякое затмение…

А Егоров молчит. И в этот момент огромный, сильный Жур становится ему как бы ближайшим родственником. Вот с кем Егоров хотел бы когда-нибудь поговорить по душам!

— Укрепляйте, ребята, нервную систему, — вдруг советует Жур. — Вас еще и на войну пригласят. И не один раз. Много еще будет всякого. Молодой человек, я считаю, должен укреплять свою нервную систему…

А как ее укреплять, не сказал. Пошел дальше.

И стажеры пошли за ним.

12

Останавливаются они у двухэтажного, избитого дождями, и ветрами, и самим временем дома. Внизу лавка, наверху жилье.

Жур поднимается по шаткой лестнице, по узким обледеневшим ступенькам, и опять оглядывает местность.

Тихо здесь, мертвенно-тихо, словно и сюда распространилась территория кладбища. Впрочем,

кладбище видно и отсюда. Только теперь его видно уже смутно.

Вслед за Журом по лестнице поднимается, держась за поручни, Зайцев. И уж потом, когда Жур стучит в дверь, на лестницу вступает Егоров.

Дверь открывается, обдавая посетителей душным теплом.

— Высоко живете, — говорит Жур женщине, стоящей на пороге в одной рубашке и в цыганской шали, накинутой на голые плечи.

— Выше-то лучше. К богу ближе, — насмешливо откликается женщина, нисколько, видимо, не удивляясь столь поздним посетителям.

— Вам-то хорошо. Гостям худо. Хоть бы вы обкололи ступеньки ото льда, — показывает на лестницу Жур и продолжает оглядывать местность. — Подниматься трудно…

— Зато спускаться легко, — уже смеется женщина, и на смуглом лице вспыхивают белые зубы. — Если отсюда кого пихнешь, он вниз пойдет без задержки. Не затруднится…

— И часто спихиваете?

— Бывает… Ой, да вы меня простудите! Я с постели…

Они входят, как в предбанник, в крошечный коридор. Жур включает карманный фонарик.

— Жарко топите.

— Нельзя не топить — жильцы, — вздыхает освещенный фонариком старик, похожий на святого угодника Николая Мирликийского, спасителя на водах. — Дунька, лампу…

— Ожерельев? — вглядывается в старика Жур. — Тебя что-то давно не видать было…

— А вы будто не знаете, где я был. По вашей милости все было сделано. Но вот отпустили. Не находят за мной особой вины. Не находят. Сколько ни искали…

— Ох, так это вы, гражданин начальничек, а я думала — Яшка, — смотрит при лампе на Жура молодая женщина, почти девочка, которую старик назвал Дунькой. — А говорили, что вас вроде того что убили. Значит, вранье…

— Значит, вранье, — подтверждает Жур. — А ты, значит, по-прежнему здесь живешь?

— А где же? Раньше у дедушки Ожерельева жили и теперь живем. И так, наверно, будет до скончания века. Не выбраться, видно, нам отсюдова…

Дедушка Ожерельев сел к столу, постучал ногтем по табакерке, открыл, взял щепотку, набил обе ноздри, помотал головой.

— Не могу. Нюхать нюхаю, а чихнуть не могу.

Слабость. И сна нету. Пропал сон. И все по вашей милости. Вся наша жизнь одно беспокойствие…

Жалкий этот дедушка, чуть живой, а его еще по тюрьмам таскают, как он сам сказал. За что? И все тут какие-то жалкие.

Егоров смотрит на худенькую Дуньку, которая удивительно похожа на его сестру Катю. Бывает же такое сходство. Рост одинаковый, волосы, глаза. И щурится так же от лампы. И родинка над верхней губой. С той же стороны родинка, с правой.

Дунька говорит Журу:

— Никакого изменения в нашей жизни, гражданин начальничек, уж, видно, не предвидится…

— А какого же ты изменения ждешь? — спрашивает Жур. — Сама и виновата. Надо устраиваться. Я тебе давал адрес…

— Адрес — это одно, а дело — это другое, — будто сердится Дунька. — Вы думаете, это легко — солдатские шинели шить? Я себе все руки исколола…

Егоров почти разочарован. Он был уверен, что именно сейчас, в этом доме, начнется какое-то опасное действие. Он немножко боялся этого действия, но все-таки ждал его. Может, их начнут обстреливать, думал он. А ничего не случилось.

Такие же, как везде, разговоры. И жалобы такие же: на плохую жизнь.

Жур уселся почему-то у самой двери, где стоит ржавый умывальник. Может, Жур ждет чего-то.

— Значит, ты всех сюда перевез из старых своих домов? — спрашивает он старика. — И из женского монастыря тут, я смотрю, девушки?

— Да куда же я всех перевезу? — кряхтит старик. — Я и никого-то не перевозил. Они сами. Они работают от себя. Мне только за квартиру…



— Это верно, — соглашается Жур. — Разве всех перевезешь! У тебя ведь, кажется, три таких дома было…

— Вы мне все присчитываете, — обижается старик. — Был один дом, правда, мой, а второй — женин, жены моей, покойницы. А теперь вот самого загнали в этакую халупу и еще здесь по ночам беспокоят…

«Действительно, — думает Егоров, — для чего мы сюда пришли? Людей разбудили, сидим. А людям, наверно, завтра на работу».

— А сынок твой где? — спрашивает старика Жур.

— А откуда же я знаю? — разводит руками старик. — Вы бы не пришли, я и про вас бы не знал, где вы есть и в своем ли здоровье…

— Значит, не знаешь, где сынок?

— Не знаю. Я ж говорю, только на днях вернулся. А Пашка, говорят, совсем уехал. В Читу, говорят…

— Значит, ты еще не приступал к делам?

— А какие ж у меня дела? Мелкая торговля, и то лавка стоит запечатанная. Наложили зачем-то арест. А ведь что писали в газетах? В газетах писали: частный капитал должен торговать. То есть у кого есть деньжонки, пускай торгует…

— Но никто не говорил, что надо торговать

обязательно краденым.

— А я не спрашиваю, из каких мест доставляют товар. Откуда мне знать, краденый он или дареный.

На эти слова старика Жур не отвечает. Должно быть, не находит, что ответить. Молчит.

Где-то далеко глухо хлопают выстрелы. За перегородками, за черным занавесом тихо и тревожно переговариваются разбуженные люди. Кто-то поспешно одевается, стучит башмаками.

Все это слышат Егоров и Зайцев. И Жур, конечно, тоже слышит. Но он, должно быть, не придает этому никакого значения. Он по-прежнему сидит на табуретке подле умывальника, курит. Вдруг он спрашивает старика:

— Ну, а сейчас-то чем еще думаешь торговать, кроме оружия?

— Какого оружия? — возмущается старик. — Собираете вы бабью сплетню какую-то. Делать вам нечего. И раньше были сыщики, но такого не было, чтобы по ночам будить…

— Раньше, это правда, такого не было, — соглашается Жур. — Раньше ты бы сунул сыщику от щедрот своих красненькую, допустим, и воруй, и спи спокойно…

Егорову хочется разглядеть лицо старика, но

старик отворачивается от света лампы. Однако понятно, что он усмехается, сердито усмехается.

— Раньше, гражданин начальник, ты, пожалуй, и сам бы посовестился меня будить. Без всякой красненькой. Раньше, пожалуй, тебя бы не назначили на такую должность. Ты ведь, я знаю, молотобойцем у Приведенцева работал. Я и твоего папашу-хохла знал. Он бондарничал у Вороткова в мастерской. Вот это была ваша настоящая должность. А теперь, выходит, вы хозяева…

— Выходит, что мы, — опять соглашается Жур.

Старик наконец чихает и смеется, вытирая полой рубахи нос.

— Выходит, что правда. Ведь как вся жизнь, целиком вся, перевернулась… А может, она опять обратно перевернется? А что, если она перевернется обратно? А?

— Ты, наверно, на это и надеешься, — говорит Жур. И включает карманный фонарик, зажимает его в коленях, смотрит на ручные часы. — И Буросяхин на это надеется. И еще кое-кто. Иначе бы ты на старости лет не рисковал, не берег для них оружие…

— Тю, канитель какая! — еще больше сердится старик и плюет. — Опять он про оружие!.. Да ты его сначала найди. Найдешь — тогда разговари-

вай и хвались…

— Найдем, — обещает Жур. — А как же не найти! Нас на это дело специально поставили. Из молотобойцев, как ты говоришь, в сыщики перевели. Кому-то и этим делом надо заниматься…

На кирпичной плитке близко от лампы стоит незакрытая кастрюля с пшенной кашей.

Егоров смотрит на кашу. Она необыкновенно белая.

«Наверно, на молоке, — думает Егоров. И еще думает: — Уж поскорее бы все это кончалось!»

А Жур продолжает разговаривать со стариком.

И Зайцев заметно томится. Когда где-то далеко хлопают выстрелы, он, как охотничья собака, делает стойку, козырьком прикладывает ладонь ко лбу, смотрит в окно. Ходит от окна к окну, заглядывает за перегородки.

В дверь негромко стучат.

Опять та женщина в цыганской шали на голых плечах выходит из-за перегородки открыть дверь, как будто не могут открыть старик или Жур, сидящие у двери.

Входит раскрасневшийся, вспотевший Водянков. Он здоровается, хозяйственно сморкается, щурит от света глаза.

— Беседываете?

— Да вот, разговорились, — улыбается Жур, кивая на старика. — Давно не виделись. То он в тюрьме сидит, то я лежу в больнице…

— А у нас получилось все как надо, — рассказывает Водянков. — Буросяхина только что отвезли, со всей компанией…

— Буросяхина? — спрашивает старик.

— Его, дедушка, его, собственной персоной, — разглаживает пальцами пышные усы Водянков. — Правда, оказал сопротивление, а как же… Но, слава богу, отвезли. Отмучился, болезный. Отшумел…

«Где-то было что-то интересное, — огорченно думает Егоров. — А мы тут просидели». И смотрит в широкую щель, как за перегородкой перед зеркалом худощавый мужчина в пенсне дрожащими руками застегивает на затылке готовый галстук-бабочку.

— Ну куда же вы теперь пойдете? Еще ночь. Они ведь к дедушке, они нас не затрагивают, — успокаивает мужчину женщина в цыганской шали. — Да и вас разденут по дороге. Тут опасно. А у вас вон какое богатое пальто…

— Знал бы, не поехал, — никак не может застегнуть крючок на затылке мужчина. — Ведь как я не хотел сюда ехать! Это меня этот скотина Ар-

кадий Алексеевич уговорил. Стоеросовая дубина. Уверял — приличное помещение…

— А чего особенного? — будто обижается женщина. — У нас и не такие люди завсегда бывали. И все спокойно…

Егорова отвлекают от этой картины выстрелы, вдруг захлопавшие, кажется, у самого дома. Егоров смотрит на дверь. А Зайцев бежит к двери.

— Зайцев, не торопись, не на пожар, — негромко говорит Жур, не подымаясь с места.

Жура, должно быть, не удивляют и эти выстрелы. А стреляют, похоже, прямо в дверь.

«Как в ловушке мы», — думает Егоров. Но странное дело — страха не испытывает.

Дверь открывается.

В коридорчик не входит, а вваливается парень в кожаной тужурке, с лицом, измазанным чем-то черным.

Это, наверно, шофер автобуса.

— В самое ухо, — тяжко сопит он.

И когда подходит к лампе, видно, что это не черным, а красным измазан он — кровью. Кровь льется ему за ворот.

— Ах, дурак! — наконец сердится Жур.

— Почему же я дурак? — обижается шофер.

— Да не ты… Зайцев, перевяжи его… Умеешь?

Это вот дедушкин сынок дурак, — кивает на старика Жур. — Это его работа. Ни в какую Читу он не уехал. Он старается сейчас отогнать от дома. Надеется еще перепрятать с папашей оружие. Значит, сведения правильные…

— Это что, вы насчет стрельбы думаете? — спрашивает старик. — Это, вы думаете, мой сынок Пашка стреляет? Нет, это не Пашка. Благородное даю вам слово, не Пашка…

— Именно благородное слово, — усмехается Жур. — У тебя все слова благородные.

Зайцев не умеет делать перевязку. И Егоров не умеет. Но он помог шоферу снять тужурку.

Перевязку делает Водянков, зубами разорвав индивидуальный пакет.

А Жур отдергивает черный занавес.

— Здравствуйте, — говорит он мужчине в пенсне, уже застегивающему жилетку. — Прошу предъявить ваши документы.

— Я не обязан вам предъявлять, — с достоинством отвечает мужчина, и пенсне вздрагивает на его жилистом, тонком носу. — Я, во-первых, случайно сюда… случайно попал. Меня ввели в заблуждение. Я ни за что бы сюда не поехал. А во-вторых…

— Егоров, обыщи его.

Жур брезгливо поморщился и прошел дальше, за перегородку. А Егоров смутился больше этого случайного посетителя. Как это вдруг обыскивать такого почтенного гражданина? Но делать нечего.

— Ну-ка, гражданин, поднимите, пожалуйста, руки.

На Егорова пахнуло запахом духов, хорошего табака и самогонки.

Человек в пенсне оказался нэпманом, совладельцем фирмы «Петр Штейн и компания. Мануфактура и конфекцион».

Егоров вспомнил тот красивый магазин на Чистяревской, куда они заходили с Катей покупать сорочку. И не купили. Егоров больше не чувствовал почтения к этому человеку. Он сперва подумал, что это какой-нибудь профессор или доктор. А это нэпман, хозяйчик, частник…

— Держите, гражданин, ваши документы. А это у вас что?

— Это зажигалка в форме браунинга. Можете ее взять себе…

Егоров легонько нажал курок, пистолет фыркнул, зажегся огонек. Егоров удивился: правда, зажигалка.

— Возьмите ее, — опять предложил нэпман.

— На что она мне? — сказал Егоров и отдал зажигалку нэпману, хотя в самом деле занятная была зажигалка. Никогда такой не видел.

— Молодой человек, я надеюсь все-таки, что эта наша встреча останется между нами, — улыбнулся тонкими губами нэпман. — Я тем более семейный человек. Мне будет неприятно. — И все еще дрожащими руками раскрыл бумажник. — Вот, пожалуйста, вам. Никто не видит. Это за ваше молчание. По случаю нашего такого малоприятного знакомства. В таком месте…

— Ну что вы, ей-богу, одурели, что ли? — отвел его руку Егоров. — Для чего это?

Жур приказал отпустить нэпмана.

— А он мне деньги давал, чтобы я помалкивал, — засмеялся Егоров, когда нэпман ушел.

— И ты взял? — спросил Жур.

— Ну, для чего?

— Значит, ты взятки не берешь?

Тут только до Егорова дошло, что этот нэпман ведь правда предлагал ему взятку. Егоров покраснел. Он готов был сломать нэпману пенсне, переломать все кости. За кого этот нэпман принимает его, комсомольца Егорова? И как он сразу не догадался, что это ведь и есть взятка? Он думал, что взятки дают как-то по-другому…

Егоров выбежал на лестницу. Но по лестнице поднимались Воробейчик и еще какой-то парень в дорогой пыжиковой шапке и в борчатке с мерлушковым воротником, с таким же мерлушковым, как на шапочке и на воротнике у Ани Иващенко, которую Егоров встретил вечером, несколько часов назад. Но теперь ему казалось, что это было очень давно.

Воробейчик подталкивал парня, а парень оглядывался и огрызался.

За ними шли еще два человека, незнакомых Егорову.

— Вот он, гроза морей, — втолкнул в коридор парня Воробейчик.

— Прямо из Читы прибыл? — спросил парня Жур. — Папаша говорит, что ты в Читу отбыл…

— Я его с крыши ссадил, — кивал на хозяйского сына Воробейчик. — Он залез вон на ту крышу и постреливал вот из этой штуки. — Воробейчик достал из-за пазухи тяжелый пистолет кольт. — А я его тихонько из-за трубы, как кошка мышь. И еще счастливый его бог. Я бы сделал из него покойника, если б он оказал сопротивление…

— Эх! — снял пыжиковую шапку хозяйский сын и шлепнул ею об пол. Потом стал расстегивать борчатку с оторванной полой.

Полу он оторвал, когда Воробейчик сталкивал его с крыши.

Под борчаткой у него были синяя косоворотка, опоясанная шелковым шнурком с кистями, синие же брюки галифе и белые, измазанные в саже бурки, обшитые полосками коричневой кожи.

Егоров с интересом смотрел на него.

Это был первый крупный бандит, которого вот так близко увидел Егоров, — настоящий бандит. Он только что прострелил ухо шоферу и мог убить шофера. Мог убить кого угодно. И наверно, убивал.

Однако ничего особенного все-таки Егоров в нем не заметил. Хозяйский сын был похож на обыкновенных нэпманских сыновей, что торгуют в лавках на Борзовском базаре. И у него такие же, как у них, нахальные, насмешливые глаза. Он и сейчас не испуган, не растерян. Он только огорчен.

Вынув из кармана брюк расческу, он, глядя в зеркало, стал расчесывать мокрые волосы, кольцами слипшиеся на лбу.

— Для чего же ты учинил стрельбу? — спросил его отец, как спросил бы, наверно, всякий отец набедокурившего сына.

— Вы, папаша, не суйтесь, — ответил сын, соби-

рая с расчески опавшие волосы. Потом подул на расческу и спрятал ее в карман.

— Ну ладно, купцы, показывайте ваш товар, — улыбнулся Жур. — Ломик, надеюсь, у вас найдется?

— Девок тут развел! — закричал на отца сын. — Они все сыскные. Для чего они были тут нужны?

— Ломик, — повторил Жур. И спросил: — Сами будете поднимать пол или нам придется?

— Я у вас на службе не служу, — огрызнулся сын. — И служить не буду…

— Это определенно, — подтвердил Жур. — Служить ты у нас не будешь, нет.

Зайцев уже где-то в коридоре добыл топор и долото.

— Это что тут, в углу? — показывает Жур. — Надо разобрать.

Зайцев разгребает какие-то тряпки, мочало — сперва ногой, потом руками. Егоров начинает ему помогать. Они вытаскивают из кучи тряпья ватное одеяло, тянут матрас, набитый мочалом.

И вдруг в самом углу испуганно заплакал ребенок. Голый, худенький, лет, наверно, трех, со всклокоченными волосами.

— Ну, ты, сопляк! — сердито отодвигает его Зайцев. Он сердится сейчас на все, на всех. Он

уверен, что таким сердитым и должен быть всегда работник такого учреждения.

Ребенок встает на тоненькие ножки, жмурится от света, но не уходит из угла.

— Мальчик, — удивляется Егоров.

— Уберите ребенка, — обращается к женщинам Жур. — Чей это ребенок?

На свет лампы выползает страшная, как баба-яга, старуха. Точно такую Егоров видел в криминалистическом кабинете на снимке. А эта только что спала на печке.

— Кто его знает, чей он? Верка его мать. Она уехала во Владивосток. Оставляла мне ему на харчи, но чего она там оставила…

— А как Веркина фамилия?

— Кто ее знает как! Верка и Верка. «Княжна» ей была кличка…

Егоров поднял ребенка с полу, и ребенок цепко ухватился за его шею.

— Глядите, признал отца, — засмеялась женщина в цыганской шали.

Егоров покраснел.

— Кешка, — сказала Дуня мальчику, — это твой отец нашелся. Поцелуй папочку.

Мальчик еще крепче обнял Егорова и действительно поцеловал.

— Ничей? — спросил Егоров старуху. — Совсем-совсем ничей? — И повернулся к Журу.

— Работай, — нахмурился Жур. — Тут не детский дом. Положи ребенка…

Егоров посадил мальчика на сундук около кирпичной плитки и прикрыл его плечики байковым одеялом.

Зайцев уже оторвал топором плинтус и стал вырубать первую от стены доску.

— Подожди-ка, не так, — взял долото Егоров. — Она так может расколоться…

— Ну и пусть, — продолжал орудовать топором Зайцев. — Жалко, что ли…

— Подожди, — опять сказал Егоров.

И подсунул долото в то место, где забиты гвозди. Надавил коленом на ручку долота. Доска скрипнула протяжно и подалась, сильно пахнув старой, слежавшейся пылью и плесенью, от которой трудно дышать. И в то же время чуть расколотая смолистая доска вдруг запахла свежей лиственницей или сосной, будто под слоем тлена таилась жизнь и вот она обнаружила себя.

Егоров ловко отрывал долотом одну доску за другой, точно не один год провел на такой работе. Он делал теперь это с явным удовольствием. Но вдруг над его головой закричал Воробейчик:

— Ящик!

Под полом оказалось три ящика — два длинных и один квадратный.

В длинных ящиках лежали короткие японские карабины, обмазанные по стволам вонючей желтой мазью и обернутые в вощеную бумагу. В квадратном ящике — обоймы с патронами.

— Мало, — вздохнул Жур. — Отдирайте еще. И смотрите, куда прячут оружие. Это ж внизу потолок может обвалиться…

Вот теперь Егоров взял топор, потому что надо было отодрать тяжелые плахи.

— Да руби ты, не возись, — посоветовал Зайцев и хотел отобрать топор.

— Погоди, — отстранил его Егоров и снова, подсунув топор, как долото, в то место, где гвозди, навалился на черенок.

Плаха заскрипела со стоном, и опять после запаха пыли и плесени проявился живучий и сильный запах сосны.

Тут, у русской печи, были обнаружены пистолеты.

— Н-да, — поглядел на пистолеты Водянков. — Буросяхин со своей компанией натворил бы еще много бед при этих шпалерах. Опоздал он…

Дедушка Ожерельев ругался из-за чего-то с

сыном Пашкой, глядя, как их оружие переносят в автобус.

Женщины за печкой тревожно перешептывались. А худенький мальчик в байковом одеяле смирно сидел на сундуке. Увидев Егорова, проходящего мимо, он, как родного, вдруг ухватил его за штаны и показал на незакрытую кастрюлю с кашей, все еще стоявшую на кирпичной плитке.

— Хочу каши. Каши хочу.

Егоров не знал, как быть. Но разве можно взять чужую кашу? И он неожиданно для себя сказал мальчику:

— Погоди, потом! Дома покушаем.

Егоров, конечно, нечаянно это сказал, но все-таки не совсем нечаянно.

Отрывая старые доски, разгребая руками старую, слежавшуюся пыль, он все время думал о мальчике. Вот они сейчас уйдут, уедут отсюда, из этой душной тесноты, а мальчик останется. Надо бы забрать мальчика. Не надо мальчику тут жить. Нехорошо это, нечестно оставлять тут мальчика. Мальчик же ни в чем не виноват. Виноваты вот этот подлый дедушка Ожерельев, его сын Пашка и еще какой-то Буросяхин. Виноват, наверно, и этот трусливый нэпман, хозяин красивого магазина «Петр Штейн и компания.

Мануфактура и конфекцион».

В сердце Егорова закипала злоба. И в то же время пробуждалось еще неясное ему самому чувство ответственности за жизнь. Неясное, но сильное и острое, как свежий запах сосны, что пробивается из этих оторванных старых досок, пробивается вопреки всему, что налипло на них за многие годы.

Ох, какая тяжелая работа попалась Егорову!

Жур приказал ему стоять внизу, у автобуса, где уже стояли Воробейчик и шофер с забинтованной головой.

Вскоре сюда подошел еще автобус — черный, прозванный в уголовном розыске почему-то каретой. Это автобус для арестованных.

— Ну как, не боишься бандитов? — насмешливо спросил Егорова Воробейчик.

— Не боюсь, — ответил Егоров. И добавил: — Покамест не боюсь…

Внизу, у автобуса, пришлось стоять долго, пока наверху продолжали обыск и потом писали протокол. И все время, должно быть со скуки, Воробейчик посмеивался над Егоровым. Смеялся даже над тем, что Егоров, как он признался, не пьет, и не курит, и еще не женатый.

— Скопец, что ли?

13

Начинался медленный, мглистый рассвет, когда из дома вывели и усадили в «карету» задержанных. Вышли из дома наконец все сотрудники.

— Поехали, — сказал Жур, залезая в «фадей». — Кажется, все вышли.

«А как же тот ребенок?» — хотел спросить Егоров. Но не решился спросить. А спросить хотелось.

Воробейчик взглянул на растерянное лицо Егорова и засмеялся:

— Ребенка-то что же не берешь? А он тебя признал за родителя. Какие бывают бессовестные отцы…

— Ну и что? Я его возьму, — сказал Егоров и посмотрел на Жура. — Можно, я его возьму?

— Как хочешь, — сказал Жур. И нахмурился. Или это показалось Егорову, что Жур нахмурился.

Егоров побежал наверх. Он укутал мальчика байковым одеялом. Потом снял свою телогрейку, укрыл его еще телогрейкой. И в одном черном куцем пиджачке выбежал на улицу.

В автобусе смеялись. Только Жур не смеялся,

но он и не смотрел на Егорова. Видимо, ему было неприятно это странное поведение стажера.

А Водянков вынул из-под сиденья телячью шкуру и протянул Егорову.

— Ты укройся сам-то. Простынешь…

Зайцев опять сидел с Журом.

Жур спросил его:

— Ну как, Сережа, нравится тебе работа?

— Боевая, — весело откликнулся Зайцев. — Я такое дело вообще люблю…

— А тебе нравится? — спросил Жур Егорова. Надо было спросить и Егорова, уж если он спросил Зайцева.

— Ничего, — ответил Егоров.

— Ничего — это дырка, пустота, — сердито проговорил Жур. И смуглое лицо его как окаменело.

— Тебе надо бы, Егоров, в детский дом поступить, — насмешливо посоветовал Воробейчик.

— Ну кто же меня туда примет?

— А если б приняли, пошел бы?

— Ну откуда я знаю…

— Значит, тебе не нравится наша работа? — еще строже спросил Жур. — Ты скажи прямо…

— Нет, ничего, — повторил Егоров. — Я же говорю, ничего. Работать можно. Только, конечно…

— Это многим неинтересно, — сказал Жур. —

Никому не интересно мусор убирать. Но кому-то же это надо делать покуда. И надо учиться так делать, чтобы мусор убирать, но самому не измараться. Надо вот это уметь…

— А мне все было интересно сегодня, — признался Зайцев. — Только я сперва думал, товарищ Жур, что вы нас с Егоровым предупредите, как все будет, и скажете, как действовать.

— А меня и всех прочих работников бандиты тоже что-то не предупреждают, — усмехнулся Жур. — И не говорят, как надо с ними действовать. И раньше мне никто ничего не говорил. Я как вернулся с фронта, вышел из госпиталя, меня направили на эту работу, так вот сразу и пошло.

— Но вы все-таки на фронте были, на гражданской войне, — как бы позавидовал Зайцев. — И потом, может быть, читали специальные книги…

— Читал, — подтвердил Жур.

Зайцев вынул из-за пазухи книгу господина Сигимицу, начальника тайной полиции. Он, оказывается, и на операцию ее захватил.

И не только Жур, светя фонариком, подержал и полистал эту книгу в автобусе, но и Водянков, и Воробейчик, и другие.

Воробейчик даже сильно заинтересовался.

— Это вот какая книга, — показал он большой палец. — Ты дай мне ее хоть на денек. Я тебе тоже что-нибудь дам…

— Пустяки это, детские пустяки, — кивнул на книгу Жур. — Я такие тоже читал. Нет в них ничего нового. — Он потрогал Зайцева за колено. — Ты понимаешь, Серега, в чем дело? Все, что говорится в этой книжке насчет мускулатуры, — это, конечно, все, может, даже правильно. Но ведь, кроме мускулатуры, еще многое требуется в нашем занятии. Например, ум и совесть. А про совесть много ли там говорится, в этой книге?

— Про совесть? — почему-то смутился Зайцев. — Про совесть я чего-то не помню…

— Вот видишь. А совесть нам требуется в нашем занятии почти что на каждом шагу, поскольку нам выданы, чувствуешь, большие права…

Жур вынул левой рукой из кармана жестяную коробочку с табаком и стал скручивать на колене папироску из газетной бумаги. Табак у него рассыпался.

— Давайте я вам скручу, — предложил Зайцев.

— Нет, спасибо, — отказался Жур. — Мне хочется самому. Я так стал практиковаться еще в больнице. Меня учили инвалиды. Иногда у меня получается, иногда нет…

На этот раз получилось. Жур закурил и сказал:

— Мне вот сегодня дедушка Ожерельев в сердцах напомнил, что я бывший молотобоец и меня, мол, в старое время, при царе или при том же Колчаке, не взяли бы в сыщики. Это, положим, он брешет, что не взяли бы. Взять-то бы взяли. Не такая уж это высокая должность. Но при Колчаке или вообще в старое время все это было куда проще. Все шло, одним словом, как вроде по заведенному порядку. А сейчас это надо как-то по-новому налаживать. А как? Вот опять же этот дедушка Ожерельев, уже прижатый нами сейчас, все старался побольнее меня уколоть, даже отца моего вспомнил, как он говорит — хохла. А мне бы, по-умному-то, надо было промолчать, поскольку я тут выступаю в данный момент как представитель власти, представитель, можно сказать, государства. А я вдруг чуть не пустился с ним в перебранку. И вот сейчас жалею…

— Жалеете?

— Ну да, жалею. Вышло, как будто я с ним личные счеты свожу, с этим дедушкой, ну его к черту. — Жур приподнял край брезента и плюнул на улицу. — А это нехорошо и глупо. И опасно… Ну конечно, мы живые люди, и у нас могут быть разные личные счеты. Но мы не должны в наши

личные счеты вмешивать государство. А у меня вышло со стариком — я это сам заметил — не очень красиво. Я начал было серчать. А серчать нельзя, если ты представитель власти и хочешь делать все по закону…

— Да по закону его бы стукнуть надо, этого дедушку паршивого, — сказал Зайцев. — Стукнуть — и все, чтобы он не вонял.

— Стукнуть-то это проще всего, Серега. И легче всего, — очень пристально посмотрел на Зайцева Жур. — Труднее разобраться как следует, разобраться и понять…

А в чем разобраться и что понять, Жур не объясняет. Глубоко затягивается и долго молчит. Потом говорит снова:

— Нету книги, к сожалению, в которой бы все было указано, как делать и понимать. До всего надо додумываться самим, своей башкой. Все самим надо пробовать. И не бояться, если другой раз обожжешься. Без этого ничему ведь не научишься.

Мальчик, угревшись на руках у Егорова, крепко уснул. И Егоров, казалось забыв про него, внимательно и даже с удивлением слушал Жура, как все мы слушали в детстве, в юности разных чем-то удививших нас людей, встретившихся

нам на разных жизненных перепутьях.

И, не подозревая об этом впоследствии, мы легко усваивали и усваиваем многое из характеров этих людей, прошедших мимо нас, ушедших навсегда, но продолжающих существовать и действовать не столько в нашей памяти, сколько в наших поступках и в наших душевных движениях.

Конечно, Егоров потом забудет во всех подробностях эту ночь. Забудет, как дребезжал на ухабах старенький автобус фирмы «Фиат», прозванный для простоты «фадеем». Забудет и подлого дедушку Ожерельева, и отчаянного мерзавца его сына Пашку. Забудет и продушенного духами, хорошим табаком и самогоном нэпмана — совладельца фирмы «Петр Штейн и компания. Мануфактура и конфекцион». Забудет и многие слова, говоренные Журом. И даже многие мысли, высказанные им, забудет. Но что-то необходимое для жизни все-таки отложится, отслоится в самом сердце и в глубинах сознания молодого человека, и это будет называться потом жизненным опытом. За жизненный опыт, однако, придется еще заплатить дорогой ценой, придется еще многое пережить, узнать и услышать…

Впрочем, не все мы и не всё усваиваем в жиз-

ни одинаково. Даже, казалось бы, бесспорные истины разными людьми воспринимаются по-разному и в разных душах находят разное преломление.

Егоров думает одно, а Зайцев другое.

Зайцеву не понравилось, что Жур так начисто отверг книгу господина Сигимицу. Зайцев почти обиделся. И не за господина Сигимицу, а за себя. Ведь книга эта теперь принадлежит Зайцеву. Он нашел ее на развале, купил, прочел, дал почитать Егорову. И у Зайцева есть об этой книге свое мнение — не такое, как у Жура. И Зайцев вообще не обязан во всем слушаться Жура. Тем более Жур эту книгу не читал.

— Вы правда эту книгу не читали, товарищ Жур?

— Нет, эту книгу не читал, — опять посмотрел на обложку Жур. — Но они почти все похожи. Их на базаре и сейчас можно сколько угодно найти…

— А эту, значит, вы не читали? — еще раз спросил Зайцев.

И непонятно, чего он добивается. Даже смешно. Жур улыбнулся:

— Ты что, Серега, хочешь доказать, что это какая-то особая книга господина Сигимицу?

— Я ничего не хочу доказывать, — сказал Зайцев. — Я просто спрашиваю…

Но он не просто спрашивал. Он взъярился, как молодой петух. И это было действительно смешно.

Если б так повел себя, допустим, Егоров, над ним бы первым засмеялся Воробейчик. Но Зайцев рассмешил только Жура. А смешливый Воробейчик на этот раз не смеялся. Может, не хотел смеяться. Не заметил, что это смешно. Или ему просто нравится Зайцев. Ведь может и Воробейчику нравиться кто-то. И к тому же Воробейчик хочет выпросить эту книгу у Зайцева.

Зайцев сердился и пропустил мимо ушей все рассуждения Жура. Но Журу понравилось даже, как сердится Зайцев.

— Ох, смотрю, ты шибко самолюбивый паренек, Серега!

Это сказал Жур Зайцеву, когда все выходили из автобуса во дворе уголовного розыска.

— Ты останься, Серега, ты мне еще будешь нужен немножко. А ты иди домой, — сказал Жур Егорову. Как-то обидно сказал. И должно быть, сам заметил это. — Или лучше вот так сделаем. Шофер сейчас сменится, и тебя отвезут домой в автобусе…

14

Многие удивились на Ужачьей улице, когда утром чуть свет Сашку Егорова привезли на автобусе, и еще с ребенком на руках. Но больше всех удивилась, прямо ужаснулась сестра Егорова.

— Чертушка ты! — всплеснула она руками. — Ты как на погибель мою стараешься. Куда ты ребенка притащил? Для чего? У меня вон своих трое, без отца, с открытыми ртами…

— Ты, Катя, не обижайся, — смущенно попросил Егоров. — Ты его только искупай. Чем-нибудь немножко покорми. Он здорово есть хочет. Гляди, какой худой. А ему, говорят, три года. И ты его не оскорбляй. Я его потом снесу в детский дом. Он будет считаться как мой собственный сын. Он прямо признает во мне отца. Ну и пусть. Я его на свою фамилию запишу…

— Да мало ли сейчас детей беспризорных, даже получше этого! — сказала Катя. — Ты посмотри, что на вокзале делается! По всей России едут почти что одни беспризорные. Разве ты можешь всех записать на свою фамилию?

— Сколько смогу, столько запишу, — упрямо проговорил Егоров. — А ты, Катя, не обижайся. Я скоро буду очень хорошую зарплату получать.

Все деньги будут твои. Я ведь даже не курю. Хотя некоторые и смеются. Ну и пусть. Я все равно курить пока не собираюсь…

На счастье Егорова, это внезапное прибавление его семейства совпало с другим событием, которого, впрочем, надо было ожидать.

На следующий день в обеденный перерыв Егорова у титана, где берут кипяток для чая, встретил Зайцев:

— Ты почему, Егоров, деньги не получаешь?

— Какие?

— Как какие? Мы же здесь не ради христа работаем. Нам выписали за две недели как стажерам. Я получил…

Егоров держал кружку под краном. Она уже наполнилась. И кипяток пошел через край, полился на пол, на башмаки Егорова. А он все еще удивленно смотрел на Зайцева.

— Ну да? Ей-богу?

— Вот именно ей-богу! — засмеялся Зайцев. — Ты просто малахольный! — И закричал: — Ты смотри, смотри, ты же сейчас ошпаришься!

Егоров в растерянности уронил кружку. Потом поднял ее, поставил на подоконник и пошел на второй этаж получать зарплату, если правда, что Зайцев его не обманывает.

Однако на втором этаже, в бухгалтерии, как во всем учреждении, как во всем городе, был обеденный перерыв. Касса была закрыта.

Егоров, забыв о своем обеде, сел у кассы. Он хотел, чтобы поскорее пришел кассир. И в то же время его тревожила мысль: а вдруг Зайцев чего-то напутал? Или Зайцеву выписали, а ему, Егорову, еще не полагается? Зайцев ведь чуть раньше его пришел в уголовный розыск. Нет, они, кажется, в один день пришли. Ну да, в один день…

Мимо Егорова проходили служащие, возвращавшиеся к своим столам после обеденного перерыва. И ему было неловко. Ему казалось, что все смотрят на него и думают: «А этот уже пришел за деньгами. Еще ничего не наработал, а уже пришел за деньгами. Бывают же нахалы…»

Однако в свой час явился угрюмый кассир и, поискав прокуренным пальцем в ведомости фамилию Егорова, спокойно отсчитал ему деньги.

— Распишитесь вот тут…

— Пожалуйста, — сказал Егоров.

Он, безмерно счастливый, сбежал по каменным ступеням вниз. Но внизу взял себя в руки и степенно, даже степеннее, чем надо, и медлительнее, чем надо, прошел по коридору мимо постового

милиционера, чтобы и милиционер не подумал, что Егоров уж так сильно обрадовался этим деньгам. Что он, денег, что ли, никогда не видел, Егоров? Все получают зарплату, и он получил…

Внизу, в узенькой своей комнатке, Жур приступил уже к третьему допросу одного из братьев Фриневых.

Все было ясно теперь. Аптекаря Коломейца отравили братья Фриневы. Он был их компаньоном не только по содержанию аптеки, но и по сбыту краденных у государства спирта и дорогих лекарств.

При дележе огромных барышей у компаньонов встретились серьезные затруднения.

Яков Вениаминович Коломеец, как глава всего дела и бывший учитель братьев Фриневых — он был старше их и по возрасту, — присваивал наибольшую долю.

Кроме того, он намекал, что в случае повторных протестов со стороны братьев у него есть возможность их жестоко наказать. Он знал за ними такое, что, если об этом узнал бы и уголовный розыск, им ни за что не миновать бы тюрьмы.

А он сам, Коломеец, человек разочарованный. От него ушла жена. Ему жизнь теперь вообще не мила. И терять ему, стало быть, нечего…

Это и заставило братьев Фриневых применить к своему старому учителю и соучастнику самые крайние меры. И они применили. Но у них получилось немножко не так, как они сперва задумали.

Они старались его выманить из квартиры. Хотели прокатить его за свой счет на извозчике, чтобы якобы развлечь, рассеять его хмурые мысли по поводу подлой измены супруги. А потом намеревались завезти его на Дачу лесного короля, в эту необыкновенно красивую, но пустынную в осеннее время местность, и здесь прикончить с помощью веревки, которая была припасена и находилась уже в великолепном экипаже на дутых шинах, на «дутиках», извозчика Елизара Шитикова.

Затея эта, однако, не удалась.

Тогда братья Фриневы, Борис и Григорий Митрофановичи, явились к своему учителю в день его рождения и принесли с собой подарок — американский фотоаппарат, купленный в комиссионном магазине Шальмеера.

Им было известно, что Коломеец еще неделю назад облюбовал этот аппарат, но купить по скупости своей не решался. Они преподнесли ему этот подарок, и старший брат Борис сказал,

что уже довольно бы им спорить и ссориться. Яков Вениаминович все-таки их учитель, и они помнят это и хотят извиниться. И хорошо бы по такому случаю, и тем более в честь дня рождения, выпить и забыть все. Правильно, мол, что Яков Вениаминович берет себе большую часть. Он и должен ее брать, если он их учитель.

В спирт, который был у Коломейца, они добавили очень полезной для желудка облепиховой настойки, так как учитель их по слабости здоровья никогда не употреблял спирт в чистом виде. И вообще в выпивке был воздержан. Мог охмелеть от одной рюмки даже не вина и не спирта, а только лимонада, если при этом будут чокаться лимонадом и произносить тосты.

Поэтому братья спирт развели облепиховой настойкой по-разному — себе покрепче, учителю послабее. И он сам взбалтывал и разводил эти вроде как разные напитки.

Ему, конечно, и в голову не могло прийти, что напиток, который он приготовил для себя, и есть самый крепкий, даже больше того — смертельный. В нем был яд, очень сильная доза яда, принесенного братьями из своей аптеки и аккуратно вдавленного в пробку как раз той бутылки, которую взбалтывал для себя в день своего рож-

дения Яков Вениаминович Коломеец.

Яд должен был убить его не сразу, а часа через три, максимум через четыре, когда гости уйдут домой. А пока захмелевший аптекарь веселился и радовался, что ему попал в руки такой чудесный фотоаппарат.

Он проводил гостей в начале десятого часа вечера, тщательно, как всегда, замкнулся у себя в комнате и решил лечь спать. Но ему вдруг стало душно, и он открыл форточку. Он думал, что воздух его освежит.

Но воздух его не освежил.

В начале двенадцатого именинник умер. А форточка так и осталась открытой.

В час ночи братья Фриневы опять подъехали к дому своего учителя и компаньона. Их встревожило вот что: а вдруг кто-нибудь видел, что они вечером были у Коломейца? Ведь очень легко при вскрытии трупа заподозрить, что именно они отравили аптекаря. Конечно, доказать это было трудно: яд такой мог быть и у него самого. И он сам мог лишить себя жизни, огорченный уходом жены.

— Глупо мы сделали, что не взяли обратно фотоаппарат, — сказал старший Фринев, Борис. — Я себе эту глупость никогда не прощу. Можно было

бы перед уходом опять поссориться с ним и забрать аппарат. И зачем он ему? И вообще все это крайне глупо. Я уверен, что нас заподозрят…

И тут братья опять посмотрели на открытую форточку. А что, если сговорить извозчика Елизара Шитикова попробовать залезть в форточку и забрать аппарат? Все равно они с ним в сговоре. Все равно ему надо платить. А пролезет ли он в форточку?

— Моментальное дело, — сказал Шитиков.

И от себя внес серьезную идею. Он залезет в форточку вот с этой веревкой, что у него уже давно припасена под козлами, подвесит аптекаря на какой-нибудь крюк или гвоздь. И тогда уж комар носу не подточит: понятно будет, что аптекарь сам удавился.

Шитиков потребовал только, чтобы братья ему вперед уплатили за эту работу очень крупную сумму.

— Верить на слово по теперешнему времени никому нельзя, — вздохнул Шитиков. — Больно много развелось плутов и бессовестных людей. Многие, даже образованные, люди прямо как бандиты действуют. Даже хуже других бандитов и мазуриков…

Братья тут же уплатили Шитикову. И он так

ловко обделал это поручение, что можно было только удивиться. Он, как змея, пролез в узкую форточку, куда, казалось, и голову не просунет нормальный человек. И вылез с фотоаппаратом. Но отдать аппарат братьям он, однако, наотрез отказался. Он стыдил их, когда они требовали фотоаппарат, напоминал им, что они так же, как и он, христиане и что господь их обязательно покарает за жадность.

— А окромя того, — в заключение погрозил братьям Шитиков, — мне моя жизнь тоже не дорогая. Я в случае чего и повиниться могу. Могу поехать в губрозыск и повиниться. Кто я такой? Я человек темный. Извозчик. А вы все-таки люди образованные — фармазоны. Лекарства составляете, людей травите…

И с этими словами извозчик уехал к себе на Извозчичью гору. Но прожил он после этих слов только сутки.

Через сутки он был убит.

Все ясно, что касается убийства аптекаря. Остается только выяснить, кто убил извозчика Елизара Шитикова.

Братья Фриневы отказываются говорить об этом. Старший брат, Борис, сознался как будто во всем, рассказал в подробностях, как они отра-

вили аптекаря, но об убийстве извозчика он, вот истинный Христос, ничего не знает.

А младший брат, Григорий, что сейчас сидит перед Журом, держит себя так, словно он и в отравлении аптекаря не принимал никакого участия.

— Поклеп, все поклеп на меня, — говорит он одно и то же, мотая лысой головой.

Жур, однако, терпелив. Даже излишне терпелив, как кажется Зайцеву.

— Григорий Митрофанович, — смотрит Жур почти жалостливо на младшего Фринева, — мы же с вами разговариваем не первый день. Зачем мы понапрасну время расходуем? Ведь все же главное и так ясно. А что не ясно, мы все равно выясним. Мы для этого тут работаем. А вы, честное слово, как дурака валяете. Брат у вас умнее…

— Ему и полагается, — пробует пошутить Григорий Фринев. — Он старший брат.

— Ну, скажите, если можете, откровенно, — просит Жур, — кто кому сильнее надоел: вы мне или я вам? Ведь вы же который день повторяете одни и те же слова…

— А что же еще повторять, если натуральный поклеп? — вскидывает на Жура оловянные глаза младший Фринев.

— Я бы его сейчас прямо сразу стукнул, — вспыхивает Зайцев, когда арестованного уводят обратно в камеру. — Он — вы же сами видите — просто играет у вас на нервах, как на гитаре.

Жур улыбается:

— Я же говорил вам, ребята, надо укреплять нервную систему. Нервы еще потребуются. Время такое, что нервы потребуются. Надолго еще потребуются. У нас нервы должны быть всегда вот какие…

Жур сжимает в кулак длинные, сильные пальцы левой руки. Правая у него еще на перевязи.

— Все равно, — пылает в красивых рыжих волосах голова Зайцева, — все равно таких, как эти Фриневы, по-моему, надо кончать всеми способами. Прямо немедленно кончать…

— Это как же? — опять улыбается Жур. Ему, видимо, нравится страстность Зайцева. — Как же ты, Серега, предлагаешь их кончать? Вот так же, как они кончили аптекаря?

— Хотя бы. Убийство за убийство. Я бы даже и разбираться не стал…

— Видишь, Серега, — трогает его за колено Жур, — это вот они, Фриневы, не разбирались. Они хапуги, жулики, воры и убийцы. А мы…

— Но ведь сказано: карающий меч револю-

ции, — Зайцев запальчиво перебивает Жура.

«Он начитанный», — уважительно смотрит на Зайцева Егоров. Но Егорова сейчас, откровенно говоря, не сильно интересует этот разговор. Он хотел бы сегодня пораньше уйти — отнести домой получку. Ох, наверно, будет рада Катя!

— Меч, ведь он очень острый, Серега, — ходит по узенькой своей комнатке Жур. — Особенно если он карающий. С ним требуется большая осторожность. Очень большая осторожность. Нам наша партия на это прямо указывает…

— Но партия не указывает, что надо нюньканься со всякими отравителями, — возражает Зайцев. — Когда я еще хотел поступить в уголовный розыск, у меня было такое представление, что здесь сразу кончают. Берут и сразу, в случае чего… кончают…

— Тогда ты ошибся, Зайцев, — вдруг останавливается Жур и смотрит на Зайцева в упор. Лицо у Жура становится каменным. — Тогда тебе всего лучше было пойти в палачи…

Эти слова ошеломляют Зайцева. И может быть, даже выражение лица Жура пугает. Зайцев молчит, опускает глаза. Потом внезапно усмехается:

— Ну, вы тоже скажете, товарищ Жур!

И Жур, должно быть, чувствует, что перехва-

тил.

— Чудак ты, Серега, — говорит он, чуть помедлив. — Чудак. Молодой еще. Больно горячий. Тебе еще надо книги почитать, подумать, поглядеть, как народ живет, узнать, в чем его трудность жизни. Бывает, что люди и в преступники попадают от безвыходности. Если всех вот сразу так карать…

— А эти братья Фриневы тоже попали от безвыходности?

— Ну, эти другое дело, — морщится Жур. Он задел больной рукой о спинку стула. — Этих мы не будем брать в пример. Но с ними нам по закону тоже надо как следует разбираться.

Жур подходит к столу, перелистывает бумаги.

— Довольно, ребята, философии. Я займусь, однако, Грачевкой. Надо нам готовить большую операцию. А ты, Серега, вот что. Поезжай привези сюда нового мужа этой вдовы аптекаря. Надо его во что бы то ни стало найти. Парфенов Терентий Наумович. Нет, вы лучше поезжайте вдвоем с Егоровым. И смотрите в оба. Мне думается, по некоторым данным, что это серьезный жук. Он может много прояснить в аптекарском деле. А в общем дело неинтересное…

— А мне показалось, что оно, напротив, инте-

ресное, — вдруг говорит все время молчавший Егоров. — Как ловко вы его раскрыли…

— Не все еще раскрыли, — уже уселся в свое кресло Жур. — Надо, однако, стараться дальше так же все тщательно анализировать…

Это непонятно Егорову. Как это надо стараться анализировать? Но спрашивать сейчас об этом у Жура неловко. После надо спросить, в подходящий момент.

Жур вчитывается в бумаги. Лицо у него становится необыкновенно озабоченным.

Зайцев и Егоров уходят.

15

Зайцеву и Егорову снова надо было ехать на Извозчичью гору, где на Водопойной улице, в Щенячьем тупике, проживает новый муж вдовы аптекаря — некто Парфенов Терентий Наумович.

Извозчичья гора, наверно, долго еще будет притчей во языцех. Долго еще будет тут ютиться разная шпана. И не только городские жители, но и работники уголовного розыска долго еще будут с особым чувством вспоминать об этой горе, о ее огромном, заросшем густым кустарником кладбище, о «хитрых хазах» и «малинах», что теснятся

за кладбищем и вокруг него.

Не отличишь, где живут кустари и где настоящие, опытные, профессиональные бандиты. Все смешалось здесь, как на свалке.

Понятно, что Егоров и Зайцев чувствуют себя по-особому настороженно, снова отправляясь на Извозчичью гору.

Егоров немножко тревожится из-за того, что с ним сейчас вся его двухнедельная получка. Вдруг что-нибудь случится — деньги пропали. А как обрадовалась бы Катя, увидев эти деньги…

На углу Кузнечной и Стремянной Зайцев остановил извозчика точно так, как это сделал Жур, когда они ехали на первое в своей жизни происшествие — поднимать мертвого аптекаря.

А теперь они едут одни, без Жура.

Жур сказал, что этот Парфенов, муж бывшей аптекарши, серьезный жук.

«Интересно, сейчас узнаем, какой он жук, — думает Егоров. И уже забывает о том, что у него в кармане вся его получка. — Парфенов, Парфенов. Фамилия какая знакомая!» Потом он думает над словами Жура: «Надо стараться все тщательно анализировать».

Егоров готов изо всех сил стараться, но ему непонятно: как это надо анализировать? И в

книге господина Сигимицу ничего об этом не сказано.

Егоров и Зайцев сидят рядом в извозчичьей пролетке с поднятым кожаным верхом. Впереди у них толстая ватная спина извозчика в круглой войлочной шляпе с блестящей пряжкой на околыше.

— Как ты это понимаешь, Сергей, — «надо анализировать»?

— А чего тут не понять? — говорит Зайцев. — Очень просто. Человек, допустим, отказывается: я, мол, не воровал. А ты ему все равно не веришь. Ты делаешь в уме свой анализ: нет, мол, я тебя знаю, ты вор…

— А если он правда не вор?

— Все равно ты должен его подозревать. Ты всех должен подозревать…

— Всех?

— Ну да. Никому верить нельзя.

Зайцеву уже все понятно. А Егоров во многом сомневается.

— Погоди, Сергей. Как же это так? Никому верить нельзя. Это, выходит, мы должны жить, как Елизар Шитиков. Это же он перед смертью сказал. Так прямо и в протоколе записано. Шитиков сказал братьям Фриневым, что, мол, отдайте

мне деньги вперед, потому что по теперешним временам никому верить нельзя…

Зайцев смеется.

— Он правильно сказал. — И кивает на спину извозчика. — Ты поосторожнее с разговорами. Мы на дело едем…

— А я ничего особенного и не говорю, — оправдывается Егоров. — Но понимаешь, что я думаю. Если всех подозревать и всем не верить, так это получается, что все люди плохие…

Зайцев подтягивает голенища сапог. Один сапог вытирает об извозчичий плюшевый коврик и досадливо морщится.

— Для чего ты сейчас завел этот разговор? Плохие, хорошие… Ты, честное слово, как… как девушка какая-то. Или даже как… баба…

Егоров молчит. В самом деле, может быть, он завел сейчас ненужный разговор?

А Зайцеву хочется, видимо, сгладить излишнюю резкость слов, и он, помедлив, говорит уже другим тоном:

— Ты пойми, Егоров, одно. Если ты, допустим, не работаешь в розыске, если ты просто человек, ты можешь верить кому хочешь…

— Но я все равно остаюсь человеком, — перебивает Егоров, и лицо его принимает упрямое и

даже сердитое выражение.

Зайцев опять смеется.

— Ох, до чего ж ты забавный… — И, выглянув из пролетки, делает строгое, озабоченное лицо, такое же, как у Жура. — Кажется, мы с тобой приехали.

Они подходят к высоким зеленым воротам.

Зайцев не начальник Егорову. И никто не говорил, что Зайцев должен быть старшим. Но он ведет себя как старший.

— Ты меня тут жди, Егоров, у ворот. Если услышишь стрельбу или я крикну, тогда забегай в ворота. А если все тихо, просто стой. Конечно, если кто побежит, задерживай. Тут зевать никак нельзя…

Егоров ждет Зайцева минут пять, десять. Никто не бежит, не кричит, не стреляет. Все тихо вокруг.

Только внизу, под горой, ревет невидимая отсюда река, ревет и глухо скрежещет. Трудно ей. Мороза все еще нет — настоящего, крепкого, сибирского. Не скоро еще в этом году замерзнет река. Она буйная, озорная.

Егоров вспоминает лекцию в клубе имени Марата. И лектора вспоминает, седенького старичка. Он говорил, что здание величайшей

гидростанции, которая будет выстроена на этой реке, вероятно, разместится в районе так называемой Извозчичьей горы.

Егоров сейчас думает об этом. И ему становится вдруг весело. Все тогда тут изменится, на этой горе. Все эти хибарки придется сломать. И все воры и бандиты разбегутся, как тараканы. Или они будут тут работать на гидростанции, на строительстве. Их заставят тут работать…

Из ворот выходит Зайцев. Нет, пока ничего не получилось. Вдова аптекаря говорит, что она ничего общего не имеет теперь с Парфеновым. Он оказался, говорит она, темной личностью. Да, она им одно время увлекалась. Но это было временное увлечение. Она жалеет об этом.

Зайцев, однако, разузнал у вдовы про всех родственников и знакомых Парфенова, записал их адреса, взял его фотографию. Теперь будет легче его искать. А он явно скрывается. И вообще подозрительный тип. Нигде не работает и что делает — непонятно. И непонятно, чем он мог соблазнить аптекаршу. На фотографии он в котелке, при галстуке, морда отвратительная, отлитая из какого-то тяжелого серого вещества, глаза сонные. Это он снимался еще до революции.

— Ну, пойдем, — говорит Зайцев.

Почти весь день они потратили на поиски этого неуловимого Парфенова. Они ездили и на извозчиках, и ходили пешком.

Егоров несколько раз хотел продолжить разговор о том, как надо анализировать. Но Зайцев сердился:

— Не люблю разговаривать про разную бузу, когда надо работать, соображать. Жур, наверно, думает, что нас уже ухлопали. А мы никак не можем найти этого типа в котелке…

В каждом доме, куда они заходили, им говорили, что Парфенова нет. Был недавно, но сейчас нет. И давали адрес места, где он может быть. Они узнали, между прочим, что у Парфенова уже есть новая симпатия — некая Нюшка. Но фамилия ее неизвестна. Однако живет она на Канавной улице, дом номер то ли шесть, то ли семь, а может, и десять.

На Канавной Зайцев сразу облюбовал маленький старый домик, у ворот которого на лавочке сидела старуха. А над нею качался, поскрипывая на ветру, жестяной сапог, извещавший, что здесь живет сапожник.

«И Парфенов здесь живет», — почему-то сразу, каким-то непостижимым чутьем, угадал Зайцев, хотя на воротах написан краской номер три.

Зайцев подошел к старухе.

— Терентий дома?

— Да он дома, и нету его. Он вышел, — сказала старуха. — А ты чей? Веркин брат, что ли?

— Веркин брат.

— Так вы проходите. Они вас ждут. Нюшка сейчас пельмени будет крутить. Терентий побег за мясорубкой к Захаровым. Да вот он сам идет, — вдруг показала старуха.

Из соседних ворот вышел огромный мужчина в пальто, накинутом на плечи, и в бобровой круглой шапке с бархатным верхом, нисколько не похожий на свою дореволюционную фотографию. В правой руке у него была мясорубка.

— Вы Парфенов Терентий Наумович? — пошел ему навстречу Зайцев.

— Хотя бы…

— Вы нам будете нужны на минутку. Пройдемте с нами. Тут неудобно стоять…

— Это кому же… неудобно?

Мужчина без заметной тревоги, но с явным презрением оглядел совсем молодых ребят — одного в потертом, узковатом в плечах пальтеце, с рыжими волосами, прикрытыми старенькой кепкой, другого в стеганой телогрейке и в выцветшей, должно быть гимназической, фуражке.

— Да вы что, недомерки, на бимбор, что ли, меня хотите взять?

И он взмахнул мясорубкой.

Всегда Егоров будет восхищаться Зайцевым.

Пусть они потом поссорятся, будут сильно и непримиримо враждовать. Но Егоров не забудет, как Зайцев стремительно толкнул верзилу головой в живот.

А пока Парфенов подымался, Зайцев двумя ударами как обрубил ему обе руки.

Егоров только и сделал, что отпихнул ногой от Парфенова выпавшую мясорубку.

— Бабушка, — сказал он старухе, — возьмите ее. Приберите…

А старуха даже не ойкнула. Она почти спокойно взирала на эту сцену. Мало ли бывает драк на Извозчичьей горе!

— Не шуми, — прямо в ухо Парфенову дохнул Зайцев. — Ты понял, мы откуда?

— Как не понять.

— Иди тихонько вперед. Побежишь — убью, — пообещал Зайцев и сунул руку в карман, где у него лежал теперь настоящий бельгийский браунинг.

— Бабушка, — опять сказал Егоров, — вы действительно приберите мясорубку. Мы ушли…

— А Жур говорит, что Сигимицу — это пустя-

ки, — засмеялся Егоров, когда они сели опять рядом в извозчичью пролетку.

Огромного Парфенова они посадили впереди себя на узенькое сиденье.

— Давай, извозчик, прямо в уголовный розыск, — тронул Зайцев извозчика за рукав.

Егоров был уверен, что в розыске теперь только и будет разговору о том, как Зайцев красиво задержал этого верзилу Парфенова. Вот уж действительно здорово!

Но в розыске даже внимания никто не обратил на этот факт. Задержали и задержали. Чего же тут особенного?

И Жур не похвалил стажеров.

Жур вначале был как будто недоволен, что они так много времени убили на розыски Парфенова. Потом он сказал:

— Ну, ладно, ребята, аптекарское дело у нас вроде того что идет к концу. Надо его поскорее закруглять и заниматься серьезными делами. Завтра я вас познакомлю с Грачевкой. Тут придется пораскинуть мозгами. А на сегодня вы свободны. Идите по домам.

Егоров вынул из-за пазухи старенькое, еще отцовское портмоне с шариками на застежке и отдал Журу долг, положив деньги на стол, на

бумаги.

— Спасибо, — сказал Егоров.

— Не за что, — сказал Жур. И ссыпал деньги с бумаг в выдвинутый ящик письменного стола.

Зайцев опять пригласил Егорова в «Париж». И можно было бы пойти: деньги есть. Но Егорову хотелось поскорее обрадовать Катю, и он предложил Зайцеву:

— Может, ко мне пойдем, Сергей? Возьмем закуски, пива, все, что надо, и пойдем ко мне. Посмотришь, как я живу. Посидим посемейному.

— Нет уж, это я успею, — засмеялся Зайцев. — Я еще насижусь по-семейному.

Егоров зашел по дороге в роскошный гастрономический магазин Егорова.

Из-за этого однофамильца у него уже были неприятности. Когда еще в Дударях на маслозаводе его принимали в комсомол, все спрашивали, не сын ли он этого Егорова, не родственник ли. Как будто на свете и есть всего один-единственный Егоров, владелец магазина и кондитерской фабрики.

В магазине у Егорова разбежались глаза. Всего было много, и все хотелось купить. На полках до самого потолка стояли коробки с конфетами и с печеньем, бутылки с вином и сладкой водой.

На прилавках лоснились окорока, колбасы, сыр, балыки, икра. И продавщицы в белых наколках на головах розовыми пальцами резали и взвешивали на бронзовых весах всю эту благодать.

Егоровский магазин, помимо всего, славился своими продавщицами: все, как на подбор, красавицы, любая, кажется, хоть завтра могла бы пойти в киноактрисы. Но в том-то и дело, что пойти они никуда не могли. Во всей стране была безработица.

Очень трудно было найти работу. Но если человек ее нашел — хоть какую — он мог не сомневаться, что еда, одежда, обувь и все прочее у него будет. Магазины по всей стране ломились от изобилия продовольствия и разных товаров. Требовались только деньги.

И вот у Егорова сегодня они опять появились.

Егоров зашел, чтобы купить колбасы, которой он не ел, пожалуй, с самого детства. И в детстве ел не так уж часто, разве только в большие праздники — на пасху и на рождество. Да и, наверно, Катя забыла, какая она бывает, колбаса. Ребятам же ее этот продукт совсем мало знаком. Они родились в первые годы революции и росли в гражданскую войну. Какие уж им в это время доставались продукты…

Егоров пригляделся к ценам, прикинул в уме, во что ему обойдутся все покупки, и твердо решил оставить в этом магазине ровно четверть получки.

Он купил и колбасы, и ветчины, и сыру, и балыка, и две пачки печенья «Яхта», и большую коробку бело-розовых конфет под названием «Зефир», и три бутылки сладкой воды. И бутылку портвейна. Хотя не был уверен, что Катя одобрит это последнее приобретение.

Но Катя одобрила портвейн.

— Что мы, разве не люди? — вонзила она взятый у соседей штопор в пробку. — Вот сейчас и выпьем за все хорошее, что еще будет в нашей жизни. А детям ты правильно купил сладкой воды. Я им на Первое мая ее покупала. Они ее очень любят.

Подле стола ходил уже чисто вымытый, обряженный в старенький матросский костюмчик, из которого вырос младший сын Кати, приемный сынок Егорова Кеха и смотрел на разложенную еду вострыми глазами волчонка. Чтобы успокоить Катю, Егоров сказал:

— Я его завтра же сведу в детский дом. Я уже знаю, куда я его сведу…

— Погоди, — будто не слушала брата Катя,

оглядывая стол. — Погоди, я еще селедочку хочу лучком обложить. Ах, жалко до чего, что мы Алексей Егорыча не можем пригласить. Пусть бы он с нами выпил. Хороший человек. Ведь он все захаживал, спрашивал, как мы живем. Вот и пусть бы поглядел, как живем…

Есть из многих великих, жизнеутверждающих качеств нашего народа одно поистине удивительное — забыть мгновенно при первой же удаче все плохое, что было, и помнить только о хорошем и надеяться только на хорошее.

Катя вспомнила в этот вечер и Алексей Егорыча, ломового извозчика, в долг перевозившего ей дрова, и тетю Настю, прачку, вот уж второй год безвозмездно разрешавшую ей пользоваться вместительным баком для парки белья, и Зину Козыреву, девицу легкого поведения, подарившую ее детям к празднику два фунта кедровых орехов.

Счастливая Катя всех хотела осчастливить в этот вечер, всех хотела пригласить к своему столу. Но было уже слишком поздно. А праздничный ужин нельзя было откладывать.

Уселись за стол только своей семьей.

Выпив рюмку портвейна, Катя сразу захмелела, стала много говорить, много беспричинно

смеяться. Приблизила к себе приемыша и долго гладила его, говоря:

— Какой хороший мальчик! И зовут хорошо, чисто по-сибирски — Кеха. Значит, Кеша, Кеночка, Иннокентий…

— Я сведу его, — опять пообещал Егоров.

— И не думай! — вдруг строго сказала Катя. — Что значит «сведу»? Я обмыла его, приодела, видишь, как хорошо обстригла — в кружок, хотя у меня ножницы тупые. А ты теперь будешь говорить «сведу». Нет, уж пусть он у нас тут растет. Где три, там и четыре. И это большое дело, Саша, что ты уже работаешь, что ты уже на своей тропе. И я работаю. А если есть работа, значит, есть и деньжонки. А при деньгах и купить все не трудно. Для чего же мы будем от себя хорошего мальчика отгонять? Пусть растет при нас. И нам веселее…

Так решилась в тот счастливый вечер судьба случайно найденного мальчика Кехи, получившего широко известную фамилию Егоров. Но его уж впоследствии, наверно, не будут спрашивать, не сын ли он, не родственник ли владельцу роскошного гастрономического магазина Егорову.

16

На работе теперь, кажется, только один Воробейчик продолжал подсмеиваться над Егоровым:

— Ну как ребенок-то у тебя, живет?

— Живет.

— Кормишь его?

— Кормлю.

— А как кормишь-то? Чем? Грудями?

— Грудями, — отвечал Егоров. И проходил мимо.

У него были прежние башмаки, на которых по-прежнему хлябали еле державшиеся подметки, но он все-таки после первой получки тверже ступал по земле, хотя по-прежнему было не ясно, оставят ли его на этой работе.

А работы все прибавлялось и прибавлялось. И работа становилась все более сложной.

Жур доверял теперь Егорову так же, как и Зайцеву, вести некоторые допросы, посылал их с кем-нибудь из старших на происшествия даже весьма серьезные, где надо было проявить и сметку, и ловкость, и мужество. И Егоров вел себя не хуже других — и стойко, и серьезно, и находчиво.

И все-таки Воробейчик продолжал подсмеиваться над ним.

Непонятно было, за что Воробейчик так невзлюбил Егорова, но всякий раз он, как нарочно, и, может, в самом деле нарочно, старался подчеркнуть, что Зайцев — это действительно оперативник, огневой паренек, как любил выражаться Жур, а Егоров — это вроде как ходячее недоразумение.

В Баульей слободе произошло убийство.

Воробейчик пришел сообщить об этом Журу, потому что Жур ведет почти все дела, связанные с убийствами и крупными вооруженными ограблениями. Журу бы и сейчас надо было выехать в Баулью слободу. Но Жур был занят подготовкой к важной операции. Поэтому он попросил Воробейчика:

— Съезди, пожалуйста, сам. Возьми с собой моих ребят. Им тоже невредно промяться.

— Я Зайцева возьму, — сказал Воробейчик, хотя Егоров сидел тут же, в этой узенькой комнатке Жура.

— Ну, возьми Зайцева, — согласился Жур. — Мне все равно.

И Журу действительно было все равно. Он даже не заметил, что Воробейчик особо выделяет Зайцева.

А Егорову, конечно, было обидно, хотя он сам признавал, что Зайцев паренек на редкость огневой, и сам им восхищался. Но всякому человеку, пожалуй, станет обидно, если его все время убеждать, что он тут вроде мебели присутствует. И Егорову стало обидно.

Ему казалось даже, что Воробейчик нарочно превозносил Зайцева, рассказывал о его необыкновенной храбрости, когда они вернулись из Баульей слободы.

— Ты понимаешь, Ульян Григорьевич, я сам в первую минуту немножко ошалел, — рассказывал Воробейчик Журу. А вокруг стояло много сотрудников. — Приезжаем мы туда. Глядим, лежит у сарая здоровенный мужик — мертвый. А убийцу граждане с трудом загнали в сарай, и он там ревет, как медведь: «Всех расшибу!» Нас предупреждают, что в руках у него мясницкий топор. Его так с топором и загнали в сарай. Ну, что тут делать? Стрелять в него как будто не положено, а у него топор. Вот такой, ну, обыкновенный мясницкий. Трахнет по башке — и привет родителям. Я, открыто говорю, задумался. А Зайцев спокойно подходит к сараю и сбрасывает заложку.



Убийца даже ахнуть не успел, как Зайцев вышиб у него топор и ему еще для верности два раза врезал по морде. Тут мы замечаем, что убийца пьяный в дымину. Он все лезет и лезет к Зайцеву. И Зайцев вдруг озверел. Я у него еле вырвал этого убийцу. Зайцев бы его самого свободно убил…

Журу, должно быть, не понравился этот рассказ. Он слушал Воробейчика, чуть нахмурившись. Или просто Жур был еще занят своими мыслями, связанными с другими делами, и поэтому хотел, чтобы Воробейчик поскорее досказывал.

На убийцу Жур не пошел смотреть, спросил только, из-за чего произошло убийство.

— Из ревности, — сказал Воробейчик.

— Ну ладно, я этим потом займусь, — решил Жур. И попросил Воробейчика произвести предварительный допрос убийцы.

Журу было очень некогда. Он в тот же день к вечеру должен был выехать на крупную операцию в Грачевку. Уже расставил соответственно людей и думал об этой операции, старался думать только о ней. Но никак не мог по-настоящему сосредоточиться, потому что его все время отвлекали всякие другие более мелкие дела, которыми, однако, нельзя не заниматься.

Опять вдруг всплыло это аптекарское дело.

Следователь требовал от Жура каких-то дополнительных данных. Следователь утверждал, что у него нет достаточных оснований подозревать именно Парфенова в убийстве Елизара Шитикова, хотя это яснее ясного.

Братья Фриневы, конечно, не признаются, что они наняли Парфенова на это убийство. И Парфенов не признается. Им всем невыгодно увеличивать себе меру наказания. Но их уличают вещественные доказательства. Разве это не улика, что фотоаппарат, подаренный братьями Фриневыми аптекарю Коломейцу и взятый потом в комнате мертвого аптекаря извозчиком Шитиковым, оказался в конце концов у Парфенова? Как он к нему попал? Как попали к Парфенову такие личные вещи Шитикова, как серебряные часы в форме луковицы, бумажник, опознанный женой извозчика?

Чего еще надо следователю?

Жур готов, если угодно, снова заниматься этим аптекарским делом. Но ведь и так все ясно. И следователю тоже не вредно раскинуть мозгами. А главное — Журу некогда, у него сегодня важная операция в Грачевке.

К тому же его вызывают к трем часам в городской комитет партии: контрольная комиссия

не согласна с решением партячейки губрозыска по делу Кумякина, работавшего здесь уполномоченным и получившего по партийной линии строгий выговор с предупреждением.

Жур, как секретарь партячейки, должен явиться в контрольную комиссию. И он должен все держать в голове. Все подробности дела Кумякина, и аптекарское дело, и сложный переплет агентурных сведений, необходимых для операции в Грачевке.

Ни с кем он поделить этих дел не может. Он не начальник. Он, в сущности, обыкновенный работник уголовного розыска — уполномоченный. Старший уполномоченный. Только и всего. И кроме того, у него болит рука, потому что для ее заживления нужен покой. Но покоя, наверно, не будет до самой смерти.

Жур все время хмурится. А Егорову кажется, что он хмурится оттого, что недоволен им, Егоровым. Но что же Егоров делает не так?

К пяти часам дня Журу наконец удается во многом убедить следователя, побывать в контрольной комиссии, провести два допроса, имеющих некоторое отношение к предстоящей операции. И он заметно веселеет. И сразу веселеют приставленные к нему стажеры — Егоров и Зайцев.

Впрочем, Зайцева, кажется, не сильно занимает настроение Жура. Зайцев уверен, что все идет так, как и должно идти. Он спрашивает Жура:

— А может, вы допросите Соловьева?

— Какого это еще Соловьева?

— Ну, этого убийцу, которого мы с Воробейником привезли из Баульей слободы…

Жур хотел бы отдохнуть, почитать газету, выпить чаю. Даже неплохо было бы побывать дома перед операцией. Неплохо бы хоть часок вздремнуть. Но он сам не любит, когда у него остаются «хвосты» от дневных дел. Они переходят на завтра. А завтра появляются новые дела и, стало быть, новые «хвосты». Особенно нехорошо переносить на завтра допросы, если их можно завершить сегодня. Зачем излишне томить арестованного человека?

— Давай его сюда, — говорит Жур.

Зайцев уходит. Молодец Зайцев! Он не ждет, что прикажет сделать Жур, он даже сам подсказывает, что делать Журу.

Жур готовится к допросу, кладет перед собой на столе бланки протоколов, вставляет в ручку новое перо.

В коридоре лязгает винтовка. Это милиционер и Зайцев ведут арестованного.

Наконец Зайцев открывает дверь и вталкивает в комнату худенького человека в разорванной рубахе без пояса.

Арестованный, видимо, еле стоит на ногах. Левый глаз у него заплыл, нос вспух. Из рассеченной брови сочится кровь.

— Прошу садиться, — строго говорит Жур. И вдруг вскрикивает: — Афоня!

— Жандармы. Сучье племя — жандармы, — всхлипывает арестованный. — Глядеть на вас не хочу…

Жур выходит из-за стола.

— Да ты что, сдурел, что ли, Афоня? Это ж я, Ульян…

— Все вы гады… Жандармы…

— Ну и дурак, — удивленно смотрит на него Жур. — Да ты сядь, тебе говорят. — И, трогая его левой рукой за худенькое плечо, усаживает. — Егоров, налей воды…

Арестованный пьет воду, захлебывается, плачет, зубы стучат о край стакана.

В комнатке распространяется запах самогонного перегара.

— Я, конечно, дурак. Вы все больно умные, — опять всхлипывает арестованный и дрожит всем тщедушным телом. — Меня вот сейчас выведут

в расход, а вы будете сидеть тут в тепле. Жандармы…

— Ну, будет молоть чепуху-то, — чуть суровеет Жур. Он гладит арестованного, как ребенка, по голове, будто старается причесать его жиденькие волосы. — Ты что, зазяб, что ли? Может, чаю выпьешь? Егоров, скажи, чтобы принесли чаю…

Приносят чай. Жур достает из ящика письменного стола сахар, кладет в стакан, размешивает ложечкой, подвигает стакан арестованному, вздыхает:

— Эх, Афоня, Афоня! Что ж это, брат, случилось-то такое?

— Случилось, — отхлебывает чай Афоня и морщится: чай очень горячий. — Марафонтова знаешь?

— Это какого? Илью Захарыча?

— Нет, Тимку, сына его.

— Конечно, знаю.

— Вот я его и аннулировал сегодня. Прямо насмерть. Даже сам не ожидал…

И Афоня медленно рассказывает историю своего тягчайшего преступления.

Жур не записывает ее в протокол. Он сидит не за столом, а посреди комнаты на стуле, опустив голову. Ему тяжко слушать эту историю.

Афоня Соловьев если не дружок ему, то, во всяком случае, старый знакомый, старый товарищ. Они еще в тринадцатом году, в тысяча девятьсот тринадцатом, вместе работали в экипажной мастерской Приведенцева: Афоня жестянщиком, а Жур молотобойцем.

И во все мог поверить Жур, только не в то, что Афоня Соловьев, хилый, болезненный, смирный, может убить человека. А вот, смотрите, убил. И зверским способом — мясницким топором.

— Может, еще хочешь чаю?

— Горит у меня все внутри, — показывает на голую свою грудь Афоня и опять вздрагивает и плачет.

Был давно такой слух, что Грушка, Афонина жена, путается с мясником Марафонтовым.

Надо было бы Афоне давно уйти от нее или ее прогнать. Но жалко было деток. Две девочки беленькие — Тамарка и Нина. Ну как они останутся без матери? И Афоня терпел. Может, еще думал, наговаривают лишнее на Грушку злые люди.

Да и выяснить все это досконально Афоне было некогда. Он все время в разъездах. Постоянной работы давно нет. Все случайные заказы.

И Марафонтов в прошлом году ему дал заказ — сделать большие бидоны для молока. Афоня

сделал, а деньги не получил. Марафонтов жаловался, что нету денег, — все, мол, израсходовал на новый магазин. Вот наторгую, мол, и отдам.

А Афоне тогда случилось уехать в Дудари, подработать на маслозаводе. Он работал там почти что восемь месяцев. Мог работать бы еще с полгода, но соскучился больно по семье — по своим девочкам. И по Грушке тоже.

Приезжает вчера, выходит на вокзале, идет в киоск купить жене и детям подарки и тут встречает сильно подвыпившего соседа своего по дому Емельяна Лыкова, проводника вагонов, который со смехом нехорошим вдруг говорит: «Да ты что стараешься шибко насчет подарков-то? Разве хватит у тебя средств подарить такое, что дарит твоей жене Марафонтов Тимка?»

Вся душа как перевернулась у Афони от этих слов. Даже домой идти не захотел. Сдал он вещи в камеру хранения, а сам пошел к знакомой старухе в шинок тут же, при вокзале.

Уже сильно пьяный явился домой, когда девочки спали, а Грушка, заспанная, на его укоры дерзко ответила: «Что ты колешь мне глаза Марафонтовым? Что, ты разве денег мне много оставил на харчи, чтобы я не ходила к Марафонтову?»

Так вся ночь и прошла в скандале.

А утром Афоня снова выпил и пошел требовать долг за те бидоны для молока.

В лавке много было народу. Марафонтов не хотел излишнего шума при покупателях и стал тихонько выталкивать Афоню из лавки, говоря: «Ты и так и жена твоя хорошо попользовались от меня. Я жалею даже, что связывался с вами. Нужна мне твоя Грушка, как собаке пятая нога! Ее каждый может поманить, твою Грушку, за полфунта мяса. И тебя самого. Вечные вы нищие. Избаловала вас советская власть. — И еще сказал Марафонтов уже за дверями лавки. — Уйди ты за-ради бога и не являйся больше, а то вот тяпну я тебя неосторожно топором по башке, будешь знать, как являться, оскорблять».

Эту мысль несчастную о топоре подал пьяному Афоне, выходит, сам Марафонтов. И еще взмахнул топором для острастки. А дальше уж случилось черт знает что.

Афоня выхватил у Марафонтова топор и закричал страшным голосом, что убьет в одночасье себя и всех подлецов, кто торгует и ворует и с чужими женами живет.

Марафонтов, может, в десять раз сильнее Афони Соловьева. Он саженного роста, Марафонтов. Но тут он струсил вдруг и кинулся во двор.

А в Афоне прибавилось сил от трусости Марафонтова. Он погнался за ним. И не верил до последнего, что убьет, что хватит у него смелости убить. Но убил…

Афоня опять заплакал, опустив голову. Потом поднял ее и сказал твердо, со злостью:

— А уж после приехала жандармерия, когда я запертый сидел в сарае…

— Да какая жандармерия? Чего ты мелешь, Афоня, несусветную чепуху?

— А вот та жандармерия, которая, видишь, глаз мне как испортила, — покривился арестованный. — Судить судите, можете даже расстреливать, а бить по глазам не имеете полного права. Не для этого советскую власть устанавливали. Я сам с дробовым ружьем сражался против Колчака. Имею ранения…

Зайцев встал и вышел, но вскоре вернулся — видимо, хотел показать, что не боится отвечать за свои действия. Он спокойно сидел у края стола и, не мигая, смотрел на арестованного.

Жур пошел к Водянкову. Он попросил Водянкова взять это дело об убийстве к себе, так как убийца личный знакомый Жура. И едва ли теперь удобно Журу самому вести такое дело.

Арестованного отправили обратно в камеру.

Жур собирался на операцию. Он звонил по телефону, вызывал к себе людей — словом, делал все, что делается в таких случаях. На Зайцева он не смотрел и ни о чем его не спрашивал, хотя Зайцев все время сидел у стола.

Только когда позвонили, что автобус готов, Жур сказал:

— А ты, Зайцев, иди домой. Отдыхай…

— Почему?

— Ты уже сегодня совершил один геройский подвиг. Будет с тебя…

— Ладно, — надел кепку Зайцев и пошел к двери. Но у двери остановился. — Я все-таки хотел бы выяснить, Ульян Григорьевич, с чего вы вдруг так обиделись на меня? Ведь я там был не один, в Баульей слободке, когда мы брали этого убийцу Соловьева. Со мной был товарищ Воробейчик, и он не считал, что я нарушаю инструкцию. Ну кто же знал, что этот убийца ваш знакомый? Или, может, даже дружок?

Жур надевал пальто. Надевать пальто при раненой руке ему было трудно. А Егоров не сразу сообразил, что надо помочь.

Журу стал помогать Зайцев.

— Спасибо, — сказал Жур, продевая в рукав правую руку.

Левую просто прикрыл полой и, не застегиваясь, пошел к автобусу.

Так Зайцев и не получил в тот вечер никаких ответов на свои, в сущности, дерзкие вопросы.

И на операцию не поехал.

17

Операция сложилась крайне неудачно. Агентурные сведения, на которых строился первоначальный план, оказались ложными или путаными.

В Грачевке не удалось найти не только крупной партии оружия, как рассчитывал Жур, но даже стреляной гильзы не удалось найти.

Дедушка Ожерельев и его сын Пашка тоже не дураки. Они сами до ареста или их сообщники, еще не задержанные, успели, видно, вывезти оружие из Грачевки. А куда вывезли — пока неизвестно. Да и было ли оружие здесь?

Жур уже стал сомневаться. И все-таки, надеясь на удачу, он всю ночь рыскал по этой слободе, по этим глубоким оврагам, застроенным покосившимися хибарками и бараками.

Все было безрезультатно.

Жур устал до последней степени, хотя и не желал из упрямства признаваться в этом даже

самому себе. Пронзительный ветер исхлестал ему лицо, и шею, и плохо прикрытую легким шарфом грудь.

И спутники Жура уже стали сердиться на эту бесплодную операцию, когда произошла приятная неожиданность.

Приятной эту неожиданность назвал Воробейчик. Он первым и совершенно случайно набрел на крупного преступника, на Федьку Буланчика, известного прихватчика, который действовал почти всегда в одиночку, заметных знакомств не вел, и поэтому долгое время поймать его не удавалось.

Над обрывом над рекой Саманкой, открытый всем ветрам, стоит беленький, аккуратный домик вдовой прачки Курмаковой Авдотьи Захаровны. Ничего подозрительного за ней никогда не наблюдалось. Жила она после смерти мужа-портного одиноко, смирно, стирала на дому белье — видная женщина лет за тридцать, русые волосы, голубые глаза, весьма опрятно одетая.

Известно было, что сватались к ней в разное время мясник Новокшенов, лавочник Дудник, столяр и ящичный мастер Орлов Егор Кузьмич — все тоже видные вдовцы. И ни за кого она не пошла. Говорили, что ей будто совершенно опро-

тивел мужской пол.

И вдруг у нее, у этой прекрасной, прекрасного поведения женщины оказался ночью в доме опасный и злой ворюга Буланчик.

Он спал не на кровати, а на отдельной перине, постланной на сундуке, в одном белоснежном белье, ничем не укрытый, так как в домике жарко натоплено.

И еще топится плита, над которой сияют на полке медные тазы и кастрюли, начищенные до ослепительного блеска. А на плите жарится и потрескивает в глубокой сковородке картошка со свининой, нарезанной квадратными кусками.

— Он пришел ко мне недавно, — показывая на спящего, объяснила вдова. — Ну, пришел, прилег отдохнуть. А я ему вот готовлю ужин. Он через часик хотел уходить. Он всегда если зайдет, так ненадолго…

Буланчик спал так сладко, как спят только в раннем детстве. И, причмокивая губами во сне — толстыми, надутыми губами, — будто обиделся на что-то и обида эта никак не проходит.

А работники уголовного розыска Жур, Воробейчик, Водянков и Егоров стояли тут же у плиты и разговаривали с вдовой. Знала ли она, что этот человек преступник?

— Догадывалась, — кротко ответила она. — Он же нигде не работает, ничем не торгует, а одевается чисто, как какой-нибудь частник, нэпман. Вот глядите, какое у него пальто, с бобровым воротником…

— Это не его пальто, — определил Водянков. — Это доктора Кукшина пальто. Доктора Кукшина, покойника.

— Вот видите, — сказала вдова. — Я тоже так догадывалась, что это чье-то пальто. И как он не боялся его носить! Ведь всегда могли родственники доктора узнать, если вы, например, не родственник и тоже узнали. Но он очень смелый, Федя. Ведь сколько раз я ему говорила и советы давала, чтобы он бросил свое занятие. Я так ему говорила: «Брось, Федя, свою глупость, и тогда я буду с тобой жить. Даже, если хочешь, обвенчаемся. Я свободная гражданка». А он одно говорит: «Дотя… (Он так зовет меня — Дотя…) Я, говорит, Дотя, не глупее тебя». И вот, пожалуйста, достукался… — И женщина заплакала. — А я ведь знала его, когда он еще кровельщиком был. Он был хорошим кровельщиком. Он сватался ко мне, когда я еще не замужем была. Но родители толкнули меня, глупости ради, за Курмакова, вот за покойного моего мужа Курмакова, — и вдова

показала на портрет мужчины с узенькими проволочными усами, висевший над сундуком, где спит Буланчик.

Егоров так же, как Водянков, как Воробейчик, осматривает, обыскивает весь домик, пока спит Буланчик. А Жур стоит подле Буланчика. И Егорову интересно, о чем думает сейчас Жур.

Наконец Жур кладет руку на плечо Буланчика.

— Ну-ка…

Буланчик вскакивает, сует руку под подушку. Но под подушкой уже нет браунинга. Браунинг в кармане у Жура.

— Да ты не пугайся, — говорит Жур. — Тебе бы раньше надо было пугаться…

Водянков пошел позвонить по телефону, чтобы вызвать автобус.

Автобус затарахтел у домика скорее, чем оделся Буланчик.

Буланчик все медлил и медлил. Жур обозлился.

— Выходи, — сказал он, слегка подтолкнув Буланчика. — Выходи. Нечего дурака валять…

Буланчик пошел к дверям в брюках, в сапогах, но без пиджака.

И тут черт дернул Егорова сказать:

— Пусть он наденет пальто, а то вон какой ве-

тер. Его в одну минуту прохватит насквозь…

И Егоров, не спросившись, снял с вешалки пальто и, как швейцар, подал Буланчику.

Журу он не сообразил сегодня помочь надеть пальто, когда они ехали на операцию, не успел сообразить. А тут вот вору, преступнику, вдруг решил оказать услугу.

— Тебе бы, Егоров, на вешалке служить хорошо, в парикмахерской Маргулиса, — зло засмеялся Воробейчик.

И Жур сердито посмотрел на Егорова.

Всю дорогу в автобусе Воробейчик смеялся над Егоровым.

А Жур сердито молчал. Уж это можно было понять, когда Жур сердится. Конечно, он сердится не только на Егорова. Ему неприятно, что так бестолково прошла операция.

Буланчик — это мелочь для Жура, копеечный трофей. Не стоило всю ночь бродить под ветром, чтобы словить Буланчика. А крупное дело не вышло.

Вот из-за этого и сердился Жур. Про Егорова он, наверно, и не думал, забыл. И Егоров немножко успокаивается.

Но когда автобус въехал во двор уголовного розыска и Воробейчик стал выталкивать аресто-

ванного из автобуса, не Воробейчик, а Жур вдруг сказал Егорову, кивнув на Буланчика:

— А ты что же? Подхвати его под ручку, окажи помощь… уж если ты такая… сестра милосердия…

Не поймешь Жура.

Зайцева он не взял на операцию за то, что Зайцев грубо обошелся с убийцей. А на Егорова сердился за то, что Егоров такой жалостливый. Чего же хочет Жур? Чего же он сам добивается?

— Иди домой, — сказал Жур Егорову. И посмотрел на свои ручные часы. — Нам скоро опять на работу. Иди поспи…

Егоров пошел было домой, но, проходя по коридору мимо дежурки, увидел Зайцева. И Жур увидел Зайцева.

— А ты почему не ушел?

— Жду.

— Кого это?

— Вас. Надо бы нам все-таки поговорить, — как бы с вызовом сказал Зайцев.

— Что, мы с тобой завтра поговорить не успеем? — нахмурился Жур. — Завтра еще будет время…

— А может, мне завтра не приходить, — достал из кармана Зайцев пачку папирос «Цыганка

Аза». — Мне тоже без толку неинтересно тут толкаться, если не дают работы. — И, слегка встряхнув пачку, так, что из нее наполовину выдвинулись три тоненькие папироски, протянул Журу. — Курите…

Жур не взял папиросу. Жест стажера, видимо, не понравился ему. И слова не понравились. Жур еще больше нахмурился. Но Зайцев не придал значения этой хмурости и, еще раз встряхнув пачку, протянул ее Егорову.

— Хотя ты, кажется, не куришь.

— Иди домой, — опять сказал Жур Егорову. И слегка подтолкнул в плечо.

Но Егоров не уходил. Ему интересно было, чем кончится разговор Зайцева с Журом.

Зайцев размял папиросу в пальцах.

— Мне все-таки непонятно, Ульян Григорьевич, чем я вам не угодил. Ведь все-таки, как ни крутить, этот Соловьев убийца, хотя и ваш знакомый…

— Он приятель мой, — сказал Жур. — Хороший старый приятель, с молодых лет…

— Ну, тем более. Но я-то тут при чем? Я действовал согласно инструкции.

— Что, в инструкции сказано, что надо бить по глазам?

— В инструкции это не сказано, — чиркнул спичкой Зайцев и стал смотреть на огонек, раньше чем прикурить. — Но понятно, что, если убийца с топором, надо действовать решительно и смело. И не целовать убийцу. В инструкции прямо говорится…

— Что ты мне тычешь инструкцию? — отогнал Жур от себя рукой дым от папиросы Зайцева. — В инструкции всего не запишешь. Где, в какой инструкции сказано, что делать, когда хорошая, честная женщина живет с бандитом и любит его?

— У меня еще не было такого случая, — не понял Зайцев, к чему такой поворот в разговоре.

— И у меня раньше такого не было, — сказал Жур. — Ты вот инструкции читаешь. Прочитал еще книгу какого-то Сигимица…

— А что, инструкции не надо читать? — перебил его Зайцев. — Вы считаете, не надо?

— Нет, надо, — подтвердил Жур. — Но надо еще согласовывать инструкцию со своим умом, со своей совестью и с сердцем, если оно не деревянное…

Эти слова не удивили Егорова. Он даже уловил и противоречие.

— А я, — вдруг вмешался в разговор он, — а я,

вы считаете, товарищ Жур, поступил неправильно, когда подал пальто этому Буланчику? Я ведь тоже, выходит, послушался своего сердца…

— Ты — это другое дело, — оглянулся на Егорова Жур. — Может, ты и правильно поступил…

— А почему же вы на меня сказали, что я эта… сестра милосердия?

— Ну, я тоже не святой, — улыбнулся Жур. Как-то непривычно для него, почти растерянно улыбнулся. — Я тоже могу ошибиться. И у тебя это как-то не к месту получилось. Но вообще-то нигде не сказано, что арестованного надо обязательно морозить. Ты правильно поступил, дал ему пальто, но подавать пальто не надо было. Это смешно. Но ты погоди, ты сбил меня. Я чего-то хотел ответить Зайцеву.

— Вы хотели мне ответить, чем я вам не угодил.



— Да что, дело в том, что ли, чтобы мне угождать? — опять нахмурился Жур. — Ты можешь угодить любому начальству. Но дело не в этом. Ты обязан, мы все обязаны угождать всему народу в его трудной жизни…

— Ну, всем я угодить не могу, — скатал Зайцев окурок, как шарик, и бросил в высокую вазу для окурков. — Это значит, и бандитам надо угождать. И ворам…

— Воры и бандиты — это не народ.

— Откуда же они берутся? — прищурился Зайцев.

— Вот над этим и надо подумать, — поднял брови Жур. — Надо понимать, как живут люди. В инструкции этого всего написать нельзя. Надо самим додумываться, отчего люди бывают плохими или несчастными.

— Человек создан для счастья, как птица для полета, — сказал Егоров. — Я прочитал это в одной книге.

— Вот это хорошая книга. Я ее не читал, но знаю — хорошая, — поддержал Егорова Жур. — И мы с вами ведь не просто сыщики, как было в старое время. Мы с вами раньше всего большевики. А большевики объявили всему миру, что добиваются сделать всех людей счастливыми. И мы не

должны держаться тут, как будто мы какие-то чурки с глазами. Как будто мы ничего не чувствуем, а только лупим по глазам. Убийца, мол, значит, бей его…

Зайцев слушал теперь Жура, похоже, почтительно, но глаза у него как-то нехорошо косили. Вдруг он спросил:

— А вы сами, Ульян Григорьевич, извиняюсь, с какого года член партии?

— Я? — опять чуть растерялся Жур. — Я с семнадцатого. А что?

— Ничего. Просто так спросил. Мой отец тоже с семнадцатого. Даже почти что с шестнадцатого… с декабря шестнадцатого.

Егорову было неприятно, что Зайцев задал Журу такой вопрос. Но Жур, должно быть, не обиделся на Зайцева. Жур только сказал:

— Не задевает, я вижу вас, ребята, то, что я говорю. Молодые вы еще, не обтрепанные в жизни. Не клевал еще вас жареный петух. Ну ладно, пойдемте спать…

18

Они вышли на темную улицу, очень темную перед рассветом.

Ветер, посвистывавший всю ночь, бряцая

железом крыш и карнизов, стих, упал. Но предутренний влажный холод знобил.

Жур поднял левой рукой воротник, нахлобучил шапку на самые глаза.

— Эх, ребята! Вам кажется, что вы одни проходите тут испытательный срок. А на самом деле все мы проходим сейчас через тяжелое испытание, весь народ. А вы этого не видите или не понимаете. Уж не знаю, как сказать…

— Кто не видит, кто не понимает? — спросил Зайцев. — Надо же конкретно говорить…

— Вот ты, например, не понимаешь, — посмотрел на него Жур. — У тебя, по-моему, большая муть в голове. Вот ты сегодня и напорол.

— Вы скажите конкретно: чего я напорол? — взъярился Зайцев. — Конкретно скажите…

Оно тогда только входило в моду, это слово «конкретно», пришедшее в быт от политики, от яростных митинговых речей. Не всем еще ясен был его точный смысл, но почти все хотели его произносить. И Зайцеву нравилось это слово.

— Могу сказать конкретно, — улыбнулся Жур. — Ты повел себя в Баульей слободе как хвастун. Ты хотел похвастаться перед всеми, показать, какой ты смелый. А надо быть смелым, но не хвастаться этим, не рисоваться…

— Да я и не хвастался. Я просто немножко погорячился. И меня взяло зло…

— Ну, значит, ты нервный. Как это человека на работе вдруг может взять зло? Значит, ты слабый?

— Вы еще скажете, что я псих?

— Не знаю. Может, и псих. Ты же сам говоришь, что тебя взяло зло. Значит, ты собой не управляешь, если оно тебя взяло. А если человека взяло зло, если он позволил, чтобы оно его взяло, стало быть, он уже не видит, не может видеть, что делает. Не может анализировать…

Вот опять это слово, не очень понятное Егорову, — «анализировать».

— Ну хорошо, ты ловко вышиб топор из рук Соловьева. Это, конечно, хорошо. Хотя геройства большого я в этом тоже не вижу. Афоня Соловьев и так еле живой. А зачем ты его еще стал бить после того, как вышиб топор?

— А что же, я на него любоваться должен, если он фактически убийца?

— Ты, значит, решил ему тут же объявить приговор и привести в исполнение? А кто уполномочил тебя судить его? Тебе государство поручило только задержать убийцу. Только задержать поручило тебе государство. А судить будут в другом

месте. В другом месте будут разбираться во всех подробностях. А ты, значит, превысил власть. А за превышение власти полагается домзак…

«Домзак» — это тюрьма. Но тюрьму тогда тюрьмой не называли. Лучше, благозвучнее казалось называть ее «домзак», что значит дом заключения, или «допр» — дом предварительного заключения, или «исправдом» — исправительный дом. Но тюрьма, как бы ее ни называть, все-таки есть тюрьма.

Зайцев, понятно, притих. Вот когда он наконец притих и перестал петушиться.

Молча шли они втроем по пустынным улицам, мимо темных силуэтов зданий, тускло поблескивавших стеклом неосвещенных окон.

Город спал в сизой мгле, город, полный тревог, огорчений и надежд, противоречий и сложностей, большой сибирский губернский город, в котором все время клокочут страсти, клокочут даже в те часы, когда кажется, что город спит.

Впрочем, именно в эти часы и совершаются многие огорчительные события, вмешиваться в которые обязаны по долгу своей службы вместе с другими и эти трое, что идут по уснувшему или кажущемуся уснувшим городу.

В этом городе всегда, как во всем мире, были

воры, грабители, убийцы. Но должны ли они быть всегда? Всегда ли сильный будет обижать слабого? Слабый всегда ли будет хитрить, чтобы обмануть сильного? Всегда ли человеческую жизнь будут омрачать звериные нравы?

Журу шел тридцать третий год, но в черных, дегтярного оттенка волосах его уже все явственнее проступала седина, и порой он сам себе представлялся стариком.

К непогоде, как у старика, у него ноет не только недавно раненная рука, но и разорванное осколком немецкого снаряда бедро и плечевая кость левой руки, задетая разрывной пулей.

Все-таки он побывал на двух войнах — на германской и гражданской. И сейчас каждый день для него как бы продолжается война, может быть, более трудная, которой не видно ни конца ни края. А во имя чего идет эта война? И чем она должна завершиться в конце концов?

Жура постоянно одолевают какие-то посторонние мысли, не имеющие как будто прямого отношения к его делу, к его ежедневным делам, но все же как-то связанные с его делами, с его жизнью, со смыслом его жизни.

Особенно томят его раздумья по ночам, когда, усталый после напряженного дня, он долго не

может уснуть, не может, как он сам говорит, собраться с мыслями.

А ему обязательно надо собраться с мыслями.

Внешне он собранный человек, всегда аккуратно одетый, по-военному подтянутый. Никто, например, никогда не видел его небритым. Он научился бриться даже левой рукой. Он многому научился.

И все-таки ему часто кажется, что он еще не понял чего-то самого главного в жизни, что записано, наверно, в каких-то важных книгах, которые ему некогда прочесть. Некогда ему и додумать многое. Некогда разобраться в вопросах, встающих перед ним.

— А вы, ребята, как считаете, воры всегда будут или все-таки переведутся?

— Не знаю, — затруднился Егоров.

— А ты, Зайцев, как думаешь?

— А что мне думать? Мне все равно…

— Ну как же это все равно? — удивился Жур. — Вы же, ребята, комсомольцы. Как я понимаю, вы готовитесь стать не только работниками уголовного розыска, но и коммунистами. А коммунист и комсомолец на любой работе обязан думать, какая у него работа, для чего она, что из нее должно получиться. Нет, Зайцев, это не ответ. Тебе

полагается думать…

— А чего мне еще думать? Вы же сказали, что мне полагается домзак за превышение власти.

— Ну, это само собой. Но и в домзаках люди думают. Их для этого туда и помещают.

— А вы правда считаете, меня надо посадить?

— Вместе со мной, — говорит Жур. — Ты стажер, а я уполномоченный. Я обязан был тебя предупредить. Но мне и в голову не приходило.

Из-за угла вылетает взмыленная пара лошадей, впряженная в широкую пролетку, полную пьяных мужчин и женщин. Кучер, видимо тоже пьяный, свесился с козел, вот сейчас свалится.

Вожжи держит, стоя в пролетке, молодая женщина с распущенными волосами. Она хлещет лошадей длинным кнутом и кричит что-то отчаянное, будто зовет на помощь. Нет, это она поет.

И все остальные в пролетке поют. Но как-то смутно, тревожно становится от их пения.

— Нэпманы, — смотрит на них Егоров.

— Ну, почему обязательно нэпманы? — говорит Жур. — Если б одни нэпманы гуляли, это не страшно было бы. Отгуляли и померли, не жалко. Они мутят хороший народ, вот в чем беда. Я на этом нэпманском деле хороших товарищей потерял. Одного мне было сильно жалко, вот как

Афоню Соловьева. Я даже заплакал, когда узнал все подробности…

Нет, он не такой каменный Жур, как иногда кажется. Но может, это даже хорошо, что он не каменный. Егоров вспомнил, как Жур признался им у кладбища, что долго боялся покойников.

И сейчас Жур рассказывает историю своего товарища, хорошего парня, который сел в тюрьму. И ничего нельзя было сделать. Был виноват этот товарищ. Хотя не один он был виноват. И условия жизни были виноваты, если можно винить условия жизни.

— Хотя условия жизни винить нельзя, — подумав, сказал Жур. — Человек должен сам закалять себя, должен думать. Анализировать…

Егоров хотел было спросить, как понимать это слово, но не решался перебить Жура.

Жур остановился подле своего дома, взялся за холодное кольцо калитки, но во двор не вошел. Будто вспомнив что-то, отпустил кольцо, стал рассказывать, как трудно работать в уголовном розыске. Ведь при нынешнем разгуле бандитизма, воровства, при нэпманском подкупе работников не на всех и в розыске можно положиться. И в розыске есть мутные люди.

— Ты, Зайцев, не обижайся. У тебя, я замечаю,

есть муть в голове, но я тебя мутным полностью не считаю. Но есть просто мутные. И они все-таки пока работают. Мы их выявляем, убираем. Но есть такие, что будто бы и хорошо работают. У них есть опыт, знания, сноровка. Но не вся их сноровка нам годится…

Это удивило Егорова больше всего. Вот уж чего он никогда не ожидал и не думал, что и в розыске есть мутные люди.

— Даже взяточники есть в самом розыске, — сказал Жур. — И их не всегда легко поймать за руку. Ловим, но не всегда можем поймать. И кроме того, у нас даже были случаи, когда некоторые наши работники стреляли на операциях в своих же сотрудников, в коммунистов и комсомольцев. Попробуй потом разберись, кто убил сотрудника, бандиты или еще кто…

Это удивило и Зайцева. Он спросил:

— Но неужели это так и остается неизвестным? А может быть, они и сейчас в угрозыске, эти люди?

— Какие люди?

— Ну, которые хороших сотрудников… укоцали.

— Очень приятно, — сказал Жур. — Очень, очень приятно. Ты, я смотрю, уже научился го-

ворить «укоцали». Это же бандиты так говорят. Но я думал, что комсомольцы-то уж покажут пример, как можно переплыть море и не утонуть в море, как можно убирать грязь и не завязнуть в грязи…

— А что? — не сильно смутился Зайцев. — И Воробейчик так говорит. А он работник, считается, опытный…

— Очень опытный, — подтвердил Жур. — У Воробейчика и у других вы можете многому поучиться. И обязаны учиться. Но и Воробейчика и других, я думаю, вы тоже многому можете поучить. Не худо и Воробейчику будет у вас поучиться…

Это было уж совсем непонятно Егорову. Чему же он может поучить Воробейчика? Воробейчик только смеется над ним.

А Зайцеву понравились слова Жура. Зайцев понял, что весь этот разговор происходит именно потому, что их, стажеров, скоро переведут в штат. Это, должно быть, уже решено. Иначе не стал бы Жур тратить на них время.

— Вы должны, ребята, собрать все хорошее, что в вас есть, и показать это на работе, — сказал Жур. — Показать, что вы настоящие комсомольцы, что вы работаете не просто за кусок хлеба, за

зарплату, а за идею, что вы чувствуете эту идею каждый день, каждый час. И тогда к вам никакая грязь не прилипнет. Спокойной ночи, ребята…

Жур снова взялся за кольцо калитки, повернул его и оглянулся:

— А ты, Зайцев, особо подумай.

Зайцев засмеялся.

— Видишь, — сказал он Егорову, когда Жур скрылся в глубине двора, — мне велено особо подумать. То ли Жур считает тебя умнее, считает, что ты уже все обдумал. То ли все выходит наоборот…

— Наоборот, — сказал Егоров. — Жур тебя уважает. Ты ему нравишься.

— Что я ему, барышня, нравиться? — опять засмеялся Зайцев.

19

Журу в самом деле нравился Зайцев.

Впрочем, многое нравилось и многое же не нравилось. И не всегда было легко отличить, что же нравится и что не нравится. Одна и та же черта в характере Зайцева вызывала разное отношение к нему.

Зайцев был необыкновенно подвижен, горяч и исполнителен. Против этих качеств едва ли мож-

но возражать. Их сразу обозначили в уголовном розыске как оперативность. Но в оперативности Зайцева проступала и хищность.

И хищности этой он не скрывал. Он, казалось, не видел существенной разницы между, допустим, Афоней Соловьевым и Пашкой Ожерельевым. Оба для него были одинаковыми преступниками.

Он даже огорчился, когда узнал, что Афоню Соловьева суд приговорил не к расстрелу, как Пашку Ожерельева, а к заключению на десять лет.

— Мало. Я бы его тоже стукнул, этого малахольного Афоню. Ну что это — десять лет?

— Давай, — предложил Водянков, — давай я тебя, Зайцев, запру не на десять лет, а только на трое суток вот у нас тут в предварилке. Парашу тебе поставлю для удобства. Посиди попробуй, как это другие сидят…

Зайцев засмеялся.

Может, в нем еще не перебродила, не перегорела мальчишеская страсть к шалостям, к озорству? Может, в нем самом еще борются разные начала? Может, с возрастом он станет серьезнее?

А пока ему многое кажется смешным. Особенно его рассмешила Дуня, девушка из бывшего заведения дедушки Ожерельева, пришедшая в

уголовный розыск к Журу посоветоваться, как она сказала, «насчет дальнейшей жизни». Нашла куда идти советоваться. «Вот тоже дура», — определил Зайцев. И спросил:

— Надеешься получить советы, как лучше обирать клиентов?

Дуня вдруг заплакала. Так, заплаканная, она и вошла в комнату Жура, сказала:

— Этот рыжий у вас, товарищ начальничек, просто очень нахальный…

Жур сделал замечание Зайцеву.

— А чего я ей сказал? — удивился Зайцев. — Чего она из себя строит? Обыкновенная эта самая… Ее бы тоже надо устроить вместе с дедушкой Ожерельевым. Все они одинаковые…

— Да, много, я гляжу, мути у тебя в башке, Зайцев, — говорил Жур. Огромное количество…

Но муть — это еще не очень опасная вещь. Муть еще рассеется, отойдет, осядет. Так, наверно, думал и Жур.

Зайцев ведь свое дело делает, ловко делает.

Его уже заметил сам товарищ Курычев. Ночью во время генерального обхода города, вернее, объезда Курычев пригласил вдруг Зайцева в свою машину, в старенький «рено». Как это случилось — непонятно, но Зайцев оказался в одной ма-

шине с самим начальником уголовного розыска.

— Что, расскажи, тебя Курычев спрашивал? — допытывался потом у Зайцева Воробейчик.

— Ничего особенного. Просто похвалил вас и меня за то, что мы лихо задержали этого Соловьева Афоню. Говорит, что это был героический акт. И кто ему про это рассказал?

— Ты, наверно, и рассказал.

— Нет, я ему ничего не рассказывал. А он сам забавный…

— Кто забавный?

— Ну, Курычев. Видно, тоже, как все грешные, побаивается бандитов…

— Почему ты думаешь?

— По всему. Это же сразу заметно. Когда на Селивановской мы входили в эту малину — помните, Васюкова квартира, на втором этаже? — он дверь дернул и остановился. Меня вперед пропустил. Будто из вежливости. А потом, когда туда зашли вы и Водянков, он стал сильно распространяться, чтобы все видели, что он не кто-нибудь, а сам начальник. Даже перед этими девками рисовался, расстегивал пальто, чтобы видели, что у него орден…

Зайцев не боялся даже в дежурке смеяться над начальником. Все должны были понимать, что он

и перед начальником не собирается заискивать и пресмыкаться. Ну что из того, что сам Курычев пригласил его в свою машину? Он, может быть, из соображений собственной безопасности его пригласил. Может, с Зайцевым Курычеву спокойнее во время обхода. А Зайцеву все равно с кем ехать…

— Ох, и мировой это парень — Зайцев! — восхищался вечером в дежурке Воробейчик, сидя в кругу сотрудников, еще свободных от происшествий. — Вы не смотрите, что он стажер. Мы все еще наслужимся под его начальством. Вот попомните мои слова. Он далеко пойдет…

А Жур продолжал относиться к Зайцеву несколько настороженно. По-прежнему Жур не мог определить точно своего отношения к нему. Егоров казался проще Зайцева, понятнее. За Зайцевым же нужен глаз и глаз. Никогда нельзя угадать, что он сделает, если ему дать полную волю на какой-нибудь операции.

И в то же время Зайцев все больше нравился Журу. Не во всем, но нравился. Нравилась напористость Зайцева, безотказность в деле и, конечно, смелость. Однако и в смелости его было что-то не очень правильное, что ли…

Жур не мог до конца разобраться в Зайцеве.

Да он и не торопился в выводах. Он сам сказал однажды стажерам:

— Вы, ребята, не думайте, что я старше вас и, значит, все хорошо понимаю. Я сам до многого еще не додумался. И вы, я считаю, тоже должны шевелить своими мозгами. Вот, например, у нас как поется в нашем гимне? «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем…» Как вы, ребята, вот это, например, понимаете — «а затем»?

— Что ж тут не понять? — удивился Зайцев. — Все ясно: «…а затем — мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем…»

— Вот и не ясно, — возразил Жур. — Некоторые так понимают, что мы сперва все разрушим, и, мол, давайте только разрушать. А я считаю, что автор гимна, как говорится, поэт, вставил эти слова «а затем» в том смысле, что не когда-нибудь потом, а сразу, тут же, мы и обязаны его строить, то есть новый мир. И это мы видим на фактах. Мы разгребаем обломки от старого мира, убираем мусор, и тут же, сразу, нам надо строить. Поэтому нельзя смотреть так, что мы должны только ловить и уничтожать преступников. Мы должны искать, где причина, что человек становится преступником. И эту причину наше государство должно начисто уничтожить…

— А преступников уничтожать не надо?

Это спросил Зайцев и опять скосил глаза.

— Нет, почему же, — сказал Жур. — Преступников нужно уничтожать. Тут никакого спора нет. Нужно и убивать. Но надо все время смотреть: может, кого удастся и исправить…

— Мало кого, — покачал своей огненной головой Зайцев. — Мало кого удастся исправить…

— А это мы потом посмотрим, мало или много, — нахмурился Жур. — Но я ведь это к чему говорю? Вот вы возьмите меня. Я человек, конечно, сердитый. Меня в жизни еще в детстве много обижали. Но даже я стараюсь не сильно сердиться, когда я на работе. Я другой раз нарочно сдерживаю себя. А вы ребята молодые. Вам еще не из-за чего сердиться…

Жур пристально смотрел чуть печальными черными глазами то на Зайцева, то на Егорова, хотя Егорова уж никак нельзя было заподозрить в том, что он излишне сердит. Ему не вредно бы, пожалуй, даже добавить злости, что ли, Егорову. Уж очень он тихий.

— Нам, ребята, еще воевать и воевать. И вашим детям, когда они у вас будут, еще придется, однако, сходить на войну. Но мы должны всегда помнить, за что мы воюем. Ты правильно сказал

в прошлый раз, Егоров, что мы воюем за всеобщее счастье на земле…

Егоров этого не говорил. Но сейчас он не хочет перебивать Жура, не решается перебивать. Он сидит и внимательно слушает. А Зайцев ерзает на стуле, испытывая нетерпение.

Потом он вызывает Егорова в коридор и говорит:

— Ты не сильно развешивай уши. Тут еще есть одно серьезное дело. Как бы нам обоим не погореть. С нас сегодня будут снимать анкету. С меня уже сняли. Сам Курычев велел. Он даже сердился, спросил, почему до сих пор со стажеров не сняли анкеты. «Я, говорит, не буду их утверждать без анкет…»

— Ну что ж, — сказал Егоров, — пусть снимают анкету. Мне скрывать нечего…

— Да я не об этом, — поморщился Зайцев. — Ты, главное, вот что учти: тебе двадцать два года.

— Да нет, что ты! — засмеялся Егоров. — Мне только восемнадцать. И то еще нету. Зимой будет, в январе…

— Глупый, ты не обижайся, но ты, честное слово, как дурак. Они обоих нас примут. Я уже все выяснил. У них теперь есть две штатные должности. Они передвижку сделали. Но им

обязательно нужен возраст. Я сказал, что мне уже исполнилось двадцать один год, а ты говори, что тебе двадцать два. Ты выглядишь старше меня. У тебя вид угрюмый. А метрики все равно не спрашивают.

— Неудобно как-то, — задумался Егоров. — Поступаем на такую работу и вдруг сразу же допускаем обман. Вроде как сами мы жулики…

— Ну, как хочешь, Егоров. Но ты отсюда можешь свободно вылететь. Один парень вот так же, мне рассказывали, прошел весь испытательный срок, а потом вылетел из-за молодости лет. У него двух лет не хватало.

— А если…

Егоров хотел еще что-то спросить, но из глубины коридора, из полутьмы, закричали:

— Егоров!

Это его позвал Воробейчик.

Почему-то именно Воробейчику поручили снимать со стажеров анкету. Но Егоров сейчас даже обрадовался этому. Воробейчика он не любит. Поэтому он, думается, не обязан говорить ему правду. Вот если бы Егорова спрашивал Жур, Егоров бы сказал честно. А Воробейчик… да ну его!

И, стоя перед ним, на его вопрос о возрасте Егоров бессовестно сообщает:

— Мне сравнялось двадцать два года. Уже сравнялось… Еще весной сравнялось…

И все-таки сразу потеет, как от тягчайшего напряжения. Нет на свете, наверное, более тяжкой обязанности, как обязанность врать.

Воробейчик спокойно записывает. Заполнив всю анкету, говорит:

— У тебя, Егоров, хорошее происхождение, чисто пролетарское…

Егорову это приятно. Однако, помедлив, Воробейчик продолжает:

— Но для работы в уголовном розыске у тебя нет призвания. Понимаешь, призвания.

— Не понимаю.

— Призвание — это когда человек просто создан для этого дела. Просто создан. Понятно?

— Нет, не понятно, — мотает давно не стриженной головой Егоров.

— Неужели не понятно? Ну, как же это тебе еще объяснить, если ты такой… ну, как это… вроде вялый, как после сыпного тифа? А в уголовном розыске должны быть люди очень понятливые, быстрые — ну, как бы тебе это сказать? — сообразительные. Чтобы они никогда ничего не боялись. Ни живых, ни мертвых. И чтобы всегда были, ну, одним словом, начеку. Ну разве ты

можешь быть таким?

— Могу, — расправил плечи Егоров.

— Упрямый ты, вот это я вижу, как какой-нибудь — не обижайся — ишак. Ну, ладно, как-нибудь разберемся.

Воробейчик собирает со стола бумаги и уходит.

В тот же день в узенькой комнатке Жура происходит короткое совещание.

Стажеры на этом совещании не присутствуют, потому что разговор идет о них. Быть ли им сотрудниками уголовного розыска, губернского уголовного розыска, — вот этот вопрос и решается сейчас.

Впрочем, о Зайцеве вопрос почти решен. Все высказываются за него.

Только Жур сделал одно замечание. Он сказал, что Зайцева надо немножко сдерживать, Зайцев слишком горячий. Ну что же, это не такой уж грех, что горячий. Работа тут, в общем, не холодная. Холодные сапожники тут не требуются.

Зайцев уже знает, что идет такое совещание. Знает, что там, в узенькой комнатке Жура, сейчас решается его судьба. Но он спокоен за свою судьбу. Он спокойно пьет в буфете чай с печеньем «Яхта».

Впоследствии, наверно, он купит себе такой же

термос, как у дежурного по городу Бармашева. Или не купит. Даже скорее всего не купит. На кой ему дьявол термос?

— Налей мне еще стаканчик, — говорит он буфетчице.

— Опять с лимоном?

— Конечно.

Зайцев совершенно спокоен.

А Егоров волнуется. Он сидит за столиком против Зайцева, тоже пьет чай, но не с печеньем, а с булкой и ужасно волнуется. У него даже пальцы холодеют от волнения. Он греет их о стакан.

И Егоров волнуется не напрасно. На совещании только Жур высказался за него. И то очень осторожно.

— Почему нам не попробовать его еще? — говорит Жур. — Парень он, видать, честный, серьезный, старательный.

Но Воробейчик прямо кипит от злости:

— Да куда же его еще пробовать? Месяц пробуем. Сегодня ровно месяц.

— У меня против Егорова нету возражений, — разглаживает пышные усы Водянков. — Парень он как будто ничего. Но не могу я его понять, вроде как он робкий, что ли. Застенчивый какой-то.

Вот за это слово «застенчивый» и цепляется

Жур, защищая Егорова.

— А что же, — говорит Жур, — надо, чтобы человек был нахалом? Он просто, я замечаю, совестливый паренек. А это, мне думается, неплохо. Если есть сомнения, можно ему дать еще самостоятельное задание, тем более он комсомолец. Неплохой, я считаю, комсомолец…

— Ну, разве что комсомолец, — ухмыляется Воробейчик.

И тут происходит странное. Воробейчик, все время выступавший против Егорова, предлагает послать его с последним заданием на «Золотой стол».

Казалось бы, Воробейчик мог придумать Егорову более трудное задание, на котором бы Егоров уж наверняка провалился. Но Воробейчик как будто настаивает на этом задании. Ну что ж, Жур не возражает.

Час спустя он вызывает к себе Егорова и спрашивает:

— Ты можешь поприличнее одеться? У тебя есть во что?

— Есть, — говорит Егоров.

— Ну вот, оденься как можно получше и вечером пойдешь на «Золотой стол». Есть тебе такое задание…

«Золотой стол» — это казино, где играют в лото, в карты и еще во что-то. Оно помещается в центре города, почти рядом с уголовным розыском, в следующем квартале, против кинотеатра «Красный Перекоп». Там собираются богатые люди — нэпманы, старатели с золотых приисков. И жулики и бандиты, бывает, тоже там собираются. Особенно много бывает карточных шулеров, есть приезжие шулера.

Егоров в «Золотом столе» ничего особенного не должен делать. Если, конечно, вспыхнет скандал, он обязан задержать подозрительных. Ему поможет в этом милиционер, который стоит внизу, у подъезда. А так Егоров должен только наблюдать, не привлекая к себе внимания. Пусть все думают, что он просто игрок, молодой нэпман, гулящий глупый молодой человек. Он может принять участие в игре в лото или в какой-нибудь другой игре. Для этого ему выдается казенных три рубля. Если проиграет, не страшно. Если выиграет, тоже. Вот и все. Сам, конечно, он не должен затевать скандалов. Боже упаси! Он должен держаться скромно, ни во что без толку не впутываться.

— Ну, иди, Егоров, — сказал Жур. — Желаю тебе… Ну, словом, иди и старайся, чтобы все было как следует…

Егоров зашел домой, пообедал, переоделся, надел почти новый, перешитый Катей френч цвета морской волны, аккуратно причесался и уже в самую последнюю очередь посмотрел на башмаки.

Башмаки до крайности худые. Он уже два раза их сам ремонтировал, прикреплял дырявые подметки тонкой проволокой, вырезал из картона стельки. Все равно вида они никакого не имеют. Хотя их можно еще подкрасить сажей.

Егоров развел в керосине сажу и, поставив ногу на ступеньку крыльца, стал подкрашивать башмаки.

Его окружили племянники. Каждый хотел помочь ему в этом деле.

В одно мгновение они измазались, как чертенята. Но больше всех измазался Кеха. Он старался всех оттолкнуть и кричал, что это не чей-нибудь, а его папа, поэтому только он, Кеха, имеет право красить отцовские башмаки.

— Да он и не папа тебе, — сказал младший Катин сын. — Нам он дядя, а тебе чужой.

— Не чужой, не чужой! — закричал и заплакал Кеха. И стал ругаться вдруг такими словами, какие не только в три или четыре года, но и в тридцать лет не все, пожалуй, знают.

Егоров растерялся. Он утешал Кеху, говорил,

что он ему, правда, не чужой, но слова плохие, нехорошие слова. Надо их забыть. Поскорее забыть.

Егоров вышел из дома расстроенный. И всю дорогу думал то о Кехе: «Взяли ребенка, так надо воспитывать», то о том, что ему, Егорову, самому сегодня предстоит.

Все-таки он идет сейчас на свое последнее испытательное задание.

Завтра уже будет ясно, как решилась его судьба. Вернее, она решится сегодня. Но Кате он об этом ничего не сказал, чтобы она не волновалась лишний раз.

А сам он сильно волновался. Хотя чего бы ему волноваться? Ничего страшного там не может быть. Да если и будет, он, пожалуй, не шибко испугается. За этот месяц он уже кое-что повидал. Все будет хорошо, как надо. Иди, Егоров…

В девятом часу вечера у развалин Хмуровского пассажа, сгоревшего еще в гражданскую войну и до сих пор не восстановленного, он неожиданно встретил Жура.

У Жура был редкостный свободный субботний вечер. Он шел домой ужинать. Он так и сказал с улыбкой Егорову: «Иду домой ужинать». А Егорову очень интересно: как живет дома Жур? Есть

ли у него дети? Но спрашивать об этом неудобно. Не такие у Егорова с Журом отношения, чтобы спрашивать о домашних, о семейных делах.

Жур оглядывает Егорова под фонарем, видит, что у него под распахнутой телогрейкой красивый френч, — не «френч» теперь надо называть, а «тужурка».

— Что же ты так всегда не ходишь? У тебя же вид совсем другой, солидный…

Это звучит как похвала. Но Егоров вдруг вспоминает свой грех и совсем некстати в замешательстве говорит:

— Это все ничего, но я напутал в анкете…

— Пустяки. После исправишь.

— Но я здорово напутал…

— Исправишь, — хлопает его левой рукой по плечу Жур. — Анкета — это дело не страшное. Ты сейчас вот старайся, чтобы все было хорошо, умно. Последнее тебе задание — и, можно считать, кончился твой испытательный срок.

Жур идет с ним по улице, под неяркими сегодня фонарями. Видимо, опять падает напряжение на электростанции. Никак ее не могут наладить после гражданской войны.

— Наладится, все наладится, — смотрит на фонари Жур. — Лет через десять, через двадцать

никто не узнает наш город. Это будет мировой город.

Так любили тогда говорить, лет тридцать с лишним назад: мировой парень, мировой город, мировые дела.

Жур дошел с Егоровым почти до самого казино, потом свернул в переулок к своему дому и сказал:

— Ну, счастливо тебе, Егоров. Работай. Главное, не горячись. Мы еще увидимся сегодня. Я с двенадцати ночи буду дежурить по городу…

Егоров даже удивился: почему это Жур так сказал? Отчего тут надо горячиться? Все спокойно.

20

У подъезда, где ресторан, стоит бородатый, в расшитой золотом ливрее швейцар. Он открывает двери Егорову. Егоров снимает внизу, на вешалке, телогрейку, фуражку, еще раз причесывается у огромного зеркала и поднимается на второй этаж. Нет, теперь он больше не волнуется.

В огромном зале расставлены длинные столы. За столами сидят какие-то ветхие старушки в допотопных шляпах, старички в стоячих воротничках, каких нынче уже не носят, полные,

румяные мужчины с младенческими лицами и с телами купчих.

Все это лавочники, бывшие чиновники, домовладельцы. Они сидят над узкими полосками картона с цифрами.

А у стены на возвышении стоит однорукий, усатый инвалид и выкрикивает номера:

— Двадцать восьмой-и… Тридцать шестой-и…

Для чего он вытягивает это «и»? Егорову очень смешно. Но он не смеется. Никто не смеется, и он не смеется.

У него есть казенных три рубля. Но он пока не собирается играть. Он ходит меж столов, как ходят многие, с виду такие же, как он. Никто тут не догадывается, что он из уголовного розыска.

Вдруг он видит знакомое круглое лицо.

Это Ванька Маничев покусывает белыми зубами черную костяшку, которой закрывают цифры, и жадно смотрит на однорукого инвалида, выкрикивающего номера.

Ванька сейчас, увлеченный игрой, никого не замечает вокруг себя. А Егоров его хорошо видит. И сердце у Егорова чуть замирает: Ванька для него теперь навсегда связан с Аней Иващенко. Может, и Аня здесь? Нет, Ани не видно. А где же она?

И хотя Егоров все это время, все дни после их

недавней встречи, думал, что он уже вытеснил Аню из своего сердца, Аня все-таки волнует его. И наверно, еще долго будет волновать. Пусть он думает, что уже не любит ее. Даже Ванька Маничев, этот бывший его дружок, оказавшийся нэпманским холуем, интересен Егорову только потому, что связан с Аней. Может, он уже женился на ней?

Но какое дело Егорову? Пусть женится. Пусть они все женятся. Он занят своим делом. Он заканчивает сегодня свой испытательный срок.

Егоров даже взглядом не хочет встретиться с Ванькой, проходит, уже не глядя на него, меж рядов, переходит в соседний зал, поменьше.

Вот из-за этого зала и все казино называется «Золотой стол». Здесь играют в карты.

И все здесь необычное, даже таинственное. Горят большие голубые, с мохнатой бахромой люстры. Окон не видно. На стенах висят черные полосы гладкой материи, на которой вышиты серебром и золотом луна и звезды, цветы и птицы и какие-то знаки, иероглифы.

Душно здесь и накурено так, что дышать, кажется, нечем. Но никто этого, должно быть, не замечает. За небольшими квадратными столами с зеленым суконным полем сидят нервноболь-

ные, с землистыми, дергающимися лицами игроки. Коротко, сердито переговариваются. Иногда стучат по столу кулаками. Но никто тут и этому не удивляется.

Только важный старик с задумчивым лицом в бакенбардах, разносящий карточные колоды, изредка плаксивым голосом просит:

— Нельзя ли поаккуратнее, а?

Кажется, что тут собрались вдруг ожившие покойники. Все у них так же, как у живых, а лица покойницкие. И носы, как у покойников, острые.

Впрочем, это, может быть, свет от люстры, от боковых светильников, укрытых вощеной бумагой, зеленовато-серый свет искажает лица. И у Егорова сейчас лицо, наверное, не лучше, чем у игроков.

Егоров на ходу смотрит в мутное зеркало. Да, лицо у него потемнело, позеленело. Все, значит, зависит от света. А для чего тут такой свет? Для чего это разрешают в центре города глупую какую-то игру в карты?

Тут ведь не только нэпманы и приискатели сидят, но и, может быть, кассиры — сидят и проигрывают тайком казенные деньги.

Однако никак не угадаешь, кто тут кассир, кто нэпман и кто просто жулик или шулер.

Все игроки выглядят почти одинаково, И Егорову никто не поручал проверять у них документы. И вообще непонятно, зачем его послали сюда. Глядеть за порядком? Но тоже непонятно, какой тут должен быть настоящий порядок.

Егоров переходит от стола к столу, хочет все-таки понять, как идет игра, какие действуют правила. А сам играть пока не собирается. Да он и не умеет. Он может только вглядываться в лица, может только стараться угадать, кто тут подозрительный.

И все ему кажутся подозрительными, хотя он понимает, что это неправильное у него представление. Нельзя же всех подозревать. Но очень возможно, что здесь сейчас присутствует среди игроков необыкновенно опасный преступник, которого давно разыскивают. И вот его-то Егоров как раз и прозевает. А что он может сделать? Ему велено только наблюдать. Вот он и наблюдает.

Наблюдение это быстро утомляет его. Глаза все сильнее пощипывает густой табачный дым.

Егоров выходит в коридор и видит белую дверь с небольшой красной табличкой: «Пти шво». А за дверью что-то негромко гудит и пощелкивает и слышатся голоса. Можно ли войти в эту дверь? Надо ли входить? И что это значит — «Пти шво»?

Раздумывать, однако, долго не приходится. В дверь входят один за другим разные люди. И Егоров входит.

Оказывается, в этом помещении есть еще один зал, где светло и чисто и на белых стенах висят картины. А в самом центре зала огромный круглый стол. И вокруг стола толпятся люди. Много людей — молодых и старых. Больше молодых.

Некоторые выстроились вдоль стены в очередь к серебристому кассовому аппарату, который выщелкивает узенькие билетики. Протяни кассирше рубль — и получишь билетик. Потом с этим билетиком надо пробиваться сквозь толпу к высокой, черной, горбоносой женщине, что возвышается над круглым столом.

У этой женщины все черное: и гладко причесанные волосы, и густые брови, и ястребиные глаза, и длинное платье с высоким воротником. Она командует разноцветными металлическими лошадками, с легким гулом бегущими по круглому столу. Она их то пускает, то останавливает. Для этого ей достаточно нажать кнопку.

— Граждане, делайте ваши ставки, — провозглашает черная женщина гортанным голосом. — Не задерживайте аппарат. Ваша лошадь ожидает вас. Она стремится привезти вам счастье…

Каждый игрок облюбовывает какую-нибудь одну лошадку на круглом столе. Или сразу двух-трех лошадок.

— Игра сделана, ставок больше нет, — опять провозглашает женщина, собрав все билетики, и нажимает кнопку. — Наблюдайте бег лошадей.

Лошадки, как живые, стремительно бегут по кругу.

Впрочем, это не лошадки бегут, это вращается круг. А кажется, что бегут лошадки, намертво приколотые к кругу. Кажется даже, что вон беленькая обгонит всех. Нет, всех обгонит игреневая. Но и игреневую, пожалуй, обойдет каурая. Или вот эта гнедая. Хотя нет, скорее всего, первой придет игреневая.

Игра неожиданно увлекла Егорова. Он уже не вглядывался больше в лица игроков, ища подозрительных, как ему полагалось бы. Он смотрел теперь только на лошадок, стараясь угадать, какая придет первой.

Первой пришла серенькая в яблоках.

— Гражданина, сделавшего ставку на девятый номер, — провозгласила черная женщина, — дирекция просит получить в кассе свой выигрыш…

Егоров видел, как сморщенный, лысенький старичок в клетчатой куртке подошел в кассе и

получил пачку денег.

А что, если и Егорову сыграть? Поставить вон, допустим, на ту каурую лошадку и сыграть. Ведь ему для этого специально выданы три рубля. Правда, они ему выданы не для игры, а для того, чтобы в случае необходимости он мог показать, что играет, что увлечен игрой, если на него станут обращать внимание игроки.

Игроки сейчас не обращают на него никакого внимания. Но он сам хотел бы сыграть. Ведь это очень интересно. Вдруг ему повезет? Вдруг он выиграет такую же толстую пачку денег, как этот сморщенный лысенький старичок в клетчатой куртке? Вот было бы здорово!

Егоров прикинул в уме, сколько может быть денег в той толстой пачке, и решил, что в ней, пожалуй, не меньше как две или даже три месячные получки.

Егорову за такую пачку надо работать два-три месяца. А тут поставить всего рубль — и, пожалуйста, собирай деньги, сколько хочешь собирай.

Можно, конечно, и проиграть. Даже, скорее всего, с непривычки проиграешь в первый раз. Ну так что же! Придется потом сказать в уголовном розыске: проиграл, мол, один рубль или два рубля, прошу, мол, вычесть из моей зарплаты.

Ведь вторую получку за две недели он еще не получал, но она ему уже полагается. Ее выплатят ему все равно, если даже его не примут в штат. Наверно, завтра и выплатят. Вот он и отдаст свой проигрыш. А вдруг он выиграет? Вдруг вон та каурая лошадка, которую он облюбовал, придет первой? Что тогда?

Егоров представил себе сияющее лицо Кати, увидевшей на столе пачку денег.

Можешь делать с этими деньгами что хочешь. Можешь купить себе шубу. Можешь купить ребятишкам не только валенки, но и каждому по костюмчику. Можешь заготовить дров, и картошки, и капусты хоть на целую зиму. Можешь каждый день покупать на базаре мясо и ветчинные кости к щам или гороховому супу.

И деньги еще останутся.

Егоров взял бы из этих оставшихся денег только немножко — на башмаки.

Башмаки у него ведь действительно худые. Больше в них ходить никак нельзя. Да и, пожалуй, стыдно. Работаешь в таком учреждении, а ходишь черт-те в чем…

Башмаки он себе обязательно купил бы. И еще купил бы шапку. А то уши просто стынут на ветру. Даже, чего доброго, можно свободно отморозить

уши, если начнутся холода. Будут отмороженные уши висеть, как пельмени. Нет, шапку тоже надо купить обязательно. Без шапки никак нельзя.

— Граждане, делайте ваши ставки, — снова провозглашает черная женщина.

А что ж она сама не делает свою ставку? У нее на глазах люди выносят из кассы такие деньги, а она только советует. Или ей нельзя делать ставки, потому что она находится здесь на службе? Конечно, ей нельзя. А Егорову можно? Пожалуй, можно. Ему же выдали три рубля, специально выдали.

А вот интересно: если он выиграет, как быть? Надо сказать в розыске, что он выиграл, или скрыть это? Нет, пожалуй, скрывать нельзя. Конечно, нельзя скрывать. Тут хитрости никакой не должно быть. Надо показать Журу весь выигрыш, выложить перед ним все деньги и спросить, что с ними дальше делать.

Если Жур скажет, что деньги надо сдать в кассу уголовного розыска, надо, конечно, сдать. Тут никаких разговоров быть не может. Но Жур может и так сказать: отсчитай, мол, казенные три рубля, которые тебе были выданы, а остальные бери себе. Тогда другое дело. Тогда можно смело идти с этими деньгами домой, к Кате. Ух, она здорово

обрадуется!

— Игра сделана, ставок больше нет, — провозглашает черная женщина и садится на высокий черный вертящийся стул.

А Егоров так и не успел сделать ставку. Но все равно смотрит теперь только на каурую лошадку номер семь, которую сразу облюбовал. У каурой красиво выгнутая шея и вздернутая голова. Будто она ржет на бегу.

Егоров неотрывно смотрит на каурую и продолжает взволнованно думать.

А как, интересно, Кате он скажет, где взял эти деньги? Надо ли ей все в точности говорить?

Нет, пожалуй, не надо, а то еще она засмеет. Что же это, мол, ты все в сыщики стремился и вдруг в игроки перешел? Боюсь, скажет, как бы ты шулером не сделался…

Нет, конечно, Кате не надо всего говорить.

Надо просто сказать ей, что ему прибавили зарплату.

И даже лучше не отдавать Кате всех денег, а выдавать ей по частям. А то она на радостях накупит разного барахла, когда необходимо купить самое-самое нужное.

В первую очередь надо купить ребятишкам валенки. Всем ребятишкам и, конечно, Кехе.

Ведь как некрасиво получилось: Егорову купили рубашку и френч, а ребята остались на зиму без валенок. Из первой получки Катя так ничего и не смогла выкроить. Только что получше, посытнее стали есть.

А сейчас, если Егоров выиграет, сразу все изменится к лучшему. А Кате не надо отдавать все деньги. Удобнее выдавать по частям. Тогда и врать не надо насчет прибавки к зарплате. Ведь Егоров больше играть не будет. Он сыграет только один раз. Нет, обязательно надо сыграть два раза. Хотя почему только два раза? Уж играть, так играть на все три рубля. Из трех раз он уж наверняка хоть на одной лошадке выиграет.

Каурая лошадка действительно кажется красивее всех. И хотя Егоров еще не сделал ставку на каурую, еще не внес свой рубль в кассу, у него все-таки замирает сердце. А вдруг буланая обойдет каурую? Нет, не обойдет.

— Стоп, — говорит черная женщина.

Бег прекратился. Каурая пришла первой. Егоров готов был захлопать в ладоши.

— Гражданина, сделавшего ставку на седьмой номер, — выкрикивает женщина, пристально оглядывая игроков, — дирекция просит получить свой выигрыш в кассе!

Егоров видит, как молодой человек в крагах вихляющей походкой приближается к кассирше. Вот он принимает от нее большую пачку денег.

Пачка кажется толще той, что получил лысенький старичок в клетчатой куртке. Но ведь это деньги Егорова. Ведь он первый облюбовал каурую лошадку и все время, волнуясь, следил за нею.

Нет ничего хуже нерешительного человека. Егоров сильно сердит на себя. Уж если задумал, так надо играть, а не хлопать глазами. Вон какой-то джек в крагах унес из кассы его деньги и даже громко стукнул дверью, уходя: вы, мол, тут, дураки, стоите, глазеете, трясетесь за свои рубли, а я выиграл и пошел домой.

Егоров покраснел от обиды. Расстегнул пуговицу на френче и сунул руку во внутренний карман, где у него лежат эти казенные три рубля, рядом с комсомольским билетом.

«Никогда не кладите комсомольский билет в одно место с деньгами. Полезешь за деньгами — и можешь легко обронить комсомольский билет» — это говорил еще в Дударях секретарь укома комсомола Зуриков.

И Егоров сейчас вспомнил эти слова. Но он никогда раньше и не носил комсомольский билет

рядом с деньгами. Да он и деньги не так уж часто носил в кармане. Это случайно получилось сегодня, что комсомольский билет оказался рядом с деньгами.

Егоров вынул три рубля и зажал их в кулаке, направляясь к кассе, где опять скопилась небольшая очередь.

В очереди стоял пожилой мужчина в пенсне, показавшийся Егорову удивительно знакомым. И мужчина, должно быть, узнал Егорова.

— Наконец-то решились? — усмехнулся мужчина. — А я все время наблюдаю за вами…

Вот так так! Егоров послан сюда наблюдать за игроками. А оказывается, и за ним наблюдают. Но откуда же он знает этого мужчину?

— У вас, как мне показалось, серьезные финансовые затруднения?

— Чего это? — нелюбезно спросил Егоров.

— Я заметил, что вы долго рылись в своем кармане. — Мужчина поправил пенсне на жилистом, тонком носу. — Мне показалось, что у вас не хватает денег.

Чуть сиплый голос мужчины сразу же встревожил Егорова. А когда мужчина поправил пенсне на жилистом носу, Егоров мгновенно вспомнил дом дедушки Ожерельева на Извозчичьей горе.

И нэпмана вспомнил, того нэпмана, что долго застегивал на затылке трясущимися руками готовый галстук-бабочку, а потом предложил Егорову взятку за молчание.

Егоров тогда не очень хорошо разглядел его в полутьме. А теперь-то совершенно ясно, что это именно тот нэпман, совладелец фирмы «Петр Штейн и компания. Мануфактура и конфекцион», что на Чистяревской, дом восемнадцать.

Нэпман точно таким движением, как тогда в доме дедушки Ожерельева, вынул из внутреннего кармана пиджака желтый бумажник.

— Могу одолжить на неопределенное время. Пожалуйста, не беспокойтесь…

Вот до какого унижения дошел Егоров! Его послали по делу. Сегодня кончается его испытательный срок. А он не только ничего хорошего не сделал, никого не выследил и не поймал, но даже вступил в знакомство с нэпманом, и ему, комсомольцу Егорову, как своему дружку, нэпман вдруг опять протягивает деньги. Значит, они тут, выходит, заодно орудуют, стараются разжиться на даровщинку, комсомолец Егоров и какой-то нэпман.

— Да идите вы! — заорал вне себя Егоров, так что на него оглянулись все в зале.

И этого не надо было делать. Нэпман сейчас не виноват. Во всем виноват только Егоров. Виноват прежде всего в том, что хотел поправить свои дела за счет этих лошадок. Люди работают, стараются работать. А он вон на что соблазнился! Может, он позавидовал нэпманам? Может, он тоже хочет открыть свой магазин на Чистяревской?

В одно мгновение Егоров осудил себя и вынес себе строжайший приговор. Он даже ужаснулся тяжести своего еще не совершенного преступления.

— Вы не кричите, — сказал нэпман. — Это моя добрая воля предложить вам взаймы. Я не вижу в этом ничего неприличного…

Егоров повернулся и пошел, как чем-то ушибленный, через весь зал к выходу.

Вот сейчас он был действительно в тяжелом положении, в более тяжелом, чем в тот час, когда поднимали мертвого аптекаря, или в тот вечер, когда ему пришлось впервые войти в мертвецкую.

Не было еще более тяжелого положения в жизни Егорова.

Ведь часа три назад, проходя через зал, где играют в лото, он посмеялся про себя над Ванькой Маничевым, жадно взирающим на однорукого

инвалида, который выкрикивает цифры.

Егоров тогда просто презирал Ваньку Маничева за жадность. А потом вдруг сам захворал жадностью. Как же это могло случиться с Егоровым?

Он опять проходил через зал, где увидел Ваньку, но Ваньки здесь уже не было. И других игроков не было. Все ушли.

Уборщицы подметали мусор и гасили свет. Большие электрические лампочки, свисавшие с потолка в центре длинного зала, гасли одна за другой.

Можно было бы зайти в тот зал, где играют в карты. И надо было бы, пожалуй, зайти. Но Егорову почему-то казалось неудобным сейчас заходить туда. Да и время его вышло. Нет, кажется, еще не вышло. Надо все-таки посмотреть на часы.

Егоров медленно проходит по затемненному коридору и возвращается в тот зал, где играют в карты.

Тут уж в самом деле нечем дышать. Накурили так, что сильно режет глаза. И пахнет нехорошо. Черт знает чем пахнет! А лица у игроков густо-синие. Можно подумать, что тут действительно собрались вдруг ожившие покойники и опять решили играть.

Егоров проходит в глубину зала и смотрит на стенные старинные часы с огромным медным маятником в лакированном футляре.

Времени, оказывается, еще очень много до конца дежурства. «Золотой стол» закрывается, кажется, в три часа ночи. Но если идет крупная игра, и в три часа не закроют. Неужели тут придется ходить до трех часов?

Егоров опять смотрит на часы и вспоминает слова Жура: «Особенно долго-то там не толкись. Побродишь часов до двенадцати и можешь идти домой, если, конечно, не будет серьезного дела…»

Серьезного дела пока что нет. И, наверное, не будет. Но все-таки надо побродить здесь хотя бы еще с полчасика. До двенадцати обязательно надо побродить. Неудобно уйти раньше.

«А этот нэпман паразит, настоящий паразит, — думает Егоров, вспоминая происшествие, у кассы „Пти шво“. — Уже в свои дружки меня зачислил. Но я тоже хорош: полез, как дурак, за барышами».

Егоров расстроен до последней степени. Он медленно проходит меж столиков, рассеянно смотрит на игроков и все время думает, не может не думать о том, как он глупо, непростительно

глупо поступил в «Пти шво», будь оно проклято.

И ведь об этом рассказать никому нельзя. Даже стыдно рассказывать. Вот какой он оказался барахольщик! Он и сам раньше не знал, что он такой жадный и глупый…

— Скучаешь?

Егоров, все еще сконфуженный своими мыслями, оборачивается. Может, это не его спрашивают? Нет, его.

Перед ним стоит худой, длинный пожилой человек с необыкновенно бледным, костлявым лицом, на котором горят глаза сумасшедшего.

— Ты меня знаешь? — спрашивает сумасшедший.

Ну конечно, он сумасшедший. Глаза горят и как будто прыгают, а на губах, в уголках губ, вроде как пена.

— Нет, — отвечает Егоров.

Внезапный испуг, как электрический ток, входит во все его существо и омертвляет мускулы.

Точно ватой сейчас набили Егорова. Вынули внутренности и набили ватой.

— А ты сам из угро?

Егоров отвечает не сразу. Он не может ответить — перехватило дыхание.

— Я тебя спрашиваю: ты сам из угро? Глухой?

— А в чем дело? — наконец откликается Егоров и слышит в своем голосе унизительную робость.

Вот такого человека, с таким голосом, надо немедленно выгнать из уголовного розыска. Зачем он нужен там? Да и на свете жить такому человеку незачем.

Егоров никогда в жизни так не презирал себя, как в это кратчайшее мгновение. И чего он вдруг испугался? Что он его, съест, что ли, этот сумасшедший? Ну и пусть съест. А из уголовного розыска, если узнают, Егорова сейчас же выгонят. Выгонят после всего испытательного срока. А он и в мертвецкую уже ходил, и на операции ездил.

Сумасшедший ухмыляется, будто читает мысли Егорова.

— Чего вам надо? — спрашивает Егоров. Вот сейчас он спрашивает почти хорошо, более твердо.

— Давай выйдем. Я тебе там покажу, чего надо…

Можно было бы, пожалуй, и не выходить. Пусть он здесь говорит и показывает. Для чего это надо с каждым сумасшедшим выходить? Но тогда можно подумать, что Егоров правда испугался.

— Пойдем.

И они выходят в дверь, над которой светится красная табличка: «Запасный выход».

На небольшой квадратной площадке над лестницей темно. Только поблескивает какой-то кружок. Нет, два кружка поблескивают. И еще блестит что-то. Глаза! Не сумасшедшего глаза, а еще чьи-то нечеловеческие. И хриплый, замогильный и все-таки немножко знакомый голос говорит:

— Ну-ка живо, руки… вверх!



Егоров отшатывается, упирается спиной в дверь, будто хочет ее открыть спиной, потом вытягивает ногу и сильно бьет ногой снизу, стараясь попасть носком башмака в блестящий предмет. Нет, такого приема не было в книге господина Сигимицу. Он появился только сейчас, вот тут впотьмах, этот прием.

На бетонную площадку упал пистолет. Это он и блестел. И блестит на полу. Егоров падает на него.

А на Егорова валится сумасшедший. Он хочет отнять пистолет. Но Егоров его ни за что не отдаст.

Им сейчас владеет то, что называется храбростью отчаяния. Только жалко, что он не умеет еще стрелять из такого пистолета. У него еще никогда не было в руках бельгийского браунинга. Наган был, а браунинга не было.

Сумасшедший сопит, стараясь отнять пистолет. От него несет тяжелым запахом винного перегара. Он, наверно, сильно пьяный. А в углу кто-то стонет и ругается.

Наконец Егоров слышит голос Воробейника:

— Дурак! С тобой пошутили, а ты мне, кажется, руку сломал. Это ж Усякин. Ты что, Усякина не знаешь?

— Никого не знаю.

Егоров поднимается на ноги.

Глаза его уже привыкли к темноте. Он видит в углу Воробейника, который поддерживает левой рукой правую.

Егоров по самому локтю ударил его носком башмака. Это очень больно.

— Ну ладно, давай пистолет, — говорит Воробейчик. — Пошутили — и хватит. Давай, давай. — И протягивает Егорову левую руку.

Но Егоров со всей силой отпихивает его. Да он что, с ума, что ли, сошел, Егоров?

Обида, и злость, и острая, нестерпимая боль в локте сокрушают Воробейника. Неужели этот мямля Егоров, над которым они действительно хотели пошутить, хотели напугать его страшной маской в темноте, подведет их теперь под крупную неприятность? Неужели он так и не отдаст пистолет? Неужели они вдвоем не одолеют его?

— Не таких видали фрайеров! — кричит Воробейчик и, превозмогая боль, старается ударить Егорова в бок ногой.

Но Егоров увертывается и хватает за шиворот Усякина, ринувшегося было к двери.

— Вниз, — толкает Усякина на лестницу Егоров, — вниз идите!

Воробейчик опять собирает силы, чтобы ударить Егорова в бок ногой. Он бывал в серьезных переделках. Но Егорова ему не удается ударить. Егоров увертывается.

А Усякин, видимо, надеется все-таки уйти.

— Стой! — кричит ему Егоров. — Побежишь — буду стрелять. — И показывает Усякину на Воробейчика. — Веди его, поддерживай…

Они выходят не на главный подъезд, где стоит швейцар, а во двор, где темно и никого нет. Только в стороне белеет поленница березовых дров.

Воробейчик кидается к поленнице. Может, он надеется схватить полено? Все-таки он не хочет покориться какому-то стажеру, чью судьбу он еще три часа назад решал на совещании. Если он добежит до поленницы…

Но он не добежит. Егоров сбивает его с ног. И тут у Егорова почти совсем отлетает подметка. Она держится на одном гвозде. Однако некогда думать сейчас о подметке.

Фуражка и телогрейка Егорова остались на вешалке. Но это ничего. Он потом за ними зайдет.

Теперь главное — отвести этих жуков в уголовный розыск. Тоже нашли кого разыгрывать! Пусть сам Курычев и Жур посмотрят на них! Пусть узнают, какие они устраивают дурацкие

шутки со стажерами! Стажеры хотят работать, а они видите что устраивают! Просто с жиру бесятся. Недаром Жур прошлый раз говорил, что в уголовном розыске не все еще сознательные. Вот пусть теперь Жур посмотрит…

Егоров, потный, злой, с разорванным воротом, стоял посреди двора и смотрел на сбитого у поленницы Воробейчика. Потом он потрогал себя за бок, нащупал оторванный накладной карман и еще больше обозлился.

У нового френча оторвали карман! Надо бы им еще добавить за это. Карман, наверно, оторвал Усякин. «Ну, погоди!» — сердито думает Егоров.

— А ты-то, — говорит Воробейчик Усякину, подымаясь с его помощью, — ты-то болван! Он мне, кажется, руку сломал или вывихнул. Я вздохнуть не могу. А ты…

— Да ну его… — берет под руку Воробейчика Усякин, косясь на Егорова. — Пойдем. Он еще шухер тут поднимет на весь город.

Но Воробейчик, прихрамывая, доходит до ворот и останавливается.

— Слушай, чалдон, — оглядывается он на Егорова, — отдашь пистолет или нет?

— Не отдам.

— Хочешь так — вынь обойму, а пистолет от-

дай?

— Не отдам.

— Дурак, да ты еще не имеешь права носить пистолет! У тебя даже разрешения нету. Тебе же не дали пистолета, когда посылали сюда. Ты еще не сотрудник. И не будешь сотрудником. Не будешь. Я тебе это твердо говорю. Ты помнишь, кто я такой?

— Не помню.

— Ну и дурак! Ох, какой тупой дурак! Ты же, наверно, сломал мне руку. Ты за это ответишь. И за то, что взял чужой пистолет, ответишь…

— Я его сдам дежурному по городу.

— Да над тобой же все будут смеяться. Над тобой и так целый месяц все смеются…

— Пусть.

— Пойдем, — тянет Усякин Воробейчика за рукав.

Но Воробейчик упирается.

— Да погоди ты, собашник! — говорит он Усякину. И опять оглядывается. — Ну, слушай, Егоров. Будем мы с тобой толковать по-хорошему?

— Не будем.

— Ну ладно, — угрожает Воробейчик, — потом не плачь…

Они выходят из ворот и не спеша идут по тем-

ной опустевшей улице. Усякин и Воробейчик впереди. Усякин поддерживает Воробейника. А Егоров шагает за ними, высоко, как журавль, подымая ногу, чтобы окончательно не оторвать подметку. Даже удивительно, что она до сих пор держится.

И еще заботит Егорова пистолет. Он сунул его в карман брюк, потому что неудобно все-таки с открытым пистолетом идти по улице, даже ночью. А вдруг он нечаянно выстрелит в кармане?

Егоров слышал, что у таких пистолетов есть какой-то предохранитель. Но где он находится, предохранитель, этого Егоров не знает. Надо было бы спросить об этом у Зайцева. Жалко, что раньше не спросил.

У Зайцева был как раз такой пистолет. Егоров это видел. И про предохранитель ему Зайцев сказал. Кажется, Зайцев. Надо было его сразу обо всем расспросить. А то вдруг сейчас ахнет пистолет прямо в кармане? Заденешь за курок или за предохранитель — и ахнет…

Егоров не боялся этого, когда схватил пистолет и зажал в кулаке, чтобы кулаком ударить Усякина. Ему и в голову тогда не приходило, что пистолет может внезапно выстрелить. А сейчас он этого серьезно опасается. Но все-таки не выни-

мает пистолет из кармана.

Если б Воробейчик мог угадать эти тревожные мысли Егорова, он, наверное, действовал бы по-иному. Но он, конечно, не догадывается.

Шагая по улице под руку с Усякиным, Воробейчик пытается применить психологический, что ли, способ. Хочет вроде как подольститься к Егорову, потому что другого выхода, как ему кажется, нет. Егорова не возьмешь теперь силой, а если начнешь сопротивляться, Егоров, чего доброго, действительно откроет стрельбу. «От этого психа, — думает Воробейчик, — можно любую пакость ждать. Ему же терять нечего. И он злой, как взбесившийся».

Воробейчик оглядывается на Егорова.

— А ты, оказывается, здоровый. Я даже не ожидал, что ты такой здоровый…

Лесть, однако, не смягчает ожесточившееся сердце Егорова. Он молчит, будто не слышит слов Воробейчика.

Он думает о телогрейке и фуражке, оставленных там, в гардеробной, на вешалке. А вдруг все уйдут, швейцар закроет двери и телогрейка с фуражкой так и останутся там? До утра их, пожалуй, не получишь. Да и в чем пойдешь получать их утром? Неудобно вот так, во френчике и даже без

фуражки, идти утром по городу. Да еще швейцар может утром начать волынку: откуда, мол, я знаю, чья это одежда?

— Вы чего плететесь, как мухи по струне? — кричит Егоров Воробейчику и Усякину. — Идите быстрее!

У Егорова стынут уши и по спине пробегает холодок. Ведь все-таки сейчас не июль и не август.

— Ты не подгоняй нас, Илья Муромец, — огрызается Воробейчик. — Подумаешь, какое геройство сделал! Своих же сотрудников подловил и ведешь, угрожаешь шпалером. Ты бандитов бы ловил, если ты такой храбрый. А своих сотрудников любой дурак может подвести…

У Егорова и руки стынут. Запястья прямо заледенели. Он потирает руки, стараясь их согреть.

А Воробейчик опять говорит, пробуя разные психологические, что ли, подходы:

— И сотрудники у нас тоже разные бывают. Одни с бандитами сражаются в открытую, жизнь свою не щадят, а другие перед начальством выслуживаются, как, например, ты, Егоров. Приведешь сейчас нас в управление и сразу выслужишься. Тебя зачислят на должность как комсомольца, а нас выгонят к такой-то матери. Тем более что я в данную минуту выпивши. Меня, конечно,

выгонят. У меня до этого было два замечания. А ты займешь мою должность…

Егоров уже согрел руки. Теперь он греет ладонями уши. Он не все слышит, что говорит Воробейчик, да он и не старается его слушать. А Воробейчик говорит и говорит:

— Все-таки, Егоров, ты плохой товарищ. Никудышный товарищ. Сволочь! С тобой пошутили сотрудники, старшие твои товарищи, а ты вдруг обозлился, как цепной кобель. Товарищи так не поступают. Мало ли какая может быть шутка! Мы же все-таки в одном учреждении служим. И тем более мы сейчас выпивши, в состоянии, как говорится, аффекта. Это даже на суде учитывается. А ты, как сволочь.

Эти слова неожиданно трогают Егорова.

— Да брось ты причитать! — кричит он, останавливаясь. — Хочешь, я сейчас отдам тебе твою пушку, и вались ты к черту…

— Давай, — ошеломленный этим решением, протягивает руку Воробейчик.

Егоров осторожно вынимает из кармана пистолет и протягивает его Воробейчику.

— А вы видите… вы видите, как вы мне френч изорвали? — показывает Егоров. — Это тоже, считается, шутки?

— Да я тебе его сам зашью, — предлагает Усякин. — Приходи ко мне хоть сегодня домой, и моя жинка тебе зашьет…

— Да не надо мне, — отказывается Егоров. — Мне и дома зашьют. Но вы все-таки, я считаю, гады. Так люди не делают, как вы со мной.

Усякин останавливается под фонарем и показывает свое лицо.

— А фотокарточку ты мне вон как исказил! Это не считается?

— Сами виноваты, — отворачивается Егоров. — Пьянчужки…

— Будешь звонить про это, как мы с тобой хотели пошутить? — спрашивает его Воробейчик.

— Для чего это я буду звонить?

— Не будешь? Дай честное слово…

— Да для чего я буду честное слово давать? — опять греет уши ладонями Егоров. — Я говорю, что не буду звонить, значит, не буду. Для чего это мне надо звонить?

— Ну, тогда держи пять, — протягивает ему непокалеченную руку Воробейчик. — А я сейчас пойду прямо в больницу, в приемный покой. Пусть поглядят, что у меня в руке. Может, правда перелом? Сильно ноет. Просто терпения никакого нет…

Егоров возвращается в казино. Он теперь почти рад, что все так в общем хорошо закончилось.

Действительно, это было бы глупо, если б он привел Воробейника и Усякина в дежурку. Можно было бы подумать, что он правда хочет выслужиться перед начальством и что он плохой товарищ. С ним пошутили, хотели проверить, какой он, пугливый или нет. Ну и вот, проверили.

Жалко только, что карман оторвали. Катя будет ругаться, но ничего, пришьет. Немножко посердится и пришьет. Не с мясом же оторвали.

Егоров еще раз в гардеробной осмотрел карман. Нет, ничего, это можно пришить. Но что с подметкой делать? Опять идти, по-журавлиному подымая ногу? Да еще, чего доброго, и потеряешь на улице подметку. Пожалуй, ее лучше оторвать.

Егоров так и сделал — оторвал подметку и спрятал ее в карман.

Ноге стало холодно на холодном глянцевитом полу, выстланном разноцветными керамическими плитками. Но Егоров этого не замечал. Он не замечал и озноба, и того, что у него горят и ноют уши.

Торопясь, он оделся и снова вышел на улицу. Как же ему теперь быть? Рассказывать ли обо всем Журу? Или не рассказывать? Рассказывать

или не рассказывать? Ведь он пообещал Воробейчику «не звонить».

Уши у него сперва горели и на улице. Потом стали остывать и наконец снова зазябли. Ветер слишком сильный, как в ту ночь, когда они ездили на операцию в Грачевку. Нет, ветер, пожалуй, еще сильнее, чем тогда. И ветер как будто усиливается.

Егоров греет уши ладонями и опять невольно вспоминает, как еще сегодня собирался купить шапку. За счет этих лошадок хотел разжиться. Хотел разбогатеть. И уже в мыслях был богатый. Уже делил деньги — сколько дать Кате и сколько оставить себе. А потом его пожалел нэпман…

Егоров плюнул, вспомнив жилистый нос нэпмана и вздрагивающее на носу пенсне.

Он шел по улице очень быстро. Оторванная подметка лежала в кармане, а ноге было нестерпимо холодно. Почти голой ногой, в одной портянке, приходилось ступать на застывшую слякоть тротуара. Уж скорее бы дойти! И тут совсем недалеко до угрозыска. Но это недалеко, когда идешь хорошо обутый…

21

Жур сидел в дежурке один. Он что-то записывал левой рукой. Егоров вошел почти бесшумно и остановился у дверей, как бы стараясь не помешать Журу. Но Жур вдруг поднял на него веселые глаза и, точно ему уже все известно, сказал:

— Так, так. Значит, вот так и заканчиваешь свой испытательный срок?

Егоров вновь с особой остротой почувствовал себя виноватым.

— Никаких происшествий не было, — пожал он плечами, словно стараясь все-таки хоть как-нибудь смягчить свою вину.

— А что ж ты такой унылый? — улыбнулся Жур. — Ты же не виноват, что не было происшествий. Мы же сами их не делаем. Стараемся не делать…

— Нет, я просто так, — опять пожал плечами Егоров.

Жур продолжал улыбаться.

— Деньги казенные не проиграл?

— Нет, что вы! Они при мне. Вот, пожалуйста…

Жур взял смятую трехрублевую бумажку, разгладил ее пальцами на столе, прочитал номер кредитки. Задумался. Потом опять улыбнулся.

— Что же не сыграл на казенные? Они, говорят, счастливые…

Егоров молчал.

— Не хотел, что ли? — допытывался Жур. — Боялся рисковать?

— Не в этом дело, — сказал Егоров, готовый признаться Журу во всем, во всех своих помыслах. Но не знал, как начать. И, затрудняясь, повторил: — Не в этом дело…

— Не в этом, — подтвердил Жур. — Это ты правильно говоришь, не в этом. Я тоже точно так считаю.

Егоров все-таки хотел признаться Журу в том, как он чуть было не соблазнился. Надо сказать, как встретил у кассы будто знакомого нэпмана. И зачем сам подходил к кассе, тоже надо сказать.

Егоров начал уже рассказывать, как смотрел на механических лошадок. Но на столе зазвонил телефон. Вот он всегда тут звонит в самое неподходящее время. И так будет, может быть, постоянно.

Жур снял трубку.

— Хорошо, — сказал он в трубку, — хорошо, сейчас пришлем. — И повесил трубку. — Вот что, Егоров, ты можешь сейчас съездить на Голубевку?

— Могу. Отчего же я не могу? Сейчас?

— Сейчас.

Егоров посмотрел на свой башмак без подметки.

— Только я, Ульян Григорьевич, должен на минутку выйти…

— Выйди, конечно, выйди, — засмеялся Жур. — Законное дело…

Жур не понял Егорова. Умный, сообразительный Жур, а все-таки не понял.

Егоров надеялся найти в коридоре веревочку или лучше проволоку и хоть как-нибудь прикрепить подметку. Нельзя же так ехать на происшествие. А сообщить Журу об аварии с башмаком не решился. Жур, чего доброго, тогда скажет: «Ну, в таком случае не езди». И так никогда для Егорова не кончится испытательный срок.

В коридоре, на свое счастье, Егоров встретил Зайцева, вернувшегося с происшествия. Зайцев, узнав, в чем дело, сперва захохотал, потом моментально достал, словно из земли вырыл, моток проволоки, не очень толстой и не очень тонкой, как раз такой, какая нужна. И Егоров тут же, в коридоре, стал не только прикреплять оторвавшуюся подметку, но и укреплять еще не оторвавшуюся.

— Ты смотри-ка, Егоров, у тебя и карман оторвался, — заметил Зайцев и опять захохотал. — Ты что, в переделке был?

— Да так, глупость одна получилась, — смутился Егоров и пошел в дежурку, где, наверно, уже сердится Жур.

— Ты погоди, — задержал его в дверях Зайцев. — Ты Воробейника на «Золотом столе» не видел?

— Видел. А что?

— Я хотел предупредить тебя, но не успел. Они хотели тебя разыграть. Для этого и послали на «Золотой стол», выбрали вроде легкое задание. Я слышал, они тихонько сговаривались в дежурке, Воробейчик и Усякин. Ты Усякина не видел?

— Видел.

— Ну вот, они сговаривались, чтобы тебя разыграть. Они многих тут разыгрывают новичков. Я хотел тебя предупредить, но не успел. Значит, они тебя разыграли?

Егоров утвердительно мотнул головой.

— Ну и как? — спросил Зайцев.

— Ничего. Вот видишь, карман оторвали…

— А ты?

— А я ничего.

— Жалко, что они не на меня напали, — со-

крушенно пожалел Зайцев. — Я бы им показал кузькину маму… Не Воробейчику — он мужик в общем неплохой, — а этому Усякину. Он дрессирует тут служебных собак, ну и пусть дрессирует. А комсомольцы — это ему не служебные собаки. Я бы его сразу отучил от этих штук…

— Он больше, наверно, не будет разыгрывать нас, — сказал Егоров. — Я думаю, что он больше не будет. Это они еще по старинке делают…

— Но тебя-то они правда разыграли?

— Разыграли, — опять мотнул головой Егоров.

— А как? — загорелся Зайцев. — Ты расскажи мне все подробно. Воробейчик был в маске?

— Ага.

— Я видел у него эту маску на столе. Вот такие большие глаза. И фосфором намазанные, чтобы светились в темноте. Это действительно можно испугаться с непривычки. А Усякина ты раньше не видел?

— Никогда.

— Усякин — он и без маски страшный, — засмеялся Зайцев. — Он походит на сумасшедшего. Я его сам тут, в коридоре, чуть не испугался, когда увидел в первый раз. Он многих пугает. Ты мне расскажи, как это они начали тебя разыгрывать. Я сам хотел пойти за тобой на «Золотой стол»,

чтобы тебя предупредить и посмотреть. Но меня Жур послал на происшествие. Я уже сегодня на два происшествия съездил. А мне было бы интересно посмотреть, что они с тобой будут делать…

— Ты понимаешь, я дал слово никому про это не рассказывать, — вздохнул Егоров. — Тебе-то, конечно, можно. Но меня сейчас вызывает Жур…

В дежурку он вошел заметно повеселевший. Все-таки это большое дело — хорошо укрепить подметки.

Жур сказал ему, куда ехать, как ехать и кого взять с собой.

— Да, еще вот что, самое главное: я тебя так и не успел поздравить, — остановил Жур Егорова уже в дверях. — Ты приказ-то видел?

— Какой?

— Да вон висит. С нынешнего числа ты зачислен в штат…

— А Зайцев как же?

— И Зайцев зачислен. Я его еще час назад поздравил. А тебя не успел. Поздравляю. — И Жур протянул ему левую руку.

— Спасибо, — сказал Егоров очень тихим голосом, стараясь не выказать радости. Да и радость как бы не дошла еще полностью до его сознания.

Никогда не думал он, что это долгожданное

событие произойдет так просто. Ему казалось, что его еще долго будут испытывать, проверять. А вот, оказывается, уже проверили и вывесили приказ. И наверно, сам Курычев подписался.

Егорову хотелось своими глазами прочитать приказ. Но он не мог задержаться. Надо было ехать.

— Поздравляю, — повторил Жур. — Это очень приятно, что ты уже закончил испытательный срок. Но все главные испытания впереди. Нас теперь с тобой будет испытывать сама жизнь. До самой смерти, однако, будет испытывать. Со всей строгостью…

Жур еще что-то говорил, но Егорова сильнее всего тронули слова «нас с тобой».

Жур, казалось, приобщал его этими словами к чему-то необыкновенно значительному и важному — более важному, чем уголовный розыск, куда так старался поступить Егоров. Вот он и поступил. Но это еще не все. Далеко не все.

Жур вышел с Егоровым во двор.

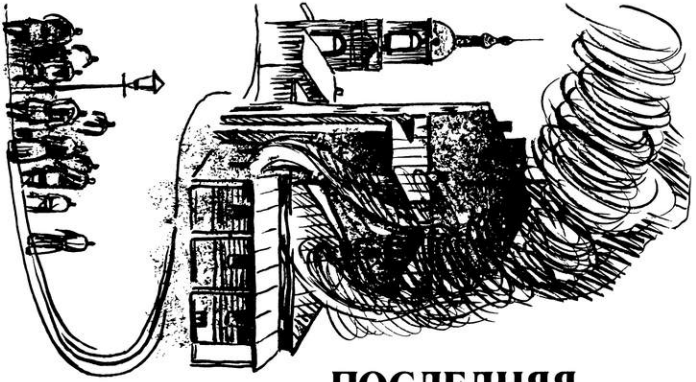
Во дворе уже трещал, кряхтел и пофыркивал старенький автобус «фадей».

— Ты сейчас едешь, Егоров, на происшествие в первый раз не как стажер, а как работник. Ты это учти, — сказал Жур во дворе. — Вся ответствен-

ность на тебе. Кузнецов и Солдатенков должны слушать тебя. Я их предупредил. Ну, счастливо тебе, Саша…

Автобус уверенно зафыркал и, медленно набирая скорость, выехал из ворот в темную ветреную ночь.

Переделкино, ноябрь 1955



ПОСЛЕДНЯЯ КРАЖА

ПОСЛЕДНЯЯ КРАЖА
Рассказ

В человеческой судьбе много самых неожиданных изгибов, поворотов, случайных и странных. Буршин, может быть, не стал бы вором, если б не такой вот случайный поворот. Он стал бы приказчиком, официантом или, в лучшем случае, слесарем, к чему имел несомненные склонности.

Особую его склонность к слесарному делу признавал и Алексей Дудыкин, владелец небольшой мастерской и скобяного магазина в Театральном проезде в Москве. Но Дудыкину казалось, что мальчишка заносчив чрезвычайно, непочтителен к старшим. И однажды, после краткого разговора, вспылив, хозяин выгнал мальчишку из магазина и в дверях еще дал подзатыльник ему.

Буршину было десять лет. Он весь день просидел на холодных ступенях Большого театра. Он не знал, что делать ему, куда идти. Он был совершенно одинок в огромном городе.

В кармане его холстинных штанов было двадцать копеек.

Двадцать копеек — это бездна удовольствий для мальчишки: это увлекательная игра в кегельбан на базаре, это леденцы и сайки, это сладкий квас и сладкие петушки на палочках.

Но Буршин был серьезен.

На две копейки он купил хлеба, на пятак — селедку и чай, а на остальные — керосину и ночью облил керосином четыре угла деревянного дудыкинского дома.

Подожженный дом осветил тишайшую осеннюю ночь.

Очарованный мальчик стоял на углу и смотрел на багровое зарево.

По улице скакали какие-то сказочные всадники, гремели пожарные бочки, и надсадно свистел в кулак похожий на памятник городовой.

А мальчик все стоял и стоял на углу, не в силах оторваться от зловещего зрелища. Из глаз его катились слезы. Они катились не от раскаяния, но от дыма, коловшего глаза.

Пойманный, он не мог уже плакать. Он выплакал все свои слезы и молча шел с городовым, который вел его за руку. А позади шел второй городовой, придерживая на ходу трепетавшую шашку. И мальчику было приятно такое исключительное внимание к его особе.

Это был самолюбивый и своевольный мальчик.

Из колонии для малолетних преступников, куда поместили его для исправления, он бежал через шесть дней и снова был пойман только через три года, теперь уже как стремщик большой грабительской шайки.

В тюрьму вошел новый вор.

Полиция сфотографировала его анфас и профиль, взяла дактилоскопические оттиски и записала для памяти краткую его биографию.

Но ни биография эта, ни особые приметы, ни оттиски ничем не удивили полицию. Буршин был обыкновенный вор. Он неукоснительно повторял историю своих предшественников, шаблонную, в сущности, историю.

В тюрьме нашелся сердобольный старичок из профессиональных ширмачей, иначе говоря — карманников, которому мальчик очень понравился, и он со скуки стал учить его грамоте по обрывку старой газеты, обычно употребляемому на цигарки. Буршин учился прилежно, с большой охотой.

Из тюрьмы он вышел грамотным во всех отношениях. Некий Гржезинский, пожилой медвежатник, или, иначе говоря, шниффер, по-

желавший на старости лет передать в надежные руки редкостное и рискованное свое ремесло, пригласил его к себе в напарники по взлому сейфов и несгораемых шкафов.

Буршину просто повезло. Гржезинский принадлежал к старинному роду высококвалифицированных преступников, мастеров так называемого шниффера. Он в запальчивости утверждал, что его предки и сородичи изобрели все древнейшие и новейшие способы ограбления денежных хранилищ и действовали в этом направлении чуть ли не во всей Европе. Он, конечно, хвастался, преувеличивал, но бесспорно было одно — сам он выдающийся специалист по вскрытию сейфов. За ним числились десятки таких преступлений, о которых в свое время под рубрикой «Происшествия» писали многие столичные и провинциальные газеты.

Буршину, случайно попавшему на выучку к Гржезинскому, таким образом, сильно повезло.

Одинокий Гржезинский полюбил его, как сына. Он водил его с собой на преступления, открывал ему тайны преступного своего ремесла и при этом не только учил воровским принципам, но и внушал ему особые житейские принципы.

Он говорил, что мир устроен для сильных,

что только сильные имеют право на жизнь. Им предоставлены все удобства. И не важно, чем занимаются они — грабежом, торговлей или коммерцией. В мире царствуют только деньги. И только деньгам покоряется человек.

Гржезинский повторял это очень часто. Он был философом. По вечерам читал библию, пел псалмы и часто пил запоем. В запое он видел источник постоянных своих неудач, но ничего поделать не мог.

Буршин слушал его внимательно. Ходил за ним неотступно. Вместе с ним два раза попадал в тюрьму и сидел в одной камере. И в тюрьме продолжал учиться. Упорно, прилежно, старательно.

Люди учатся так, чтобы стать слесарями, механиками, инженерами. Он учился так, чтобы стать вором. Настоящим, квалифицированным, первоклассным.

В двадцать лет, после смерти учителя, замученного запоем, Буршин стал работать самостоятельно. Он знал уже все приемы. В совершенстве овладел искусством не только выбирать объект и быстро производить операцию, но и умением хладнокровно и тщательно заметать следы. Знал, кому, как и какую взятку давать и кому не давать.

И никогда не ошибался в этом.

Изредка он все-таки попадал в тюрьму. Но и в тюрьме чувствовал себя неплохо. Воры беспрекословно уступали ему лучшее место, лучшие нары, лучший кусок. Он был для них главарем. Он владел редчайшей воровской специальностью, которой мог бы позавидовать любой, пусть даже самый удачливый вор. И любой позавидовал бы его внешности, его телосложению, на редкость крепкому.

Буршин сделал блестящую воровскую карьеру.

Внешне — в лайковых перчатках, в котелке, в заграничном драповом пальто — он походил теперь на фабриканта, на наследника богатой фирмы, на потомственного барина. И на всякий случай у него была заготовлена подходящая биография. Он говорил, что отец его был генералом, а мать жива и до сих пор, она помещица в Калуге.

Настоящая же его мать жила в кухарках в Коломне. Она сделала для него все, что могла сделать мать-кухарка, записанная в паспорте девицей. Она отправила его, девятилетнего, в столицу, на обучение в магазин, дала ему рубль денег, буханку хлеба, пучок зеленого лука и сказала на прощание, горько плача:

— Ты один, Егорша. Как перст, один. Помни это.

И не балуй.

Она сказала все, что могла сказать. Она мечтала, что, сын пойдет по торговой части. Но сын пошел по тюрьмам.

За пятнадцать лет он обошел больше десятка тюрем. Совершал ошибки, делал промахи. Но от ошибок не был свободен и его учитель.

Однако Буршин превзошел учителя в умении изворачиваться, уходить от преследования. Довел это умение до виртуозности.



И наконец наступил период, когда он мог спокойно жить. Настолько спокойно, насколько это возможно для самого удачливого вора. Полиция получала свою долю и не беспокоила его без крайней необходимости. В домовой книге было записано, что он коммерсант.

Как у всякого настоящего коммерсанта, у него была хорошая квартира. Были деньги, влиятельные знакомства. Был даже постоянный помощник. Что-то вроде личного секретаря. Некий Подчасов.

Подчасов работал поваром в Офицерском собрании. Но эта работа не была его главным занятием. Она служила только дымовой завесой для другого занятия, основного, прибыльного, секретного. Подчасов высматривал «объект», иначе говоря — шкаф, сейф, выяснял условия и докладывал патрону о своих наблюдениях.

И только после того, как вся обстановка, в которой находился объект, становилась совершенно ясной, патрон шел на «дело». С безупречной точностью опытного хирурга он вскрывал стальной и лакированный шкаф, неторопливо, но быстро потрошил его.

А Подчасов в это время бегал где-нибудь у входа и, по-собачьи вытянув голову, прислушивался

к шорохам. Он очень сильно походил на собаку. Весь взъерошенный, согнутый пополам, с вытянутыми вперед руками, он, казалось, готов был каждую минуту встать на четвереньки и побежать, по-собачьи виляя незримым хвостом.

Буршин слегка презирал его, но все-таки дружил с ним, держал около себя. И Подчасов был единственным человеком, которому безгранично доверял Буршин.

Был у Буршина еще один человек. Некий Чичрин Василий. Слесарь. Замечательный слесарь-лекальщик. Он готовил воровские инструменты, ремонтировал их и хранил у себя. Он тоже пользовался доверием у патрона. Однако далеко не таким, как Подчасов.

У Подчасова была не только внешность собачья, но и собачья преданность своему патрону.

Буршин женился, обзавелся семьей. Но даже жена не знала о его делах всего, что знал Подчасов. Жена простодушно думала, что муж ее действительно коммерсант. О занятиях своих он никогда не рассказывал. И она привыкла не интересоваться ими.

Буршин вел свое дело очень тонко. Не бросался с горячностью маньяка на всякий сколько-нибудь подходящий объект. Тщательно выбирал объек-

ты. И преступления совершал не очень часто.

Кроме того, он непрерывно совершенствовал свои приемы. Разбирал детально не только каждую свою операцию, но и операции своих коллег.

Узнав из газет или из разговоров, что такой-то медвежатник завалился на крупном деле, Буршин посылал Подчасова выяснить причины этой неудачи. Все причины, все подробности.

Подчасов бродил по «малинам», по «хитрым хазам» и «кодлам» и добросовестно собирал интересующий патрона материал. Сам патрон без особой надобности старался не входить в какие-либо отношения с воровской средой. Он всегда презирал эту мелкую шпану.

Однако с крупными ворами, равными ему по положению, он тоже старался не заводить знакомств. Встречался с ними только в тюрьмах и только в тюрьмах поддерживал с ними дружбу.

Впрочем, едва ли эти отношения можно назвать дружбой. Это были вынужденные встречи главарей, всегда враждующих конкурентов. И приличие требовало, чтобы они не враждовали в тюрьме. Буршин не нарушал приличия. Всегда был предан воровскому этикету. В тюрьме говорил по-блатному, выполнял все правила

хорошего воровского тона.

Но на свободе он вел себя совсем по-другому. Много читал, заводил знакомства среди молодых офицеров, купеческих детей, среди студентов и коммерсантов. И старался как-нибудь использовать эти знакомства, научиться чему-нибудь у этих людей и в конце концов устроить свою жизнь так же, как они, почтенно и прочно.

У него росли дети. Они были еще очень маленькие. Но надо было уже думать и об их судьбе.

Буршин не хотел, чтобы дети росли ворами. Хотел, чтобы они стали не хуже других — гимназистами, студентами. Хотел, чтобы они выросли хозяевами жизни, как люди, чье расположение он старался завоевать теперь.

Он старался теперь войти в круг солидных, независимых людей, о чьей силе восторженно говорил Гржезинский.

Незаконный кухаркин сын хотел стать коммерсантом. Не по паспорту, не по домовой книге, а по-настоящему. При этом он не собирался бросать свое старое ремесло. Нет, он искал только совместительства. Добротного, приличного совместительства, которое могло бы служить и хорошей вывеской. Искал очень долго. И наконец нашел.

Но тут грянула революция. Грянула совершенно неожиданно для него. Однако Буршин не испугался. Ведь он не князь, не граф, не помещик. Он просто вор. Впрочем, ворам тоже может не поздоровиться во время революции.

Буршин, улыбаясь, вспоминал один печальный случай.

Этот случай был в пятом году. Буршин работал тогда еще вместе с Гржезинским. В качестве практических занятий ему доверялись иногда небольшие самостоятельные кражи. Одну такую кражу надо было провести в Москве, на Пресне.

Пресня была в огне. Буршин всегда любил рискованные положения. Он пробрался через линию боев, вышел к зданию, где находилась нужная ему касса, взломал ее и был весьма разочарован операцией.

В кассе, уже опорожненной кассиром, лежали только десять рублей и маленький револьвер «бульдог».

Буршин все-таки взял револьвер и деньги взял, чтобы не возвращаться с пустыми руками. И, опечаленный, опять побрел через линию боев, через вскопанные мостовые и поваленные заборы.

У Кудринской площади его остановили. Жандармы обыскали его. Нашли «бульдог». И, приняв

за революционера, повели в участок.

У ворот участка были выстроены в два ряда полицейские, дворники и члены «Союза русского народа». В руках они держали поленья.

Буршина вместе с дружинниками прогнали сквозь этот строй. До участка он, однако, не добежал. Потерял сознание. И без сознания пролежал всю ночь.

А утром выяснилось, что он просто вор. Полиции было некогда возиться с ворами. Буршина выгнали на улицу. Он долго не мог оправиться после этой ночи. Но, оправившись, любил вспоминать эту ночь.

— Вот вам единственный случай, — говорил он, смеясь, в кругу товарищей по ремеслу, — когда я пострадал. И то по ошибке. А в общей сложности я жил безбедно.

Безбедно Буршин жил до Октябрьской революции.

Затем начались затруднения. Запись в домовой книге могла доставить ему большие неприятности. Нет, он теперь не хотел, чтобы его считали коммерсантом. Коммерсант — это значило, по новым временам, нетрудовой элемент, паразит, бывший человек. Это значило — плати налоги, подавай сведения о доходах. Буршина это не

устраивало.

Он приобрел где-то новые фальшивые документы и попросил управдома изменить старую запись в домовой книге. По новым документам он числился старшим агентом кустарной артели «Красный инвалид».

Из этой же артели он часто получал командировочные удостоверения и разъезжал по многим городам. Дважды съездил в Сибирь и на Дальний Восток, побывал на Кавказе и в Средней Азии. Четырежды за два года подвергался приводам в уголовные розыски разных городов, но трижды был отпущен за недоказанностью преступления, а один раз сбежал.

Он сбежал один раз, но этот случай был зарегистрирован в Ростове-на-Дону, и когда весной 1923 года его снова задержали в Иркутске, ему предъявили уже несколько совершенных им преступлений. Его повезли под конвоем в Москву.

Из архивов старой сыскной полиции были извлечены его прежние «дела». Как рецидивист, он должен был подвергнуться суровому наказанию, но ему опять повезло.

У здания суда он выпрыгнул из фургона и, раненный в бедро, все-таки ушел от преследования по дворам и узким московским закоулкам, знако-

мым ему с самого детства.

Он вынужден был уехать из Москвы, скитаться по дачным местностям, боясь показаться на глаза даже своим сообщникам, которые могли бы выдать его, чтобы самим отличиться.

Буршин становился особо недоверчивым, боязливым и нервным. И для этого были серьезные основания.

Большое, скуластое его лицо с немного выпуклыми, грустными глазами и оттиски пальцев — длинных, ширококостных, утолщенных на концах — были теперь известны почти во всех уголовных розысках страны.

Буршин понял, что взятки его больше не спасут, как спасали в старое время, что приходит конец, что ему не миновать расстрела и что коричневая борода может служить только вывеской отчаяния. Она надоела ему, эта искусственная борода, приклеенная в пору особенно плохих дел.

Он сорвал ее в первом же перелеске, переступив кордон, и долго смотрел, как плавала она в зеленой воде канавы…

В Варшаву Буршин шел уверенный, что она приютит его.

И Варшава не разочаровала Буршина. Здесь он встретил друзей, с которыми сиживал когда-то

в российских тюрьмах. Некоторые из них стали здесь богачами. Заболоцкий, например, открыл шикарный ресторан и гостиницу «Полония».

Буршин пришел к Заболоцкому.

В «Полонии» Буршину отвели две комнаты и предоставили полный пансион. И все это совершенно безвозмездно, в память прошлого, в память молодости, которая прошла.

Она прошла в российских тюрьмах, на базарах, на воровских квартирах, эта позорная воровская молодость. Но все-таки Заболоцкому было приятно вспомнить ее.

В Варшаве Буршин устроился, пожалуй, не хуже, чем когда-то в Москве. Даже лучше, пожалуй.

Опять в домовой книге было записано, что он коммерсант, и никто не приставал к нему с нескромными вопросами.

Варшава в этом смысле была благословенным городом. Здесь можно было заниматься чем угодно. Важно только вовремя платить налоги или взятки. Особенно взятки. И всякой, пусть самой темной, личности предоставлялась вся полнота независимости и свободы. Варшава в этом смысле была свободным городом. Недаром крупные воры всего мира почитали ее своей священной Меккой. Как Чикаго, как Марсель, как Рим.

Воров в Варшаве было очень много. Их ловили, конечно, били в участках, сажали в тюрьмы, заковывали в кандалы. Но били только мелких, неквалифицированных воров.

Буршина в Варшаве не били.

Освоившись в новой обстановке, Буршин вскоре ушел от Заболоцкого. Он удачно провел два дела — вскрыл два шкафа в двух конторах, разделил добычу между участниками, взял свою долю и решил дальше жить и действовать самостоятельно.

У него была теперь своя квартира, свои деньги. У него не было только семьи, которая осталась в Москве.

В Москве остались жена и дети.

Буршин сильно скучал о детях. Он был не настолько молод, чтобы думать о второй семье, чтобы обзаводиться второй семьей. Он постоянно думал о первой. Он думал о том, как лучше перевезти семью из Москвы в Варшаву.

Однажды он написал об этом жене, но ответа не получил. Это взволновало его. Однако он не потерял надежды, что когда-нибудь все устроится само собой. Добудет большие деньги, откроет ресторан, кофейню или магазин, выпишет семью — и все пойдет как надо.

Буршин завидовал людям, которые имеют денег меньше, чем он, но живут все-таки лучше его, по-человечески нормально, семейно и спокойно. Зависть иногда переходила в хандру. Начинал пить. Как в молодости, ходил по первоклассным ресторанам. И за ним ходила неотступно большая компания прихлебателей.

Эта компания аила на его деньги, пропивала будущие его магазины, рестораны, кофейни. Пропивала его мечту. Но она же удовлетворяла его врожденному тщеславию. Пейте и ешьте! Буршину ничего не жалко, он богатый человек. И завтра, если захочет, будет еще богаче. Он богаче в десятки раз Алексея Дудыкина, который хотел когда-то лишить его куска хлеба за непокорность и выгнал из магазина. Где он теперь, этот толстомордый, прыщеватый урод?

Ярость просыпалась в человеке неожиданно и страшно. Вспыхнув, пьяный до ослепления, он ломал и мял ресторанную обстановку, бил посуду и, дойдя до высшего градуса безумия, разгонял почтенную публику стулом, палкой, кулаками. Он позволял себе то, чего никогда не позволил бы в трезвом виде, — осторожный, хладнокровный и немножко грустный человек. Разогнав гостей, он оставался один. И тогда во всем мире были

только два человека — дочь и сын, которых он искренне любил. Это дети его. Он должен думать о детях. Для них должен добывать деньги, должен жить по-волчьи, в вечном напряжении, в беспокойстве, без веры в завтрашний день. Что может случиться завтра? Может быть, завтра его убьют на месте преступления, выдадут связчики или продаст полиция, когда ей выгодно будет его продать…

Буршин к старости стал искать оправдания своему ремеслу. И нашел его в том, что у него есть дети, о которых он должен заботиться.

Больше десяти лет Буршин прожил в Варшаве и все время оправдывал себя этой мыслью о детях, хотя дети давно уже стали для него иллюзией, далеким миражем, приятной выдумкой. Он ничего не знал о своих детях. Но все-таки думал о них. И для них, для их обогащения, как казалось ему, он предпринял рискованную гастроль из Польши в соседнюю маленькую страну.

В этой стране, в одном провинциальном банке, надо было взломать несколько сейфов.

Был хмурый день, когда он выезжал из Варшавы. Ветер гнал по перрону пыль и ржавые листья. Собирался дождь. Буршину было грустно.

Всякому человеку бывает грустно в такие дни.

Но Буршину было особенно грустно. Он просто не знал, куда девать себя. Нетерпеливо шагал по перрону в ожидании поезда. Потом увидел знакомого старичка киоскера и подошел к нему.

— Нет ли русских газет?

Старичок спросил:

— Каких? Парижских?

— Нет, — сказал Буршин, — московских.

Старичок полез, как в нору, под широкий прилавок киоска и вытащил оттуда газету «Известия».

Буршин дал ему целый золотой и вошел в вагон.

В вагоне сейчас же разделся, лег на нижнюю полку и развернул газету.

В газете большое место было отведено международной информации. Буршина это не интересовало. Потом шли длинные статьи о каких-то хозяйственных делах. Это тоже не интересовало Буршина. В этом он просто ничего не понимал. Домны там какие-то, мартены, хозрасчет…

Вагон качало. Буршина начала одолевать дремота.

Хотел уже отложить газету и уснуть, но в этот момент его внимание привлек большой снимок. На снимке улыбались десять парней и девушек. Буршин удивленно прочел под снимком свою

фамилию. Было написано: «Буршин Иван»…

Может быть, это однофамилец? А может быть, это сын? Сыну было бы сейчас семнадцать лет. Это он, должно быть. Широкие скулы, как у отца, такой же серьезный взгляд исподлобья. Нет, это несомненно сын Буршина. Значит, у Буршина два сына — Иван и Яков. И еще дочь — Надежда.

В газете было написано, что Буршин Иван, как девять его товарищей, отлично окончил школу, ударник учебы. Значит, бойкий парень. Бойкий в отца.

А отец его, старый жулик, шляется где-то по заграницам, хитрит, ворует.

Дети растут без него. Они выросли уже. Выучились. Выучились без отца. Им плевать теперь на отца, который бросил семью на произвол судьбы и никогда двух злотых не послал семье в подарок. Кому нужен такой отец? Дети больше будут уважать какого-нибудь чужого дядю, нового мужа их матери.

Она, наверное, уже вышла замуж.

Буршин озлился вдруг при этой мысли. Два чувства — ненависть к жене, которая, наверное, изменила ему, и нежность к детям — обуяли его одновременно.

Он вышел из купе и пошел по вагону, нервный,

нетерпеливый. Он испытывал сейчас какое-то новое, большое, горячее чувство, какого не испытывал никогда в жизни, даже в тяжелые дни хандры, когда думал о детях, когда мечтал о них.

Все в жизни он очень быстро забывал. Забыл свою мать-кухарку, которая жила и умерла в Коломне. Привык к им же выдуманной версии, что мать его, помещица, живет в Калуге. И никогда за всю свою жизнь не вспомнил как следует настоящую, родную мать.

Он не был сентиментален, нежен, слезлив. Он был самостоятелен, решителен и жесток. И чувство одиночества никогда не угнетало его, вероятно, потому, что он всегда был крепко убежден в неистребимости сил своих, верил в бесконечность жизни своей и в свое превосходство над людьми, хотя бы над этими людьми, что идут с ним рядом, занимаются его профессией, его ремеслом, — перед ворами.

Он всю жизнь был вором профессионалом, как бывают люди бухгалтерами, слесарями и плотниками. И всегда считал свою профессию законной, неумирающей, а в рискованности ее находил особое удовлетворение.

Он жил так долго, десятки лет. И вдруг почувствовал страшную усталость.

В зеркале увидел однажды свои седые волосы, проступившие в курчавой и густой еще шевелюре. Буршин увидел свое изображение в старости. Увидел себя в будущем — дряхлым и немощным, с лицом, оплетенным сеткой морщин.

И именно в этот день, перед зеркалом, Буршин впервые подумал о тихой жизни. Именно в этот день он особенно нежно вспомнил о детях. И даже о матери своей вспомнил. Искал теперь новых, прочных, вечных связей с жизнью. Искал бессознательно, тревожно. И неудержимо старел.

В вагоне ему захотелось вдруг поговорить с кем-нибудь, рассказать о сыне, может быть даже спросить совета. Но в вагоне ехали чужие люди, занятые своими делами. Ехали поляки, немцы, какой-то длинный, сухой англичанин.

Буршин молча побродил по вагону и вернулся в свое купе.

Хорошо бы ему сейчас сесть во встречный поезд, собрать дома вещи и поехать к детям. Он представил себе весь путь до настоящего дома, через леса и овраги, через болота и реки, мимо строгой охраны с той и другой стороны.

Этот путь нисколько не пугал его. Однажды он уже проделал этот путь. И пошел бы опять, несмотря на все трудности. Но только не сейчас.

Сейчас он едет по «делу».

Буршин всегда серьезно относился к своим «делам». Считал себя аккуратным человеком и гордился этим: раз сказал — да, значит, да, раз сказал — нет, значит, нет.

Поездку свою он теперь оправдывал также тем, что это его последняя поездка на «дело». Он ехал и всю дорогу, волнуясь, думал о детях и особенно о сыне, чей снимок видел в «Известиях». Интересно, какой он, его сын? Высокий, широкоплечий, сильный, в отца? Или худенький, как мать? Нет, наверное, высокий, большой. Не может быть, что худенький. Не может быть…

Ночью поезд остановился на маленькой станции.

Буршин вышел из вагона. На перроне его ждали два связчика, два похожих друг на друга господина в беретах, какие носят чаще всего французские художники. Они сразу же узнали Буршина, подошли. Они встречали его, как знаменитого профессора, который прибыл, чтобы сделать сложную и срочную операцию тяжелобольному. Они уже все подготовили. Егору Петровичу остается только взломать, точнее говоря — вскрыть сейфы.

Буршин, величественный, в толстом драповом

пальто, в мягкой шляпе, с палкой, украшенной позолоченной головой змеи, неторопливо пошел по перрону.

Один связчик суетливо бежал впереди. Другой на почтительном расстоянии шел за Буршиным. Они охраняли его.

В воровской гостинице, иначе говоря — в «малине», подали прекрасный ужин с вином, с русской водкой. Но Буршин не стал ужинать. Он никогда не ест перед работой. Этому учил его еще Гржезинский.

Он просто выпил два лафитника водки, закусил моченым яблоком и попросил крепкого чая с лимоном. Потом тщательно осмотрел инструменты, одобрил их. И они пошли — он и два связчика. Связчики несли инструменты.

В городе, на главной улице, горело несколько тусклых одиноких фонарей. Над городом висело черное небо. И под небом этим, пасмурным и тяжелым, незнакомый серенький город выглядел тревожно.

Впрочем, тревожно он выглядел, может быть, потому, что настроение у старого вора в эту ночь было на редкость подавленное и вялое. Мысли о детях, взволновавшие его в вагоне, продолжали гнездиться в мозгу и не давали сосредоточиться.

Будто сквозь дрему он слышал слова связчика, шедшего сейчас рядом с ним и вполголоса излагавшего ему важные подробности. Буршин улавливал только отдельные слова и пристально вглядывался в темную перспективу улицы, точно ожидая, что вот сейчас кто-то страшный выйдет навстречу ему из темноты.

Но на улицах не видно было прохожих. Было тихо-тихо. И в тишине вдруг раздался странный, металлический смех.

Буршин вздрогнул. Перед ним, как привидения, возникли две женщины в широких шляпах. От неожиданности он даже остановился, но в то же мгновение понял, что это проститутки, грубо оттолкнул их, одну ударил палкой по заду и, провожаемый их визгом, пошел дальше.

Однако настроение его от этой, в сущности, обыкновенной встречи почему-то еще более ухудшилось.

«Не выспался я, что ли?» — подумал он, привыкший все объяснять простейшими причинами. На минуту заколебался. Не отложить ли?

По опыту он знал, что при таком настроении заниматься опасным делом нельзя.

Но в этот момент они подошли уже к банку.

У банка Буршина встретили еще три связчика.

Они сообщили, что охрана убрана, сигнализация парализована, все готово. Буршин слушал их рассеянно и тревожно думал: «Чего это такое со мной? Уж не захворал ли я?»

И, думая так, делал все, что нужно. Осмотрел потайной ход, проделанный для него специальными людьми, так называемыми кобурщиками, остался чем-то недоволен, но все-таки снял пальто и, солидно крякнув, полез в узкую темную дыру…

Близких его сообщников, людей довольно опытных в воровском ремесле, всегда удивляли его спокойствие во время операции, особая точность жестов и эдакая почти хозяйская уверенность, совершенно, казалось бы, неестественная для вора, постоянно думающего об опасности.

Буршин никогда не волновался во время операции. Во всяком случае, волнения его никто не видел.

И на этот раз, войдя в полутемное помещение сейфов, где горела в потолке маленькая матовая лампочка, он аккуратно стряхнул с груди и колен землю, приставшую в потайном ходу и прежде всего закурил.

Уж это черт знает что — закуривать в такой момент! Дорога каждая минута. Помощники его

нервничали. Но в следующее мгновение они уже были убеждены, что так надо, что это шик, необходимый мастеру.

Буршин приблизился к первому сейфу. Он не осматривал его по нескольку раз со всех сторон, как это делают все медвежатники, не кряхтел, не возился вокруг него с глубокомысленным видом. Очень спокойно, как слесарь, пришедший утром к своему верстаку, он разложил около себя инструменты, небрежно снял и бросил в саквояж одни перчатки, надел другие и приступил к делу.

Первый сейф хрустнул и открылся раньше, чем это можно было ожидать.

Буршин подошел ко второму сейфу, к третьему. Он вскрывал их по-разному, разными способами, но с одинаковой быстротой и легкостью, будто показывал фокусы в присутствии почтенной публики.

А лицо у него при этом было печальное.

Наверно, и сейчас, вскрывая сейфы, он думал не о них, а о чем-то другом, далеком. Наверно, он в самом деле заболел, и движениями его на этот раз больше руководил профессиональный автоматизм.

Управляемый этим автоматизмом, он аккуратно собрал инструменты после работы и около

одного из сейфов бросил докуренную папиросу и нож для раскупоривания консервов, что делал всегда, желая подразнить полицию.

Но, уходя через потайной ход, он забыл соблюсти несколько элементарных предосторожностей, допустил неточности, что с ним случалось очень редко, и в результате…

Перед утром, на вокзале, когда он снова принял величественный вид знаменитого профессора, его окружили похожие на певчих птиц суетливые полицейские.

Буршин оказался выше их на целую голову, и публика, собравшаяся в этот ранний час на вокзале, могла видеть его лицо, на котором презрение сменялось удивлением. Уважающему себя столичному вору было глубоко оскорбительно стать добычей провинциальных полицейских.

Но в полиции не знали, что перед ними крупный международный вор, представитель той особой категории воров, для которых во всем мире, во всех полициях мира заведен особый этикет.

Провинциальные полицейские били метра, как мелкого вора. Он потерял до суда два передних зуба и получил десять рваных ран.

Потом его судили. Выяснили, что он крупный

вор. Приговорили к пяти годам строжайшего заключения. И два года возили по всей небольшой стране, по разным тюрьмам, не зная, должно быть, куда получше, понадежнее посадить.

Эти два года были, пожалуй, самыми тяжелыми в жизни Буршина. Исхудал, изнервничался, поседел совершенно.

Наконец весной ему удалось бежать.

Побег ему устроили связчики. Они же принесли ему приличную одежду, деньги. Для связчиков он по-прежнему был хозяин, начальник, метр. Они кормились около него. И думали кормиться дальше.

Но он решил вернуться в Советский Союз.

Во что бы то ни стало. Домой, к детям.

До границы он доехал в поезде. А потом, дождавшись ночи, пошел пешком через границу. Пошел через чащу по кочкам, по зеленеющим мхам болот. На болотах его кусали комары. Заболел лихорадкой.

И когда его поймали на советской границе, он был уже совсем больной. Его лечили. Две недели пролежал в бреду. Потом поправился.

Прекрасное здоровье, унаследованное от предков, пахавших землю и бивших бурый камень на каменоломнях, спасало его не раз.

После суда, определившего, в сущности, не очень строгое наказание, он был переведен в тюрьму, в одну из старых белорусских тюрем, где он уже сидел когда-то, еще, в молодости. И если память ему не изменяет, сидел даже вот в этой самой камере. Против окна, на правой стороне, стояли его нары.

Нар теперь нет. Но камера осталась такой же, как была, и такой же «глазок» у двери. Правда, стены наново побелены, и в камере стало как будто светлее, чище, просторнее. Вместо нар койки с матрацами.

Изменения, происшедшие в тюрьме, не удивили и не обрадовали Буршина. Он одобрил, конечно, библиотеку и театр. Эти новшества могли смягчить суровый режим. Но все-таки тюрьма, черт бы ее побрал, заведение не из приятных, и не дай бог в нее попадать. Не дай бог вдыхать этот смрадный, будто настоянный на всех отбросах мира воздух, не поддающийся никакому проветриванию, воздух отчаяния и нищеты.

Особенно тяжело в тюрьме вечером, когда, после одиннадцати, камеру замыкают до утра и ключ курлыкает и визжит в замочной скважине. Очень тяжело в этот момент в тюрьме.

Но в этот же момент уголовники начинают как-

то сближаться между собой. Общая участь роднит людей. Они вспоминают о своих «делах», рассказывают друг другу свои истории, и тяжкая тоска рассасывается. Людям становится веселее…

Так было всегда. И, вероятно, сейчас так.

Буршин присел на койку, снял башмаки и, по-калмыцки подогнув ноги, заговорил на чистейшем блатном языке.

В уголовном мире всегда были свои лингвисты, свои филологи, свои хранители чистоты блатного языка. Они возмущались, когда в их присутствии начинающий вор путал дрянной базарный жаргон с истинной блатной музыкой. Это разные вещи.

Буршин говорил на чистейшем блатном языке.

Воры, притихшие, сидели вокруг него на койках. Они, казалось, внимательно слушали его.

Потом кто-то засмеялся. И за ним засмеялись все.

Буршин сконфузился. Он не рассчитывал на такой эффект. Не собирался смешить. Он заговорил на блатном языке, чтобы воры поняли, кто сидит перед ними. Не фрайер какой-нибудь, не рогатая кошка. А получилось наоборот. Воры приняли его за чудака. Не поняли его. И он почувствовал себя одиноким среди воров.

Немного погодя он начал расспрашивать, чем они занимаются. И получил самые разнообразные ответы. Оказывается, они ничем не занимаются. Они не знают своего ремесла. Удалось украсть — украл. Не удалось — попался. Вот и все. Ну, какие это воры! Это не воры, а барахольщики, рвань, дикари какие-то. Нет ни одного порядочного человека, который знал бы в совершенстве ремесло фармазонщика или скокаря, громщика или ширмача. Жалкие люди без профессии…

Буршин молча разделся, спрятал башмаки и одежду под матрац и, по-стариковски кряхтя, уснул. Он совершил непростительную ошибку, заговорив с этой шпаной. Он, высокомерный, уважающий себя, самолюбивый Буршин…

Утром его, сонного, потрогал за теплое плечо румяный парень в матросском тельнике. Буршин заворчал. Парень присел на койку, толкнул его в бок, чтобы подвинулся, и спросил:

— Ты чего, отец, будешь делать?

— Спать, — сказал Буршин.

— Ну-ну… Я тебя серьезно спрашиваю. Я бригадир. Ты чего на воле делал?

Буршин вдруг осердился:

— Уйди! Я тебя…

— Ты глаза протри, — посоветовал парень. —

Гляди сюда. Я бригадир. Тебя как человека спрашивают… Чего ты можешь делать?

Буршин притих.

Действительно, что он умеет делать? Он умеет вскрывать несгораемые шкафы и сейфы, умеет заметать следы. Кто понимает — это непростое дело. Он занимается этим делом не один десяток лет. Оно кормит его, это дело. Вернее — кормило. И неплохо.

Но едва ли бригадира удовлетворит упоминание об этом деле. Да и выгодно ли Буршину упоминать? Здесь все равно не поймут его. Никто не встанет со своего места, чтобы добровольно уступить его пахану — мастеру, гроссмейстеру воровского ремесла.

Воры выродились. Они утратили свой язык, свои традиции, свое понятие об этикете. В стране произошли какие-то глубокие и сложные процессы, которых не понимает иностранец Буршин. Но он догадывается о них. Он сбрасывает с койки свои большие ноги в заграничных продранных носках и говорит, зевая:

— Я бухгалтер.

Он говорит это неожиданно для самого себя и слегка бледнеет. Что будет, если его здесь, в тюрьме, назначат бухгалтером? Он осрамит себя

в первый же день…

Но бухгалтером его не назначили. Эти должности были уже заняты. Буршина, принимая во внимание его нездоровье и возраст, назначили учетчиком в тюремных мастерских. Однако в камере его прозвали «бухгалтером». Ему кричали теперь: «Эй ты, бухгалтер!..»

И — что делать? — Буршин, гордый, строгий, привыкший к почету в воровской среде, покорно отзывался на эту дурашливую кличку. Он вел себя скромно.

Непосредственным его начальником в тюремных мастерских был Адольф Петрович Жлоц, бывший главный бухгалтер лестреста. Он попал сюда за растрату. Он был такой же заключенный, как Буршин. Но он вел себя солидно. Носил белоснежный крахмальный воротничок и галстук, аккуратно проглаженные брюки и выпуклые в золотой оправе очки. В тюрьме он выполнял обязанности помощника начальника мастерских.

Буршину он чем-то напоминал его старого, теперь покойного учителя — знаменитого медвежатника пана Зигмунта Гржезинского. Может быть, такой же склонностью к философичности и таким же стремлением к аккуратности во всем — и в одежде и в поведении.

— Острие свое, — говорил он многозначительно, — закон в нынешнее время направляет в первую очередь не против воров, экспроприирующих частных граждан, не главным образом против этих воров, а против шпионов и разных изменников или тех, которых принимают за шпионов. Лично я или вы с точки зрения нынешней юриспруденции особой опасности не представляем. Поэтому нам дается минимальный срок и шанс на перековку…

Не все, далеко не все было понятно Буршину в рассуждениях Адольфа Петровича Жлоца. Даже несколько утомляла этакая витиеватость его речей, но в то же время и нравилась именно витиеватость и слова «юриспруденция», «экспроприация», «минимальный срок». И сам Жлоц все больше нравился.

Буршин заискивал перед ним.

Заискивал не из холуйства, не из низменных каких-то чувств, а исключительно из уважения. Буршин считал его приличным человеком. И профессию, которую представлял такой почтенный человек, он считал приличной. Он любил говорить: «приличные деньги», «приличное пальто», «приличные люди». Бухгалтер — приличный человек. Это все-таки не дворник какой-нибудь,

не трамвайный кондуктор. Это серьезное дело. И нет, пожалуй, ничего обидного в этом прозвище «бухгалтер». Работа учетчика кое в чем походит на работу бухгалтера. И книги такие же под руками.

Буршин постепенно привыкал считать себя бухгалтером.

Человек, привыкший чуть ли не с детства жить двойной жизнью, он легко вживался в любую выдуманную роль. Он когда-то легко вошел в выдуманную роль коммерсанта. Он чувствовал себя коммерсантом. Точно так же он чувствовал себя теперь бухгалтером. Да, он в прошлом бухгалтер. Не шниффер, не медвежатник, а бухгалтер, счетный работник. Понятно?

В тюрьме он ежедневно читал газеты, но из газет было трудно узнать, как живет страна, как живут обыкновенные люди. Больше сообщалось о строительстве, о колхозах, о международных делах.

Международные дела Буршина не интересовали. И колхозы и строительство новых заводов его тоже не могло заинтересовать. В старое время он читал в газетах только отдел «происшествий» и торговые объявления. Теперь ни торговых объявлений, ни «происшествий» в русских газетах

не было. Можно было так подумать, что в России уже все настоящие, квалифицированные воры и грабители перевелись. Неужели действительно перевелись?

Вечером однажды Буршина повели вместе с другими заключенными в тюремную баню.

Вымывшись, он долго сидел в предбаннике, ожидая, когда дойдет его очередь на ножницы, чтобы обстричь ногти. До него ножницами пользовался пожилой благообразный мужчина, похожий на дьякона. И с этих ножниц начался у них пространный разговор.

— Значит, прежних строгостей в тюрьмах теперь нет, — сказал Буршин, глядя, как этот благообразный мужчина выстригает перед зеркалом колючие волосы на своих отвислых, будто лопухи, ушах. — Говорят, раньше, при царе, никакие острые предметы в тюрьмах не допускались…

— Кто это говорит? — обернулся к нему благообразный.

— Люди говорят, которые сиживали в тюрьмах, — уклончиво и смущенно ответил Буршин, не желая теперь каждого осведомлять о том, что он тоже сиживал. — А теперь, глядите, арестантам выдают ножницы. Не боятся…

— А чего ж бояться-то? Ведь на время выдают,

во временное, так сказать, пользование, только в бане. — Благообразный поднял перед зеркалом нос и стал выстригать из него волосы, испытывая терпение Буршина.

Но Буршину некуда было спешить. Здесь, в предбаннике, было как-то веселее, чем в камере. И он с удовольствием сидел на деревянной лавке, приминая босыми ногами солому, которой устлан цементированный пол в предбаннике.

— Я говорю, это хорошо, что нету прежней строгости, — продолжал поддерживать разговор Буршин. — И воров, видать, в России стало меньше…

— Ты откуда, с луны, что ли, упал? — опять обернулся к нему благообразный.

— Не с луны, а из-за границы, — не обиделся Буршин. — Я приезжий, из-за границы…

— Из-за границы? — удивился собеседник. — Ну, тогда, конечно, тебе всякое может показаться. — И, передав Буршину ножницы, присел с ним рядом. — Из-за границы? Не русский, что ли?

— Нет, нормально русский. Раньше жил в России, даже в Москве. Но давно не был. И на многое удивляюсь. Воров в тюрьме как будто не видать. И строгости особой не заметно…

— Строгость — она, видишь ли, не для того, что-

бы ее замечали, а для того, чтобы чувствовали, — нравоучительно произнес благообразный. — И кому она положена, ее очень хорошо сейчас чувствуют. Даже мелкому прихватчику, ежели не первый раз попадается, в нынешнее время запросто дают расстрел. Не больно-то разгуляешься. Это с одной стороны. А с другой… видишь ли, какое дело… смысла сейчас нет воровать…

Буршин улыбнулся:

— Оно и раньше-то не было большого смысла, а воровали все-таки…

— И сейчас воруют, — сказал благообразный. — Очень даже сильно воруют, но, однако же, не так, как раньше. В нынешнее время вору уделяют большое внимание. Его поймают и заставляют перековываться. Если сразу не ухлопают, то заставляют перековываться. И в тюрьмах без толку не держат…

— А как же?

— Вот так же. Забирают воров и сразу скопом после суда везут в лагеря по всей державе, где идет строительство. Если вор с головой и с желанием, он может любую специальность приобресть и очень просто выбиться в люди. Вот, допустим, какую ты желаешь специальность?

— Я бухгалтер, — с достоинством представился

Буршин. — Если мне бы предоставили должность…

— Предоставят, — заверил его собеседник. — Очень просто предоставят. Сейчас этих счетных работников готовят повсеместно в самом спешном порядке. Я сам работал кассиром в сапожной артели, но получился у меня небольшой конфуз. Взяли мы с председателем из кассы очень неаккуратно двенадцать тысяч денег. Нас тут же и сцапали. На прошлой неделе мне был суд. Дали по смягченной норме пять лет. Теперь жду, куда меня повезут. Кассиром, наверно, больше не поставят, но что-нибудь такое предложат. Народ сейчас повсеместно нужен. Вон какое идет строительство…

— Значит, вы, я так вас понял, не сильно и переживаете, что сюда попали? — как можно деликатнее спросил Буршин. — Вы говорите, если вор с головой и с желанием, он может даже здесь, как я вас понял, пробиться в люди…

— Это совершенно точно, если ему, конечно, сперва не пробьют его голову. Смотря какая голова и что в ней. Это тоже тут определяют, — ухмыльнулся благообразный. — Один и отсюда, из тюрьмы, с деньгами уйдет — и даже с большими, — а другой…

— Всё вполне понятно, — поклонился Буршин. — Благодарю за разговор…

Этот разговор с вороватым кассиром неожиданно ободрил Буршина и заронил в его сердце большие надежды.

Буршину, в сущности, опять повезло. Особые органы, которым надлежит заниматься проверкой сомнительных личностей, не нашли за ним политических преступлений, опасных для государства. Уголовные же преступления были совершены им внутри страны так давно, что за давностью срока не было законных оснований очень строго наказывать его сейчас. И он два года спустя был выпущен, как говорится, «по чистой», с выдачей нормальных гражданских документов и с небольшим пособием, необходимым для переезда к постоянному месту жительства в Москве.

Из тюрьмы домой он ехал теперь «бухгалтером». На нем была добротная шерстяная толстовка, из тех, что с удовольствием носят пожилые бухгалтеры, хорошие хромовые ботинки и темно-синий, прорезиненный, вполне приличный макинтош.

Все эти вещи он заработал в тюрьме, впервые в жизни честным трудом, работая учетчиком в тюремных мастерских, а потом помощником

бригадира.

В Москве стояла теплая, предосенняя погода, когда он вышел из поезда на Белорусском вокзале и деловито зашагал в толпе таких же, как он, приезжих людей. Он только не знал, как ему попасть на Тульскую улицу, какие идут туда трамваи. Милиционер посоветовал ему спуститься в метро. И даже откозырял ему.

На Тульской улице, в Замоскворечье, Буршин без труда отыскал небольшой деревянный дом, в котором жил когда-то, поднялся на ступеньки крыльца и позвонил осторожно.

Навстречу ему вышла высокая девушка, белокурая, стройная, в халате. Она спросила строго:

— Вам кого?

— Буршина Татьяна Федоровна, — сказал Смущенно Буршин, — не проживает ли, простите за беспокойство, в этом доме?

— Проживает, — сказала девушка иронически и, улыбаясь, осмотрела его с ног до головы. — Войдите, пожалуйста.

Буршин вошел в полутемный коридор, в тишину старого своего жилища. Он вошел робкий, растерянный. Снял кепку и долго ненужно мял ее в руках.

Никогда в жизни он не был таким растерян-

ным.

Высокий, красивый парень подозрительно посмотрел на него исподлобья. Это был тот самый парень, чей снимок Буршин видел в «Известиях».

— Я ваш папа, — сказал Буршин. И не узнал собственного голоса.



Парень еще более подозрительно посмотрел на него. А девушка, та, что открывала дверь, переспросила:

— Наш папа?

— Да, — сказал Буршин тихо и, увидев вешалку, повесил свою кепку на крюк.

Из комнаты вышла немолодая женщина. Она в нерешительности остановилась против посетителя, всматриваясь в него. Потом просто, как тысячу раз в повестях и романах, бросилась ему на шею и заплакала, тихо всхлипывая.

И этот плач мгновенно поставил все на свои места.

Буршин снял макинтош, повесил его рядом с кепкой и прошел в комнату. Он испытывал еще некоторую неловкость.

Белокурую дочку, такую большую и незнакомую, неудобно было называть на «ты». Да и сын, этот крупный парень с уверенными, мужскими движениями, казался чужим, незнакомым.

В дом свой Буршин вошел, как в сон. Он сел в кресло и не знал, с чего начать разговор. Помолчав минуту, он все же начал и сразу рассказал все. Все, что придумал за это время, сидя в тюрьме. Он ничего не сказал о воровской своей профессии, о тюрьмах, о побоях, о побегах. Он сказал:

— Я работал бухгалтером… Просто работал бухгалтером в одной коммерческой фирме в Польше…

— В Польше? — удивился сын.

— Ну да, в Польше, — подтвердил отец, будто в этом не было ничего удивительного. — В Польше, в городе Варшаве, в небольшой торговой фирме.

— Н-да, — неопределенно произнес сын и еще более подозрительно посмотрел на отца.

— А где Яша? — вдруг спросил отец и оглянулся по сторонам.

— Яши давно нет, — подняла к глазам уголок передника жена. — Яша умер еще в двадцать пятом году. В феврале двадцать пятого года… От скарлатины…

— От скарлатины?

— А как же вы попали в Польшу? — спросила дочка, стоявшая у окна.

— Кто? Я? — повернулся к дочке Буршин, и лицо его порозовело то ли от внезапного волнения, то ли от лучей заходящего солнца. — Видишь ли, какая история, — проговорил он после долгой паузы, — в Польшу я попал случайно. Поехал, собственно говоря, в командировку. Я часто тогда ездил в командировки. Мать вот помнит… Ну и тут поехал ненадолго. А меня там вдруг задер-

жали. Приняли, как я понял, за шпиона, хотели даже посадить в тюрьму. Даже почти что посадили. Потом разобрались, судить не стали, но из Польши не выпустили…

— А потом? — спросил сын.

— Что «потом»? — повернулся к сыну Буршин.

— А потом — выпустили?

— Не то что выпустили, мне самому пришлось бежать, хотя я занимал там впоследствии уже вполне приличную должность. Я же говорю, я работал бухгалтером…

— Так, так, — сказал сын, невесело усмехнувшись, и непонятно было, верит он словам отца или в чем-то сомневается.

— Вот так, — усмехнулся и отец, пожав плечами. — Одним словом, принял я за эти годы, как говорится, казнь господню. И там поляки меня преследовали, и тут я сразу же ввалился в неприятность. На границе меня чуть не убили, да и потом пришлось отсидеть в тюрьме, пока разобрались у нас, что такое я из себя представляю. На старости лет, вот видите, пришлось отсидеть в тюрьме в своем же родном отечестве…

— А в какой тюрьме, в каком городе? — опять спросил сын, но уже без усмешки, сочувственно.

— В двух тюрьмах я сидел, — вздохнул отец. —

Последние месяцы я находился в Минске, в минской тюрьме…

— В одиночной камере?

— Нет, зачем! — будто растерялся отец. — Я в общей сидел, со всеми. Да и не все время сидел. Днем-то мы работали в мастерских. Щетки делали, умывальники, замки. Всякую мелкую работу исполняли. Я-то, правда, и в тюремных мастерских работал бухгалтером. По старой своей специальности. Одним словом, занимался учетом. Учетная работа…

— Это еще хорошо, — сказал сын.

А дочка вздохнула. И жена вздохнула.

— А Яша, значит, умер? — сказал отец. — Жалко Яшу. Ему бы сейчас было…

Но Буршин так и не успел подсчитать, сколько сейчас было бы лет его сыну Якову.

В комнату, не постучавшись, твердым шагом вошел в макинтоше и в шляпе чернявый молодой человек.

Буршин заметно встревожился, увидев незнакомого. Но тут же сразу выяснилось, что это его зять, муж дочери. Они недавно поженились, на той неделе.

— Жалко, я опоздал на свадьбу! — уже развеселился Буршин, здороваясь с зятем.

Зятю наскоро пересказали печальную историю тестя, только что тут рассказанную. И зять присел на стул, готовясь слушать ее продолжение. Он внимательно и удивленно смотрел на тестя черными выпуклыми глазами.

Буршин должен был еще объяснить причину своего длительного молчания. И он объяснил:

— Вы понимаете, я написал вам три письма. Вы мне не ответили. Ну, я решил, что вы переехали. И больше не писал…

Это было наивное объяснение, но оно как будто удовлетворило семью.

Только зять сказал Буршину:

— А я так считал, что вас и в живых уже нет…

Буршин печально улыбнулся:

— Я сам не надеялся, что выживу. Но вот выжил. Теперь все хорошо…

И в самом деле все было хорошо.

У Буршина были правильные документы. Он мог быть спокоен, что его не пригласят теперь в уголовный розыск. Он свое отсидел. Он говорил, что вот-вот поступит на службу, только бы ему вылечиться от этой проклятой болезни, от этой… малярии.

Жена накрыла на стол.

Буршин увидел плоское блюдо с синими цве-

точками, высокий голубой молочник, чашку с лепными птичками — давно знакомую ему посуду, приобретенную еще перед свадьбой, и испытал приятное волнение, как при встрече с живыми существами.

«Посуду сберегла, — подумал он про жену и почувствовал к ней еще большую нежность. — Хозяйка!»

Он сидел за столом по-домашнему, в нижней рубашке, ел суп и поглядывал исподлобья то на жену, то на детей, то на зятя и опять на детей. Дети-то какие большие, видные! Неужели это его дети?

После обеда он прилег отдохнуть.

А когда проснулся, ни зятя, ни детей уже не было. Был вечер. В комнате было тихо. В углу, под лампой, сидела жена и починяла его толстовку.

Буршин спросил:

— А ребята где?

— Ушли, — сказала жена. — Ваня пошел на собрание, а Надя с мужем — в театр.

— Мужа-то ее как зовут?

— Анатолий. Он же тебе сразу сказал…

— Я что-то не расслышал… Значит, Анатолием его зовут? Это хорошо. А чем он занимается?

— Он в аптеке работает.

— В аптеке? Ну что же. Это тоже ничего…

Буршин встал, умылся и сел около жены.

Казалось, после стольких лет отсутствия он должен был найти какие-то особенные слова для разговора с женой. Но слов таких не было. Он говорил о своей болезни, этой — как ее — малярии, и ему было самому противно слушать себя.

Никогда он ничем не болел и не любил говорить о болезнях. А тут такой разговор… Будто поговорить больше не о чем! Однако оборвать разговор почему-то было трудно. Он тянулся никчемно и долго.

Наконец жена начала рассказывать, где она работает.

В это время пришел Иван и вскоре Надя с мужем. Они пришли оживленные, веселые. Поели что-то на кухне и сразу же легли спать.

А родители все сидели и беседовали ни о чем.

Было у них, у родителей, что-то очень важное, что-то главное, как казалось им самим, о чем следовало бы рассказать друг другу. Но это главное как-то не высказывалось.

Буршин думал о женщинах, встречавшихся ему в разное время на его длинном пути. И сейчас ему казалось, что жена думает о них же и, может быть, хочет спросить его о них, но только

не решается.

А жена, пожилая женщина, испытывала неловкость, вспоминая сейчас завхоза овощного треста. Ведь завхоз в свое время и на службу ее устроил — кассиршей в магазин. Она могла бы замуж за него выйти, если б не стеснялась в свое время детей. Ведь она была молодая женщина, а муж ее ушел неизвестно куда. Ну кто же знал, что он вернется, вот так, неожиданно?

И женщина, уронив шитье, внезапно заплакала. Мужчина наклонился к ней. Он не спрашивал ее о причине слез. Он просто гладил ее по голове и говорил, почему-то робея:

— Ну, Таня, Таня…

Мужчина чувствовал себя виноватым. Женщина же жалела о чем-то. И оба казались друг другу то близкими, то чужими.

Наконец мужчина сказал простую фразу:

— Ну что ж, Таня, что было, то прошло.

И обнял женщину.

Утром Буршин проснулся позже всех.

В квартире уже никого не было. Все ушли по своим делам. На столе ему был оставлен завтрак. Он поел и тоже пошел.

Идти ему, правда, было некуда. Он просто пошел по улицам. Город, знакомый ему с детских

лет, удивлял его новизной, и почему-то, глядя на прохожих, он снова испытывал странную, легкую неловкость, как и дома, в родной семье.

Но это скоро прошло.

Буршин начал осваиваться.

В семье пока не нуждались в его заработке. Жена работала кассиршей в магазине. Сын зарабатывал около четырехсот рублей на заводе. Дочь училась и получала стипендию. Отец ходил в поликлинику, лечился, в ту самую поликлинику, которую указал ему зять-аптекарь.

— Это сейчас для вас, папаша, самое главное — поддержать свое здоровье, — сказал зять. — Ни о чем ином вы пока не думайте…

В поликлинике однажды Буршин встретил старого знакомого. Это был очень известный когда-то вор, фармазонщик. Он делал теперь уколы больным. Буршин подошел к нему и спросил:

— Не узнаешь, Григорий Семеныч?

— Узнаю, — сказал тот. — Егор… Отчество забыл…

— Петрович… А вы тут кем?

— Я лекпом.

Буршин наклонился к нему и спросил вполголоса:

— Я извиняюсь, а старое-то дело как же? Бро-

сили?

— Бросил, — сказал лекпом и сконфузился. — А вы?

— Я бухгалтер теперь…

Больше в эту поликлинику Буршин не ходил.

Он по-прежнему бесцельно бродил по городу и напряженно думал: как же ему быть? Жить на средства жены и детей нехорошо, стыдно. Просить рубль на папиросы у сына унизительно. Воровать?.. Нет, нет, нет! При взрослых детях… Поймают. Позор!.. Поступить на службу? Но куда же он поступит? Бухгалтером его не возьмут.

Пойти чернорабочим «бухгалтеру» неудобно. Все будут удивлены. Нельзя даже сослаться на то, что для бухгалтера нет работы. Все знают, что бухгалтеров теперь берут нарасхват. Впрочем, так же, как и работников других специальностей. Но у Буршина нет никакой специальности. Что же делать ему?

И вдруг его осенила такая мысль. Надо достать крупную сумму денег, спрятать ее, тайно поступить на бухгалтерские курсы, а дома сказать, что он служит уже бухгалтером, и в доказательство этого каждый месяц приносить в семью пятьсот — шестьсот рублей или сколько там получают бухгалтеры. Будет не стыдно есть хлеб.

Потом он устроится настоящим бухгалтером и станет честно работать, честно жить, как жена, как дети, как зять, как этот рыжий дьявол из поликлиники, бывший фармазонщик. Такая бандитская морда у человека, а он лекпомом служит, и все его уважают. Больные говорят: «Григорий Семеныч, Григорий Семеныч…» Неужели он, Буршин, хуже этого рыжего Григория Семеныча, неужели он не может бухгалтером стать? Конечно, может.

Но где взять крупную сумму денег?

Буршин вскоре ответил и на этот вопрос: надо вскрыть шкаф. Вскрыть один шкаф, взять деньги, замести следы и больше никогда не возвращаться к этому ремеслу. Забыть его навсегда. Навсегда забыть.

Однако это не простое дело — вскрыть шкаф. Нужны инструменты, сообщники. Должен кто-то стоять на стреме. Кто же будет стоять?

Домой после бесцельных прогулок он возвращается усталый и рассеянный.

Небольшая квартира, оклеенная старыми обоями, освещенная осенним солнцем, всякий раз представляется ему и своей, знакомой, из которой он, кажется, никуда не уходил, и чужой, увиден-, ной впервые.

Иногда за обеденным столом сидит семья — его жена, дети. Услышав отцовские шаги, они оглядываются и смотрят удивленно, точно не ожидали, что он придет. И особенно удивленно и даже подозрительно смотрит на него сын. Или это только кажется Буршину?

Буршин садится не во главе стола, как полагалось бы отцу, а где-то в сторонке, за самоваром, и сидит молча.

Жена наливает ему чаю и спрашивает: «Не жидкий ли?» Как гостя спрашивает. И это обидно ему. Хотя жена, быть может, и не собиралась обидеть его.

Он пьет чай и придумывает тему для разговора, как придумывал бы гость, случайный гость, пришедший в этот дом впервые.

Иван рассказывает, какие у них дела на заводе, что сказал ему бригадир, и, рассказывая, смотрит не на отца, что было бы вполне естественно, а попеременно то на мать, то на сестру, будто им это более интересно, чем отцу, будто они в его делах больше понимают. Он говорит:

— Помните, я вам рассказывал про Сашку Смирнова? Так его нет теперь. Он перевелся от нас на другой завод — на «Красный пролетарий»…

Буршин не знает этого Сашку. Он, Буршин,

похож на человека, который вошел в театр посередине действия и не может понять, что же было до него, никак не может войти в курс событий.

Он хочет рассказать о том, что он видел за границей, он многое хочет рассказать, но это как-то не получается у него. А то, что он уже рассказывал в первые дни, когда приехал, не вызвало у слушателей особого интереса. Он это еще тогда заметил по их глазам.

Правда, он мог бы наверняка заинтересовать их, если б рассказал то, что действительно было с ним, то, что он пережил, перестрадал.

Но это нельзя рассказать, это невыгодно ему. И он сидит за столом как посторонний…

Будто сейчас только заметив его присутствие, дочка спрашивает:

— Ну как, папа, тебе нравится Москва? Ведь сильно изменилась? Правда, сильно?

— Сильно, — говорит папа.

Но это слово он как будто выдавливает из себя. Нет, разговор явно не клеится.

Может быть, в этом он сам виноват. Может быть, надо действовать более решительно, самому задавать вопросы. Ведь нельзя сказать, что семья относится к нему враждебно, что она презирает его.

Но у него нет вопросов. Вернее — он не знает, с чего начать вопросы. Слишком долго семья жила без него, и вышло так, что интересы его и семьи стали разными, очень разными.

Например, Буршину совершенно непонятно: почему сын его, окончив среднюю школу, по-прежнему сказать — гимназию, окончив отлично, первым учеником, пошел не в учреждение, где работа чистая и легкая, а на завод, обыкновенным слесарем, и, похоже, гордится этим?

Непонятно ему и многое другое. Но спросить обо всем этом он пока не решается. Будто не пришло еще время спросить.

Жена, оставшись с ним наедине, рассказывает ему иногда о старых знакомых, которые раньше бывали у них. Но эти знакомые не очень интересуют Буршина.

Буршину хочется спросить жену, не знает ли она случайно, где теперь Подчасов. Он несколько раз собирался спросить об этом. И ни разу не решился, будто боясь разоблачить себя.

Обижает его также, что жена за все время ни разу не посоветовалась с ним по хозяйственным делам, не сказала, как думает тратить деньги.

Однако, обижаясь, он сам же оправдывал ее: она давно привыкла зарабатывать свои деньги

и тратить их самостоятельно, ведь он денег не дает.

Да, он не дает денег. Может быть, в этом и заключено главное. Может быть, поэтому он и в семье себя чувствует неловко. Ну что ж, надо подождать немного. Он придумает верный способ — и все устроится.

Впрочем, способ этот он уже придумал. Он станет бухгалтером. Он, черт возьми, совсем не хуже этого рыжего дьявола из поликлиники. Он достанет деньги, выучится и станет бухгалтером. Настоящим, приличным бухгалтером. Дебет, кредит, контокоррент…

Думая так, Буршин успокаивал себя. Но что-то невыразимое и тяжелое давило ему на сердце. Он не мог сидеть дома и все бродил и бродил по улицам.

И вот однажды на улице, на Арбате, он встретил наконец Подчасова, Илью Захаровича Подчасова, повара-весельчака, сукиного сына и родного брата Федьки Подчасова, известного громщика, расстрелянного бог знает когда.

Подчасов обрадовался этой встрече. Он раскрыл для улыбки свой огромный, как чемодан, утыканный гнилыми зубами рот и шумно приветствовал Буршина.

Буршин тоже обрадовался. Но проявил сдержанность.

Через полчаса он пил уже водку с Подчасовым. Пил много и, как обычно, не хмелея, но говорил мало, вызывая повара на разговор.

— Плохо, — говорил повар. — Очень плохо. Ну, какая это жизнь…

— Н-да, — соглашался как будто Буршин. И вдруг, между прочим, спросил: — А Чичрин где?

— Вася? Ну где ж ему быть? У себя в Сокольниках. Стучит старик. Ударник.

Буршин задал еще несколько вопросов о Чичрине. Выслушал внимательно. И сказал грустно:

— Знакомств нет. Скучно.

— Каких знакомств?

— Всяких. Человеку для интереса жизни знакомства нужны. Хоть какие-нибудь.

— Это верно, — сказал Подчасов. — Желаешь, я тебя познакомлю с одним человеком?

— Он меня на службу может устроить?

— Свободно.

И Подчасов начал рассказывать о некоем Варове, завхозе института. Парень вполне интеллигентный. Молодой. Хороших родителей.

— Отец его шубную фабрику держал.

— Меня его отец не интересует, — сказал Буршин. — А если он завхоз, это любопытно. Я через него мог бы на службу пройти. Мне давно пора поступить на службу. Считаешь, что он может меня устроить?

— Куда угодно, — сказал Подчасов, смеясь и по-кошачьи сощурив пьяные глаза. — Это такой парень, такой парень…

— Меня дома, наверно, потеряли, — вдруг, как бы встревожившись, сказал Буршин. — Ну, будь здоров, Захарыч. Я к тебе на днях вечерком загляну… Спасибо за угощение. Посидел бы еще, да меня дома ждут…

Но домой он не поехал. Он постоял недолго на Смоленской площади, потом спустился в метро и поехал в Сокольники.

Вечер был холодный, январский. Буршин вышел в Сокольниках, поднял воротник и отправился искать Чичрина.

Память не изменила ему. Он легко отыскал в конце Русаковской улицы маленький, укрытый снегом домик в два окна с покрашенными суриком ставнями, постучал в дверь, и ему открыл сам Чичрин.

Хозяин не узнал гостя. Он долго вглядывался в него. Потом сказал:

— Да это никак ты, Егор Петрович?

— Я, — сказал Буршин.

И хмель, теперь только ударивший в голову, подвел его на этот раз.

Без всякой подготовки, он сразу же изложил Чичрину свое дело, чем привел старика в большое беспокойство.

Чичрин снял очки, похлопал слезящимися глазами и сказал, невесело засмеявшись:

— Ну и шутник ты, Егор Петрович! Да кто же теперь такими делами занимается?

— Кто раньше занимался, тот и теперь занимается! — грубо ответил Буршин. — Ты чего, в партию вступил, что ли?

— Я не вступил, Егор Петрович. Но все-таки… Неудобно как-то. Некрасивая вещь. Я на заводе работаю, в инструментальном, меня в ударники произвели — и я вдруг клешню тебе делаю…

— Какие все сознательные стали! — молвил Буршин сердито. — Да ведь ты, старый черт, этот домик-то на мои деньги поставил, на ворованные деньги! Это ты как считаешь?

— Мало что, — сказал старик. — Мало что. — И внезапно плачущим голосом попросил: — Уволь меня, Егор Петрович, пожалей меня, старика…

— Ну, не хочешь — не надо, — сказал Буршин.

И ушел, не прощаясь.

Всю ночь Буршин не мог уснуть. Ну зачем он сказал старику об этих инструментах? Испугавшись, старик пойдет в уголовный розыск и завалит его.

Надо быть дураком, чтобы без всякой подготовки вовлекать человека в преступление.

Это значит — не жалеть и самого себя.

Но раз сделана глупость, не надо ныть, надо исправить ее немедленно.

Рано утром Буршин опять поехал в Сокольники.

В выходной день Чичрин копался у себя во дворе, выдергивал из-под снега куски обгоревшей жести.

Буршин подошел к нему и, не здороваясь, спросил:

— Это чего будет?

— Да вот бабке кастрюлю хочу починить.

— А как насчет инструментов?

— Я же сказал, Егор Петрович, я не могу…

— Не можешь? Ну, это другое дело. Так бы и сказал сразу: «не могу».

Буршин повернулся, чтобы уйти. Он застегивал крючок у воротника и говорил небрежно, не глядя на Чичрина:

— Мне ведь не надо, чтобы ты мне старую клушку делал. Это старью. Техника вперед идет.

Застегнул воротник, вздохнул:

— Мне надо рычаг с ножом американского типа, два рака: один — ходовой, другой — запасный. И все. Это серьезное дело. Не всякий сделает…

— По чертежам, — сказал старик, — любую вещь можно сделать.

Он сказал это так, между прочим, больше из вежливости, чтобы поддержать разговор.

Но Буршин вынул из пиджачного кармана маленький самодельный чертеж и разложил его на завалинке. Чичрин наклонился над бумагой, вгляделся в пунктиры и черные линии и сказал насмешливо:

— Ну, и что же тут хитрого? Подумаешь, американский тип! Я на заводе и не такие вещи делаю… По сложности…

В Чичрине заговорил мастер.

У мастера этого было самолюбие ребенка. И, может быть, больше из самолюбия, чем из других соображений, он вдруг согласился сделать инструмент.

Даже Буршин не рассчитывал на такой успех.

Чичрин делал инструмент две недели по вечерам, при свете керосиновой лампы. Он делал его,

увлекаясь самым процессом работы и радуясь, что избежал конфликта с Буршиным. А то, чего доброго, Буршин рассердился бы, пошел куда следует, заявил, как старик ему раньше раков делал, и старику тогда прямая дорога в тюрьму, за решетку.

Обо всем этом думал старик Чичрин, обтачивая в тисках воровские инструменты. И о старухе своей думал. Как бы она осталась, если б его, например, в тюрьму, не дай бог, посадили? Как бы она осталась?

А Буршин тем временем с помощью Подчасова завязал знакомство с завхозом Варовым. Буршин бывал у него каждый вечер, пил с ним чай и вел философские беседы. Он изучал его.

Изучив же, начал обрабатывать вплотную. Он говорил, что никакой ответственности за соучастие он, Варов, нести не будет. Никто и не догадается даже, что он участвовал.

Да и какое это, в самом деле, участие? Буршин просит за приличное вознаграждение достать ему постоянный пропуск в институт. Только и всего. Все остальное сделает сам Буршин.

Варов хмурил свой узенький, детский лоб и говорил:

— Нет, нет, нет…

Буршин смеялся. Он по-отечески смеялся над неопытным молодым человеком, который упорно отказывается от счастья, Буршин говорил:

— Ну и чудак вы! Вы не завхоз, а трусишка! Ваш папа имел фабрику…

— Откуда вы знаете?

— Я все знаю. Я на три метра вглубь вижу. И вижу, как ваш папа переворачивается сейчас в гробу, недовольный вашим поведением. Ваш папа прожил жизнь в свое удовольствие. Он имел деньги, имел счастье. А вы? Вы говорите, что деньги теперь не нужны. Ну кому вы это говорите?

Варов смущенно молчал.

Буршин пробуждал в нем заглохшую страсть, которая руководила двумя поколениями Варовых.

Наконец Варов сказал:

— Ну хорошо, я попытаюсь…

Назавтра Буршин получил от него долгожданный пропуск.

Варов стал соучастником Буршина. И уж теперь Буршин не просил его, а командовал им, говорил, куда идти, что делать.

Варов беспрекословно исполнял приказания. Он оказался на редкость исполнительным чело-

веком. Он даже точно выяснил, сколько будет денег в институтской кассе в день получки.

Чичрин изготовил инструменты.

Буршин осмотрел их, принял и сказал:

— Ну, а деньги, отец, подожди. У меня сейчас денег нету…

— Это успеется, Егор Петрович, — махнул рукой Чичрин. — Ты посмотри, инструмент-то какой…

— Хороший инструмент, — взвесил на руках тяжелый рычаг Буршин.

Чичрин, счастливый, заулыбался:

— То-то! А ты говоришь — американского типу…

Буршин завернул инструменты в газету, принес их домой и спрятал в чулан. Он боялся, что жена, или дети, или, не дай бог, зять найдут их.

И в то же время он испытывал странное желание показать инструменты сыну.

Иван работал слесарем на военном заводе. Он был слесарем седьмого разряда, хорошим слесарем, как свидетельствовали награды и премии, полученные им.

Буршин хотел бы показать ему инструменты и сказать: «Вот, Ваня. Видишь, работа…»

Буршин хотел похвастать перед сыном чужой работой. Хотя бы чужой работой, если нет своей.

И это понятно. Иван почти каждый день приходил с работы возбужденный, веселый и почти каждый день рассказывал о новых своих успехах. Отцу это было приятно. Отец гордился сыном и завидовал ему. Он завидовал и жене, и дочери, и зятю, которые, возвращаясь домой, обязательно рассказывали что-нибудь о своих делах. И дела волновали их. Они могли бесконечно говорить о своих делах.

А Буршину не о чем было говорить. Не мог же он посвящать семью в свои преступные замыслы! Не мог рассказать о своих надеждах. Но ему очень хотелось рассказать что-нибудь о себе, похвастать чем-нибудь реальным.

В семейной жизни тоже надо иметь успех. Буршин этого успеха не имел. И это угнетало его. Угнетало его также сознание, что он ест не свой кусок хлеба, что он не вносит свой пай в общий семейный котел.

Упрямый, уверенный в себе, слегка жестковатый в своих отношениях с соучастниками, дома он превращался в тихого, робкого, незлобивого человека. И по временам ему думалось, что сын, такой активный, полнокровный, здоровый человек, должен презирать его за бездеятельность.

Но сыну казалось, что отец все еще нездоров.

Он спрашивал участливо:

— Ну как твое здоровье, папа?

И даже в этом невинном вопросе отцу мерещилась насмешка. Он опускал голову и исподлобья смотрел на сына. И сын исподлобья смотрел на отца. Не сердито, не враждебно, а так просто, по врожденной привычке смотреть исподлобья.

Потом отец говорил:

— Ничего. Подожди. Я поправлюсь. И ты посмотришь, как у меня дела пойдут…

И он нетерпеливо ждал этих хороших дел, этого счастливого времени, когда он будет уравнен во всех правах с семьей — с женой, с дочерью, с сыном, когда он станет таким же, как они, работящим человеком и сможет с таким же азартом рассказывать о своих делах.

Однако прежде всего он считал необходимым вскрыть шкаф. Вскрыть шкаф, взять деньги — и концы в воду.

Операций такого рода он проделал в своей жизни около трехсот. Но эту, последнюю операцию он считал самой серьезной, самой решающей. От нее зависела вся его дальнейшая жизнь.

И он готовился к ней долго и тщательно.

Наконец все было подготовлено.

Буршин вышел из дому поздним вечером, в

половине двенадцатого, сел в трамвай и поехал к институту, где находился облюбованный им несгораемый шкаф и где служил его соучастник Варов.

У входа в институт швейцар остановил его, спросил пропуск.

Буршин порылся в карманах, достал красную книжечку и показал швейцару.

Потом он беспрепятственно поднялся на третий этаж и здесь разбудил уборщицу.

— Слушайте, — сказал он уборщице, — я тут, может быть, стучать буду, так вы того… не пугайтесь. Я шкаф починяю…

Уборщица сказала, зевая:

— Пожалуйста, я не пугливая…

И опять легла спать.

А утром несгораемый шкаф в директорском кабинете оказался вскрытым. Из него похищена была крупная сумма денег. Злоумышленник ушел в неизвестном направлении. И метель замела его следы…

Ульян Григорьевич Жур пил чай, как лекарство, страдальчески морщась, и угрюмо смотрел в окно на метель. Был март, первые числа марта. Хлопья снега ложились на переплет окна.

Ульян Григорьевич хандрил. Все-таки ему по-

чти что под пятьдесят. И когда не поспишь трое суток подряд, это чувствуется сразу. В голове шум. Ноги ослабли. Во всем теле глухая боль. Уж не простудился ли?..

Жена спала в соседней комнате, завернувшись в стеганое одеяло. Было слышно жаркое ее дыхание.

Ульян Григорьевич умрет от простуды. Его увезут на кладбище, похоронят и забудут, может быть, на следующий день.

А жена вот так же будет спать до одиннадцати часов, получая приличную пенсию за мужа, который умер, не выспавшись. Ни разу как следует не выспавшись за всю свою длинную жизнь.

Даже в доме отдыха его одолевало беспокойство, и он просыпался раньше всех. Может быть, у него болезнь какая-то особенная, страшная. А полечиться вот некогда. Ну буквально некогда. Все дела, дела, дела…

— Да ну их к черту! — сказал Ульян Григорьевич.

Домработница, стоявшая у стола, вздрогнула.

Ульян Григорьевич, задумчивый, прошелся по комнате. Потом сказал домработнице:

— Даша! Позови мне доктора с Собачьей площадки. У меня, понимаешь, грипп… Без темпе-

ратуры…

— Сейчас, — сказала Даша, вытирая передником руки. — Я сию минуту, Ульян Григорьевич. Только чашки помою.

Зазвонил телефон, Ульян Григорьевич снял трубку.

— Ну, еще чего такое?

— Грабеж, — сказал дежурный.

Ульян Григорьевич рявкнул:

— Машину!

— Пошла к вам, товарищ начальник, — сказал дежурный.

Жур внимательно выслушал подробности, записал адрес, повесил трубку. Потом он, согнувшись, подтянул голенища сапог, протер сапоги до блеска черной бархоткой и, выпрямившись перед зеркалом, критически осмотрел себя. Побриться бы надо…

Он вынул из столика бритву, мыльницу, мыльный порошок, налил в жестяной стаканчик кипятку из самовара и, стоя перед зеркалом, начал бриться. Он брился ровно полторы минуты.

Даша сказала восхищенно, как всегда:

— До чего быстро…

— Привычка, — сказал Жур хвастливо. — Я, брат, человек военный…

И он действительно становился военным в такие минуты. Всякое новое дело возбуждает его и как будто молодит.

Ульян Григорьевич достает из большой коробки десятка два папирос, укладывает их в металлический портсигар. Потом вынимает из заднего кармана брюк маленький браунинг, передергивает его, вгоняет один патрончик в ствол, защелкивает предохранитель и снова засовывает браунинг в задний карман.

Все у него предусмотрено, рассчитано, проверено. Даже в мелочах он ведет себя как профессиональный сыщик. И людям, знающим его, кажется, что он рожден для того, чтобы быть сыщиком.

Ульян Григорьевич, однако, придерживается на этот счет другого мнения. В тысяча девятьсот двадцатом году, весной, когда ему выписывали путевку на работу в уголовный розыск, он сильно волновался. Он говорил, что дело это ему совсем не по душе, что он, собственно говоря, молотобоец, что он всегда любил кузнечное дело и никогда не собирался ловить бандитов или этих самых… как их… ширмачей.

Не считаясь с этим, ему все-таки выписали путевку, и он примирился со своим новым положением. Он успокоился и стал только более

угрюмым, чем был. Никто никогда впоследствии не слышал от него никаких жалоб.

У крыльца загудел автомобиль.

После телефонного звонка прошло шесть минут. Ульян Григорьевич надел пальто, шапку с ушами и вышел на крыльцо.

Даша крикнула:

— А доктор-то как же?

— Завтра, — сказал Ульян Григорьевич, садясь рядом с шофером, и невесело улыбнулся. — Хотел хоть один денек отдохнуть, отоспаться. И не удалось, не вышло…

У большого, ширококрылого, с модными теперь колоннами здания он вылезает из машины и поднимается на третий этаж, где прошлой ночью произошло редчайшее для наших времен преступление.

Подобных преступлений не было в столице почти десять лет.

Ульян Григорьевич здоровается с двумя работниками розыска, приехавшими сюда до него. Потом, сидя на корточках, внимательно осматривает вскрытый шкаф и разглядывает брезент, оставленный вором, странный какой-то буравчик и небольшие клещи.

— Мало, — говорит Ульян Григорьевич. — Мало

он оставил… — И хмурит брови. — Это, по-моему, работал опытный медвежатник. Я знаю четырех, которые могли бы так сработать…

И он перечисляет всех четырех.

Один из этой четверки, известный медвежатник, расстрелян еще десять лет назад. Другой — некий Буршин — много лет назад исчез. Может быть, умер или ушел за границу…

В Москве есть только два бывших высококвалифицированных взломщика, но они давно уже оставили свое ремесло.

Однако кто может поручиться, что это не они взломали шкаф?

Уголовный розыск не имеет права верить на слово. Особенно если есть серьезные подозрения. А против двух бывших взломщиков подозрения были весьма серьезные.

Ульян Григорьевич извлек из архива их фотографии и читал коротенькие справки об их старых делах.

В прошлом это были крупные воры.

В криминалистическом музее выставлены орудия их былого производства. Выставлены были когда-то и портреты с объяснительными надписями и фамилиями.

Но лет десять назад они бросили воровское ре-

месло и пошли работать. Они стали порядочными людьми. И поэтому их фамилии в криминалистическом музее закрашены, а портреты убраны.

Нельзя человеку, сменившему воровское ремесло на честный труд, напоминать о его прошлом.

Однако у Жура не может быть уверенности, что эти парни, которым нельзя напоминать об их прошлом, сами не вспомнили своей старой профессии. Жур обязан проверить, виновны ли его бывшие клиенты.

Дня четыре он работал с большим напряжением, прежде чем напал на малюсенький след. И еще дня два сомневался: уж так ли важен этот след и стоит ли дальше копаться в порыжевших от времени папках архива старой, царской сыскной полиции, если известно, что люди, на которых могло бы пасть серьезное подозрение, давно умерли, уехали или увезены в специальные лагеря?

Однако, сомневаясь, Жур все-таки продолжал работать, наводить справки и перелистывать архивные дела, в которых были запечатлены деяния высококвалифицированных шнифферов, или, иначе говоря, медвежатников, — специалистов по вскрытию сейфов и несгораемых шкафов.

У Жура было твердое убеждение, что это «дело» в институте сделал не новичок, не случайный вор, а именно крупный, опытный медвежатник. И Жура поддерживал в этом убеждении старейший работник московского уголовного розыска — Фомичев Виктор Карлович. Он первый назвал фамилию — Буршин.

— Ох, это был мировой гад! — сказал Фомичев.

— Именно был, — невесело улыбнулся Жур. — А где он теперь?

— Это уж надо выяснить, — пожал плечами Фомичев.

Выяснить это было не просто. В адресном столе назвали адреса четырнадцати Буршиных. Трое из них имели одинаковые имена и отчества — Егоры Петровичи. Требовалось определить, кто из них еще в старое время занимался взломом несгораемых шкафов.

— Буршин, Буршин… Неужели он где-то сохранился до сих пор? — говорил Жур. — Было у меня еще в Сибири такое дело с сейфами. Тоже был замешан Буршин. Ну да, Буршин. Но что-то тогда не подтвердилось. Отпустили мы его… Мужчина лет за сорок, рыжеватый… Он теперь, пожалуй, старичок…

— Этот старичок и работал, — подтвердил Фо-

мичев. — Молодому такое не сделать. Чистая работа. И нахальная. Кожаную перчатку или нарочно бросил, или обронил. А работал все время в перчатках. Следов от пальцев нигде не видать…

И все-таки след от Буршина остался. Остался его, если можно так выразиться, воровской почерк, позволивший Фомичеву вспомнить не кого-нибудь, а именно Буршина. Именно Буршин всегда работал клешней. Для этого требовалась большая физическая сила. Но силу Буршину не надо было занимать. Силы ему еще хватало. А чтобы не напрасно расходовать ее, он с годами все больше удлинял рычаг клешни, применяя, так сказать, механизацию, облегчавшую этот подлый труд.

И вот до тех пор, пока надо было вспарывать и потрошить несгораемый шкаф, Буршин действовал и осмысленно и деловито. В нем проснулась и прежняя энергия и прежняя ярость профессионального вора, сообщающая всем движениям необходимую ловкость, точность и быстроту.

А затем началась цепь нелепых действий, таких нелепых, какие едва ли допустил бы в подобных обстоятельствах и молодой, начинающий, малоопытный ворюга.

Может быть, это произошло оттого, что Буршин

растерялся в последний момент, осознав всю степень угрожавшей ему опасности. Ведь это была в самом деле его последняя кража. На нее он сделал самую крупную ставку. И от ее исхода зависела теперь вся его жизнь, весь остаток жизни. Что будет, если его сейчас поймают, разоблачат?

Буршин вышел из института не так бодро, как вошел. Он словно постарел вдруг еще на одно десятилетие. Руки и ноги дрожали, особенно ноги. И он даже присел на мгновение у входа, чтобы унять дрожь. Что он вдруг — струсил, что ли?

Инструменты он сложил в зеленую брезентовую сумку, и она висела у него на плече, а деньги были рассованы по карманам и равномерно разложены за пазухой толстовки, подпоясанной ремнем.

Деньги не радовали Буршина.

Впрочем, он и раньше не радовался деньгам. Вернее, не испытывал восторга при виде денег. Только досадовал, когда их в шкафу или в сейфе оказывалось меньше, чем он рассчитывал, приступая к делу.

На этот раз, на взгляд, денег в шкафу было примерно столько, сколько предполагал Варов. И главное — деньги в купюрах крупного достоинства удобно были упакованы в большие пачки.

Буршину это понравилось. Он не любил возиться с мелочью.

Все, таким образом, сложилось как будто удачно для Буршина. И все-таки он чем-то был расстроен. Наверно, эта внезапная слабость, стремительно разлившаяся по всему телу, опечалила его. Неужели это старость или сама смерть так близко подступила к нему — и в такой неподходящий момент, когда он несет деньги, которые должны, как он надеялся, изменить всю его жизнь? Неужели уж он такой старый и слабый? Неужели и эти деньги не принесут ему счастья?

Буршин так и не смог унять дрожь в ногах. Они дрожали и подкашивались, когда он вышел на высокое, многоступенчатое крыльцо.

Здесь, у крыльца, он хотел что-то сделать. Что-то важное ему надо было сделать. Но он не мог вспомнить, что, и стал медленно спускаться с крыльца.

Издали у фонаря он увидел Подчасова.

Подчасов, сгорбившись и засунув руки в карманы пальто, ходил взад-вперед.

«Дурак какой! — беззлобно подумал про него Буршин. — Зазяб и не видит, что я вышел. Старый дурак! А вдруг я не окликну его и уйду — он и будет вот эдак до утра тут ходить. Совсем выжил

из ума, малахольный».

Буршин спустился с крыльца. И Подчасов сию же минуту приблизился к нему. Но Буршин не движением, а только глазами, строгим взглядом, отогнал его от себя и опять подумал: «Какой дурак! Уже обрадовался. Какая жадность в людях!»

Подчасов подождал Буршина на той стороне улицы. Но Буршин не подошел к нему, побрел по тротуару вдоль многооконного здания, потом направился к замерзшей реке.

Вот тут только он вспомнил, что ему надо было сделать у крыльца. Ему надо было посыпать свои следы нюхательным табаком из пачки, что лежала в боковом кармане пальто. Он специально приготовил эту пачку, чтобы заставить розыскную собаку чихать, когда ее пошлют по его следу. Как же он забыл об этом?.. Он же вчера еще купил эту пачку. И не так просто было ее купить. Почему-то теперь редко продают нюхательный табак. А табак этот очень хорош для посыпки следов. Другая собака так расчихается, что и не захочет дальше идти.

«Хотя все это пустяки, — уныло подумал Буршин. — При чем тут собака? Не в собаках теперь дело. Дело сделано, а как дальше все пойдет, никто этого не знает. И незачем про это думать...»

Тяжелое равнодушие ко всему вдруг окутало мозг Буршина. Он, как пьяный, брел по заснеженному берегу, и мысли его путались, терялись, а слабость все разливалась по телу.

Захотелось закрыть глаза и лечь прямо в снег, в сугроб, зарыть голову. Но он все-таки удержал себя от этого желания и продолжал шагать по берегу, еле передвигая ноги. Какая-то нестерпимая тяжесть давила его. И он не сразу обнаружил эту тяжесть. А когда обнаружил, обозлился. Это, оказалось, ремень от сумки с инструментами режет ему плечо. И груз-то как будто небольшой, а плечо просто отнимается. Ослабел Буршин, сильно ослабел, отбегал, отворовался. А для чего и куда он тащит эти инструменты? Разве он и дальше собирается вскрывать шкафы?

— Да ну это к черту! — вслух сказал он и, опять оглядевшись, скинул с плеча ремень, так, что сумка с грохотом упала на каменные плиты прибрежного тротуара.

Буршин наклонился над ней и, в последний раз осмотрев инструменты, стал бросать их через парапет на лед реки. Он видел, как, скатываясь по откосу, они прочерчивают тонкий след в снегу. Затем он бросил через парапет и сумку.

Подчасов стоял в нескольких шагах от Буршина

и опасливо смотрел на него, как на сумасшедшего. И в самом деле Буршин вел себя как сумасшедший. С чего это все вдруг?

В руках у Буршина остался только длинный рычаг, и он зачем-то долго нес его. Он бросил его в сугроб уже на том берегу, когда перешел мост.

Рычаг этот вскоре нашли сотрудники уголовного розыска. На нем сохранились отпечатки пальцев Буршина. Отпечатки его пальцев сохранились, впрочем, и на других инструментах, также найденных вскоре.

Не было отпечатков только на месте преступления, где Буршин действовал в перчатках и где оставил одну перчатку — то ли по рассеянности, то ли нарочно, чтобы позлить тех, кто поведет по его следу собаку.

Пачка же с нюхательным табаком так и осталась нераспечатанной в кармане у Буршина.

Раньше всего он поехал с Подчасовым на трамвае к Варову в Марьину рощу.

Здесь Буршин аккуратно сосчитал украденные деньги, честно разделил их между участниками, взял свою часть и поручил ее спрятать Подчасову.

У Подчасова же он прожил три дня, не желая впутывать в грязное дело семью в случае ка-

ких-нибудь непредвиденных неприятностей. Предвидеть все никак нельзя.

Подчасов служил ему так же, как раньше. Он старался, чтобы гость не чувствовал никаких неудобств за время вынужденного сидения в его квартире. Он сам готовил для него обед, бегал за водкой.

Водки Буршин выпил за эти три дня очень много, но ни разу не был пьян. Водка не могла прекратить напряженной работы его мозга, она только обостряла его мысли.

Буршин обдумывал свое положение. Он даже чертил какие-то каракули на бумаге.

Под часов ходил на цыпочках.

Вдруг Буршин сказал:

— Ну-ка дай мне бритву, Захарыч!

Подчасов дал ему бритву.

Буршин побрился и пошел домой.

Домой он пришел очень веселый. Таким веселым дома еще не видели его никогда. Он улыбался, потирал руки, будто собираясь бороться. Потом рассказал, что был за городом, искал работу, встретил старого приятеля и загулял с ним немножко, по-стариковски. Приятель пообещал его устроить бухгалтером на одном подмосковном заводе…

— А мы думали, ты под трамвай попал, — сказала дочка.

— Я-то? — удивился Буршин. И захохотал. — Да разве я могу под трамвай попасть? Вы просто плохо знаете вашего папку! Ваш папка ни в огне не горит, ни в воде не тонет.

— Я хотел уж в милицию заявить, что пропал человек, — сказал сын угрюмо. — Но мама говорит: «Подождем еще денек. Может, он сам объявится или нам сообщат, если что-нибудь серьезное с ним произошло. Всякое ведь теперь бывает...»

— Это хорошо вы сделали, что не заявили, — сказал отец, и лицо, его потемнело на мгновение. Но потом он опять стал улыбаться.

На столе весело запел самовар.

Буршину вдруг захотелось купить ребятам торт. Самый большой, самый дорогой. Но он сейчас же раздумал: ребятам покажется подозрительным, что у отца завелись такие деньги. Нет, лучше подождать...

Вот устроится на курсы, скажет, что устроился на работу, и тогда можно будет слегка шикнуть. Бухгалтер имеет право шикнуть. Ведь он получает не только зарплату, но и премии...

Буршин представил себя в роли удачливого

бухгалтера.

И весь вечер жил в этой выдуманной роли. Потом лег спать. Во сне он видел большую темную комнату и себя в этой комнате. Он не мог из нее выйти. Шарил по стенам, спотыкался о какие-то брусья, поднимался, падал и опять начинал шарить по стенам.

Наконец кто-то постучал в дверь. Значит, дверь в этой комнате есть. Значит, можно выйти. Буршин обрадовался и пошел на стук. Стучали очень сильно, и он проснулся от сильного стука во сне.

Проснулся и снова услышал стук. Стучали в двери его квартиры.

Буршин встал и в одном белье пошел к двери. Он спросил:

— Кто тут?

Ему ответили:

— Уголовный розыск.

Буршин сказал:

— Одну минутку…

И вернулся в спальню, чтобы одеться. Все спали. Он торопливо надел брюки, толстовку, ботинки и крадучись вышел из спальни в коридор. Все по-прежнему спали. Он сказал еще раз у двери:

— Я сию минутку.

И надел калоши, пальто и кепку.

В тамбуре его ждали два человека. Буршин вышел к ним и негромко, стараясь придать своему голосу твердость, сказал:

— Извините, я не расслышал: вам кого?

— Буршин а, — сказал один молодой человек и зажег электрический фонарик. — Мы из уголовного розыска…

— Я Буршин, — сказал Буршин. — Что вам будет угодно?

— Будьте добры, — сказали оба молодых человека почти одновременно и притронулись к его рукавам.

Буршин покорно поднял руки. Его обыскивали. Он говорил растерянно:

— Не понимаю: в чем дело? Я не спросил у вас даже документов.

Документы ему были показаны. Сотрудники розыска вошли в квартиру и начали обыск.

Буршин отдал бы все, чтобы сейчас не зажигали свет в его квартире. Он безропотно пошел бы под расстрел, лишь бы дети не знали о его позоре. Он сделал бы что угодно. Он ведь нарочно оделся и вышел в тамбур, чтобы никто не услышал его разговора с сотрудниками розыска.

А сейчас проснулись все — жена, дети, зять.

В квартире шел обыск. В шкафу звенела посуда,

посторонние люди перебирали в сундуке вещи, заглядывали под кровать, перебирали даже землю в большом цветочном вазоне.

Буршин в пальто и в калошах сидел на кровати и мрачно смотрел в пол. Сын подошел к отцу и растерянно спросил:

— Что это такое?

— Это недоразумение, Ваня, — ответил отец, не подымая головы.

Сын удивленно переспросил:

— Недоразумение?

— Вы поедете с нами, — сказали Буршину.

Он, кряхтя, поднялся с кровати и, по-стариковски шлепая калошами, пошел к выходу. Он был растерян. Он был стар. Он был глубоко несчастен.

Но в машине, на свежем воздухе, он вдруг окреп, собрался с мыслями. Перестал на какое-то время быть отцом, который любит своих детей. Снова стал вором-профессионалом, который знает, как вести себя на допросах, и которого ничем не удивишь.

Жур ждал его в уголовном розыске.

Перед Журом на столе лежало несколько фотографий Буршина. Буршин в молодости — в котелке и красивом костюме, с тросточкой.

Буршин в советское время, в годы нэпа, — в котиковой шапке, в длинной дохе.

Жур извлек в эти дни из архива много «дел», в которых были описаны и манера Буршина, и его способ вскрывать шкафы.

Это Буршин всегда на месте преступления оставлял какие-то нелепые инструменты, не имеющие никакого отношения к взлому, но нужные, вероятно, для того, чтобы запутать преследователей. И всегда, для особого воровского шика, он любил выкинуть эдакий фортель — посмеяться над сторожем, положить в разрушенный шкаф арбуз, или сайку, или кусок колбасы.

Жур допрашивал его когда-то в Сибири. И вот довелось встретиться во второй раз.

В комнату вошел высокий пожилой человек в мохнатой кепке и в теплом поношенном пальто.

Жур пригласил его сесть.

— Ну-с, Егор Петрович, здравствуйте…

— Здравствуйте, — сказал Буршин и сел.

— Гора с горой, — улыбнулся Жур приветливо, — как говорится, не встречаются, а люди — они обязательно встретятся. Что это вас не видать было, Егор Петрович?

Буршин ответил что-то невнятное, пошевелился на стуле. Потом сказал:

— Закурить разрешите?

Ульян Григорьевич подвинул ему портсигар.

— Курите…

Но Буршин не притронулся к его папиросам, сказал:

— У меня свои…

И вынул из кармана коробку трехрублевых папирос «Дели».

Эти папиросы были единственной покупкой, какую он сделал самостоятельно на украденные деньги.

Из восьмидесяти тысяч он лично истратил всего три рубля.

Жур достал с подоконника бутылку с кефиром, открыл ее, налил в стакан.

Как бы извиняясь, он сказал:

— У меня с желудком что-то такое. Я постоянно в это время кефир пью… А вам, Егор Петрович, чайку заказать?

— Пожалуйста.

— А может, кушать хотите? Бутерброды можно.

— Нет, спасибо, — сказал Буршин, — я ночью ничего не ем. Чаю — это другое дело…

Подали чай.

Ульян Григорьевич размешал ложечкой кефир

в стакане, отхлебнул немного и, хитро прищурившись, посмотрел на Буршина.

— Постарели, Егор Петрович… А? Седина…

— Немножко, — сказал Буршин, наклонившись над стаканом. — Да и вы, гражданин начальник, не помолодели…

— Это верно, — согласился Ульян Григорьевич. — Годы не те…

Помолчали. Ульян Григорьевич пил кефир. Буршин смотрел в стакан, где вертикально плавала чаинка.

— А кепочка эта вам не идет, — прервал молчание Жур. — Вы ведь всегда, как мне помнится, франтом были.

— Это я у сына взял, — конфузливо объяснил Буршин. — У меня летняя…

— Вы ее снимите, — вроде посоветовал Жур. — Тут тепло… А сын-то у вас какой молодец! Говорят, слесарь он… И говорят, хороший слесарь…

— Да, — сказал Буршин и густо покраснел.

— Неприятный сюрприз вы ему подготовили, — как бы нечаянно заметил Жур.

Буршин промолчал. Он пил теперь чай. И со стороны могло показаться, что все это происходит не в уголовном розыске, а в кабинете какого-то обыкновенного учреждения, где случайно со-

шлись два знакомых.

Об уголовном розыске напоминал только большой стенд у стены, увешанный отмычками, фомками и другими орудиями воровского ремесла.

Буршин допил стакан и отодвинул.

Ульян Григорьевич сказал:

— Ну, давайте, Егор Петрович, поговорим о деле. Рассказывайте, как это было. Все рассказывайте. Секретов у нас с вами нету. Не должно быть секретов…

— Я ничего не знаю, гражданин начальник.

— То есть как же это так? Буквально ничего не знаете? И шкаф не вы ломали?

— Не я. Я такими делами не занимаюсь.

— Бросили, что ли?

— Бросил.

— А работа — ваша. Чистая работа! Это не я один так считаю…

— Я такими делами не занимаюсь.

Жур задумался. Он порылся зачем-то в бумагах, лежавших на столе, будто вспомнив какое-то дело, не имеющее никакого отношения к Буршину. Потом опять сложил бумаги и спросил:

— Это вы серьезно?

— Совершенно серьезно.

Буршин наклонил голову и с интересом стал рассматривать свой теплый шарф.

Ульян Григорьевич смотрел на него.

За окнами была ночь.

На улице горел фонарь.

За дверью, в коридоре, раздавались шаги застоявшегося милиционера. Садиться ему нельзя, милиционеру. По уставу он должен стоять. Устав, однако, разрешает ему ходить на посту. И вот он ходит, нарушая тишину ночи, подчеркивая эту тишину.

Ульян Григорьевич закуривает. Закурив, он хлопает металлическим портсигаром, встает, отодвигает стул и говорит раздраженно:

— Гражданин Буршин!

Гражданин Буршин все еще рассматривает свой теплый шарф.

— У меня такое впечатление, гражданин Буршин, что вы пришли сюда, чтобы морочить мне голову…

— Я никому не морочу голову, — глухо и враждебно отвечает Буршин.

Непонятно, зачем он заматывает шею шарфом. В комнате тепло. И даже более тепло, чем надо.

Жур поворачивает ключ в замке массивного шкафа. Он выкладывает перед вором веществен-

ные доказательства, раскладывает их на столе, говорит:

— Пожалуйста… Ну… Вы думаете, что здесь дураки сидят, которым жалованье платят, чтоб они в носу ковыряли… А?

Буршин смотрит на стол, на клешню, извлеченную из проруби, на рычаг, напоминающий трость, на кусок брезента…

Ночь проходит. Медленно проходит зимняя ночь. На улице гремят ночные грузовики. В коридоре тихо-тихо.

Буршин делает первую уступку. Уже не отрицает, что вскрывал шкаф. Вот Жур придвигает ему дактилоскопические отпечатки. Ну что ж, запираться, как видно, ни к чему. Нет смысла запираться.

Но Буршин не хочет выдать сообщников. Хоть убейте, не выдаст. Он старый вор. Он знает традиции воровской дружбы. И не изменит этим традициям. Ни за что.

Жур откидывается на спинку стула, вздыхает. Глубоко и сокрушенно. Буршин тоже вздыхает. Жур говорит:

— Эх вы!..

И осматривает вора внимательно, как будто видит его впервые.

— Нехорошо! — говорит он, разглядывая седину на его висках. — Нехорошо, Егор Петрович! Мы же с вами уже немолодые люди. Ну как не стыдно вам так вертеться, врать на старости лет?..

Буршин опускает голову. Он молчит.

Жур опять встает, ходит по комнате.

— У вас дети есть, — говорит он. Он говорит о том, что не имеет никакого отношения к следствию: о детях, о седине, о том, что жизнь изменилась неслыханно, о смысле жизни. — Я не понимаю вас, — говорит он. — Вот вы старый вор, я старый сыщик. Вы воруете, я вас ловлю. И все это страшно глупо. Понимаете? Глупо!..

Буршин молчит.

А Жур шагает по комнате.

В уголовном розыске любят его за прямоту характера, за добросовестность в работе.

Но иногда любя посмеиваются. Называют его в шутку проповедником. Говорят, что на допросах он читает проповеди ворам.

А попадают к нему на допрос чаще всего рецидивисты, старые волки, видавшие виды.

Жур, впрочем, бывает и очень строгим на допросах.

Но на Буршина, казалось, ничто не действует.

Он сидел с опущенной головой и курил чет-

вертую, пятую, шестую папиросу. Он признал себя виновным в совершении взлома, но назвать соучастников не хотел.

Ульян Григорьевич раздражал его простотой своей.

В простоте этой Буршин видел несерьезное отношение к себе. Что он, фрайер какой-нибудь, чтобы его агитировали? Он и так все понимает. Попался — сидит. Что дальше будет, покажет время. Но разговаривать его никто не заставит.

Он достает седьмую папиросу и закуривает.

Жур спрашивает:

— А Подчасова тоже не знаете?

— Не знаю, — говорит Буршин.

— А Чичрина?

— Тоже…

— И Варова не знаете?

Буршин отрицательно мотает головой.

По лицу его, непроницаемому, нельзя угадать ни одной мысли. Нельзя понять, на что он надеется.

Вероятнее всего, он думает, что этот простоватый человек в конце концов устанет и отпустит его. Буршин просто хочет спать. Все равно где спать — дома или в камере.

Но простоватый человек, по всей видимости,

не собирается отпускать его, говорит:

— В таком случае разрешите, я познакомлю вас с этими людьми.

И снимает телефонную трубку.

— Дежурный? — говорит он в телефон. — Будьте добры, товарищ дежурный, пригласите ко мне Подчасова, Чичрина и Варова. Это Жур говорит.

Жур подтянул ремень на серой гимнастерке, пригладил черные, густо обсыпанные сединой волосы.

В комнату входят Подчасов, Чичрин, Варов.

Жур широким жестом приглашает их садиться. Они садятся полукругом против Буршина. У них унылый вид.

Жур говорит:

— Ну что ж, общее собрание шнифферов можно считать открытым. Вы узнаете вашего хозяина? — И показывает на Буршина.

Все молчат. Только Варов поднимается и почти истерически кричит:

— Я, гражданин начальник, жаловаться буду! Я это так не оставлю! Меня вдруг вместе с какими-то ворами…

— Ой, как вы кричите! — говорит Жур. — Это же черт знает что. Здесь же все-таки не сумасшедший дом… Буршин, вы узнаете этих граждан?

Буршин молчит. И все молчат.

Жур подходит к Чичрину.

— Ну, хорошо, — говорит он, — я понимаю: Буршин ломает шкафы, Варов ему пропуск достает, Подчасов стоит на стреме. Им много надо. У них свой план. А тебя-то зачем черт понес? Чего тебе-то не хватало? Слесарь ты…

— Вот именно… Слесарь, — сказал старик и заплакал. — Меня в ударники по всей форме произвели, аттестат дали как самонаилучшему мастеру. Пятьсот рублей в месяц. А я…

Чичрин взглянул на Буршина и заплакал в голос, как женщина.

— Погубил ты меня, Егор Петрович! Погубил… И денег мне твоих не надо, и товару. Погубил ты меня со старухой. Что она сейчас, бедненькая, может производить без меня?..

Потом очная ставка кончилась.

Подчасова, Чичрина и Варова увели.

Жур спросил Буршина:

— Ну, что вы теперь скажете?

— Чисто работаете, — сказал Буршин.

— А вы говорите! — хвастливо молвил Жур.

И после этого краткого диалога беседа приобрела нормальный и даже интимный характер.

Буршин рассказал Журу и про Варшаву, и про

варшавские порядки, и про сына своего; и про дочь, и про жену, и про зятя-аптекаря. Рассказал все. И о том, как пожелал быть бухгалтером, как задумал преступление и как совершил его.

Через несколько дней его приговорили к расстрелу.

Приговор не удивил и не испугал его.

Но все-таки ему было обидно. Было обидно, что жизнь прошла страшно глупо, незаметно и неинтересно, что он не смог изменить ее. Не смог устроиться, как хотел, на старости лет, как устроились даже такие, как этот рыжий Григорий Семеныч, бывший фармазонщик, теперь работающий лекпомом в поликлинике. Разве Буршин хуже его? Разве Буршин не мог бы так же сделаться бухгалтером или еще кем-нибудь? Разве у него мало сил?

Сил у Буршина еще очень много. И эти силы всегда спасали его. Приговоренный к смерти, опозоренный, одинокий, — «Ты, Егорша, один. Как перст, один», — говорила ему мать, — он сидит в одиночной камере и старается не падать духом. Читает, даже занимается гимнастикой и пробует петь тихонько. Пробует успокоить себя. И это удается ему на какое-то время. Но затем опять начинается мучительное беспокойство.

Беспокойство это особенно тяжко после полуночи.

В камеру проникает лунный свет. И по камере бродит унылый Буршин. Жизнь, большая, прожитая, вспоминается сразу и еще раз стремительно проходит в воспоминаниях.

Буршин видит себя в детстве — дома, у матери, в Коломне. Он живет на кухне у зубного врача. Носит старые докторские штаны. Они широки ему немножко и длинны непомерно. Он завязывает их где-то у горла.

Но они нравятся ему, эти докторские штаны. Он хвастает ими на улице перед мальчишками и мечтает сам стать доктором, зубным врачом.

Не коммерсантом, не бухгалтером, а зубным врачом мечтал он быть. Все детские годы мечтал. А потом забыл. И вспомнил только сейчас. Вспомнил и еще сильнее пожалел себя.

В коридоре, лязгая винтовкой, ходит часовой. Жизнь проходит. Она прошла уже, волчья, воровская жизнь.

Абрамцево, весна 1937 г.

1 р. 80 к.



Павел Нилин

ЖЕСТОКОСТЬ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК
ПОСЛЕДНЯЯ КРАЖА